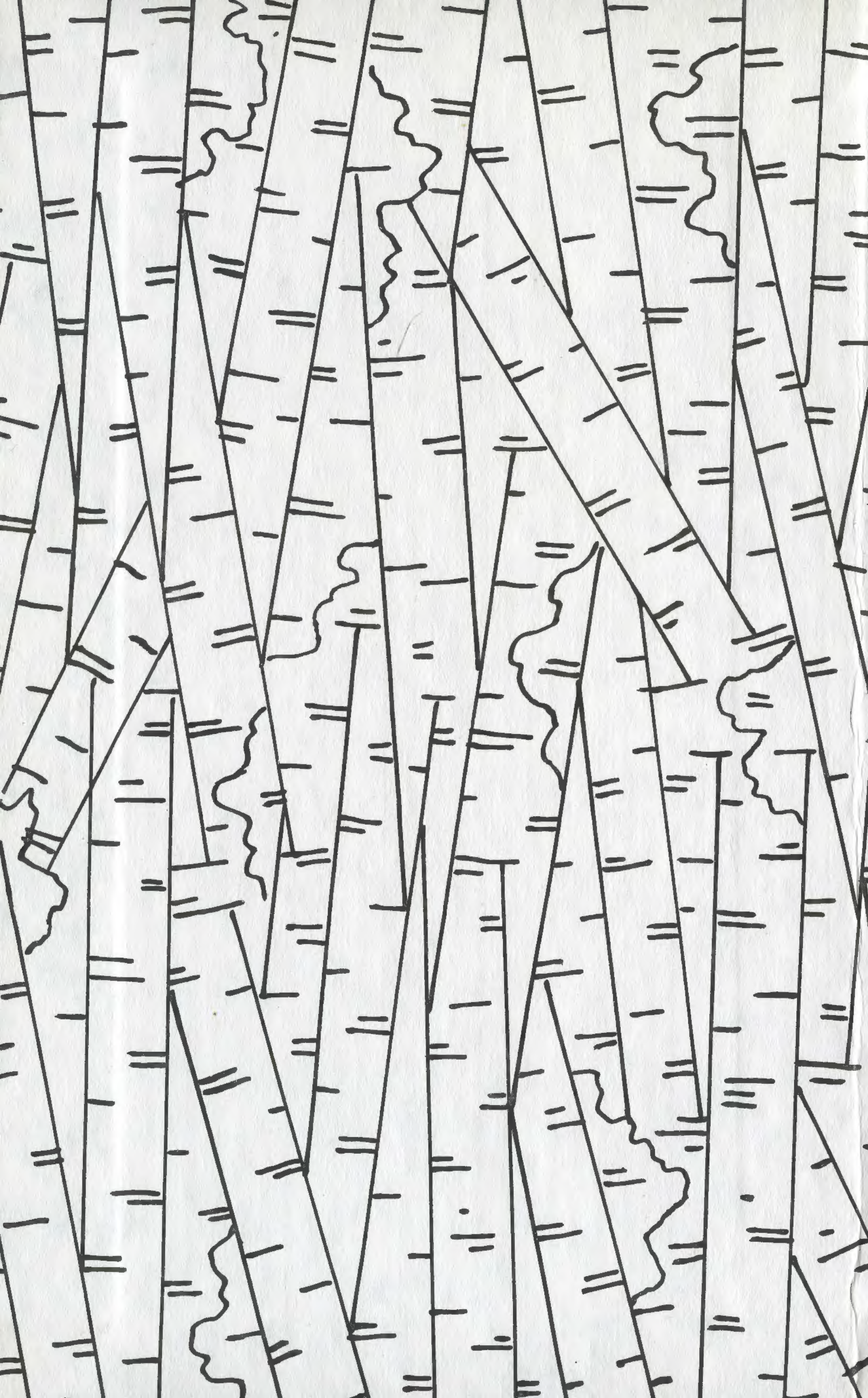
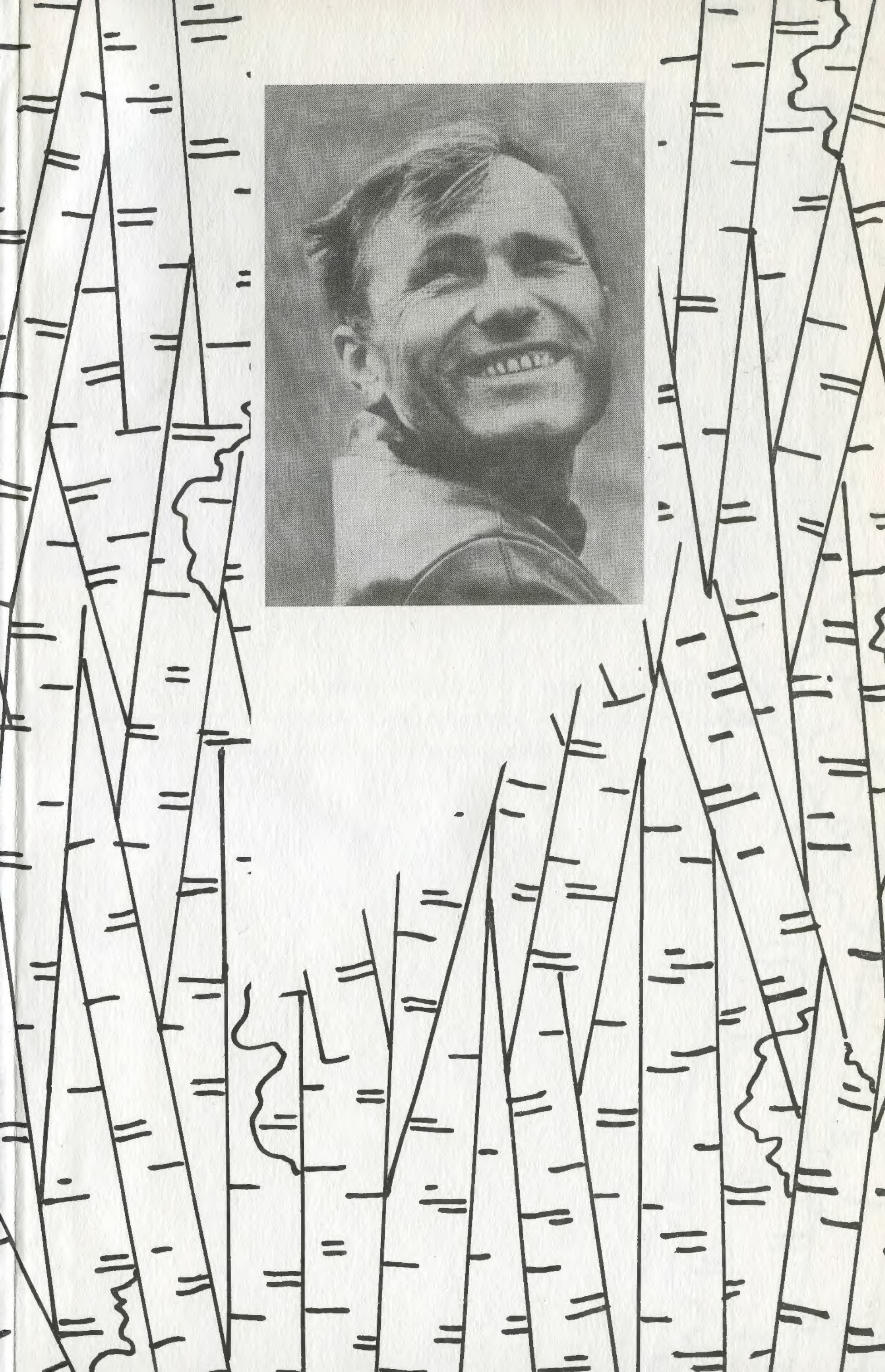
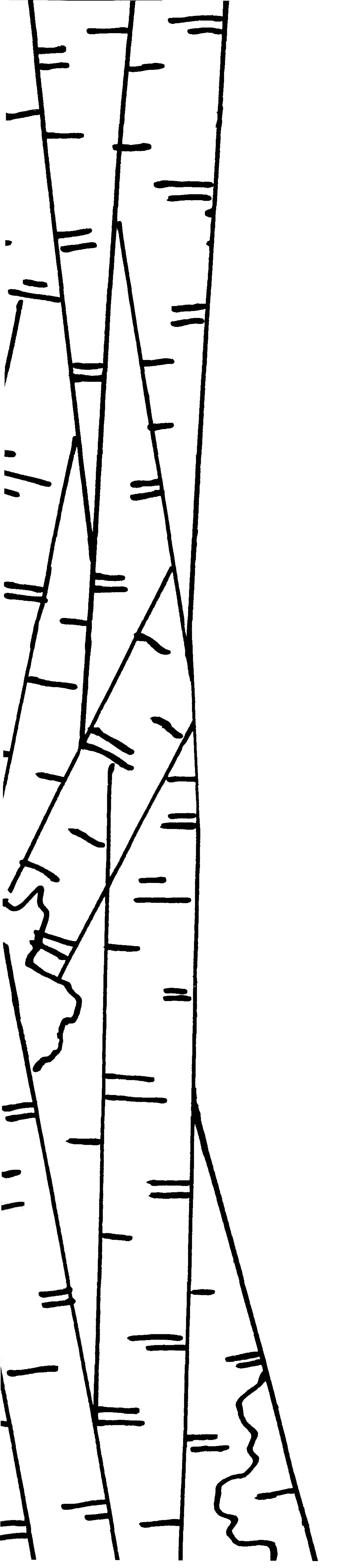
ВАСИЛИЙ
ШУКШИН









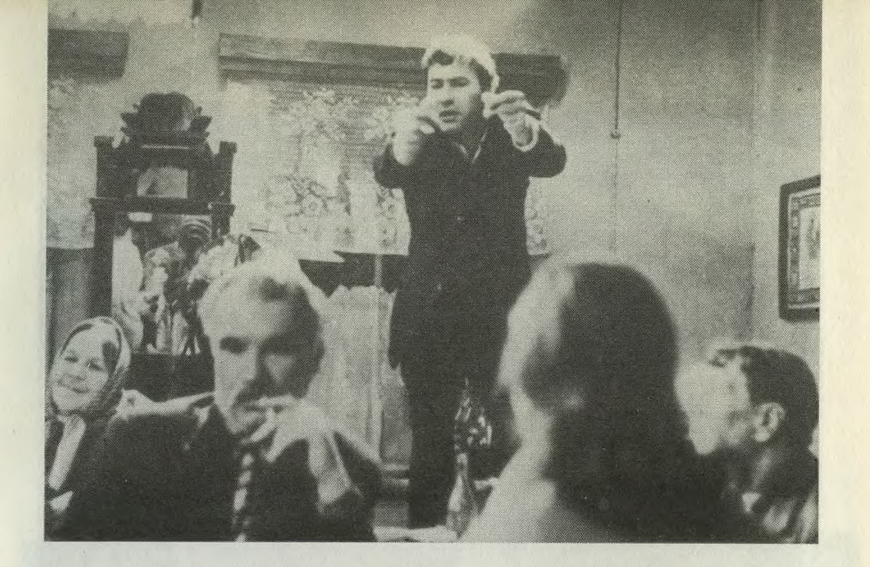
К 70-летию
со дня рождения
Василия Шукшина



«Я верю в силу искусства и стремлюсь к правдивому изображению жизни. А съемочная площадка — место, где я творю эту правду через актеров...»

«Мне очень нравится русская актерская школа, если можно так сказать. Это честная, прямая игра, не бессмысленная и не бессовестная. Думаю, что и до Станиславского существовало понятие, что на сцене надо быть правдивым. Это вообще в натуре русского художника. Стыдно, например, выделывать ногами кренделя, когда народу плохо...»







«"Каковы ваши принципы работы с актерами?" — я просто не в состоянии ответить на этот вопрос — у меня нет никаких особенных принципов. Был бы хороший, умный человек — я с ним договорюсь, как нам лучше сделать дело...»

«Верность букве — это некая заповедь большинства режиссеров... Сказал не то слово — значит, ошибся. Ну а если актер нашел слово, более точное, более сложное и, что самое главное, — живое. Все равно режиссер говорит: "Стоп"...

Что касается меня, то я готов позволить актеру нести отсебятину, если только он соблюдает верность самому характеру, самому рисунку роли. Если верное чувство подсказало ему новые слова, я готов принять их как свои собственные...»



«Меня вообще больше интересует реакция непрофессионального зрителя. Живые люди — страшные критики. Потому что каждый из них пропускает искусство через собственный, всегда уникальный жизненный опыт...

Критиков не боюсь — у них свои штампы; боюсь непосредственного зрителя, который больше знает, острее чувствует и подлинность, и фальшь...»



Фотография на память с А. Заболоцким

«Толе Заболоцкому, другу и единомышленнику — с любовью и надеждой, что мы еще помолотим. 29 апреля, 1974 год» — надпись Шукшина другу на последней прижизненной книге.

Вручение главной премии VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку за создание «Калины красной»

«Уважаемые родители Василия Макаровича!

Я один из тех тысяч людей, которые вам сейчас пишут... Не знаю, как получится это письмо, но я хотел бы в нем выразить очень многое.

Напишу немного о себе... Мне 25 лет. В настоящее время я нахожусь в местах лишения свободы, вот уже пять лет, и сидеть еще очень долго... Последнее время я очень много размышлял о своей жизни и понял, что прошлая моя жизнь была неправильной. Многие мои взгляды и убеждения в корне изменились. Большую роль в этом сыграли произведения Вашего сына. В его произведениях я нашел ответы на многие свои жизненные вопросы...»

Из письма Владимира К.



Василий Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах



книга

КАЛИНА КРАСНАЯ



Москва
«Надежда-1»
1998

ББК 84 Р7
Ш 95

Шукшин В. М.

Ш 95 Собрание сочинений в 6-ти книгах. Книга пятая. Калина красная. М.: Изд-во «Надежда-1», 1998. — 560 с.

В пятую книгу наиболее полного собрания сочинений Василия Шукшина вошли киноповести: «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Брат мой», «Позови меня в даль светлую»; публицистика, посвященная киноискусству, воспоминания коллег и друзей Василия Макаровича. В книге представлены фотографии из семейного архива.

Ш $\frac{4702010200 — 049}{В72 (03) — 98}$

ISBN 5-86150-049-5

Киноповести

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Есть на Алтае тракт — Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стегануввшего по горам.

Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды — все с Чуйского тракта.

Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляли ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он (тракт) манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийска до Ини хотя бы, заглянуть вниз с перевала Чике-таман (Чик-атаман, как зовут его шоферы) — и жутковато станет, и снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной выси...

И еще есть река на Алтае — Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ревет — рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине — тихо, слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая — каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит... Красиво, очень красиво! Не расскажешь словами.

И вот несутся они в горах рядом — река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра, или что это — влюбленные, или что это, наоборот, ненавидящие друг друга Он и Она, но за какие-то грехи тяжкие

заколдованные злой силой быть вечно вместе... Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами.

Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы (крутые опасные повороты над кручей). И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут... Устают смертельно. В сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать:

— Еду, говорит, и так спать захотел — сил нет. И заснул. И заснул-то, наверно, на две секунды. И вижу сон: будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся, смотрю — правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером, дома, жутко стало...

А зимой, бывает, заметет Симинский перевал — по шесть, по восемь часов бьются на семи километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. Пять метров разгребают лопатами снег, пять — едут, снова пять — разгребают, пять — едут... В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение — хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе.

Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души.

Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты:

Помоги товарищу в беде.
Не ловчи за счет другого.
Не трепись — делай.
Помяни добрым словом хорошего человека.

Немного. Но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку. Прежде всего. И главным образом.

В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую — пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами.

Парень задумчиво, с привычным прищуром смотрит вперед — это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович.

На тракте в сторонке стоит «козлик». Под «козликом» — шофер, а рядом — молодой еще, в полувоенном костюме, председатель колхоза Прохоров Иван Егорович.

Надежды, что «козлик» побежит, нет. Прохоров «голоснул» одной машине, она пролетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу — это Пашка.

— До Баклани подбрось.

— Ты один?

— Один.

— Садись.

Прохоров крикнул своему шоферу:

— Прислать, что ль, кого-нибудь?!

Шофер вылез из-под «козлика».

— Пришли Семена с тросом!

Пашка с Прохоровым поехали.

...Летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики...

— Ты куда едешь? — поинтересовался Прохоров.

— В командировку.

— В колхоз, что ли?

— Мгм. Помочь мужичкам надо.

— А куда?

— Деревня Листвянка.

Прохоров внимательно посмотрел на Пашку — видно, в начальственной его голове зародилась какая-то «мысля».

...Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.

...Прохоров и Пашка продолжают разговор.

— Тебя как зовут-то? — как бы между прочим спрашивает Прохоров.

— Меня-то? — охотно отвечает Пашка. — Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — идет дальше Прохоров. — Я по батьке тоже — Егорыч. А фамилия моя — Прохоров.

— Очень приятно, — говорит Пашка любезно. — А я — Колокольников.

— Тоже приятно.

Машина остановилась — перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов.

Пашка вылез из кабины.

— Что там? — спросил Прохоров.

— Завал. Счас рвать будут.

Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.

— Поехали ко мне, Егорыч? — неожиданно предложил он.

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я — тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю. У меня же в командировке точно сказано...

— Да какая тебе разница! Я тебе дам документ, что ты отработал у меня — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Что, так не делают, что ли? Сколько угодно.

— Я же не один.

— А кто еще?

— А он... — Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них. — Старший мой.

— А ты поговори с ним. Пусть он — в Листвянку, а ты — ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов. А? Я же не так просто, я заработать дам. А?

— Не знаю... Надо поговорить.

— Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает — хоть Лазаря пой.

— Ладно, — сказал Пашка.

Так попал Павел Егорыч в Баклань.

Вечером, после работы, уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.

— Жена должна чувствовать, — утверждал Пашка.

— Правильно, Егорыч, — поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?

— Если я прихожу домой, — продолжал Пашка, — так? Усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например: «Привет, Маруся!» Она мне весело: «Здоро́во, Павлик! Ты устал?»

— А если она сама, бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: «Пирамидон!» — и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно! — поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков «охальниками».

В клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой вился чуб.

— Как здесь население... ничего? — поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на «местное население».

— Ничего, — неохотно ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели здесь.

— Не наведут, — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что это за дивчина? — спросил Пашка у того же парня: он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не пожелал больше с ним разговаривать, отвернулся.

Заиграли фокстрот.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился и громко сказал:

— Предлагаю на тур фокса.

Все подивились изысканности Пашки — на него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился

на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали.

Настя была несколько тяжела в движениях. Зато Пашка с ходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе — и кружился, кружился...

Настя весело спросила:

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображалы.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка сказал:

— Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты, — Настя в упор смотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну, и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты? Если у вас, конечно, нет какого-нибудь хахаля. Договорились? Мм?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой.

Фокстрот окончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него.

— Что, братцы, носы повесили? — спросил Пашка.

— Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность? — спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Перекрестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут... потолкуем.

Пашка улыбнулся.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете ни за что... А вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок... И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует, — сказал он и поправил фуражку. — Я этих интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка подошел к Насте.

— Вы мне не ответили на один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна пойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезны. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.

— Поговорим, как жельтмены...

— Боже мой, — вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед... Слышал, как вокруг него посмеивались. Но не испытывал никакого стыда. Только стало горячо под ложечкой. Горячо и больно. Он встал и вышел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бостоновый пиджак — и появился такой в сельской библиотеке (Настя работала библиотекарем).

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и читальней.

Настя улыбнулась ему, как старому знакомому.

У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал «Огонек».

Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю — ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених.

— Хочешь почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите? — Настя тоже невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал...

Парень оторвался от «Огонька», взглянул на Пашку.

Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.

— Ваша фамилия?

— Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937, водитель-механик второго класса. Холост.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня... Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.

— Кроссвордиками занимаемся?

— Да...

— Между прочим, Гена, он тоже из Москвы, — объявила Настя.

— Ну, — Гена искренне обрадовался. — Вы давно оттуда? Расскажите, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.

— Спасибо, — наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню, протянул руку. — Павел Егорыч Колокольников.

— Гена. Очень рад. Как Москва-то?

— Москва-то? — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. — Шумит Москва, шумит, — и сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил. — Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас...

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то? — Пашка перевернул страничку журнала. — Я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее, улыбнулся.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно, — сказала Настя. — Значит, мне приснилось.

— Бывает, — согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. — Вот, пожалуйста, — красавец, — сказал он, подавая журнал Гене. — Кошмар!

Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.

— Вы надолго к нам?

— Так точно, — Пашка посмотрел на Настю, та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это. — Сыграем в шашки? — предложил он инженеру.

— В шашки? — удивился инженер. — Может, в шахматы?

— В шахматы скучно, — сказал Пашка (он не умел в шахматы). — Думать надо. А в шашечки — раз-два и пирамидон.

— Можно в шашки, — согласился Гена.

Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это? — не понял Гена.

— А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку, — пояснила Настя.

— А-а. Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет, — белыми играл Пашка.

— Сделаем так, — начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле, выражение его лица было довольное и хитрое. — Здесь курить, конечно, нельзя? — спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— Нельзя, так нельзя... — Пашка пошел второй шашкой. — Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал:

— Погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь.

— Ну и что! Играю-то я.

— Учиться надо.

Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и с толком.

— Вон той, Гена, крайней, — снова не выдержала Настя.

— Нет, я не могу так! — закипятился Гена. — Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

— А чего ты волнуешься? Вот чудак!

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно, — вмешался в спор Пашка и подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.

— Ну и проиграешь сейчас. Принципиально.

— Нет, зачем?— снисходительно сказал Пашка. — Тут еще полно шансов меня сфотографировать... Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл, — с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом! — обиделся Гена по-настоящему. — Нельзя же так, в самом деле. Отойди!

— А еще инженер, — Настя встала.

— Это уже... не остроумно. При чем тут «инженер»?

— «Боюсь, ему понравиться-а...»— запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол, — снисходительно заметил Пашка.

Инженер смешал шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

— Я проиграл.

— Выйдем покурим? — предложил Пашка.

— Пойдем.

На крыльце, закуривая, инженер пожаловался:

— Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.

— Ничего, — сказал Пашка. — Пройдет... Давно здесь?

— Что?

— Давно здесь живешь?

— Живу-то? Второй месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку. Пашкин взгляд был прям и серьезен.

— На ней? Да. А что?

— Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, да.

Пашка кури и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты «Капитал» действительно читаешь?

— Нет, конечно, — тут Пашка увидел на улице автобус — «Моды в село». — Пойдем посмотрим, — предложил он.

— А что там? — спросил Гена.

— Костюмы показывают.

— «Дом моделей»? — с удивлением прочитал Гена.

— Сходим вечерком, посмотрим? — Пашка повернулся к Гене. — Музыка играет...

— Здравствуйте, дорогие друзья! — сказала приветливая женщина. — Мы показываем вам моды осенне-зимнего сезона. Обратите внимание на удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую... Машенька, пожалуйста!

Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.

— Это — Маша-птичница! — пояснила приветливая женщина. — Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.

Маша-птичница улыбнулась в зал.

— На переднике, с правой стороны, предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.

Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.

— Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу и, едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.

Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка отодвинулся от нее.

— А вот костюм для полевых работ! — возвестила стареющая женщина.

На сцену под музыку (музыка уже другая — быстрая, игривая), вышла другая девушка — в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.

— Это — Наташа, — стала пояснять женщина. — Наташа — ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете, — женщина обаятельно улыбнулась. — Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка, — продолжает она рассказывать. — Подул холодный осенний ветер...

Наташа увлеклась ходьбой под музыку — не среагировала на последние слова.

— Наташа! — Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку. — Подул ветер.

Наташа подняла воротник.

— Подул холодный осенний ветер — у куртки имеется глухой воротник.

Музыканты играют, притопывают ногами. Особенно старается ударник.

— Наташа передовая не только в труде, но и в быту. Поэтому все на ней опрятно и красиво.

Наташа улыбнулась в зал, как будто несколько извиняясь за то, что она такая передовая в быту.

— Спасибо, Наташенька.

Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула «некоторых молодых людей», которые любят одеваться крикливо (ей очень нравилось это слово — «крикливо»).

...Пашка склонился к Насте и сказал:

— Я уже вторые сутки страдаю — так? — а вы мне — ни бэ, ни мэ, ни кукареку.

Настя повернулась к Гене.

— Ген, дай я на твое место сяду.

Пашка засуетился громко.

— Загораживают, да? — спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища. — Эй, товарищ! Убери свою голову.

Товарищ «убрал» голову.

Настя осталась сидеть на месте.

— ...Вот — вечернее строгое платье простых линий. Оно дополнено шарфом на белой подкладке. Как видите, красиво, просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы... В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.

Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый...

— Гена, сядь на мое место, — попросила Настя.

Гена с готовностью сел на место Насти.

Пашка заскучал.

А на сцене в это время демонстрировался «костюм для пляжа из трех деталей».

— Платье-халат. Спереди на кнопках.

Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.

— Очень удобно, не правда ли? — спросила женщина.

...Пашка встал и пошел из клуба.

Опять сорвалось.

Дома он не раздеваясь прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Прохоров.

— Да так... — отозвался Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Прохоров.

— Ну, как раньше... Раньше ведь воровали.

— А-а... А черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

— Это, конечно. Я так просто, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю.

Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.

— Генка, это же так все смешно, — пыталась урезонить Настя жениха.

— А мне не смешно, — упорствовал тот. — Мне больно. За тебя больно...

— Неужели ты серьезно думаешь, что...

— Думаю! Потому что — вижу! Если ты можешь с первым встречным...

— Перестань! — оборвала его Настя.

— А почему «перестань»? Если ты можешь...

— Перестань!! — опять властно сказала Настя.

Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты, пропел свое любимое:

И за борт ее бросает
В набежа-авшую волну...

Хлопнула дверь.

Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки.

Хлопнула дверь.

Настя осталась одна.

Горько ей.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел движок.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои, — сказал Пашка.

— Кто — свои?

— Колокольников.

— Командировочный, что ль?

— Да.

В круг света вышел дедун — сторож в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

— Есть.

Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет, — сказал дед и зевнул. — Спать клонит в дождь.

— А ты спи, — посоветовал Пашка.

— Нельзя. Я тут давеча соснул было, да знаешь...

Пашка прервал словоохотливого старика:

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай, давай, — старик опять зевнул.

Пашка завел машину и выехал со двора.

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки куда-то попрятались. Пашка ехал на малой скорости. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так, — негромко сказал он и потер ладонью грудь: волновался.

Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, — Настя. Сердце Пашки громко колотилось.

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую капель.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы: печку-голландку, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла раму.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко.

«Неужели узнала?» — подумал Пашка. Он хотел, чтоб его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

Настя склонилась над подоконником... Он отстранил ее и полез в горницу.

— Додумался? — сказала Настя потеплевшим голосом. — Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.

Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее, теплую, мягкую... Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.

— Ох, — глубоко вздохнула Настя. — Что же ты делаешь? Шальной...

Пашка начал ее целовать... Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его «фотографировать». На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет... Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке...

— Здравствуйте, Павел Егорыч.

Пашка «культурно» поклонился... И тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.

— Ну зачем же так, Настя?

А Гена ходит, мучается по комнате.

«Неужели все это серьезно?» — думает он.

Постоял у окна, подошел к столу, постоял... Взял журнал, прилег на диван.

И тут вошел Пашка.

— Переживаешь? — спросил он.

Гена вскочил с дивана.

— Я не понимаю, слушай... — начал он строго.

— Поймешь, — прервал его Пашка. — Любишь Настю?

— Что тебе нужно?! — взорвался Гена.

— Любишь, — продолжал Пашка. — Иди — она в машине сидит.

— Где сидит?

— В машине! На улице.

Гена взял фонарик и пошел на улицу.

— А ко мне зря приревновал, — грустно вслед ему сказал Пашка. — Мне с хорошими бабами не везет.

Настя сидела в кабине Пашкиной машины.

Гена постоял рядом, помолчал... Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться — так повелось у влюбленных.

А Пашка пошел на Катунь — пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет.

Шумит, кипит в камнях река... Слушает Пашку, понимает и несется дальше, и уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

Утро ударило звонкое, синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью.

Едет Пашка. Устал за ночь.

У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину.

Некоторое время ехали молча.

Женщина поглядывала по сторонам.

Пашка глянул на нее пару раз и спросил:

— По-французски не говорите?

— Нет, а что?

— Так, поболтали бы... — Пашка закурил.

— А вы что, говорите по-французски?

— Манжерокинг!

— Что это?

— Значит, говорю.

Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.

— Как будет по-французски «женщина»?

Пашка снисходительно улыбнулся.

— Это — смотря какая женщина. Есть — женщина, а есть — элементарная баба.

Женщина засмеялась.

— Не знаете вы французский.

— Я?

— Да, вы.

— Вы думаете, что вы говорите?

Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком.

— ...А почему как вы думаете? — продолжается разговор в кабине.

— Скучно у нас, — отвечает Пашка.

— Ну а кто виноват, как вы думаете?

— Где?

— Что скучно-то. Кто виноват?

— Начальство, конечно.

Женщина заметно заволновалась.

— Да причем же здесь начальство-то? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начиная. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите!.. Боже, чего там только нет! Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие...

Пашкиному взору представилась эта картина: думочки, сумочки, вышивки, слоники... Катя Лизунова вспомнилась (знакомая его).

—...Кошечки, кисочки, — продолжает женщина. — Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ведь это же в наших руках — сделать жизнь интересной.

— Нет, если, допустим, хорошо вышито, то... почему? Бывает, вышивать не умеют, это действительно, — вставил Пашка.

— Да все равно, все равно!.. — загорячилась женщина. — Поймите вы это, ради бога! Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати, повесить на стенку три-четыре хорошие репродукции, на стол — какую-нибудь современную вазу...

Пашке опять представилась комната знакомой ему Катьки Лизуновой. Волшебством кинематографа высокая Катькина кровать сменяется низкой тахтой, срываются со стен вышивки и заменяются репродукциями картин больших мастеров, исчезают слоники...

— Поставить книжный шкаф, на стол бросить несколько журналов, торшер поставить, — продолжает женщина.

...А в комнате Катьки Лизуновой, (по команде женщины, под ее голос) продолжают происходить чудесные преобразования...

И вот — кончилось преобразование (смолк голос женщины).

И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорей всего француженка какая-то, но похожая на Катьку. Читает.

И входит в комнату сам Пашка — в цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается! Пашка ей с улыбкой — слово, она ему — два, он ей — слово, она ему — два. Да все с прононсом, все в нос.

— ...Неужели все это трудно сделать? — спрашивает женщина Пашку. — Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.

Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.

— Можно, наверно.

— Можно!.. Все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.

А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры. Стелется туман.

Едут Пашка с женщиной.

Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед. Спросила:

— А долго нам еще ехать?

— Еще километров тридцать с гаком. Да гак — километров десять.

— Сколько? — женщина затосковала.

Пашка понял: приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуни, остановил машину.

— Ну-ка, милая, возьми ведерко да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.

— С удовольствием! — воскликнула женщина, взяла ведро и побежала через кустарник вниз, к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед.

Муж действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся: не знал — то ли целовать жену, то ли снимать чемоданы с кузова. Запрыгнул в кузов.

Женщина полезла в сумочку за деньгами.

— Сколько вам?

— Нисколько. Иди к мужу-то... поцелуйтесь хоть — я отвернусь, — Пашка улыбнулся.

Женщина засмеялась.

— Нет, правда, сколько?

— Да нисколько! — заорал Пашка. — Кошмар с этими... культурными. Другая давно бы уж поняла.

Женщина пошла к мужу.

Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать:

— Почему все-таки одна приехала? Я же писал: не садись одна с шофером. Писал?

— А что тут особенного? — тоже негромко возразила женщина. — Он хороший парень.

— Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него, на лбу написано? Хороший... Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят...

Пашка слышал этот разговор. Злая, мстительная сила вытолкнула его из кабины.

— Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену Быстро!

— А она что, не заплатила? Ты разве не заплатила? — муж растерялся: глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки.

— Он не взял... — женщина тоже растерялась.

Пашка не смотрел на нее.

— Плати! — рявкнул он.

Муж поспешно сунулся в карман... Но тут же спохватился.

— А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?

— Два рубля.

— Что-о! Тут же только пятьдесят копеек берут!

— Два рубля!!

— Олег! — сказала женщина. — Немедленно заплати ему... Заплати ему два рубля.

— Пожалуйста. — Муж отдал Пашке два рубля.

Машина рванула с места и поехала дальше.

Пашка догнал Кондрата (напарника своего).

Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Старики толковали про жизнь. Хозяин рассказывал:

— Да... вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, шесть человек, а сейчас один остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде, живут, справно, а меня обида берет: для кого же я весь век горбатился, для кого дом этот строил?

— Такая уж теперь наша жизнь пошла — ничего не поделаешь.

— Жись эта меня не касается?

— Она всех касается, кум.

— Кхх!.. Мне вот надо бы крышу сейчас новую, а не могу — сил не хватает. А эта, лонись, приехал младший: поедем, говорит, тять, со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая! Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.

— Ты зря так... Зря.

— Нет, не зря.

— Зря.

— Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.

— Я до тридцати пяти годов крестьянствовал, если хочешь знать. А опора сейчас — не дом.

— А кто же? Тилифизоры ваши? Финтифлюшки разные?

Тут вошел Пашка.

— Здорово, старички!

Кондрат нахмурился.

— Подольше не мог?

— Все в порядке, дядя Кондрат.

Кондрат хочет изобразить из себя — перед хозяином — наставника строгого, как бы отца.

— Шалапутничать начинаешь, Павел. Сма-атри! Я на сколько тебя отпускал?

Пашка для приличия виновато наморщился.

Пауза.

— Чего делал-то там? — мягче спросил Кондрат.

— Лес возили, — Пашка пошел переодеваться в другую комнату.

— Посиди с нами, — пригласил хозяин. — Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.

— Некогда, братцы, — отказался Пашка. — В гости иду.

— Далеко ли? — поинтересовался Кондрат.

— К Лизуновым.

— Это кто такие?

— Тэ-э... знакомая одна...

— Расплодил ты этих знакомых!.. — строго заметил Кондрат. — Переломают где-нибудь ноги-то.

— Искобелились все, — согласно проворчал хозяин. — А вот был бы при хозяйстве-то, небось не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.

— Свобода личности, чего вы хотите! — возразил Пашка.

— Избаловала вас Советская власть, избаловала. Я бы вам показал личность! Встал бы у меня в пять часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.

Тут вошла хозяйка. Закудахтала...

— Кум! Здравствуй, кум!

— Марфынька, — заныл старик-хозяин. — Однако ж где-то было ведь у нас... кхэ...

— Чего «было»? Чего закряхтел?..

— Было же где-то... Нам бы с кумом — по махонькой.

— Э-эх... Ладно, для кума...

— Давай, давай...

Лизуновы ужинали.

— Приятного аппетита! — сказал Пашка.

— Садись с нами, — пригласил хозяин.

— Спасибо, — Пашка присел на припечке. — Только что из-за стола.

Катя поспешно дохлебала, встала.

Прошли в горницу.

— Ты что?

Пашка смотрел на Катерину. Стоит — молодая еще, а уже намучилась, накричалась на своем веку, устала.

— Так... зашел попроведать.

Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.

— Опять в командировку, что ль? — Катерина угасла.

— Ага.

— Надолго?

— Да нет.

— Ну, садись.

Пашка присел на крашеный табурет.

— Как живешь-то? — спросил он.

— Ничего. Какая моя жизнь? Кукую, — Катерина тоже присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.

— Не сошлась с мужем-то?

— Не сошлась.

— Что он сейчас делает-то?

— Пьет. Что ему еще делать.

— Мдэ... На танцы пойдем вечером?

Катька удивленно посмотрела на Пашку, усмехнулась.

— Легко вам, ребятам: тридцать лет — вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.

— А тебе кто запрещает?

— Куда же я на танцы попрусь? Ты что? Совесть-то есть у меня?

— Серость, — сказал Пашка.

— Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.

— Ну, тогда я в гости приду попозже. Мм?

— Зачем?

— В гости!

— Как же ты придешь? Что, я одна, что ль?

— А чего они тебе? Ты на них — ноль внимания.

— Ноль внимания...

— Ну, выйди тогда. В садик. Попозже. Мм?

— А для чего?

Пашка ответил не сразу Действительно — для чего?

— А я откуда знаю? Так просто. Тоскливо ж тебе одной-то. И мне тоскливо.

— Тоскливо, верно.

— Ну и вот!

— Думаешь, нам веселее будет? Вдвоем?

— Не знаю. Не ручаюсь.

— Нет, не будет нам веселее. Так это... самообман. Не будет веселее.

— Ну, ты сильно-то не унывай.

— Я и не унываю.

— Взяла бы да снова замуж вышла, раз такое дело.

Катерина усмехнулась.

— Бери. Пойду.

— Вот и выходи. Сегодня потолкуем, — Пашка сам не ждал, что так брякнет.

— Перестань ты, болтало! — рассердилась Катерина. — Зачем пришел-то?

— Некультурная ты, Катерина. Темнота.

— Ох, батюшки!.. Давно культурным-то таким стал?

— Что это, например, такое? — Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких. — Для чего, спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот... — Пашка презрительно прищурился на оленя (олень, кстати, ему нравился). — Это же... пошлость! В горнице, как в магазине. Мой тебе совет: выкинь все это, пока не поздно.

Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.

— Вы сами, Катька, виноваты во всем: обвиняете ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. А нет, чтобы подумать: а почему так? А потому, что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская — она, может, в десять раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай — черт не черт и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе да пройтись по улице весело, станцевать, спеть... Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать да сплетничать друг про дружку. Ммх, эти сплетни!.. — Пашка, стиснув зубы, крутнул головой. — Бросать это надо к чертовой матери — эти сплетни. Ты делай вид, что ничего не знаешь. Не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот она начинает тебе про своих же подружек: ля-ля-ля... Все плохие, она одна хорошая. Бросать надо эту моду.

— Ты что, с цепи сорвался? — спросила Катерина.

— Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу: «С цепи сорвался?» А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой: «В чем дело, Павлик?»

— Пошел к дьяволу!.. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.

— А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала: голову кверху, грудь вперед. И улыбайся. Но громко не хохочи — это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.

— Ну и не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили, пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе чего от меня надо? Думаешь, не знаю?

Знаю! А туда же — «некультурная». Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то?

— Никакого сдвига в человеке! — горько воскликнул Пашка. — Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо!

— Я тебе тоже на полном серьезе: пошел к черту! Культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Культурный — по чужим бабам шастать. Наверно, уж весь Чуйский тракт охватил?

— Я от тоски, — возразил Пашка. — Я нигде не могу идеал найти.

— Вот, когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны. Ясно? Выметывайся отсюда, культурный! Чего ты с некультурными разговариваешь?

— Знаешь, как я вас всех называю? — сказал Пашка. — «Дайте мужа Анне Заккео». Мне вас всех жалко, дурочка.

— От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то — враз жалеть перестанешь.

— Эхх, — вздохнул Пашка. И вышел.

Над деревней, в глухом теплом воздухе, висел несуетливый вечерний гомон: мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо всхлипнула гармонь и смолкла.

Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой.

Хозяин и Кондрат спали уже — «нафилософствовались» давеча.

Хозяйка ворожила на картах. И ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белому свету.

— Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете, — война-то будет или нет? — спросила она.

— Не будет, — уверенно сказал Пашка. — Не дадут.

— Господи, хоть бы не было. В народе тоже не слышно. А то ведь перед войной-то всякие явления бывают.

— Какие явления? — полюбопытствовал Пашка, попивая молоко.

— Вот перед той-то войной — явление было.

— Какое?

— А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту... А место это — как выезжать в Долину Свободы...

— Знаю, — сказал Пашка.

— Вот. Выезжает из лесочка-то, глянь: впереди баба стоит. Голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел. Останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе двадцать рублей...»

— По новым деньгам, что ли? — встрял Пашка.

— По каким «по новым». Дело-то до войны было, как раз перед войной.

— Так.

— «...На, говорит, тебе двадцать рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи — вишь, я голая вся». Ну, шофер что, взял. «Ладно, говорит, куплю». — «Только смотри — не забудь», — она-то ему еще раз. И ушла. В лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то...

— На автобазу.

— Ну. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его — на смех. «Пойдем, — говорят, — пропьем лучше эти деньги». Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да. А когда назад-то ехать стал — струсил. «Боюсь, — говорит, — хоть убейте». Пошел к жене, рассказал ей все. Та — ругать его. Ну, поругала, поругала, а деньги дала. Да. Купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним — чтобы убедиться: есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера поснули убойным сном. Спят, и все. Уж тот шофер, который материю-то вез, толкал их, толкал их, бил даже — ничего не помогает, спят. Делать нечего — надо ехать. Поехал. Доезжает до того места — баба ждет его. «Купил?» — спрашивает. «Купил». — «Спасибо». Взяла материю. А потом поглядела на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну, ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял? — показывает на двух сонных. — Испугался?» Опять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты, те двое проснулись...

Пашка крепко спит.

— Спит, — сказала старуха. — Рассказывай им.

...Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в Долину Свободы, глядь: впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла. А сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина — а это Настя Платонова.

— Здравствуй, Павлик.

Пашка очень удивился.

— Ты чего тут?

А она ему так грустно-грустно:

— Да вот тебя жду.

— Что, опять с инженером поругались?

— Нет, Павлик. На вот тебе двадцать рублей, купи мне белой материи на платье — вишь, я какая, — а сама смотрит, смотрит на Пашку.

— А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж вы...

— Павел! А Павел, — будит старушка Пашку. — Павел!..

Пашка проснулся.

— Я что, заснул, что ли?

— Заснул.

— Ох ты... фу! А чем кончилась история-то?

— А-а, интересно?

— Привез он ей материи-то?

— Привез. Привез, отдал ей, а она спрашивает: «Зачем же ты, — говорит, — мои деньги-то пропил?..»

— Так откуда она узнала, что он деньги-то пропил?

— Так разве ж это простая баба была! — изумилась старушка. — Это же смерть по земле ходила — саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, она, матушка, ходила...

Пашка откровенно зевнул.

— Ну-ка, ложись спать, — спохватилась старушка. — Вам завтра вставать рано.

Пашка лег и сразу уснул.

И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины — Кондрат и Пашка.

Кондрат — впереди.

Едут.

Кондрат задумчив.

Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту.

Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано.

Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка — тоже.

Вышли из кабин, прихватив каждый по бутылке пива из-под сидений.

Пошли к камню.

На камне написано: «Тут погиб Иван Перетяган. 4.5. 62 г.».

Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки (вокруг камня много валяется бутылок из-под пива), отпили.

— Сколько ему лет было? — спросил Пашка.

— Ивану? Лет тридцать пять — тридцать восемь. Хороший был парень.

Пауза.

Еще отпили из бутылки.

Молчат. Долго молчат. Думают.

— Слышь, Павел, — сказал Кондрат, — помнишь, ты говорил насчет этой...

— Тетки Анисьи?

— Ну.

— Надумал?

— Черт ее знает... — Кондрат мучительно сморщился. — Не знаю. Колебаюсь.

— А чего тут колебаться? Сейчас заедем к ней и потолкуем. Сколько бобылем-то жить!

— Надоело, вообще-то...

— А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, с ходу фотографируюсь. А у тетки Анисьи и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду, в баню с тобой ходить будем, пузырек раздавим после баньки... Благодать!

Кондрат задумчиво, можно сказать, мечтательно улыбается. Но сдержанно.

— Ты хорошо ее знаешь?

— Два года к ней заезжаю.

— А вдруг она скажет: «Вы что!»

— Да она мне все уши прожужжала: «Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого, пускай, мол, здесь живет... Вдвоем-то легче».

— Да?

— Конечно! Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная... Ты там будешь сыт, пьян и нос в табаке.

— Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы ж зарабатываем как-никак. Потом... на книжке у меня малость имеется... Так что...

— Вы будете как у Христа за пазухой жить!

— Черт ее... — Кондрат опять мечтательно улыбнулся. — Охота, действительно, так вот приехать, натопить баню, попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.

— Что ты! — воскликнул Пашка, поддакивая.

— Разбередил мне вчера душу этот кум, язви его. В деревне ведь... это... хорошо! Встанешь чуть свет — еще петухи не орали, идешь на речку... Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь: «Спите, спите — проспите все царство небесное: красота ж вокруг!» А от речки туман подымается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку...

— Можно с мотором!

— Можно, ага.

— Я бы приехал к тебе в гости, мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли, а вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили...

Кондрат улыбается.

— Ага, я тоже люблю на островах. Ночь, тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.

— А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. Я тоже думать люблю.

— Речка шумит в камушках.

— Можно баб с собой взять!

— Нет, баб лучше не надо, они воды боятся, визжат, — возразил Кондрат.

— Вообще — правильно, — легко согласился Пашка. — И насчет пузырька — не дадут.

Тетка Анисья, женщина лет под пятьдесят, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе — одернула, поправила, подвинула... И села к столу как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:

— Пашка-то .. правда, однако, кого-то привез.

Пашка вошел солидный.

— Здорово ночевала, тетка Анисья! — сказал.

— Здрасте, — скромно буркнул Кондрат.

— Здрасте, здрасте, — приветливо откликнулась тетка Анисья, а сама ненароком зыркнула на Кондрата. — Давно чего-то не заезжал, Паша.

— Не случалось все... кхм! Вот познакомься, тетка Анисья. Это мой товарищ — Кондрат Степанович.

— Мгм, — тетка Анисья кивнула головкой и собрала губы в комочек (очень приятно, мол). А Кондрат осторожно кашлянул в ладонь.

— Вот, значит, приехали мы... — продолжал Пашка, но тетка Анисья и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело... — Заехали, значит, к тебе отдохнуть малость, — сполз Пашка с торжественного тона.

— Милости просим, милости просим, — застрекотала Анисья. — Может, чайку?

— Можно, — разрешил Пашка.

Анисья начала ставить самовар.

Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял: отчего? Оттого ли, что не нравится «невеста», или оттого, что он неумело взялся за дело?

— Как живешь, тетка Анисья?

— Живем, Паша... ничего вроде бы.

— Одной-то небось тяжело? — издалека начал Пашка.

— Хе-хе, — неловко посмеялась Анисья. — Знамо дело.

Кондрат опять сморщился.

Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?»

Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился: как ни начни, все не нравится.

— Самогон есть, тетка Анисья? — пошел он напрямик.

Кондрат удовлетворенно кивнул головой.

— Да вроде был где-то. Вы с машинами-то... ничего?

— Ничего. Мы по маленькой.

Анисья вышла в сенцы. И, как по команде, сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.

— В чем дело, дядя Кондрат?

— Что ж ты сразу наобум Лазаря начинаешь? Ты... давай посидим, по...

— Да чего с ней сидеть-то?

— Тьфу!.. Ну кто же так делает, Павел? Ты... давай посидим...

— А вообще-то, как она тебе? Ни...

Вошла Анисья.

— Вёдро-то какое стоит! Благодать господня. В огороде так и прет, так и прет все, — Анисья поставила на стол графин с самогоном.

— Прет, говоришь? — переспросил Пашка, трогая графин.

— Прет, прямо сердце радуется.

— Садись, дядя Кондрат.

— Садитесь, садитесь... Давайте к столу. У меня, правда, на стол-то шибко нечего выставить.

— Ничего-о, — сказал Кондрат. — Что мы сюда, пировать приехали?

— Счас огурчиков вам порежу, капустки... — хлопотала Анисья, сама все нет-нет да глянет на Кондрата.

— Значит хорошо живешь, тетя Анисья? — опять спросил Пашка. — Здоровьишко как?

— Бог милует, Паша.

— Самое главное. Так... Ну что, дядя Кондрат?.. Сфотографируем по стаканчику?

— По стаканчику — это можно, — рассудил Кондрат.

Анисья поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины. Присела с краешку сама.

— Тебе налить, тетка Анисья?

— Немного!.. С наперсток!

Пашка разлил по стаканам.

— Ну... радехоньки будем!

Выпили.

Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.

— Замуж-то собираешься выходить, тетка Анисья? — ляпнул Пашка.

Анисья даже слегка покраснела.

— Господи-батюшки!.. Да ты что это, Павел? Ты с чего это взял-то?

Теперь Пашка очень удивился.

— Привет! Так ты же сама говорила мне!

Кондрат готов был сквозь землю провалиться.

— Ну и балаболка ты, Павел, — сказал он с укоризной. — Ешь лучше.

— Жельтмены! — воскликнул Пашка. — Я вас не понимаю! Мы же зачем приехали?

— Тьфу! — Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисью.

Анисье тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.

— Матушки мои! Свиньи-то! Свиньи-то! В огороде! — и вылетела из избы.

— Все! — Кондрат встал и бросил на стол вилку. — Поехали! Не могу больше: со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?

— Спокойно, дядя Кондрат! — невозмутимо сказал Пашка. — Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем три дня сидеть и ничего не добьемся. Надо с ходу делать нокаут. Понял?

— Да что же ты меня позоришь-то так на старости лет! Вить мне не тридцать, чтобы нокауты твои дурацкие делать.

— Ничего, — успокоил Пашка, — сперва неловко, потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще по махонькой. Что тут позорного? Ты говоришь «позор». Мы же не воруем.

— По-другому как-то делают люди... Язви ее, прямо хоть со стула падай.

— Глянется она тебе?

— Да ничего вроде... — Кондрат сел опять к столу. — Живая вроде бабенка.

— Все! — Пашка сделал жест рукой. — Наша будет!

— Но ты все-таки полегче, Павел, ну тя к шутам.

— А ты посмеивайся надо мной, — посоветовал Пашка. — Вроде бы я — дурачок. А с дурачка взятки гладки.

— Ну а как она-то? Как думаешь? Может, возьмет потом да скажет: «Вы что?»

— О-о, мне эти фраера! — изумился Пашка. — Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.

— Ты хаханьки тут не разводи! — разозлился Кондрат. — Тебя дело спрашивают.

— А что ты спрашиваешь, я никак не пойму?

— Вот мы ей счас скажем, что... это... ну, мол, согласная? А она возьмет да скажет: «Вы что». Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?

— О-о, — застонал Пашка, — о наивняк! Ты же совсем не знаешь женщин! Женщины — это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин.

— Хватит «хлопать», а то нахлопаешься.

— Начнем со свиней, — заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе — ему так легче было подыскивать нужные слова. — Вот она сейчас побежала выгонять свиней. Так?

— Ну.

— Вопрос: каких свиней?

— Не выпендривайся, Пашка.

— Нет, нет, каких свиней?

— Ну... обыкновенных... белых. Грязные они бывают... Пошел ты к черту! Дурака ломает тут...

— Стопинг! Мы пришли к главному: она побежала выгонять свиней, а... что?

— Что?

— Вопрос: она побежала...

— Тьфу! Трепач! Пирамидон проклятый!

— Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету! — Пашка торжественно поднял руку. — Что и требовалась доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала: «Что ты, Паша, я не собираюсь замуж». Потому что она мне самому говорила: «Найди, — мол, — какого-нибудь пожилого». А когда я, как жельтмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она — женщина, хоть и старая. Женщина — это стартер: когда-нибудь да подведет.

— Ни хрена ты сам не знаешь — трепешься только.

— Я? Не знаю?

— Не знаешь.

— Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу: «Мужчина и женщина». И там есть целая глава: «Отношения полов среди отдельных наций». И там написано, что даже индусы, например...

Вошла Анисья. Пожаловалась:

— Ограда вся прохудилась — свиньи так и прут, так и прут в огород. Наказание господнее.

— Выйдем с тобой на пару слов...

— Хе-хе, — посмеялась Анисья, — чудной ты парень, ей-богу. Ну пойдем, пойдем...

Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку.

Вошел Пашка.

— Дядя Кондрат, мы в полном порядке. Первое: она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе: я сейчас поеду, а вы останетесь тут... Потолкуйте. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге — подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье: налей мне семьдесят пять грамм, и я поеду.

— Ты ничего тут не... это... не придумал? — спросил Кондрат.

— Нет, нет.

— Что-то мне... страшновато, Павел, — признался Кондрат. — Войдет, а чего я ей скажу?

— Она сама чего-нибудь скажет. Наливай ноль семьдесят пять килограмма...

— Пить хватит — поедешь.

Пашка подумал и согласился.

— Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.

— Боязно мне, Пашка, — опять сказал Кондрат, — не по себе как-то.

— В общем, я поехал. Гудбай! — Пашка решительно вышел.

Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.

— Вёдро-то какое стоит! Благодать господня! — заговорила она.

— Да-а, — согласился Кондрат. — Погода прямо как на заказ.

На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель... Потом нашел директора.

— А где другой? — спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.

— У него подшипники поплавились — меняет, — сказал Пашка.

— А ты шибко устал?

— Нет. А что?

— Надо бы поехать на нефтебазу — горючее получить. Я свои машины все раскидал, а у нас горючее кончается...

— Сфотографировано, — сказал Пашка.

— Что? — не понял директор.

— Будет сделано.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище — целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, квадратные.

Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, почему — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы...

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давайте брезент! Э-э!.. — заорал он. — Куда вы?! Успеем же!.. Э-э!

— Бежи — сейчас рванет! Бежи, дура толстая! — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.

— Сча-ас... Ох и будет! — послышался сзади чей-то голос.

— Добра пропадет сколько! — ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

— Давайте брезент! — непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

— Уходи! — опять крикнули ему. — Вот ишак. Что тут брезентом сделаешь? «Брезент»...

Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, «воткнул» скорость — человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

...Река была в полукилометре от хранилища! Пашка правил туда, к реке.

Машина летела по дороге, ревела... Горящие бочки грохотали в кузове, Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал...

В палате, куда попал Пашка, лежало еще человек семь. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги.

Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу.

Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.

— Сколько лежать-то придется? — спросил толстый.

— Не знаю. С месяц, наверно, — ответил Пашка.

— Перелом бедренной кости? — спросил один белобрысый паренек (он лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, олго, озверел и был каждой бочке затычка). — А сто суток не хочешь? Быстрые все какие...

— Ну, привет тебе от наших ребят, — продолжал толстый. — Хотели прийти сюда — не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали... — Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, расспрашивали про тебя... А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.

— Это ничего, — сказал Пашка самодовольно. — Я им тут речь скажу.

— «Речь»? Хэх!.. Ну, ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни — я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.

— Ничего.

Профорг пожал Пашке руку, сказал всем «до свидания» и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Пашку один «ходячий», когда за профоргом закрылась дверь.

Пашка некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? — спросил он серьезно. — Должны же были по радио передавать.

— У нас наушники не работают. Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Пашка еще немного помолчал. И ляпнул:

— Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха! — Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, — как будто он нисколько не сомневался в этом.

— Врешь ведь? — негромко сказал белобрысый.

— Не веришь, не верь, — сказал Пашка. — Какой мне смысл врать?

— Ну и как же ты?

— Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

— Трепло, — сказал белобрысый разочарованно. — Я думал — правда.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил «ходячий».

— Затяжным.

— А кто это к тебе приходил сейчас? — спросил человек с «самолетом». — По моему, я его где-то...

Тут в палату вошли старичок доктор с сестрами и с ними — молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере — «странная и прекрасная».

Доктор подвел девушку к Пашке.

— Вот ваш герой. Прошу любить.

— Вы будете товарищ Колокольников?

— Я, — ответил Пашка и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! — воскликнула девушка, подходя к Пашкиной койке. — Я вот здесь присяду немножко. Можно?

— Боже мой! — сказал Пашка и опять попытался сдвинуться на койке.

Девушка села на краешек белой плоской койки.

— Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Пашка и мельком глянул на белобрысого.

Тот начал теперь икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— Железно, — сказал Пашка.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

— Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

— Значит, так... — начал Пашка, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Да.

— Ну... хорошо... Я могу потом записать. В другой раз.

— Значит, так: родом я из Суртайки — семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Пашку на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.

— Я из Ленинграда. А что?

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Пашка, — я вам могу сказать следующее...

Белобрысый неудержимо икал.

— Выпей воды! — обозлился Пашка.

— Я только что пил — не помогает, — сказал белобрысый, сконфузившись.

— Значит, так... — продолжал Пашка, затягиваясь папироской. — О чем мы с вами говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь, — сказал Пашка (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). — Мне трудно говорить.

— Вот уж никогда бы не думала! — воскликнула девушка. — Неужели вести горящую машину легче?

— Видите ли... — опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил: — Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людями. «Вон, — скажут, — герой пошел!» Народ же знаете какой... Или — ничего, можно?

Девушка тоже засмеялась... А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.

— Нет, это ничего, можно.

Пашка приободрился.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка растерялась.

— Нет... А, собственно, зачем вам это?

— Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.

— Что я, виноват, что ли? — сказал белобрысый и опять икнул.

Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.

— Понимаете... я должна этот материал дать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?

— Так, — Пашка скис.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.

— Я понимаю.

— Где вы учились?

— В школе.

— Где, в Суртайке же?

— Так точно.

— Сколько классов кончили?

Пашка строго посмотрел на девушку.

— Пять. Не женатый. Не судился еще. Все?

— Что вас заставило броситься к горящей машине?

— Дурость.

Девушка посмотрела на Пашку.

— Конечно. Я же мог подорваться, — пояснил тот.

Девушка задумалась.

— Хорошо, я завтра приду к вам, — сказал она. — Только я не знаю... завтра приемный день?

— Приемный день в пятницу, — подсказал «ходячий».

— А мы сделаем! — напористо заговорил Пашка. — Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.

— Приду, — Девушка улыбнулась. — Обязательно приду. Принести чего-нибудь?

— Ничего не надо! Меня профсоюз будет кормить.

— Тут хорошо кормят, — вставил белобрысый. — Я уж на что — вон какой, и то мне хватает.

— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.

— Книжку — это да, это можно. Желательно про любовь.

— Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?

Пашка мучительно задумался.

— Не знаю, — сказал он. И виновато посмотрел на девушку. — Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое...

Пашка покрутил растопыренными пальцами.

— Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше — на цистерны. Да?

— Конечно!

Девушка записала.

— А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь? — спросил вдруг Пашка.

— Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

— Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? — спросил он.

— Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса... Вас зовут Павлом?

— Колокольников Павел Егорыч, — Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. — Приди, а?

— Приду, — девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула: — Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

— Хорошо, — Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.

— До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Пашке.

— Как дела, герой!

— Лучше всех.

— Дай-ка твою ногу.

— Доктор, пусть она придет завтра, — попросил Пашка.

— Кто? — спросил доктор. — Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

— Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся.

— Ну, ну... Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.

— Думаешь, она придет? — спросил белобрысый Пашку.

— Придет, —уверенно сказал Пашка. — За мной не такие бегали.

— Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, — начал рассказывать белобрысый, — так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже поллитра не поставил. Я, говорит, непьющий, то, се — начал вилять.

Пашка смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Слышь, друг! — окликнул его белобрысый.

— Спит, — сказал человек с «самолетом». — Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

— Шебутной парень! — похвалил белобрысый. — В армии с такими хорошо.

Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом действительно заснул. И приснился ему такой сон.

Как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам... Но только в палате лежат женщины. Тут Ка-

тя Лизунова, корреспондентка, Маша-птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисья... И свита вокруг Пашки — тоже из женщин.

Вошел Пашка и громко поздоровался.

Ему дружно ответили:

— Здравствуйте, товарищ генерал!

— Почему я не слышу аплодисментов? — тихо, но строго спросил Пашка-генерал у свиты. Одна из свиты угодливо пояснила:

— Дамская палата...

И она же попыталась надеть на Пашку халат.

— Не нужно, — сказал Пашка, — я стерильный.

И началось стремительное шествие генерала по палате — обход.

Первая — Катя Лизунова.

— Что болит? — спросил Пашка.

— Сердце.

— Желудочек?

Катя смотрит на Пашку как на дурака.

— Сердце!

Пашка повернулся к свите.

— Считается, что генерал — ни бум-бум в медицине, — и снисходительно пояснил Кате: — Сердце тоже имеет несколько желудочков. Ма-аленьких.

И дальше. Дальше — корреспондентка, «странная и прекрасная».

— Что? — ласково спросил Пашка.

— Сердце.

— Давно?

— С семнадцати лет.

— Ну, ничего, ничего...

Пашка двинулся дальше. Маша-птичница.

— Тоже сердце? — изумился Пашка.

— Сердце.

— Кошмар.

Пашка идет дальше.

Городская женщина.

Пашка демонстративно прошел мимо.

Тетя Анисья. Поет.

Пашка остановился над ней.

— И у тебя сердце?

— А что же я, хуже других, что ли? — обиделась Анисья. — Смешной ты, Павел: как напялит человек мундир, так начинает корчить из себя...

— Выписать ей пирамидону! — приказал Пашка. — Пятьсот грамм. Трибуну.

Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.

— Я вам скажу небольшую речь, — начал он, но обнаружил непорядок. — Где графин?!

— Несут, товарищ генерал.

— Ну, что?! — Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. — Допрыгались?! Докатились?! Доскакались?!

...И тут засмеялся белобрысый. Пашка поднял голову.

— Ты чего?

Белобрысый все смеялся.

— Это он во сне, — пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.

— Вот жеребец, — возмутился Пашка. — Здесь же больница все же.

Он лег и крепко зажмурился... И снова он на трибуне.

— На чем я остановился? — спросил он свиту.

— Вы им сказали, что они доскакались...

— Куда доскакались? — с начальственным раздражением переспросил Пашка. — Работнички! Только форсить умеете!

И опять его разбудил смех белобрысого.

— Вот паразит, — сказал Пашка, поднимаясь. — Что он ржет-то всю ночь?

— Выздоравливает он, — опять сказал пожилой больной.

— Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его, а? Сказать, что у него дом сгорел — ему тогда не до смеха будет.

— Не надо, пусть смеется.

Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось, не спалось.

— А вы чего не спите? — спросил он пожилого больного.

— Так... не хочется.

Помолчали.

— Вот вы принадлежите к интеллигенции, — заговорил Пашка.

— Ну, допустим.

— Книжек, наверно, много прочитали. Скажите: есть на свете счастливые люди?

— Есть.

— Нет, чтобы совсем счастливые.

— Есть.

— А я что-то не встречал. По-моему нет таких. У каждого что-нибудь да не так...

— Вот хочешь, я прочитаю тебе...

— Что, письмо?

— Нет, — больной взял с тумбочки ученическую тетрадку. — Сочинение одного молодого человека...

— Ну-ка, ну-ка... — Пашка приготовился слушать.

— *«С утра мы пошли с пацанами в лес,* — начал читать больной. — *Все были почти из нашего четвертого «б». Пошли мы сорок зорить. Ну, назорили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из второго «а» петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня: «Хорошо было в лесу?» Я сказал: «Ох, и хорошо!» Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю, чего».*

— А для чего это вы? — спросил Пашка.

— Это писал счастливый человек.

— Так какое же тут счастье-то? — изумился Пашка.

— Самое обыкновенное: человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать. И прощать умеет. И делает это от души. Это — счастье.

— Так он же маленький еще!

— Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.

— Каким?

— Добрым. Простым. Честным. Счастливых много... Ты тоже счастливый, только... учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно... А знаешь мало.

— Когда же мне учиться-то? Я же работаю.

— Вот поэтому и надо учиться.

— А вы — учитель, да?

— Учитель.

— Значит, вы счастливый, если вы учите?

— Наверно. Позови-ка сестру.

— Что, плохо?

— Нет, просто устал.

— Лиля Александровна! — позвал Пашка.

Вошла сестра и сделала учителю укол.

— Ну, вот теперь уснем, — сказал тот и выключил свет.

Пашка долго еще лежал с открытыми глазами, думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти:

— Павел, иди ко мне.

...И опять снится Пашке сон:

Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.

— Здравствуй, Павел.

— Здравствуй.

— Как живешь?

— Ничего.

— Идеал-то не нашел еще?

Пашка усмехнулся.

— Нет.

— Помнишь сказку? — спросила вдруг Настя. — Бабушка тебе рассказывала...

— Про голую бабу, что ли?

— Да.

— Помню.

— Так вот, ты не верь: это не смерть была, это любовь по земле ходит.

— Как это?

— Любовь. Ходит по земле.

— А чего она ходит?

— Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.

— Она, что, тоже голая?

— Она красивая-красивая.

— Хоть бы разок увидеть ее.

— Увидишь. Она придет к тебе.

— А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь

ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?

— Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.

— И опять: если я буду сидеть и ждать...

— Зачем же ждать, — перебивает его Настя. — Надо искать. Надо все время искать, Павел.

— Так вот я ищу. Но я же хочу идеал!

Опять засмеялся белобрысый. Пашка проснулся.

Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате. И вдруг сму показалось...

— Братцы! — заорал он.

Повскакали больные.

— Ты чего, Пашка? — спросил белобрысый.

Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.

— Няня! — рявкнул белобрысый.

Учитель приподнялся.

— Что такое? В чем дело?

Все смотрят на него.

— Что случилось-то?

Пашка негромко засмеялся.

— А мне показалось, ты помер, — сказал он простодушно.

Учитель досадливо сморщился.

— Первую ночь спокойно уснул... Надо же!

Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.

— Значит, будем жить, — сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы — большой ясный день. Большая милая жизнь...

ВАШ СЫН И БРАТ

...И вот пришла весна. Обычная — добрая и бестолковая, как недозрелая девка.

В переулках на селе — грязь в колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов матерятся на чем свет стоит.

— Тебе, паразит, жалко сапоги измарать, а я должен каждую весну плетень починять?!

— Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

— А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай...

— А, тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега.

А в тополях, у речки, что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком: «Пи-у».

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву, а на изгибах речных льдины вылезают ноздреватыми синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать.

Малый сырой ветерок кружится и кружит голову... Остро пахнет навозом, гнилым мокрым деревом и талой землей.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с варевом. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хво-

рост. Задумчиво в теплом воздухе... Прожит еще один день. Вполсилы ведутся неторопливые необязательные разговоры — завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить всласть, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем — что, может, жизнь — судьба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной — малость лучше?.. А в общем-то, и так ничего — хорошо. Особенно весной.

СТЕПАН

В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Воеводин Степан.

Пришел он с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, и вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Он долго сидел так и смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне — тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывшими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Но... Не узнал?

— Хот!.. Язви тя... Я уж думал — почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу... Обнялись, чмокнулись пару раз.

— Пришел?

— Ага.

— Что-то раньше? Мы осенью ждали.

— Отработал... отпустили.

— Хот... язви тя! — отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать.

— А Борзя-то живой ишо, — сказал он.

— Но? — удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Он тоже рад был видеть отца. — А где он?

— А шалается где-нибудь. Этта, в субботу вывесили бабы бельишко сушить — все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

— Шалавый дурак.

— Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь — обидишься...

Присели на верстак, закурили.

— Наши здоровы? — спросил Степан. — Пишут ребята?

— Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

— А ничо, хорошо. Работали, Ребята-то как?..

— Да редко пишут. Ничо вроде... Игнат хвалится. А Максим — на стройке. Ты-то в шахтах, наверно, робил?

— Нет, зачем: лес валили.

— Ну да, — Ермолай понимающе кивнул головой. — Дурь-то вся вышла?

— Та-а... — Степан поморщился. — Не в этом дело.

— Ты вот, Степка... — Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. — Ты теперь понял: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться.

— Не в этом дело, — опять сказал Степан.

В завозне быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой...

Степан встал с верстака, затоптал окурок... Поднял свой хилый вещмешок.

— Пошли в дом, покажемся.

— Немая-то наша, — заговорил отец, поднимаясь, — чуть замуж не вышла, — ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

— Но! — удивился Степан.

— Смех и грех...

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

— Приходит один раз из клуба и мычит мне: мол, жениха приведу. Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

— Может, зря?

— Что «зря»? «Зря»... Обмануть надумал какой-то — полегче выбрал. Кому она, к черту нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу...

— Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста» — крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрит она до слез доверчиво.

— Ма-ам, мм, — мычала она и ждала, когда брат подойдет к ней, и смотрела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

— А от те «ме», — сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. — Ждала все, крестики на стене ставила — сколько дней осталось, — пояснил он Степану. — Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, чтоб скрыть волнение, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, мычала и целовала в щеки, в лоб, в губы.

— Ладно тебе, — сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко было ему, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не мог оттолкнуть счастливую сестру.

— Ты гляди, — смущенно бормотал он. — Ну, хватит, хватит... Ну все...

— Да пусть уж, — сказал отец и опять вытер глаза. — Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

— Ну, как живешь-то? — спросил.

Сестра показала руками — «хорошо».

— У ей всегда хорошо, — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. — Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала.

— Господи-батюшки, отец небесный, услыхал ты мои молитвы, долетели они до тебя...

Всем стало как-то не по себе и от ее причета.

— Ты, мать, и радуисся, и горюешь — все одинаково, — строго заметил Ермолай. — Чо захлюпала-то? Ну, пришел, теперь радоваться надо.

— Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли...

— Ну и не реви.

— Было бы у меня их двадцать, я бы не ревела. А то их всего-то трое и те разлетелись по белу свету... Каменная я, что ли?

— Дак и мне жалко! Ну и давай будем реветь по целым дням. Только и делов...

— Здоровый ли, сынок? — спросила мать. — Может, по хвори по какой раньше-то отпустили?

— Нет, все нормально. Отработал свое — отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая, гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

— А я гляну из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда — Степан...

Степан заулыбался.

— Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками соседа, трижды прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

— От тебя как от печи пышет, — сказал Степан. — Замуж-то не вышла?

— Я, может, тебя ждала, — Нюра засмеялась.

— Пошла к дьяволу, Нюрка! — возревновала мать. — Не крутись тут — дай другим поговорить. Шибко тяжело было, сынок?

— Да нет, — с удовольствием стал рассказывать Степан. — Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там — в неделю два раза. А хошь, иди в Красный уголок — там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала»...

— Что же, вас туда собрали кино смотреть? — спросила Нюра весело.

— Почему?.. Не только, конечно, кино...

— Воспитывают, — встрял в разговор отец. — Дуракам вправляют.

— Людей интересных много, — продолжал Степан. — Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

— А эти за что?

— Один — за какую-то аварию на фабрике, другой — за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

— Может, врет, что инженер? — усомнился отец.

— Там не соврешь. Там все про всех знают.

— А кормили-то ничего? — спросила мать.

— Хорошо, всегда почти хватало.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

— Да нет, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы — в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди!», пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

— А насчет охраны — строго?

— Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

— А бегут?

— Мало. Смысла нет.

— А вот говорят, если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

— В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то уркаганов, а нас редко.

— Вот жуликов-то, наверно, где! — воскликнул один простодушный парень. — Друг у друга воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

— Там у нас строго за это, — пояснил Степан. — Там, если кого заметют, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку... Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске — праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно. И потихоньку стало

разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им удовольствие доставил, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться. И чтобы им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда прибыл.

Прости мне, ма-ать,
За все мои поступки —
Что я порой не слушалась тебя-я!..

На минуту притихли было: Степана целиком захватило сильное чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

А я думала-а, что тюрьма д это шутка.
И этой шуткой сгубила д я себя-я! —

пел Степан.

Песня не понравилась — не оценили полноты чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их... И саму грешницу как-то трудно было представлять.

— Блатная! — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в лагерях — сплошное жулье. — Тихо, вы!

— Чо же сынок, баб-то много сидят? — спросила мать с другого конца стола.

— Хватает. Целые лагеря есть.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там не сладко.

— И вить, дети небось пооставались!

— Детей — в приюты...

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один, изрядно подвыпивший мужичок. — Я бы им подолы на голову — и ремнем!..

— Не поможет, — заспорил с ним Ермолай. — Если ты ее выпорол — так? — она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами — она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им...

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

Три дня, три ноченьки старался —
Сестру из плена выруча-ал...

Увлеклись песней — пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

Злодей пустил злодейку пулю
Уби-ил красавицу сестру-у.
Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть:
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-я!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу, заматерился с удовольствием.

— Ты меня не любишь, не жалеешь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь — кто-то предусмотрительный смотал за гармонистом. Взревели... Песня погибла. Вылезли из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли, и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась — она было счастлива.

— Верка! Ве-ерк! — кричал изрядно подпивший мужичок. — Ты уж тогда спой, ты спой, что же так-то ходить! — никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке — просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

— Ка-ак она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насилу вот так голову-то приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»

Пожилая баба покачала головой.

— К добру?

— К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

— Упредила.

— Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: «К какому же добру, думаю, мне суседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открывается — он вот он, на пороге.

— Господи, господи, — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. — Надо же!

Бабы, плясавшие кругом, вытащили на круг Ермолая. Ермолай недолго думал, пошел выколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал... И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та...» И вколачивал, и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

— Давай, Ермил! — кричали Ермолаю. — У тя седня радость большая — шевелись!

— Ат-та, оп-па, — приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он плясал — слегка сгорбатившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести — долго ждал этого дня, без малого три года.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь...

— Давай, тять...

— Давай — батька с сыном! Шевелитесь!

— А Степка-то не изработался — взбрыкивает!

— Он же говорит — им там хорошо было. Жрать давали...

— Там дадут — догонят да еще дадут.

— Ат-та, оп-па!.. — приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну...

Люблю сани с подрезами,
Воронка — за высоту,
Люблю милку за походку.
А еще — за красоту! —

вспоминал Ермолай из далекой молодости.

И Степан тоже спел:

Это чей же паренек
Выделывает колена;
Ох, не попало бы ему
Березовым поленом.

Плясать оба не умели, но работали ладно — старались. Людям это нравится; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверное, явиться Степану в сельсовет — оформлять всякие бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот спьяну отмахнулся.

— Отстань, ну тя! Пляши вон.

Участковый вышел со Степаном за ворота, остановился.

— Ты что, одурел, парень? — спросил он, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся.

— Чудно?.. Ничего...

— Тебе же три месяца сидеть осталось!

— Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папироску, закурил сам.

— Пошли.

— Пошли.

— Может, скажешь дома-то? А то хватятся...

— Сегодня не надо — пусть погуляют. Завтра скажешь.

— Три месяца не досидеть и сбежать!.. — опять изумился милиционер. — Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

— А?

— Чего?

— Зачем ты это сделал-то?

— Сбежал-то? А вот — пройтись разок... Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось! — почти закричал участковый. — А теперь еще пару лет накинут.

— Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

— Нда... — раздумчиво сказал участковый.

Долго они шли молча, почти до самого сельсовета.

— И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

— Трое.

— А те где?

— Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

— И сколько же ты добирался?

— Неделю.

— Тьфу... Ну, черт с тобой — сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан сидел у стола, напротив, задумчиво смотрел в темное окно. Хмель покинула его голову.

— Оружия никакого нет? — спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

— Сроду никакой гадости не таскал с собой.

— Чем же ты питался в дороге?

— Они запаслись... те двое-то...

— А им по сколько оставалось?

— По много...

— Но им хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул? — в последний раз поинтересовался милиционер.

— Ладно, надоело! — обозлился Степан. — Делай свое дело, я тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

— Я думал, ошибка какая-нибудь — не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

— Небось смеялись над тобой те двое-то? — не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что — дурак, — и ушел окончательно в протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

— Мэ-мм? — спросила она брата.

Степан растерялся.

— Ты зачем сюда?

— Мэ-мм? — замычала сестра, показывая на милиционера.

— Это сестра, что ли? — спросил тот.

— Но...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?»

Участковый понял.

— Он... Он! — показал на Степана. — Сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. — участковый показал на окно и «показал», как сбегают. — Нормальные люди в дверь выходят, в дверь! А он в окно — раз и ушел. И теперь ему будет... — милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. — Теперь ему опять вот эта штука будет! Два, — растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. — Два года еще!

Немая стала понимать. И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер — тоже смотрел на сестру.

— Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди... Братья ваши небось не сделали бы так.

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее.

— Убери ее, — хрипло попросил Степан. — Убери!

— Как я ее уберу?..

— Убери, гад! — заорал Степан не своим голосом. — Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

— Скажи, что ты обманул ее, пошутил... Убери ее!

— Черт вас!.. Возись тут с вами... — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. — Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! — пытался он втолковать ей. — Счас он придет! — ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. — Ну, здорова! — он закрыл дверь на крючок. — Фу-у... Вот каких делов ты натворил — любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку — в пол.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

— Вызываю машину — поедем в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне, серединой улицы, шла, спотыкаясь, немая и горько мычала — плакала.

Летит степью паровоз. Ревет.

Деревеньки мелькают, озера, перелески... Велика Русь.

МАКСИМ

Максиму Воеводину пришло в общежитие письмо. От матери.

Через поля, через леса, через реки широкие долетел родной голос, нашел в громадном городе.

— Максим! Письмо...

Максим присел на кровати, разорвал конверт и стал читать.

В шуме и гаме большой людной комнаты рабочего общежития зазвучал голос матери:

— Здорово, сынок Максим!

Во первых строках нашего письма сообщаем, что мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Стретили на днях Степана. Ничо пришел, справный. Ну, выпили маленько. Верка тоже ничо — здоровая. А отец прихварывает, перемогается. А я, сынок, шибко хвораю. Разломило всю спинушку, и ногу к затылку подводит — радикулит, гад такой. Посоветовали мне тут змеиным ядом, а у нас его нету. Походи, сынок, по аптекам, поспрашивай, можа, у вас есть там. Криком кричу — больно. Походи, сынок, не поленись... Игнату тоже написать хотела, а он прислал письмо, что уедет куда-то. А жене его не хочу писать — скажет: пристают. Он чо-то обижается на тебя, сынок. Не слушается, говорит. Вы уж там поспокойней живите-то, не смешите людей — не чужие небось... Походи, сынок, милый, поспрашивай яду-то. Может, поправилась бы я...

Максим склонился головой на руки, задумался. Заболело сердце — жалко стало мать. Он подумал, что зря он так редко писал матери, вообще почувствовал гнетущую свою вину перед ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время, она перестала сниться ночами... И вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда.

Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и пошел в ближайшую аптеку.

В аптеке было мало народа. Максим выбрал за прилавком молодую хорошенькую девушку, подошел к ней.

— У вас змеиный яд есть?

Девушка считала какие-то порошки. Приостановилась на секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтобы не сбиться, мельком глянула на Максима, сказала «нет» и снова принялась считать. Максим постоял немного, хотел спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не спросил — девушка была очень занята.

В следующей аптеке произошел такой разговор:

— У вас есть змеиный яд?

— Нет.

— А бывает?

— Бывает, но редко.

— А может, вы знаете, где его можно достать?

— Нет, я не знаю, где его можно достать.

Отвечала сухопарая женщина лет сорока, с острым носом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до того тонкая и белая, что, кажется, сквозь нее просвечивала кость. Максиму показалось, что женщине доставляет удовольствие отвечать «нет» и «не знаю». Он уставился на нее.

— Что? — спросила она.

— А где же он бывает-то? Неужели в целом городе нет?!

— Не знаю, — опять с каким-то странным удовольствием сказала женщина.

Максимом стала овладевать злость. Он не двигался с места.

— Еще что? — спросила женщина. Они были в стороне от других, разговор их никто не слышал.

— А отчего вы такая худая? — спросил Максим. Он сам не знал, что так спросит, и не знал, зачем спросил, — вылетело. Очень уж недобрая была женщина.

Женщина от неожиданности заморгала глазами.

Максим повернулся и пошел из аптеки.

«Что же делать?» — думал он.

Аптека следовала за аптекой, разные люди отвечали одинаково: «Нет», «Нету».

В одной аптеке Максим увидел за стеклянным прилавком парня.

— Нет, — сказал парень.

— Слушай, а как он называется по-научному? — спросил Максим.

Парень решил почему-то, что и ему пришла пора показать себя «шибко умным», — застоялся, наверное, на одном месте.

— По научному-то? — переспросил он, улыбаясь. — А как в рецепте написано? Как написано, так и называется.

— У меня нет рецепта.

— А что же вы тогда спрашиваете? Так ведь и живую воду можно спрашивать.

— А что, не дадут без рецепта? — негромко спросил Максим, чувствуя, что его начинает слегка трясти.

— Нет, молодой человек, не дадут.

Это снисходительное «молодой человек» доконало Максима.

— До чего же ты умница! — тихо воскликнул он. — Это же надо такому уродиться!.. — Максим, должно быть, изменился в лице, ибо парень перестал улыбаться.

— Что вы хотите? — серьезно спросил он.

— Хочу тебе клизму поставить, молодой человек.

— Что вам надо?! — опять очень громко спросил парень, явно желая привлечь внимание других людей в аптеке.

Максим вышел на улицу, закурил. В душу вкралось отчаяние.

В одной очень большой аптеке Максим решительно направился к пышной, красивой женщине. Она выглядела приветливее других.

— Мне нужен змеиный яд, — сказал он.

— Нету, — ответствовала женщина.

— Тогда позовите вашего начальника.

Женщина удивленно посмотрела на него.

— Зачем?

— Я с ним потолкую.

— Не буду я его звать — незачем. Он вам не сможет помочь. Нет у нас такого лекарства.

Максим засмотрелся в ее ясные глаза. Ему захотелось вдруг обидеть женщину, сказать в се лицо какую-нибудь тяжкую грубость, чтобы ясные глаза ее помутились от ужаса. И не то вконец обозлило Максима, что яда опять нет, а

то, с какой легкостью, отвратительно просто все они отвечают это свое «нет».

— Позовите начальника! — потребовал Максим.

И тут, вместо того, чтобы грубо оскорбить женщину, Максим жалобным голосом вдруг сказал:

— У меня мать болеет.

Женщина оставила официальный тон.

— Ну нет у нас сейчас змеиного яда, я серьезно говорю. Я могу дать вам пчелиный. У нее что, радикулит?

— Ага.

— Возьмите пчелиный. Змеиный не всегда и нужен.

— Давайте, — Максиму было стыдно за свой жалобный тон. — Он тоже помогает?

— У вас рецепт есть?

— Нету.

— А как же?..

— Что?

— Без рецепта нельзя, не могу.

У Максима упало сердце.

— Это такой ма-аленький рецептик, да? Бумажечка такая...

Женщина невольно улыбнулась.

— Да, да. Рецепт выписывает врач, а мы...

— Дайте мне так, а... А я завтра принесу вам рецепт. Дайте, а?

— Не могу, молодой человек, не могу.

На улице Максим долго соображал, что делать. Даже если он и наткнется где-нибудь на змеиный яд, то без рецепта все равно не дадут. Это ясно. Надо сперва добыть рецепт.

По дороге домой зашел на почту и дал матери телеграмму: «А пчелиный яд надо? Максим».

Долго в ту ночь не мог заснуть Максим — думал о матери. Представил вдруг ее мертвой, да так ясно — гроб на столе, белая простыня, руки белые на груди... Он вскочил и сидя выкурил подряд две сигареты. Кое-как отвязался от страшного наваждения.

Занималось утро. Спокойно, все шире и вольнее растекался над городом свет, и как-то ближе и роднее стали казаться люди, которых очень много в этих каменных домах... И все-таки никому нет никакого дела, что у Максима болеет мать.

Он оделся и пошел на вокзал — к людям.

На вокзале выбрал себе местечко на диване, сел и стал наблюдать за пассажирами. И самому тоже захотелось вдруг ехать. И показалось, что он едет. За окном — поля, леса, деревеньки, все мелькает. А в деревнях — тоже люди. И так хорошо сделалось на душе, спокойно.

...Неожиданно прямо перед собой Максим увидел стеклянную дверь, завешенную изнутри марлей, а над дверью — табличка: «Медпункт». Он встал и пошел туда.

На белом стульчике, за белым столом, облокотившись, сидела белая старушка и дремала. Когда вошел Максим, она подняла голову.

— Здравствуйте, — сказал Максим.

— Ну, — ответила старушка. — Чего?

— Мне рецепт надо.

— Какой рецепт?

— На змеиный яд.

Старушка не поняла.

— На какой змеиный яд?

Максима толкнула в грудь надежда: старушка хочет спать и, чтобы отвязаться, подмахнет рецептик.

— На змеиный яд — лекарство такое.

— Я не выписываю рецептов.

— А кто выписывает?

— Врач.

— А когда он будет?

— В девять, — старушка начала терять терпение. — А для чего те рецепт-то?

— А вы не врач?

— В больницу надо идти за рецептом. А мы не лечим.

— Так это ж медпункт?

— Ну и что, что медпункт. Мы — по травмам. Или сердце у кого... В больницу надо идти.

— А у вас печать есть? Больничная...

Старушка рассердилась.

— Тебе чего надо-то? Что ты привязался ко мне?

— Ладно, спи.

Максим вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

В девять часов он пошел на стройку, отпросился с работы и направился в поликлинику.

В белой стеклянной стенке — окошечко, за окошечком — белая девушка. Она долго «заводила» на Максима

карточку, потом подала ему талончик. Максим посмотрел — четырнадцатая очередь, на тринадцать тридцать.

— А поближе нету?

— Нет.

— Девушка, милая... — Максим почувствовал, что опять начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не мог. — Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. Пожалуйста.

Девушка не глядя на него порылась в талончиках, выбрала один, подала Максиму. И тогда только посмотрела на него. Максиму показалось, что она усмехнулась.

«Милая ты моя, — думал растроганный Максим. — Смейся, смейся — талончик-то вот он». Его очередь была шестой, на одиннадцать часов. У кабинета врача сидело человек десять больных; Максим присел рядом с пожилым мужчиной, у которого была такая застойная тоска в глазах, что, глядя на него, невольно думалось: «Все равно помрем все».

«Прижало мужика», — подумал Максим. И опять вспомнил о матери и стал с нетерпением ждать доктора.

Доктор пришел. Мужчина, еще молодой.

Вышла из кабинета женщина и спросила:

— У кого первая очередь?

Никто не встал.

— У меня, — сказал Максим и почувствовал, как его подняла какая-то сила и повела в кабинет.

— У вас первая очередь? — спросил его мужчина с тоской в глазах.

— Да, — твердо сказал Максим и вошел в кабинет совсем веселым и, как ему показалось, очень ловким парнем.

— Что? — спросил доктор, не глядя на него.

— Рецепт, — сказал Максим, присаживаясь к столу.

Доктор чего-то хмурился, не хотел подымать глаза.

— Какой рецепт? — доктор все перебирал какие-то бумажки.

— На змеиный яд.

— А что болит-то? — доктор поднял глаза.

— Не у меня. У меня мать болеет, у нее радикулит. Ей врачи посоветовали змеиным ядом.

— Ну, так?..

— Ну а рецепта нету. А без рецепта, вы сами понимаете, никто не даст, — Максиму казалось, что он очень толково все объясняет. — Поэтому я прошу: дайте мне рецепт.

Доктора что-то заинтересовало в Максиме.

— А где мать живет?

— В Сибири. В деревне.

— Ну?.. И нужен, значит, рецепт?

— Нужен, — Максиму было легко с доктором: доктор нравился ему.

Доктор посмотрел на сестру.

— Раз нужен, значит, дадим. А, Клавдия Николаевна?

— Надо дать, конечно.

Доктор выписал рецепт.

— Он ведь редко бывает, — сказал он. — Съезди в двадцать седьмую. Знаешь где? Против кинотеатра «Прибой». Там может быть.

— Спасибо, — Максим пожал руку доктору и чуть не вылетел на крыльях из кабинета — так легко и радостно сделалось.

В двадцать седьмой яда не было.

Максим подал рецепт и, затаив дыхание, смотрел на аптекаря.

— Нет, — сказал тот и качнул седой головой.

— Как «нет»?

— Так, нет.

— Так у меня же рецепт... Вот же он, рецепт... Вот же он, рецепт-то!

— Я вижу.

— Да ты что, батя? — с таким отчаянием сказал Максим. — Мне нужен этот яд.

— Так нет же его, нет — где же я его возьму? Вы же можете соображать — нет змеиного яда.

Максим вышел на улицу прислонился спиной к стене, бессмысленно стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все шли и шли нескончаемым потоком... А Максим все смотрел и смотрел на них и никак о них не думал.

Потом еще одна мысль пришла в голову Максиму. Он резко качнулся от стены и направился к центру города, где жил его брат.

Квартира у Игната премиленькая. На стенах множество фотографий Игната; и так и эдак сидит Игнаха — самодовольный, здоровый, — напряженно улыбается.

Максима встретила жена Игната, молодая крупная женщина с красивым, ничего не выражающим лицом. Привстала с тахты...

— Здравствуй, Тамара, — поздоровался Максим.

— Здравствуй.

Максим сел в кресло, на краешек.

— Ты что, не работаешь сегодня? — спросила Тамара.

— Отпросился, — откликнулся Максим, доставая сигареты. — Можно я закурю?

— Кури, я сейчас окно открою.

С улицы в затхленький уют квартиры ворвался шум города.

Максим склонился руками на колени.

— Ты чего такой? Заболел?

— Нет, — Максим распрямился. — У тебя знакомых аптекарей нет? Или врач, может?..

— Н-нет... А зачем тебе?

— Мать у нас захворала. Надо бы змеиный яд достать, а его нигде нету. Весь город обошел — нигде нету.

— А что с ней?

— Радикулит, гад такой.

— Нет у меня таких знакомых. Может, у Игната?..

— Он скоро приедет?

— А он не уезжал никуда.

— Как?.. А мне мать написала...

— Они хотели ехать... в Болгарию, кажется, а потом отменили. Он там сейчас — в цирке.

— Я тогда пойду к нему, — Максим встал.

— Ты что-то не заходишь к нам?..

— Да все некогда... Ну, пока.

— Господи, Максим!.. Я совсем забыла сказать: мы же завтра домой едем. Туда — к вам.

— Да?

— Конечно.

Максим долго стоял в дверях, смотрел на Тамару.

— У нас Степан пришел, — к чему-то сказал он.

— Это который в тюрьме был?

Максим улыбнулся.

— Он один у нас...

— Ну да, я понимаю. Он пришел, да?

— Ага, пришел. А вы когда едете?

— В восемь, кажется.

— Я, наверно, успею проводить.

— Приходи, конечно, — разрешила Тамара.

— Ну, пока — до завтра.

— До свиданья.

ИГНАТ

Вахтер в цирке поднялся навстречу Максиму.

— Вам к кому?

— К Воеводину Игнату.

— У них репетиция идет.

— Ну и что?

— Репетиция!.. Как «что»? — вахтер вознамерился не впускать.

— Да пошли вы! — обозлился Максим, легко отстранил старика и прошел внутрь.

Прошел пустым, гулким залом.

На арене, посредине, стоял здоровенный дядя, а на нем, одна на другой, — изящные, как куколки, молодые женщины.

— Але! — возгласил дядя. Самая маленькая женщина на самом верху встала на руки. — Гоп! — приказал дядя. Маленькая женщина скользнула вниз головой.

Максим замер.

Дядя поймал женщину. И тут с него посыпались все остальные.

Максим подошел к человеку, который бросал в стороне тарелки.

— Как бы мне Воеводина тут найти?

Человек поймал все тарелки.

— Что?

— Мне Воеводина надо найти.

— На втором этаже. А зачем?

— Так... Он брат мой.

— Вон по той лестнице — вверх, — человек снова запустил тарелки в воздух.

Игнат боролся с каким-то монголом. Монгол был устрашающих размеров.

— Э-ээ... Друг ситцевый! — весело орал Игнат. — У нас так не делают. Куда ты коленом-то нажал?!

— Сево? — спросил монгол.

— «Сево, сево!» — передразнил сердито Игнат. — На душу, говорю, наступил! Дай-ка я тебе разок так сделаю...

Монгол взвыл.

— А-а!.. Дошло?

Игнат слез с монгола.

— Максим!.. Здорово. Ну, иди, погуляй пока, — сказал он монголу. — Я с брательником поговорю. Здоровый, бугай, а бороться не умеет.

— Неужели ты его одолеешь! — усомнился Максим.

— Хошь, покажу?

— Да ну его. Игнат, я письмо получил из дома...

Пошли в уборную Игната.

— ...Але! — возвещает дядя на манеже. — Гоп! — маленькая женщина опять бесстрашно скользит вниз.

Человек с испитым лицом бросает вверх тарелки и поет под нос (для ритма, должно быть):

...Или я не сын страны, —
Или я за рюмку водки
Не закладывал штаны...

Какой-то шут гороховый кричит в пустой зал:

— А чего вы смеетесь-то? Чего смеетесь-то? Тут плакать надо, а не смеяться. Во!

— Ну, как они там? Я ж еду завтра к ним! — вспомнил Игнат.

— Мать захворала...

— Но? Что с ней?

— Радикулит. Степка пришел.

— Пришел? Ну, это хорошо. А отец как? Верка...

— Игнат, надо достать змеиного яда. Матери-то. Я второй день хожу по городу — нигде нету.

— Змеиный яд... Это лекарство, что ли?

— Но.

— Тэк, тэк, тэк... — задумался Игнат. — Счас я отпущу своего чайболсана и пойдем ко мне. Попробую дозвониться до кого-нибудь.

Игнат ушел.

Максим стал рассматривать фотографии брата на стенах. Их тут было великое множество — Игнат так, Игнат эдак:

сидит, стоит, борется, опять стоит и улыбается в аппарат. Лента через плечо, на ленте медали.

— ...Ну а ты как живешь? — вернулся Игнат. Стал одеваться.

— Ничо.

— Все на стройке вкалываешь?

— На стройке.

— Эхх... Максим, Максим...

— Ладно, брось про это.

— Чего «брось»-то? Чего «брось»-то? Жалко же мне тебя, дурака. Упрямый ты, Максим, а — без толку. Так и загнешься в своем общежитии!

— Загнусь — схоронишь. И все дело.

— Дело нехитрое. А ты лучше подумай — как не пропасть! Такой красивый парнина, а...

— На квартире жениться?

— Да не на квартире, а — нормально, чтобы не бегать потом друг к другу из общежития в общежитие. Что, Нинка — плохая баба?

— Для тебя, может, хорошая, для меня — нет. Вообще, не суйся в мои дела.

— Ох ты, господи!.. «Дела»... Пошли.

Опять прошли пустым залом.

— Как жизнь, Савелий Иваныч? — покровительственно-снисходительно спросил Игнат у вахтера. Игната просто не узнать: в шикарном костюме, под пиджаком нарядный свитер, походка чуть вразвалочку — барин.

Вахтер заулыбался.

— Спасибо, Игнат Ермолаич. Хорошо.

— От это правильно! — похвалил Игнат.

Пошли к троллейбусу.

— Мне же тебе помочь охота, дура. Давай разберемся...

— Сам разберусь.

— Вижу, как ты разбираешься. Два года на стройке вкалывать, и все разнорабочим. Разобрался, называется, что к чему.

— Чем же моя работа хуже твоей?

— Ну, конечно, — научили. У тебя своя-то башка должна быть на плечах или нет?

Они разговаривают мирно, не привлекая ничьего внимания.

Сели в троллейбус.

Игнат оторвал билеты. Сели на свободное сиденье.

— Ведь тебе уж, слава те господи, двадцать пять. А ты еще — ничем ничего: штанов лишних нету. Заколачиваешь девяносто рублей — и довольный. Устроился бы по-человечески — хоть вздохнул бы маленько. А то ведь на себя не похож стал. Я ж помню, какой ты в солдатах ко мне приходил — любо поглядеть.

Сошли с троллейбуса, пошли двором к подъезду.

— Там, глядишь, курсы бы какие-нибудь кончил... Жить надо начинать, Максим. Пора.

Стали подниматься в лифте.

— Я старше вас и больше вашего хлебнул. Поэтому и говорю вам... А вы — что Степан, что ты — упретесь как бараны и ничего слушать не желаете.

Приехали.

Игнат позвонил.

Открыла Тамара.

— Цыпонька! Лапочка!.. Что же ты сидишь-то? Я думал, у тебя тут дым коромыслом. Надо ж собираться в дорогу-то!

— А у меня все собрано.

— А подарки! Верке-то надо взять чего-нибудь. Давай, давай, а то магазины закроют, останемся на бобах, Быстро! Не скупись — платье какое-нибудь.

Тамара стала одеваться.

— Вот сапоги купил тяте! — похвалился Игнат. — Глянь. Обрадуется старик. А это шаль — матери... Она здорово хворает-то?

— Лежит. Ногу, говорит, к затылку подводит.

Игнат сел к телефону. Заговорил миролюбиво:

— Я хочу, чтоб Воеводины жили не хуже других. Что, мы у бога телка съели, чтоб нам хуже других жить? Чтоб собрались мы, допустим, с тобой на праздник погулять, так не хуже разных там... Чтоб семьи были — все честь по чести. А то придешь — голодранец голодранцем, аж совестно...

— Если совестно, не якшайся, никто тебя не заставляет.

— Алле! — заговорил в трубку Игнат. — Коля? Коль... у меня мать, оказывается, приболела... Ты бы не мог там достать змеиного яда... Ага. Ну-ка, поинтересуйся. Жду. Совестно, Максим, совестно — честно тебе говорю...

Максим резко встал и пошел к выходу.

— Куда ты?

Вместо ответа Максим крепко хлопнул дверью.

Так же решительно, как шел от двадцать седьмой аптеки, Максим пошел снова туда.

Подошел к старичку-аптекарю.

— Я к вашему начальнику пройду.

— Пожалуйста, — любезно сказал аптекарь. — Вон в ту дверь. Он как раз там.

Максим пошел к начальнику.

В кабинете заведующего никого не было. Была еще одна дверь, Максим толкнул в нее и ударил кого-то по спине.

— Сейчас, — сказали за дверью.

Максим сел на стул.

Вошел низенький человек, с усами, с гладко выбритыми, до сияния, жирненькими щеками, опрятный, полненький, лет сорока.

— Что у вас?

— Вот, — Максим протянул ему рецепт.

Заведующий повертел в руках рецепт.

— Не понимаю...

— Мне такое лекарство надо, — Максим поморщился — сердце защемило.

— У нас его нет.

— А мне надо. У меня мать хворает, — Максим смотрел на заведующего немигающими глазами: чувствовал, как глаза наполняются слезами.

— Но если нет, что же я могу сделать?

— А мне надо. Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу, гадов!

Заведующий улыбнулся.

— Это уже серьезнее. Придется найти, — он сел к телефону и, набирая номер, с любопытством поглядывал на Максима. Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно. Ему было стыдно, он жалел, что сказал последнюю фразу.

— Алле! — заговорил заведующий. — Петрович? Здоров. Я это, да. Слушай, у тебя нет... — тут он сказал какое-то непонятное слово. — Нет?

У Максима сдавило сердце.

— Да нужно тут... пареньку одному... Посмотри, посмотри... Славный парень, хочется помочь.

Максим впился глазами в лицо заведующего. Заведующий беспечно вытянул губы трубочкой — ждал.

— Да? Хорошо, тогда я подошлю его. Как дела-то? Мгм... Слушай, а что ты скажешь... А? Да что ты? Да ну?..

Пошел какой-то базарный треп: кто-то заворовался, кого-то сняли и хотят судить, какого-то Борис Михалыча. Максим смотрел в пол, чувствовал, что плачет, и ничего не мог сделать — плакалось. Он крепко устал за эти два дня. Он молил бога, чтобы заведующий подольше говорил, — может, к тому времени он перестанет плакать, а то хоть сквозь землю проваливайся со стыда. А если сейчас вытереть глаза, значит, надо пошевелиться и тогда заведующий глянет на него и увидит, что он плачет.

«Вот морда! Вот падла!» — ругал он себя. Он любил сейчас заведующего, как никого, никогда, наверное, не любил.

Заведующий положил трубку, посмотрел на Максима. Максим нахмурился, шаркнул рукавом пиджака по глазам и полез в карман за сигаретой. Заведующий ничего не сказал, написал записку, встал... Максим тоже встал.

— Вот по этому адресу... спросите Вадим Петровича. Не отчаивайтесь, поправится ваша мама.

— Спасибо, — сказал Максим. Горло заложило, и получилось, что Максим пискнул это «спасибо». Он нагнул голову и пошел из кабинета, даже руки не подал начальнику.

«Вот те ж морда!» — поносил он себя. Ему было стыдно, и он был очень благодарен начальнику.

На другой день рано утром к Максиму влетел Игнат. Внес с собой шум и прохладу политых асфальтов.

— Максим!.. Я поехал! Будешь провожать-то?..

Максим вскочил с кровати.

— Я быстро. А яд-то я достал вчера! Я сейчас...

— Давай. Только — одна нога здесь, другая там! — орал Игнат. — Пятнадцать минут осталось. Жена сейчас икру мечет в вагоне. Я тоже достал флакон.

— Она уже там, Тамара-то? — Максим прыгал по комнате на одной ноге, стараясь другой попасть в штанину.

— Там.

— Сейчас... мигом. Мы в магазин не успеем заскочить? Хотел тоже каких-нибудь подарков...

— Да ты что! — взревел Игнат. — Я что, по шпалам жену догонять буду?!

— Ладно, ладно...

Побежали вниз, в такси.

— Друг, — взмолился Игнат. — Десять минут до поезда. Жми на всю железку! Плачу в трехкратном размере.

Жена ждала Игната у вагона. Оставалось полторы минуты. Она вся изнервничалась.

— Игнат, это... это черт знает что такое, — встретила она мужа со слезами на глазах. — Я хотела чемоданы выносить.

— Порядок! — весело гудел Игнат. — Максим, пока! Крошка, цыпонька, — в вагон.

Поезд тронулся.

— Будь здоров, Максим!

Максим пошел за вагоном.

— Игнат, передай там: я, может, тоже скоро приеду! Не забудь, Игнат!

— Не-ет!

Максим остановился.

Поезд набирал ходу.

Максим опять догнал вагон и еще раз крикнул:

— Не забудь, Игнат: скажи — приеду!

— Передам!

Надо было уже бежать за вагоном.

— Игнат, скажи!..

Но Игнат уже не слышал.

Уже расходились с перрона люди.

А Максим все стоял и смотрел вслед поезду.

...Уже никого почти не осталось на перроне, а Максим все стоял. Смотрел в ту сторону, куда уехал брат. Там была Родина.

Летит степью поезд.

Кричит...

...Игнат пинком распахнул ворота, оглядел родительский двор и гаркнул весело:

— Здорово, родня!

Тамара, стоящая за ним, сказала с упреком:

— Неужели нельзя потише?.. Что за манера, Игнатий!

— Ничего-о, — загудел Игнат. — Сейчас увидишь, как обрадуются. Э-э... А дом-то новый у них! Я только счас заметил. Степка с отцом развернулись...

Из дома вышел Ермолай Воеводин... Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза.

— Игнаха, хрен моржовый, — сказал он и пошел навстречу Игнату.

Игнат бросил чемодан... Облапили друг друга, трижды крест-накрест — поцеловались. Ермолай опять вытер глаза.

— Как надумал-то?

— Надумал...

— Сколько уж не был! Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь?.. В спину что-то вступило... — отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться. О Тамаре совсем забыли.

Она улыбалась и с интересом рассматривала старика.

— А это жена, что ли? — спросил наконец Ермолай.

— Жена, — спохватился Игнат. — Познакомься.

Женщина подала старику руку... Тот осторожно пожал ее.

— Тамара.

— Ничего, — сказал Ермолай, окинув оценивающим взглядом Тамару. — Красивая.

— А?! — с дурашливой гордостью воскликнул Игнат.

— Пошли в дом, чего мы стоим тут! — Ермолай первым двинулся к дому. — Степка-то наш пришел, окаянная душа.

— Как мне называть его? — тихо спросила Тамара мужа. Игнат захохотал.

— Слышь, тять!.. Не знает, как называть тебя, — сказал он. Ермолай тихо засмеялся.

— Отцом вроде довожусь, — он взошел на крыльцо, заорал в сенях: — Мать, кто к нам приехал-то?

В избе, на кровати, лежала мать Игната. Увидела Игната, заплакала.

— Игнаша, сынок... приехал?

Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемодан. Гулкий, сильный голос его сразу заполнил всю избу.

— Шаль тебе привез... пуховую. А тебе, тять, — сапоги. А это — Верке. А это — Степке. Все тут живы-здоровы?..

Отец с матерью, для приличия снисходительно сморщившись, с интересом наблюдали за движениями сына — он все доставал и доставал из чемодана.

— Все здоровы. Мать вон только... — отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щипать, мять, поглаживать добротный хром. — Ничего товар... Степка износит. Мне уж теперь ни к чему такие.

— Сам будешь носить. Вот Верке еще на платье, — Игнат выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним. — Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас. Как Степка-то?

— Соскучился, так раньше бы приехал.

— Дела, тятя.

— «Дела»... — отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына. — Какие уж там дела-то!

— Ладно тебе, отец, — сказала мать. — Приехал — и то слава богу.

— Ты говоришь — какие там дела! — заговорил Игнат, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца. — Как тебе объяснить?.. Вот мы, русские, — крепкий ведь народишко! Посмотришь на другого — черт его знает!.. — Игнат встал, прошелся по комнате. — Откуда что берется! В плечах — сажень, грудь как у жеребца породистого — силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, выступить где-то на соревнованиях — боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. О культуре тела — никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее.

С последними словами Игнат обратился к жене.

Тамара заскучала и стала смотреть в окно.

— ...Поэтому, тятя, как ты хошь думай, но дела у меня важные. Поважнее Степкиных.

— Ладно, — согласился отец. Он слушал невнимательно. — Мать, где там у нас?.. В лавку пойду...

— Погоди, — остановил его Игнат. — Зачем в лавку? Вот и эту привычку тоже надо бросать русскому народу: чуть что — сразу в лавку, — но отец так глянул на него, что он сразу отступил, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол. — На деньги.

Отец обиженно приподнял косматые брови.

— Ты брось тут, Игнаха... Приехал в гости, — значит, сиди помалкивай. Что у нас, своих денег нету?

Игнат засмеялся.

— Ты все такой же, отец.

— Какой?

— Ну... такой же.

— Да ладно вам — сцепились. Что вас лад-то не берет? — вмешалась мать. — Иди в лавку-то. Пошел — дак иди.

Ермолай ушел.

— Сынок... не хотела уж при им спрашивать: как там Максим-то?

— Максим?.. Честно говорить?

— Господи, ну дак а как же?

— Плохо.

Мать вздохнула.

— А что шибко-то плохо?

— Плохо, потому что дурак... И не слушается. Причем... колосс — сильный, конечно, парень... Приходит как-то с девушкой — ничего, хорошая девушка... — Игнат повернулся к жене. — А? Нинка-то.

— Да.

— Двухкомнатная квартира с удобствами, в центре — это же!.. Ну, думаю, поумнел парень. Вызвал его на кухню. «Ты, — говорю, — опять не сваляй дурака». А девка — без ума от него. Ну и что? Через неделю — конец: горшок об горшок — и кто дальше. Наш Макся затеял. Она мне звонила потом, девка-то. Чуть не плачет. «Вы, — говорит, — скажите ему Игнатий Ермолаич, чтобы он не уходил». Скажи ему — хлопнет дверью и поминай как звали.

Матери тяжело было слышать все это про младшего сына. Она не разбиралась в перипетиях дел городских сыновей, ей было горько за младшего.

— Осподи, осподи, — опять вздохнула она. — Помог бы уж там ему как-нибудь.

— Да не хочет! — искренне воскликнул Игнат. — Ну, скажи ей: не стараюсь, что ли!

— Это верно... мамаша: он не хочет никого слушать.

— Отцу-то уж не говорите про него.

В сенях загремело ведро. Шаги...

— Верка идет, — сказала мать.

— Она где работает-то?

— Дояркой.

Вошла немая... Всплеснула руками, увидела брата, кинулась к нему. Расцеловала.

— От она... От мы как. От как, — приговаривал Игнат, чуть уклоняясь от поцелуев. — От мы как брата любим... Ну та... Ну, хватит... Познакомься вот с женой моей.

Вера поглядела на Тамару. «Спросила»: «Вот это твоя жена?»

— Ну. А что?.. — Игнат показал: «Хорошая?»

Вера закивала головой и начала целовать Тамару. Тамара улыбалась смущенно.

— Пойдемте, я вам платье привезла, — сказала она. Вера не поняла.

— Верка, иди в горницу — платье мерить.

Вера всплеснула руками и запрыгала по избе, счастливая. Все были довольны.

— Да хватит скакать-то! — притворно рассердилась мать. — Прям уж обрадуется, так удержу нету.

Тамара с немой ушли в горницу.

— Так у тебя что со здоровьем-то? Да! Я ж лекарство привез — змеиный яд-то, ты просила.

— Вот хорошо-то, сынок, спасибо тебе... Может, подымусь теперь. Радикулит — измучилась вся. А сказали тут...

Пришел Ермолай.

— А Степан все плотничет? — продолжал расспрашивать Игнат, расхаживая по прихожей избе.

Отвечал теперь отец:

— Плотничает, ага. Коровник счас рубют. Ничо, хорошо получают. Этта девяносто рублишек принес. Куда с добром!

— Не закладывает?

— Бывает маленько... Так ведь оно что — дело холостое. Соберутся с ребятами, заложут.

— Жениться-то собирается?

— А мы знаем? Помалкивает. Да женится... куда денется... Садись, пока суть да дело — пропустим маленько.

— Подождали бы Степку-то.

— Мы по маленькой... Садись.

Из горницы вышла немая в новом платье. Вышла торжественная и смотрела на всех вопросительно и удивленно. И в самом деле, она сделалась вдруг очень красивой. Молча смотрели на нее. Она прошлась раз-другой... сама не выдержала важности момента, опять запрыгала, поцеловала брата. Потом побежала в горницу, привела Тамару и стала по-

казывать ее всем и хвалить — какая она добрая, хорошая, умная.

Тамаре неловко стало.

Игнат был доволен.

Вера потащила Тамару на улицу, мыча ей что-то на ходу

...Выпили маленько.

Ермолай склонился головой на руки, сказал с неподдельной грустью:

— Кончается моя жизнь, Игнаха. Кончается, мать ее... А жалко.

— Почему такое пессимистическое настроение?

Отец посмотрел на сына.

— А ты, Игнат, другой стал, — сказал он. — Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно.

Игнат смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал.

— Ты вот давеча вытащил мне сапоги... Спасибо, сынок! Хорошие сапоги...

— Не то говоришь, отец, — сказал Игнат. — При чем тут сапоги?

— Не обессудь, если не так сказал, — я старый человек. Ладно, ничего. Степка скоро придет, брат твой... Он плотничает. Ага. Но, однако, он тебя враз сломит, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Степана. Куда там...

Игнат засмеялся: к нему вернулась его необидная веселость-снисходительность.

— Посмотрим, посмотрим, тятя.

— Давай еще по маленькой, — предложил отец.

— Нет, — твердо сказал Игнат.

— Вот сын какой у тебя! — не без гордости заметил старик, обращаясь к жене. — Наша порода — Воеводины. Сказал «нет», — значит, все. Гроб. Я такой же был. Вот Степка скоро придет.

— Ты, отец, разговорился что-то, — урезонила жена старика. — Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те чего мелет. Не слушай ты его, брехуна, сынок.

Пришли Вера с Тамарой. Тамара присела к столу, а Вера начала что-то «рассказывать» матери. Мать часто повторяла: «Ну, ну... Батюшки мои! Фу ты, господи!»

— Не такой уж ты стал, Игнаха. Ты не обижайся, — повернулся он к Тамаре. — Он сын мне. Только другой он стал.

— Перестал бы, отец, — попросила мать.

— Ты лежи, мать, — беззлобно огрызнулся старик. — Лежи себе, хворай. Я тут с людями разговариваю, а ты нас перебиваешь.

Тамара поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко.

Игнат тоже встал... Завели патефон. Поставили «Грушицу».

Все замолчали. Слушали.

Старший Воеводин смотрел в окно, о чем-то невесело думал.

Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, прошло стадо. Корова Воеводиных подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом — не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня — думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло праздника? Сын приехал какой-то не такой... В чем не такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то.

— Сейчас Степка придет, — сказал он. Он ждал Степку. Зачем ему нужно было, чтобы скорее пришел Степка, он не знал.

Молодые ушли в горницу, унесли с собой патефон. Игнат прихватил туда же бутылку красного вина и закуску.

— Выпью с сестренкой, была не была! Хотя вредно, вообще-то.

— Давай, сынок, это ничего. Это полезно, — миролюбиво сказал отец.

Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игната. Пришло несколько родных. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел снисходительный могучий бас Игната, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игната сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кульками.

— Сейчас Степка придет, — сказал старик. Не было у него на душе праздника, и все тут.

Пришел наконец Степка. Загорелый, грязный...

— Игнаша наш приехал, — встретил его отец.

— Я уж слышал, — сказал Степан, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами.

Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его:

— Погоди, тять, дай я хоть маленько сполоснусь. А то неудобно даже.

— Ну, давай, — согласился отец. — А то верно — он нарядный весь, как это... как артист.

И тут из горницы вышел Игнат с женой.

— Брательник! — заревел Игнат, растопырив руки. — Степка! — и пошел на него.

Степка засмеялся, переступил с ноги на ногу, — видно, застеснялся Тамары.

Игнатий облапил его.

— Замараю, слушай, — Степка пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал.

— Ничего-о!.. Это трудовая грязь, братка! Дай поцелую тебя, окаянная душа! Соскучился без вас.

Братья поцеловались.

Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились светлые, крупные слезы. Он вытер их и громко высморкался.

— Он тебе подарки привез, Степка, — громко и хвастливо сказал он, направляясь к чемоданам.

— Брось, тятя, какие подарки! Ну, давай, что ты должен делать-то? Делай скорей! Выпьем сейчас с тобой! Вот! Видела Воеводиных? — Игнат легонько подтолкнул жену к брату. — Знакомьтесь.

Степка даже покраснел — не знал: подавать яркой женщине грязную руку или нет. Тамара сама взяла его руку и крепко пожала.

— Он у нас стеснительный перед городскими, — пояснил отец. — А мне — хоть бы хны!

Степка осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся: готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца.

— Тятя... скажет тоже.

— Иди умывайся, — подсказал отец.

— Да, пойду маленько... того... — обрадовался Степан. И пошел в сени. Игнат двинулся за ним.

— Пойдем, полью тебе по старой памяти.

Отец тоже вышел на улицу.

Умываться решили идти на Катунь — она протекала под боком, за огородами.

— Искупаемся, — предложил Игнат и похлопал себя ладонями по могучей груди.

Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве. Отец — сзади сыновей.

— Ну, как живете-то? — басил Игнат, шагая вразвалку между отцом и братом. Он все-таки изрядно хватил там, с друзьями.

Степка улыбался. Он был рад брату.

— Ничего.

— Хорошо живем! — воскликнул отец. — Не хуже городских.

— Ну и слава богу! — с чувством сказал Игнат. — Степан, ты, говорят, нагулял тут силенку?

— Какая силенка!.. Скажешь тоже. Как ты-то живешь?

— Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена моя вам? Тять?

— Ничего. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего.

— Хорошая баба, — подхватил Игнат. — Человек хороший.

— Шибко нарядная только. Зачем так?

Игнат оглушительно захохотал.

— Обыкновенно одета! По-городскому конечно. Поотставали вы в этом смысле.

— Чего-то ты много хохочешь, Игнат, — заметил старик, — как дурак какой.

— Рад, поэтому смеюсь.

— Рад... Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Степка вон не рад, что ли? А он улыбается — и все.

— Ты когда жениться-то будешь, Степка? — спросил Игнат.

— Не уйдет, куда торопиться.

Пришли к реке.

Игнат первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул.

— Мать честная! Вот это водичка!

— Что? — Степан тоже разделся. — Холодная?

— Ну-ка, ну-ка? — заинтересовался Игнат. Подошел к брату и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца. Степка терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, улыбался.

— Есть, — закончил Игнат. — Есть, братишка. Давай попробуем?

— Да ну! — Степка недовольно тряхнул волосами.

— А чего, Степка? Поборись! — отец с укором смотрел на младшего. — Не под бабой лежать...

— Бросьте вы, на самом деле, — упрямо и серьезно сказал Степка. — Чего ради сгребемся? На смех людям?

— Тьфу! — рассердился отец. — Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то телок у нас — всего стесняется.

— А чего тут стесняться-то! Если б мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно.

— Объясни вот ему!

Степка нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками; вода вскипала под ним.

— Силен! — с восхищением сказал Игнат.

— Я же тебе говорю! Он бы тебя уложил.

— Не знаю, — не сразу ответил Игнат. — Силы у него больше, это ясно.

Отец сердито высморкался на песок.

Игнат постоял еще немного и тоже полез в воду.

А отец пошел вниз по реке, куда выплывал Степка.

Когда тот вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо разговаривали. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки. Игнат подплыл к ним, они замолчали.

Игнат вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова.

— Катунь-матушка, — негромко сказал он.

Степка и отец тоже посмотрели на реку.

На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью; ослепительно белели ее тупые круглые коленки.

— Юбку-то опусти маленько, ай! — крикнул старик.

Баба подняла голову, посмотрела на Воеводиных и продолжала молотить вальком белье.

— Вот халда! — с возмущением негромко сказал старик. — Хоть бы хны ей!

Братья стали одеваться.

Хмель у Игната прошел. Ему что-то грустно стало.

— Чего ты такой? — спросил Степка, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.

— Не знаю. Так просто.

— Не допил, поэтому, — пояснил старик. — Ни два ни полтора получилось.

— Черт его знает. Не обращайте внимания. Давайте посидим, покурим...

Сели на теплые камни... Долго молчали, глядя на волны.

Солнце село на той стороне, за островами. Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое... Игнат присмирел.

— Что, Степа? — негромко сказал он.

— Ничего, — Степка бросил камешек в воду.

— Все строгаешь?

— Строгаем.

Игнат тоже бросил в воду камень. Помолчали.

— Жена у тебя хорошая, — сказал Степан. — Красивая.

— Да? — Игнат оживился, с любопытством, весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно: — Ничего. Тяте вон не нравится.

— Я не сказал, что не нравится, чего ты зря? — старик неодобрительно посмотрел на Игната. — Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.

Игнат захохотал.

— Ты у нас приблатненный, тять! Ты знаешь, что такое фартовая-то?

Отец отвернулся к реке, долго молчал — обиделся. Потом повернулся к Степке и сказал сердито:

— Зря ты не поборолся с ним. Ну, хоть в ухо стукнитесь?

— Вот привязался! — удивился Степка. — Ты что?

— Заело что-то тятю, — сказал Игнат. — Что-то не нравится ему.

— Что «не нравится»? — повернулся к нему отец.

— Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.

— Ты шибко грамотный стал, прямо спасу никакого нет. Все ты видишь, все понимаешь!

— Будет вам! — сказал Степка. — Чего взялись. Нашли время...

— Да ну его! — отец высморкался и полез за кисетом. — Приехал, расхвастался тут... Подарков навез, подумаешь!

Игнат даже растерялся.

— Тять, да ты что, на самом деле?

Степан незаметно толкнул его в бок — «не лезь».

— А то — уехали, на метре там разъезжают!.. «Хорошо живем!» Ну и живите, хрен с вами! Тот дурак молодой — тоже... Чего ты его сманил туда, Максима-то? Что он там ошивается? Гнать его надо оттуда, а ты подучиваешь, как ему скорей квартиру с сортиром получить. Умник!

— Ну и тут тоже — не рай, — рассердился и Игнат. — Что он тут будет делать, молодой парень? Ни выйти никуда...

— А Степка что делает?

— И Степке, думаю, не сладко... Привык просто. Не велика услада — топором всю жизнь махать.

— Дак если уж вы там такие умные стали — приезжайте, садитесь на машины да работайте. Вон их сколько!.. Город без вас не обедняет, я думаю. И жизнь счас здесь вовсе не такая уж захирелая. Самим ее надо делать, а не гоняться за рублем сломя голову. Или вы на готовенькое приедете? Трепачи!.. Да еще хвастаются приезжают... Подарки везут. Нужны они мне, твои подарки, как гармошка попу. Поп, он с кадилой проживет, а мы без твоих хромовых сапог обойдемся.

— Ну, тять... я не знаю. Я хотел как лучше...

— «Лучше»... Умные люди делом занимаются — вот это лучше. А ты дурочку валяешь. И не совестно? Сильный, дак иди вон лес валить — там нуждаются. Кто ее тебе дал, силушку-то? Где ты ее взял?.. Здесь? Здесь и тратить надо. А ты — хвост дудочкой и завеялся в город: смотрите, какой я сильный! Бесстыдник! Дед твой был бы живой, он бы тебе показал силу. Он бы тебя в узелок завязал с твоей силой, хоть и старик был. У него вот была сила! Дак его добром люди споминают, не зря прожил. А ты только людей смешить ездишь по городам. «Культура тела»! Он вот зря не хочет стукнуться с тобой, — Ермолай показал на Степана, — а то бы ты улетел со своей культурой тела... в воду вон.

— Ну, хватит, — Степан поднялся. — Тять, пошли домой.

— У тебя деньги есть? — спросил тот.

— Есть. Пошли.

Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропке, ведущей к огородам.

Игнат и Степан шли сзади.

— Чего он? — Игната не на шутку встревожило настроение отца...

— Так... Ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь.

— Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним песни?

— Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он... Пройдет.

Опять шли огородом друг за другом, молчали. Игнат шел за отцом, смотрел на его сутулую спину.

— У него, что, слушай, — действительно одно плечо ниже или пиджак так идиотски пошит? — спросил Игнат тихонько.

Степан посмотрел на отца, пожал плечами.

— Не знаю. Что-то не замечал...

...Утро. Степан с отцом вкапывали на дворе большой воротный столб.

Подошли плотники с топорами и ножовками за поясами.

Поздоровались.

— Чего это вы? — спросил один из плотников. — С утра пораньше...

Ермолай нахмурился и ничего не сказал. Степан усмехнулся.

— Братень вчера силенку пробовал.

— Неужели выдернул? Не может быть...

Ермолай строго посмотрел на того, кто усомнился.

— Может, попробуешь поборешься с ним?

— Из меня борец...

— Он с женой приехал?

— С женой, — ответил Степан. — Жена мировая.

— Здорово гульнули вчера?

— Маленько гульнули, — хотел037 соскромничать Ермолай и тут же добавил: — Ефим Галюшкин на карачках домой ушел. Седня прибежал похмеляться, говорит: все руки вчера отдавили.

Посмеялись.

— Ну-ка, помогите.

Взялись за столб, подняли насколько можно и всадили в ямку.

— Будь здоров, Игнаха, — сказал при этом один из плотников. — Валяй на здоровье городских силачей, чтоб знали наших. Ермолай разгладил бороду.

— У его шешнадцать орденов одних, — сказал он. — Вчера фотокарточку показывал.

— Медалей, — поправил Степан.

— Ну — медалей. Какого-то немца так, говорит, приложил — у того аж в пояснице что-то хрустнуло. Весь в меня, подлец. Я в парнях когда был, одного сосняковского мужика задел, подрались чего-то с ними, — он весь свой век одним ухом не слышит. А счас вот...

— Ну, доделаешь тут, — сказал Степан. — Пойду, — он пошел в дом за топором.

— Красивая, говоришь, жена?

— Да им глянется, а мне что?.. Восемьдесят рублишек ухнули вчера, — опять вернулся Ермолай к волнующей его теме. — Было дело.

— А где жена-то работает? Тоже циркачка?

— А шут ее знает, я не спросил. Ничо, уважительная бабенка. Меня — «папаша», «папаша»... Весь вечер от меня не отходила. Одетая с иголочки. Спят ишо, — Ермолай кивнул на дом.

Вышел Степан. Улыбался.

— Проснулся. Рассол дует.

Еще когда мужики только подошли, из дома вышла немая Вера, увидела посторонних, вернулась, надела вчерашнее дареное платье и прошлась по двору, вроде по делу. Потом ушла в дом, опять сняла его и пошла на работу в своем обычном.

...Шли по улице неторопливо. Разговаривали.

— Про Москву-то рассказывал? — все пытали Степана.

— Говорил маленько...

— А вот чо, правда или нет, говорят, на Кремле-то часы величиной с колесо? — спросил один невысокий, болезненный на вид мужичок.

— Я слыхал — больше, — возразил другой.

— Дык тогда какую же надо пружину, чтоб они ходили?

— Может, они не от пружины ходют. Может, специально движок какой-нибудь есть.

Немая, которая шла с ними вместе, свернула в переулок.

Под селом, из-за гор, вставало огромное солнце.

Там и здесь хлопали калитки, выходили на работу...

Ночью прошел небольшой дождик. Умытая земля парила под первыми лучами, дышала всей грудью.

Идут улицей плотники — строить.

СТРАННЫЕ ЛЮДИ

ЧУДИК

Рано утром Чудик шагал по селу с чемоданом.

— К брательнику, поближе к Москве! — отвечал он на вопрос, куда это он собрался.

— Далеко, Чудик?

— К брательнику, отдохнуть. Надо прошвырнуться.

При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали.

Но до брата было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам — конфет, пряников...

Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот — без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала.

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада и отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-то глянул по полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит... Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

«Наверно, тот, в шляпе», — сказал сам себе Чудик.

Решили положить бумажку на видное место, на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!»

Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане. Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то! Зараза ты, зараза...

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать:

— Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотенную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету.

Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

— Да почему же я такой есть-то? — горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... и не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

...Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

— Это... я деньги потерял, — при этом курносый нос его побелел. — Пятьдесят рублей.

У жены отвалилась челюсть. Она заморгала; на лице появилось просительное выражение: может, он шутит? Да нет, эта лысая скважина (Чудик был не по-деревенски лыс) не посмела бы так шутить. Она глупо спросила:

— Где?

Тут он невольно хмыкнул.

— Когда теряют, то, как правило...

— Ну, не-нет!! — взревела жена. — Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — и побежала за ухватом. — Месяцев девять, скважина!

Чудик схватил с кровати подушку — отражать удары.

Они закружились по комнате...

— Нна! Чудик!..

— Подушку-то мараешь! Самой стирать...

— Выстираю! Выстираю, лысан! А два ребра мои будут! Мои! Мои! Мои!

— По рукам, дура!..

— Отт-теньки-коротеньки!.. От-теньки-лысанчики!..

— По рукам, чучело! Я же к брату не попаду и на бюллетень сяду! Тебе же хуже!..

— Садись!

— Тебе же хуже!

— Пускай!

— Ой!..

— Ну, будет!

— Не-ет, дай я натешусь. Дай мне душеньку отвести, скважина ты лысая...

— Ну, будет тебе!..

Жена бросила ухват, села на табурет и заплакала.

— Берегла, берегла... по копеечке откладывала... Скважина ты, скважина!.. Подавиться бы тебе этими деньгами.

— Спасибо на добром слове, — «ядовито» прошептал Чудик.

— Где был-то, — может, вспомнишь? Может, заходил куда?

— Никуда не заходил...

— Может пиво в чайной пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол... Бежи, они пока ишо отдадут...

— Да не заходил я в чайную!

— Да где же ты их потерять-то мог?

Чудик мрачно смотрел в пол.

— Ну, выпьешь ты теперь читушечку после бани, выпьешь... Вот — сырую водичку из колодца!

— Нужна она мне, твоя читушечка. Без нее обойдусь...

— Ты у меня худой будешь!

— К брату-то я поеду?

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена, ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила.

Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории...

Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, — кричит, — руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится. А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот. — У нас, за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости.

— В нем ничего не испортится?» — спросил стюардессу.

— Что в нем испортится?

— Мало ли... Тут, наверно, тыщ пять разных болтиков. Сорвется у одного резьба — и с приветом. Сколько обычно собирают от человека? Килограмма два-три?..

— Не болтайете.

Взлетели.

Рядом с Чудиком сидел толстый гражданин с газетой. Чудик попытался говорить с ним.

— А завтрак зажилили, — сказал он.

— Мм?

— В самолетах же кормят.

Толстый промолчал на это.

Чудик стал смотреть вниз.

Горы облаков внизу...

— Вот интересно, — снова заговорил Чудик, — под нами километров пять, так? А я — хоть бы хны. Не удивляюсь. И счас в уме отмерял от своего дома пять километров, поставил на попа — это ж до пасеки будет!

Самолет тряхнуло.

— Вот человек!.. Придумал же, — еще сказал он соседу.

Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего, — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться.

Вот уже земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объяснили знающие люди, летчик «промазал».

Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика большой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал.

Стали.

Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что, сами не видите? — ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

— Почему обязательно надо руками трогать! — закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду? Где?!

Чудик этого тоже не знал.

— Поедемте со мной? — предложил он. — У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

...В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал.

«Приземлились. Все в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: *«Долетели. Василий».*

— «Приземлились»... Вы что, космонавт, что ли?

— Ну, ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна быть сноха, — как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а, тополя-а-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — и хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь? — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя, кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, я около тебя — опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?! — тоже вспомнил Чудик. — Как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?.. — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата:

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За што? Ведь невзлюбила она тебя... А за што?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

— А вот за то, што ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Што она, не знала, что ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело, вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, не заносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уже там куда деревня!.. А — пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл, — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду построил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот... Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань.

— Ммх!.. — опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх, вы!.. А она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети — постарше, играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе.

Тут на глаза ему попалась детская коляска. «Эге! — подумал Чудик. — Разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все удивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено — коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, понизу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — заглядение. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка, — он хотел мира со снохой. — Ребеночек-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на храмы, подолгу торчал у витрин. Купил катер племяннику, хорошень-

кий такой катерок, белый, с лампочкой. «И его тоже разрисую», — подумал.

Походил еще, поглядел, попил воды из автоматов... И присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит:

— Молодой человек... простите, пожалуйста, — подошла красивая молодая женщина с портфелем. — Разрешите я займу минутку вашего времени?

— Зачем? — спросил Чудик.

Женщина присела на скамейку.

— Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции...

— Кино фотографируете?

— Да. И нам для эпизода нужен человек. Вот такого... вашего типа.

— А какой у меня тип?

— Ну... простой... Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город.

— Так, понимаю.

— Вы где работаете?

— Я приезжий... к брату приехал...

— А когда уезжаете?

— Не знаю пока. Я отдохнуть приехал.

— Мм... А у себя... в селе, да?.. В селе живете?

— Да.

— У себя в селе где работаете?

— Трактористом.

— Нам нужно, чтобы вы по крайней мере недели две здесь побыли. Есть такая возможность?

— Есть.

— Я хочу показать вас режиссеру... для... как вам попроще: чтобы убедиться, в том ли направлении ищем. Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице.

— Пошли.

По дороге Чудик узнал, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят...

— А этот тип — зачем приезжает в город?

— Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются.

— Интересно, — сказал Чудик. — Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал: домишко к осени хочу перебрать. У вас всем хорошо платят?

Женщина засмеялась.

— Вы несколько рановато об этом.

Режиссер, худощавый мужчина лет за пятьдесят, с живыми, умными глазами, очень приветливо встретил Чудика. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло.

Женщина вышла.

— Как вас зовут?

— Вася, — Чудик встал.

— Сидите, сидите. Я тоже сяду, — режиссер сел напротив. Весело смотрел на Чудика. — Тракторист?

— Да нет, просто в колхозе...

— Любите кино?

— Ничего. Редко, правда, бывать приходится...

— Что так?

— Да ведь... летом почесть все время в бригаде, а зимой на кубы уезжаем.

— Это что такое?

— На лесозаготовки.

— Так, так... Вот какое дело, Василий: есть у нас в фильме эпизод: в город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых. А знакомство такое... шапочное: городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?

— Понятно.

— Отлично. Дальше: городская семья недовольна приездом парня — лишняя волокита, неудобства... и так далее. Парень неглупый, догадывается об этом, вообще начинает понимать, что городская судьба — дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?

— А как же так: сами жили — ничего, а как к ним приехали — не нравится.

— Ну... бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее, — режиссер помолчал, глядя на Чудика. — Это непонятно?

— Понятно — темнят.

— Темнят, да. Попробуем?.. Слова на ходу придумаем. А?

— А как?

— Входите в дверь — перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше — посмотрим. Ведите себя, как бог на душу положит. Помните только, что вы не Василий, Вася, а тот самый деревенский парень. Назовем его — Иван. Давайте!

Чудик вышел из номера... и вошел снова.

— Здравствуйте.

— Надо постучаться, — поправил режиссер. — Еще раз.

Чудик вышел и постучал в дверь.

— Да!

Чудик вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга.

— А где «здравстуйте»?

— Я же здоровался.

— Мы же снова начали.

— Снова, да?

— Снова.

Чудик вышел и постучался.

— Да!

— Здравствуйте!

— О, Иван! Входите, входите, — «обрадовался» режиссер. — Проходите же! Каким ветром?

Чудик заулыбался.

— Привет! — подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. — Как житуха?

— А чего ты радуешься? — спросил режиссер серьезно.

— Тебя увидел. Ты же тоже обрадовался.

— Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался?

— А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить увас. Может, я только на часок.

Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Чудику.

— Пожалуй, — сказал он. — Давай еще раз. Я поторопился, верно.

Чудик опять вышел и постучался.

Все повторилось.

— Ну, как житуха? — спросил Чудик, улыбаясь.

— Да так себе... А ты что, по делам в город?

— Нет, совсем.

— Как «совсем»?

— Хочу артистом стать.

Режиссер захохотал.

Чудик выбился из игры.

— Опять снова?

— Нет, продолжай. Только — серьезно. Не артистом, а... ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город?

— Ага.

— Ну и как?

— Что?

— А где жить будешь?

— У тебя. Вы же у меня жили — теперь я у вас поживу.

Режиссер в раздумье походил по номеру.

— Что-то не выходит у нас... Сразу быка за рога взяли, так не годится, — сказал он. — Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я — недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду — тоже радуешься. Попробуем?

— Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу — его просто разнесут по бревнышку.

— Почему «разнесут»?

— От удивления. Меня же на руках вынесут!..

— Мда... Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления.

Чудик вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.

— Ваня! Как ты здесь?! — воскликнул режиссер.

— А тебя как зовут?

— Ну, допустим... Николай Петрович.

— Давай снова, — скомандовал Чудик. — Говори: «Ваня, ты как здесь?!»

— Ваня, ты как здесь?!

— Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи: «Ваня, ты как здесь?!» — Чудик показал, как надо сделать. — Вот так.

Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился.

— Хорошо. Ваня, ты как здесь?! — хлопнул руками.

Чудик сиял.

— Здорово, Петрович! Как житуха?

— Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен! Хотя... Ну, хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной повнимательней. Ваня, ты как здесь?

— Хочу перебраться в город.

— Совсем?

— Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться...

— А жить где будешь? — сполз с «радостного» тона Николай Петрович.

— У тебя, — Чудика не покидала радость. — Телевизор будем вместе смотреть.

— Да, но уменя тесновато, Иван...

— Проживем! В тесноте — не в обиде.

— Но я уже недоволен, Иван... то есть, Вася! — вышел из терпения режиссер. — Разве ты не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.

— Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу — переберусь в общежитие.

— Но тогда надо другой фильм делать! Понимаешь?

— Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?

— Ты родом откуда? — перебил режиссер.

— Из деревни...

— А хотел бы действительно в городе остаться?

— Черт ее... не думал про это. Нет. Мне у нас лучше глянется. Не подхожу я к этому парню-то?

— Как тебе сказать... — режиссеру больно было огорчать Васю. — У нас другой парень написан. Вот есть сценарий... — он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже к столу, но вдруг повернулся. — А как бы ты сделал? Ну, вот ты приехал в город...

— Да нет, если уж написано, то зачем? Вы же не будете из-за меня переписывать.

— Ну а если бы?

— Что?

— Приехал ты к знакомым...

— Ну, приехал... «Здрассте!» — «Здрассте». «Ты как здесь?» — «Хочу на фабрику устроиться»...

— Ну?

— Ну и все.

— А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.

— А что тут такого, я никак не пойму? Ну, пожил бы пару недель...

— Нет, ну, вот они такие люди, что — недовольны. Прямо не говорят, а недовольны. Как тут быть?

— Я бы спросил: «Вам што, не глянется, што я пока поживу у вас?»

— А они: «Да нет, Иван, что ты! Пожалуйста, располагайся!» А сами недовольны, ты видишь. Как тут быть?

— Не знаю. А как там написано? — Чудик кивнул на сценарий.

— Да тут... иначе. Ну а притвориться бы ты не смог? Ну-ка, давай попробуем! Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только...

Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку.

— Ну... ну... Да почему же?! Я же говорил!.. Я показывал какие! Тьфу!.. Сейчас я спущусь. Иду. Вася, подожди минут пять... Там путаница вышла... Черти! — режиссер вышел.

Чудик закурил.

Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила:

— Ну, как у вас?

— Никак.

— Что?

— Не выходит.

— Режиссер просил подождать?

— Ага.

Женщина порылась в столике сценариев, взяла один...

— Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка — ваш эпизод, — она сунула Чудику сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса больше к нему не было.

Чудик положил сценарий на стол, взял цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал:

«Нет, не выйдет у нас. С пр. Василий».

Домой Чудик пришел часу в шестом. Шел и ясно себе представил, как он сейчас весело расскажет, как он чуть было не стал киноартистом. Как все будут от души смеяться (немое изображение: Чудик рассказывает брату, его жене, детям, показывает, как они репетировали с режиссером; все покатываются со смеху, даже маленький в разрисованной колясочке).

Чудик дорогой улыбался сам себе.

Едва он ступил на крыльцо братниного дома, как услышал: брат Дмитрий ругается с женой. Собственно, руга-

лась одна Софья Ивановна, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну, что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна. — Завтра же пусть уезжает! Чтоб духу его тут не было!..

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не «ладно»! Не «ладно»! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике. — Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества!

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело.

Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот... — сказал он. — Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а-а, тополя-а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

Сельсовет. Непомерно большие, мягкие кресла, большой стол, большие диаграммы, плакаты на стенах...

В кресле, почти утонув в нем, ежится Бронька Пупков. Над ним — строгий предсельсовета, в новенькой военной гимнастерке, при ордене Красной Звезды и трех медалях.

— Ну, так што будем делать-то? Бронислав?..

Бронька морщится.

— Ну, што, што?

— Долго будем историю искажать?

— Та-а...

— Не «та-а», не «та-а»... Ты скажи прямо: прекратишь это или нет?

— Та-а чего там!..

— Ничего! Ты дурак или умный? Для чего тебе это надо?

— Ну, все, прекратили. Ты у нас один — умница. Еще дураком обзывает...

— Кто же ты!

— Если ты председатель сельсовета, так тебе можно оскорблять личность? Врежу счас пепельницей... за оскорбление...

— Ты историю оскорбляешь!.. Я же тебя счас посадить могу...

— Скажет. Интересно, по какой статье?

— За искажение истории...

— Нет такой статьи.

— Найдем!

— Один такой — нашел... Найдет он. Сам загудишь раньше меня.

— Ну што делать с этой дубиной!.. Неохота ведь сажать-то...

— Не сажай.

— Ты даешь слово, что прекратишь эту свою глупость?

— Даю, даю.

— Смотри, Бронислав!

— Смотрю.

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вот Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь, — и как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков — еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался и — один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал, как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет, как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился... И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так, —отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал...

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки... — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было, — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть, — выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла, — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года, — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывая палочкой отскочившие угольки в костер... Вот

этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю.

— Да ну, ерунда какая-то...

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга... Вот так — нажал пальчиком и — пух! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на...

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем...

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой...

— Да все будет в порядке! — людям уже не терпелось послушать. — Рассказывайте.

— Прошу плеснуть, — Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. — Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит:

— Погоди-ка, санитар, не уходи.

Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают.

Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел ты!» — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо, — говорит генерал. — Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. «Ну, ничего, — говорит, — там высшего образованья не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет». Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские... Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

— Где это? Куда сопровождали?

— А в городе было. Мы его тут коллективно взяли, а в город вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди.

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А вон у нас — Ванька Пупков, — хоть бы што.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так. Где я остановился?

— Генерал расспрашивает...

— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом, тому — с переливом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада, как две капли воды. Ну, и — начинается житуха, братцы мои! — Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. — Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только... — Бронька шевелил губами — считал. — Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, а я его кэк шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю, как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! «Давай, — говорит. — С богом, — говорит. — Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись!» Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы

выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает. — Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил куда стрелять, — в усики. Я делаю рукой «Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул. — И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было... — Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху... — Знаете, бывает, вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу — тоже так. Кхе!..

— Ну? — тихо спросит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. — Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! — это уже душераздирающий крик. Потом гробовая

тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стре́лил... — Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

— Прошу плеснуть, — тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

— Пошла ты!.. — вяло огрызается Бронька. — Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена. — Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории...

— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой:

— Миль пардон, мадам... счас ведь врежу!..

Жена хлопает дверью, уходит прочь — жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорит, что Броньке — все равно. Нет. Он тяжело переживает, страдает, злится... И дня два пьет дома. За водкой в лавочку посылает сынишку-подростка.

— Никого там не слушай, — виновато и зло говорит сыну. — Возьми бутылку и сразу домой.

Его вызываюти в сельсовет, совестят, грозят принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорит сердито, невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивает в лавочке «банку», маленько сидит на крыльце — чтоб «взяло», встает, засучивает рукава и объявляет громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он правда — редкий.

ДУМЫ

Как только наступает ночь...

Поужинав...

Помолившись...

Повздыхав...

Угомонятся и заснут наработавшиеся за день люди, он начинает...

Заводится с края села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная — орет.

— От же ж паразит!.. — возмущаются люди. — Завелся.

— Не идет же, черт блажной, к реке, здесь старается.

— Пойду счас, собаку на него спущу...

— Они его не кусают. Я пробовала.

— Когда он спит-то!

— Черт его в душу знает, лунатик какой-то. Какой-то ненормальный парень: то куклы мастерит, то по ночам шляется...

— К Нинке, што ль, ходит?

— Но. Она тоже! Выходила бы уж скорей за него, может, угомонился бы парень, за ум взялся...

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил извне переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в

переулке начинала звенеть, потом огибала дом и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала орать в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил:

— Все: завтра исключу дурака, из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

— Лежи уж — исключишь, — сонно говорила жена Матвея.

— Исключу!

Днем Матвей встретил Кольку.

— Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь.

— Имею право, — нахально ответил Колька и улыбнулся от уха до уха. — За это никакой статьи нет.

— Я для тебя найду статью. Если надо, сам напишу.

— Статьи в Москве пишут.

— Ты почему такой есть-то, Колька? Почему на одном месте не работаешь? Куда я тебя посылал?..

— Потому что я талантливый, — кратко и серьезно пояснил Колька.

— Обалдуй ты, а не талантливый. Выучился бы на счетовода, уважаемым человеком был бы...

— Это одна смехота, а не специальность. «Дебет-кредит». «Приход-расход»... Тьфу!

— Ну, раз ты такой умный, иди в кузню молотобойцем. А с куклами перестань возиться — смеются ведь люди.

На эту тему — о куклах — Колька ни с кем не разговаривал. Презрительно молчал.

— Иди, махай кувалдой, раз в конторе не хошь сидеть.

Дома мать запричитала:

— Господи, да за што же мне доля такая выпала!.. Посылали ведь, дурака, учиться — так нет же, нет!.. Иди вот теперь, выворачивай руки-то там.

— Погляжу.

— Хоть там-то подержись, а то ведь от людей уж совестно.

— Люди не понимают в искусстве...

— Тьфу!.. Журавь.

Помахав пару дней тяжелой кувалдой, Колька аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

— Все.

— Что?

— Пошел.

— Почему?

— Души нету в работе.

— Трепло, — просто сказал кузнец. — Выйди отсюда.

Колька с изумлением посмотрел на старика-кузнеца.

— Почему ты сразу переходишь на личности?

— Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»... Даже злость берет.

— А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

— Может, попробуешь?

Колька накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

— Прошу, мадмоазель.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

— Иди корову подкуй такой подковой. «Мадмоазель»...

Колька взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее — не тут-то было.

— Что?

— Ничего. Остаюсь. Научусь, тогда уйду.

— Ты, Колька, парень — ничего, но болтун, — сказал ему кузнец. — Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

— Это верно: я очень талантливый.

— А где твоя работа сделанная?

— Я ее никому, конечно, не показываю.

— Почему?

— Они не понимают. Один Захарыч только понимает.

— Принеси мне. Я гляну.

А ночью опять звенела гармонь...

И Матвей опять сидел в кровати, думал. Гармонь уже уходила далеко в улицу, и уж не слышно ее было, а он все сидел.

Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана брюк папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то!

— Спи. Я маленько подумаю.

— Чего эт середь ночи? Дня, что ли, не хватит?

— Гармошка Колькина... дьявол ее побери — хворь какую-то в душе подымает. Думы всякие в башку лезут...

И вот другая ночь — черная. Костер треплется под теплым ветром... У костра трое: маленький Матвей (лет двенадцать), брат его младший, Кузьма, и отец их, Ефим Рязанцев.

Днем, в самую жару, маленький Кузьма потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло.

Отец велел поймать коня и во весь дух гнать в деревню (они были на покосе, километрах в десяти от деревни).

— Я его тут пока побаюкаю... Привезешь молока, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас. Как мы с тобой не доглядели!.. Воды, дурачок, из ключа напился... Ах ты, горе-горюшко! Кузя, Кузенька, сынок, продохни... Возьми да силком, силком продохни как следоват.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот — теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку, кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и баюкал его:

— Ну, сынок... ты что же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался, уже посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову и покачивался, и глухо

и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый, чужой мальчик...

— Проклятая гармошка!.. — бормотал старый Матвей. — Ничего другого — а вот надо про ту ночь назвенеть в душу...

— А?

— Да вот — была целая жизнь: гражданская была, женитьба с тобой, коллективизация, другая война... а ничего не пробудила проклятая гармонь, а пробудила одну ночь, когда у нас Кузьма на покосе помер. И теперь вся душа как чирей ноет. А мало ли каких ночей было-перебыло — всяких...

— Ну, Матвей, ты что-то уж совсем...

— Вот и «совсем»! Говорю тебе — хворь.

На другой день Колька принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку...

— Вот.

Кузнец развернул тряпку... и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени... Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человека, под ситцевой рубахой — синей, с белыми горошинами, — торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами... Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

— Смолокур, — сказал он.

— Ага, — Колька глотнул пересохшим горлом.

— Таких нету теперь.

— Я знаю...

— А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?

— Песню поет. И думает.

— Помню таких, — еще раз сказал кузнец. — А ты-то откуда их знаешь?

— Рассказывали.

Кузнец вернул Кольке смолокура.

— Похожий.

— Это — что! — воскликнул Колька, заворачивая смолокура в тряпку. — У меня разве такие есть!

— Все смолокуры?

— Почему... Есть солдат, артистка одна есть, тройка... еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.

— А у кого ты учился?

— А сам... ни у кого.

— А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например.

— Я все про людей знаю, — Колька гордо посмотрел сверху на старика. — Они все ужасно простые.

— Вон как! — воскликнул кузнец и засмеялся. — Ну и ну!..

— Скоро Стеньку сделаю... Поглядишь.

— Смеются над тобой люди.

— Это ничего, — Колька высморкался в платок. — На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.

Кузнец опять рассмеялся.

— Ну и дурень ты, Колька! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?

— А что?

— Совестно небось так говорить.

— Почему «совестно»? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.

— А какую он песню поет? — без всякого перехода спросил кузнец.

— Смолокур-то? Про долю свою.

— А артистку ты где видел?

— В кинофильме, — Колька прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. — Я женщин люблю. Красивых, конечно.

— А они тебя?

Колька слегка покраснел.

— Тут я затрудняюсь тебе сказать. Нинка у меня — не того, не очень.

— Хэх!.. — кузнец стал к наковальне. — Чудной ты парень, Колька. Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки — кукла.

Колька ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

— Не можешь ответить?

— Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, — ответил Колька.

Как-то Матвей зашел в кузницу. Присел на высокий порожек.

— Куете?

— Куем!

Колька в такт своему молоту пропел:

Эх, пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки — донышко,
Три копейки — бок:
Вот и вся работушка —
Стоит пятачок.

Матвей усмехнулся.

— Жениться-то скоро будешь, Колька?

— Жениться — не напасть, дядя Матвей. Слышал?

— Слышал. Дурная поговорка.

— Скоро женюсь.

— Матери-то уж тяжело одной. На Нинке хочешь?

— На ней.

— Больше-то никто небось не пойдет, — вставил старик. — Шибко уж непутевый ты, паря. Избенку бы перекрыть надо, а он заместо этого — игрушки разные режет.

Колька молчал, бухал молотом.

— Женисся — помогу с избой-то, — пообещал председатель. — Только, на самом деле, бросай ты эти разные свои фокусы... куклы свои.

Колька молчал.

— Глянется работа-то? — еще спросил Матвей.

— Ничего. Хорошенько научусь — уйду.

— Пошто?

— Не могу всю жизнь на одном месте...

— Ты гляди, какие они теперь! — изумился Матвей.

— У их это легко... Как птахи небесные: жрут да котышки на землю роняют. Сделать бы чего-нибудь надо — на помин людям.

— Я и делаю. Только вам не понять. Вы всю жизнь в землю смотрите... И видите только, как птахи котышки роняют. А как летают они, вы ни разу не видали.

— Где нам! — спорил с Колькой старик. — Это один Захарыч твой понимает. И тебя научил. Погоди, он тебя и пить научит...

— Он — от одиночества.

— Мало одиноких-то?.. Да все бы и пили? А ишо учитель был, антилигентный человек, — не стыдно?

— Он сам страдает...

— Погоди, Колька, — пытался выяснить Матвей, — вот вы все: «не хочу», «не нравится»... А если — надо! Ведь не все же так жить, чтоб только в корысть себе да в усладу. А вот — надо? Вот я, к примеру, всю жизнь так и живу: надо — делаю. Сказали, надо идти в колхоз — пошел, пришла пора жениться — женился, ни годом раньше, ни годом после: как все, так и я. Да как отец сказал. В войну — воевал, тоже надо. Да ишо на двух воевал. Ранили, пришел домой раньше других мужиков, сказали: «Становись, Матвей, председателем колхоза. Больше некому». Пошел. Надо. А какой, к шутам, из меня был председатель! Это уж счас втянулся — тридцать лет скоро будет, везу этот воз... А тогда, бывало, мне — про «агрокультуру», мол, человека высылаем с высшим образованием, а я думаю: прокурор едет. Во как!

— Чего же тут хвастаться?

— Да разви ж я хвастаюсь! — искренне изумился Матвей. — Просто рассказываю, как жил. Мне счас не совестно пред людьми.

— Кинофильмов много за свою жизнь видел? Книжек — хоть штуки три прочитал? — злорадно полюбопытствовал Колька.

— Мне не до кинофильмов было.

— Вот так.

— Што — «так»? — обозлился старик-кузнец. — А по-твоему: каждый день в клуб заполыскивать? Кикиморы болотные... Скоро вся Расея без штанов останется — с такими рассуждениями-то.

— Не останется. Будем в бостоновых костюмчиках ходить. Вот так. Даже — на работу. А в клубе я выставку сделаю, люди приедут смотреть и будут рыдать и плакать. Но вас я на выставку не приглашу.

— Счас, разбежался я на твою выставку — спина вспотела, — сказал старик. — Молоти знай — пока, до выставки-то.

Колька взялся за кувалду.

Матвей курил. Ждал гармонь.

— Чего эт звонаря-то нашего нет? — спросил жену.

— То он мешает ему, то сидит ждет... Небось куклы дома режет. Или Нинка уехала куда... Бегаю я за ним?

Матвей лег. Полежал.

Не спалось.

— А ни хрена я им не верю! — воскликнул он. — Песни — про любовь, кинофильмы — про любовь!.. Страдают!..

— Чего ты опять?

— Притворяются. Не притворяются, привычка такая пошла у людей: надо трезвонить про любовь — ну, давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая... А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, тальянит. А чего не походить? Молодой, силенка играет... И всегда так было! Так они навыдумывают себе: мы теперь не так! Мы теперь по-другому!.. Тьфу! Как?!

— Да чего они тебя тревожут-то? Чего ты взъелся-то на них?

Матвей долго молчал.

— А может, мы, правда, по-другому прожили? Не так как-нибудь? Может, чего-нибудь пропустили?..

— Как не так? Чучело.

— Спи, ну тя!..

Жена легко и согласно заснула.

Матвей тоже задремал.

...И увиделось ему как они — молодые, нарядные — идут в хороводе на зеленом лугу... И сидят в кругу три балалаечника и подыгрывают спокойной старой русской песне, которую поет, кружась, хоровод. И спокойно, и красиво, и солнышко светит...

Но вдруг каким-то образом в хоровод ворвался Колька со своей гармозой трехрядной... Рванул ее, сломал хоровод, и девки, и парни пошли давать трепака — по-теперешнему, с озорными частушками. И, что самое удивительное, сам Матвей и его жена теперь, Алена, тоже молодые, — тоже так лихо отплясывают, что Матвей от удивления даже проснулся.

Звенела в переулке Колькина гармонь...

Матвей сел, закурил. Долго сидел, слушал гармонь. Толкнул жену.

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь... Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил? Ты не вставал?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я сурьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего эт тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... опять как-то... заворошилось.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я совсем забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю, будете травы топтать — штраф по десять рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.

— Ладно.

— Не забудь!

— Сама ты корова, — беззлобно, добродушно даже, сказал Матвей.

— А ты кто? Бык при мне?..

— Я-то?.. Я мерин был хороший. Всю жизнь. А теперь вот — дурею. К старости все дуреют. У тебя квас где?

— В сенцах. Накрой кувшин-то опять, а крышечку камешком придави.

Матвей вышел в сени, шумно напился... открыл дверь, вышел на крыльцо.

С неба лился на теплую грудь земли белый мертвый свет луны. Тихо и торжественно было вокруг.

— Ах, ночка!.. — тихо сказал Матвей. — В такую-то ночку грех не любить. Давай, Колька, наверстывай за всех...

Горлань во всю мочь, черт заполошный. Придет время — замолчишь... Станешь вежливый.

...С работы Колька шагал всегда быстро... Размахивал руками — длинный, нескладный, с длинными, до колен, руками. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал, а в ногу, на манер марша, подпевал:

Эх, пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки — донышко,
Три копейки — бок...

— Здравствуй, Коля! — приветствовали его.

— Здоров, — кратко отвечал Колька и шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и некоторое время резал Стеньку. Потом брал гармонь и уходил в клуб. Потом, проводив Нинку из клуба, возвращался к Стеньке... И работал иной раз до утра.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Колька, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Колька очень талантливый. Он приходил к Кольке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы... Последнее время начал попивать. Колька глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился — слушал про Стеньку.

— ...Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Но и конины не всем хватало. И увидел раз Стенька: один казак совсем уж отощал, сидит у костра, бедный, голову свесил — дошел окончательно. Стенька толкнул его — подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее».— «Бери».— «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе. «В три господа душу мать! Я кому сказал: бе-

ри!» Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Колька, бледный, с горячо повлажневшими глазами, слушает...

— А княжну-то он как! — тихонько, шепотом, восклицает он. — В Волгу взял и кинул...

— Княжну!.. — Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой на тонкой шее, вскакивал и, размахивая руками, кричал:

— Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.

...Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Колька аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

— Сарынь на кичку!

Спину ломило. В глазах начинало двоить... Колька бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.

А когда «не делалось», Колька сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову... сидел час, два — смотрел на звезды... потом начинал выть негромко:

— Мм... у-у-у... эх, у-у-у... — и думал про Стеньку.

...Когда приходил Захарыч, он спрашивал в первой избе:

— Николай Егорыч дома?

— Иди, Захарыч! — кричал Колька, накрывал работу тряпкой и встречал старика.

— Здоровеньки булы! — так здоровался Захарыч — «по-казацки».

— Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

— Не кончил еще?

— Нет. Скоро уж.

— Показать можешь?

— Нет.

— Нет? Правильно. Ты, Николай... — Захарыч садился на стул. — Ты — мастер. Большой мастер. Только никогда не

пей, Коля. Это — гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай...

Колька подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

— Он про волю поет, — говорил он. — Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен, — и он неожиданно сильным красивым голосом пел:

О-о-ох ты, воля, моя воля!
Воля-вольная моя.
Воля-сокол в поднебесьи,
Воля — милые края...

В Кольке перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча... Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Колька, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.

— Захарыч... милый, — шептал Колька побелевшими губами и крутил головой, и болезненно морщился. — Не надо, Захарыч, я не могу больше...

Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице. А Колька склонялся над верстачком.

— От же проклятое дело: не могу теперь уснуть без гармошки Колькиной, — жаловался Матвей жене, стелившей постель. — А он, как нарочно, вожжается с ней до полночи. Телка семинтальская, разве ж она так рано отпустит парня...

— Дуреешь, правда, Матвей.

— Дурею, — соглашался Матвей, вышагивая босиком по избе.

— Вот как перестанет ее провожать, уведет к себе в дом, — что делать-то будешь?

— Прямо не знаю! Я уж седня намекнул ему: подожди, мол, пока со свадьбой, домишко сперва надо перебрать... Куда ты ее приведешь — он уж скоро совсем на бок завалится. Погуляй, мол, пока...

— Вот ведь по-разному люди дуреют: один с вина, другие с горя большого... Ты-то с чего? Не шибко уж и ста-

рый-то. Вон у нас — какие старики есть, а рассуждают — любо слушать.

— Дай-ка мне рюмку, к слову пришлось — устал седня что-то... Да, может, и засну лучше. Вот беда-то еще навалилась — хоть матушку-репку пой.

Легли поздно. Гармошки не было.

Матвей, правда, заснул... Но спал беспокойно, ворочался, постанывал и вздыхал — обильно поужинал, выпил стакан водки и накурился до хрипоты.

Гармошки Колькиной все не было.

...Светлым днем по улице села ударила грустная похоронная музыка... Хоронили Матвея Рязанцева.

Люди шли грустные...

Сам Матвей Рязанцев... шел за своим гробом, тоже грустный... Рядом шедший с ним мужик спросил его:

— Что ж, Матвей Иваныч, шибко жалко уходить-то отсудова? Ишшо бы пожил?..

— Как тебе сказать, — стал объяснять Матвей, — знамо, пожить бы ишшо — не вредно. Но другое меня счас заботит: страха, понимаешь ли, нет, боли какой-нибудь на сердце — тоже, но как-то удивительно. Все будет так же, как было, а меня счас отнесут на могилки и зароют. Во трудно-то што понять: как же это будет все так же — без меня? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. А люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда уж не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет пять-шесть повспоминают еще, што был такой Матвей Рязанцев, потом — все. А охота уж узнать, какая у них тут будет жизнь. А так — вроде ничего не жалко. И на солнышко насмотрелся вдосталь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало, и... Да нет — ничего. Повидал много. Но как подумаешь, нету тебя, все какие-то есть, а тебя — тю-тю, никогда больше не будет... Как-то пусто им вроде без меня будет. Или ничего, как думаешь?

Мужичок пожал плечами.

— Хрен ее знает...

...Тут невесть откуда вылетел навстречу похоронной процессии табун лошадей... Раздался разбойный свист; люди с

похорон сыпанули в разные стороны. Гроб уронили... Из него поднялся Матвей...

— Тьфу, окаянные!.. Я вам кто — председатель или затычка! Бросили, черти...

Матвей со стоном вскочил, долго, с трудом дышал. Качал головой...

— Ну, все: это уж — надо в больницу везти, дурака. Слышь-ка!.. Проснись, — разбудил Матвей жену. — Ты смерти страшисся?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну тя!..

Но вспомнилась опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце сжалось — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

В эту ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звонаря нашего совсем не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется — считай неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

День этот наступил. Вернее, утро.

Колька постучал Захарычу в окно.

— Захарыч, а Захарыч!.. Доделал я его.

— Ну?! — откликнулся из темноты комнаты обрадованный Захарыч. — Сейчас... я мигом, Коля!..

Шли темной улицей к Колькиному дому и негромко почему-то, возбужденно говорили.

— Скоро ты его... Не торопился?

— Нет вроде... эту неделю ночами сидел, вплоть до работы...

— Ну, ну... Торопиться здесь не надо. Не выходит — лучше отложи. Это какой-то — или уж слишком бедный, или непомерно самонадеянный человек заявил: «Ни дня без строчки». А за ним — и все: творить надо каждый день обязательно. А зачем — обязательно? Этак-то «затворишься» — и подумать некогда будет. Понимаешь ли меня?

— Понимаю: спешка нужна при ловле блох.

— Что-то в этом роде.

— Тяжело только, когда не выходит.

— И — хорошо! И — славно! А вся-то жизнь в искусстве — мука. Про какую-то радость тут — тоже зря говорят. Нет тут радости. Помрешь — лежи в могиле и радуйся. Радость — это лень и спокойствие.

Подошли к дому.

— Захарыч, — зашептал Колька, — давай в окно залезем... А то... эта... молодая-то заворчит...

— Ну?! Уже ворчит?

— Ворчит, ну ее! «Чего не спишь по ночам, свет зря мотаешь!»

— Ая-яй!.. Плохо это, Коля. Ах, плохо. Ну, полезли.

На верстачке, закрытая тряпицей, стояла работа Кольки.

Колька снял тряпицу...

...Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их... Знал он и этих, что ворвались: приходилось, он делил с ними радость и горе тех ранних походов и набегов, когда был он молодым казаком, гуливал с ними... Но не с ними, нет, хотел испить атаман горькую чашу — это были домовитые казаки. Стало на Дону худо, нахмурился в Москве царь Алексей Михайлович — и они решили сами выдать грозного атамана. Они очень хотели жить как раньше — вольно и сладко.

...Кинулся Степан Тимофеич к оружию, да споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозился. Хрипели. Негромко

и страшно матерились. Нашел в себе силы Степан приподняться, успел прилобанить одному-другому могучей своей десницею... Но ударили сзади чем-то тяжелым по голове. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

— Выбейте мне очи, чтоб я не видел вашего позора, — сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Так рассказал Кольке Захарыч (рассказ идет на изображение). И эту трагическую сцену, конец ее, остановила рука художника — Кольки...

Долго стоял Захарыч над работой Кольки... Не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел к окну. И тотчас вернулся.

— Хотел пойти выпить, но... не надо.

— Ну, как, Захарыч?

— Это... Никак... — Захарыч сел на лавку и заплакал — горько и тихо. — Как они его... а! За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады, — слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Колька мучительно сморщился и заморгал.

— Не надо, Захарыч...

— Что «не надо»-то? — сердито воскликнул Захарыч и закрутил головой, и замычал. — Они же дух из него вышибают!..

Колька сел на табуретку и тоже заплакал — зло и обильно.

Сидели и плакали.

— Их же ж... их вдвоем с братом, — бормотал Захарыч. — Забыл я тебе сказать... Но ничего... ничего, паря. Ах, гады!..

— И брата?

— И брата... Фролом звали. Вместе их взяли. Но брат — тот... Ладно. Не буду тебе про брата. Не буду.

Чуть занималось светлое утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах...

По поселку ударили ранние петухи.

Тут вышла из-за перегородки жена Кольки, Нинка. Заспанная и недовольная.

— Людям на работу с утра, а они толкутся всю ночь, как... эти...

— Чего ты? — попытался воздействовать на жену Колька.

— Да ничего! И нечего по ночам сюда шляться. Пить-то и одному можно... А других подговаривать... учителя вроде бы так и не делают.

— Нинка!..

— Не ругайся, Николай... Не надо...

Захарыч, к удивлению Нинки, вылез в окно и ушел.

Как-то Матвей поздно ночью завернул к дому Кольки... Стукнул в окно.

Колька вышел на крыльцо.

— Ты чего, дядя Матвей?

— Так...

Сели на приступку.

— Как оно? — спросил Матвей.

— Да так... Ничего.

Помолчали.

— Вынеси гармонь, сыграй чего-нибудь.

Колька удивленно посмотрел на председателя.

— Ну, што, лень, што ли? То всю деревню ходил булгатил...

— Счас вынесу.

Колька принес гармонь.

— Какую?

— Ну... какую-нибудь, какие по ночам играл.

Колька заиграл «Ивушку».

И тут в дверях выросла Нинка... В спальной рубахе, босая.

— Чего эт — ночь-заполночь разыгрались тут!..

Колька перестал играть.

— Людям спать надо, а тут... Нальют глаза-то и ходют... Колька, иди спать!

— Ты што это, Нинка? — удивился Матвей. — И двух недель не живешь с мужем, а уж взяла моду ворчать, как карга старая. Бесстыдница ты такая!.. Што же дальше будет?

— А нечего тут...

— Чего «нечего»? Дьяволы злые. Молодая ишо, радоваться бы надо, а ты уж — как бы поядовитей слово из себя выдавить. Кто это тут глаза налил? Ну?

— И нечего тут...

— Заладила, ворона... Тебя ж, Нинка, любить надо, а где тут! Душа не повернется — так-то будешь. Не бери пример с наших деревенских дур, которые только и знают, что всю жизнь лаются... Будь умней таких. Жизнь-то — всего одна, и та, не успеешь оглянуться, — к вечеру уж. И тут тянет человека оглянуться... Вот и оглядываются — каждый на свое. Не надо, Нина, штоб душа ссохлась раньше времени... Не надо.

Нинка хлопнула дверью, ушла в дом.

— Ты, Колька, не давай ей особо язык распускать...

— Ругаться, что ль, с ней?

— Да не надо бы ругаться-то... Хоть ты умней будь, втолковывай почаще...

— Играть?

— Давай.

Колька заиграл опять «Ивушку». Вяло как-то... И Матвей слушал вяло. Потом он сказал:

— Ладно, не надо. Всему, видно, свое время.

Посидели молча. Закурили.

— Игрушки-то свои делаешь?

— Делаю.

— Ну и делай, не слушай никого, ну их к дьяволу. Глянется — делай. А то указчиков много найдется... Посплетничают, позубоскалят — и думают: они хорошие. Клади на всех...

Колька засмеялся.

— А сыграю я, дядя Матвей!

— Валяй.

И Колька заиграл веселый мотив...

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

Накануне, ближе к вечеру, собралась родня: провожали Ивана Расторгуева в путь-дорогу. Ехал Иван на курорт. К морю. Первый раз в жизни. Ну, выпили немного — разговорились. Заспорили. Дело в том, что Иван, имея одну путевку, вез с собой еще жену Нюру и двух малых детей. Вот о том и заспорили: надо ли везти детей-то? Иван считал, что надо. Даже обозлился.

— Вот что я вам скажу, уважаемая родня: пеньком дремучим — это я сумею прожить. Я хочу, чтоб дети мои с малых лет развитие получили! Вот так. Не отдых мне этот нужен!.. Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке — и все, и печки-лавочки. Отдохнул. Да еще бутылочку в кустах раздавлю... Так? А вон им, — в сторону маленьких детей, — им больше надо. Они, к примеру, пошли в школу, стали проходить море — а они его живьем видели, море-то? Скажут, папка возил нас, когда мы маленькие были. Я вон отца-то почти не помню, а вот помню, как он меня маленького в Березовку возил. Вот ведь что запомнилось! Ведь тоже, небось, и ласкал, и конфетку когда привозил — а вот ничего же не запомнил, а запомнил, как возил с собой на коне в Березовку...

— А я тебе скажу, почему, — заговорил Васька Чулков, двоюродный брат Ивана. — Это потому, что на коне.

— Что «на коне»?

— На коне возил, а не на мотоцикле. Поэтому ты и запомнил. Я вон своих вожу...

— Да это не поэтому! — зашумели на Ваську.

— Это ерунда! Какая разница — что на коне, что на мотоцикле?

— Сравнил козлятину с телятиной!

— Дайте мне досказать-то! — застучал вилкой по графину Иван. — Я для того и позвал вас — выяснить...

— Да не пропадут! — воскликнул дед Кузьма, храбрый старый матрос. — Что, в Америку, что ли, едут? В Россию же.

— Да шибко уж маленькие, прямо сердце заходится, — повернулась к нему теща Ивана, Акулина Ивановна. — Чего уж так зазудело-то?

— Он же говорит чего.

— Блажь какая-то...

— Да с грудными и то ездют.

— Да с грудными-то легче. Его накормил, он и спит себе. А ведь тут, отвернись куда, они уж — под колесами.

— Ну уж — под колесами. Чего уж?.. Езжай, Ванька, не слушай никого.

— Нюр, — обратились к жене Ивана, — ты-то как? Чего молчишь-то?

— Да я прям не знаю... Он мне все мозги запудрил с этим морем. Я уж и не знаю, как теперь... Вроде, так-то, охота, а у самой душа в пятки уходит — боюсь.

— Чего боисся-то?

— А ну как да захворают дорогой?

— Чирий тебе на язык!

— В сумку, чтоб сухари не мялись, — в сердцах молвил языкастый Ванька. — Ворона каркнула во все воронье горло.

— А захворают, вы — так, — стала учить Нюру и Ивана одна молодящаяся бабочка не совсем деревенского покроя, — сразу кондуктора: так и так — у нас заболели дети. Вызовите, пожалуйста, нам на следующей станции врача. Все! Она идет в радиоузел — она обязана, — вызывает по рации санслужбу, и на следующей станции...

— Ну, тут семь раз дуба врежешь, пока они там по рации...

— Это все — колеса. Ты, Иван, держи на всякий случай бутылку белой, — стал по-своему учить Васька Чулков. — Как ребенок захворал, — ты ему компресс на грудку, Нюра, возьми с собой ваты и бергаментной бумаги. У меня вон...

— Я взяла.

— А?

— Взяла, говорю! Бергамент-то.

— Вот. Ты вон глянь, что у меня с горлом-то делается... Нет, ты глянь! А-о!.. О-о! — Васька растопырил перед Нюрой свой рот. — Меня же ангина, сволочь, живьем ест! У меня же гланды в пять раз увеличены... Ты глянь!

— Да пошел ты к дьяволу со своими гландами! — рассердилась Нюра. — Водку пить — у вас гланды не болят.

— Так я потому и пью-то! Вынужден! Если бы не гланды, я бы ее, заразу, на дух не принял.

— Не, Иван, ты как приедешь, ты перво-наперво... Слышь? Ты как приедешь, ты... Слышь! Ваня, слушай сюда!.. Ты как приедешь...

— Ты дай сперва приехать, елки зеленые! — все злился Ванька. А злился он потому, что говорили все сразу и никому до его забот не было дела, а так —лишь бы поговорить. — Приедешь с вами.

— А вот приехал тоже один мужик в город и думает: где бы тут подцепить?..

— Чего подцепить?

— Не чего, а кого, это же одушевленный предмет.

— Кто?

— Ну, кто?.. Что, не понимаешь?..

— Не, ну ты говоришь — подцепить. Кого подцепить?

— Кралю каку-нибудь, кого.

— А-а. Ну, так.

— Ну слушай... — двое говоривших склонились лбами над столом. Тот, который хотел рассказать историю мужика в городе, был очень серьезен и даже намеревался взять соседа за грудки и подтянуть его ближе к себе, но сосед отпихивал руки.

— Ты слушай!

— Я слушаю, чего ты руки-то тянешь?

— Я не тяну. Слушай!

— Ну?

— Приехал и думает: где б тут подцепить?

— Да сколько же он думать-то будет? Все думает и думает... Чего ты руки-то тянешь?

В другом конце стола подняли тему — как надо лечить язву желудка.

— Я и разговорись с им в автобусе-то, — рассказывал худой мужичок с золотыми зубами. Обстоятельно рассказывал, длинно. Со вкусом. — Да. Он меня спрашивает: чо, мол,

такой черный-то? Не хвораешь? Да и хворать, мол, не хвораю, но и сильно здоровым тоже не назовешь, это я-то ему. Язва двенадцатиперстной, говорю. Он говорит: я тебя научу как лечить. За месяц как рукой снимет.

— Как же?

— Возьми, говорит, тройного одеколона — флаконов пять сразу, слей в четверть. Потом, говорит, наруби мелко-мелко алоя — и намешай...

— А почему одеколон, а не водку?..

— Обычно же на спирту настаивают.

— А черт его знает — обязательно, говорит, тройной одеколон.

— Ну и по скольку принимать?

— А вон и Лев Казимирыч идет! — увидел кто-то. — Э-эй, Лев Казимирыч!..

По дороге с палочкой медленно и культурно шагал седой старичок, Лев Казимирыч.

Застучали в окно, позвали в несколько голосов:

— Лев Казимирыч!..

Лев Казимирыч поднял умную голову в шляпе, посмотрел на окна и свернул к воротчикам. Шагу не прибавил.

И сразу все за столом заговорили об одном — какой умный этот Лев Казимирыч, сколько он, собака, знает всякой всячины, выращивает даже яблоки и выписывает книги.

— Этто иду лонись мимо его ограды, он мне шумит из-за штафетника: зайди! Зашел. Он держит в одной руке журнал какой-то, а в другой — яблоко. Вот, говорит, — теория, а вот — практика. Покушай. Ну, я куснул яблоко...

— А как он рой Егору Козлову посадил! Ведра, тазы, миски хватайте, кричит, чо попало — стучите! Гром нужен! Я тогда в суматохе Нюрашке Козловой крынок штук пять расколол — они сушились на плетне, я и пошел колышком по им — гром делать...

Засмеялись.

— Нюрашка-то по голове тебе гром не сделала?

— Рой сажал! — тут не до крынок.

— Ой, и башка же у этого Казимирыча!

— А мы как-то...

Вошел Лев Казимирыч... Снял шляпу, слегка — с достоинством — поклонился честной компании.

— Дом миру сему.

— С нами, Казимирыч!

— Дайте стул-то!.. — засуетились.

— По поводу чего сбор? — спросил Лев Казимирыч, присаживаясь на стул к столу.

— Да вот Ивана провожаем. На море едет...

Лев Казимирыч слегка удивился.

— На море?

— Отдыхать. В санаторий. Да вот, Казимирыч, помоги советом: хочет детишек взять, Иван-то, а мы — против, — обратилась к умному Казимирычу Акулина Ивановна, теща Ивана. — У меня сердце загодя мрет — шибко уж маленькие дети-то! А он их потащит. На кой же черт?

— Зачем? — спросил Казимирыч Ивана.

— Чего «зачем»? — не понял тот.

— Детей-то?

— Позагорать... Море посмотреть.

— Ты в своем уме?

За столом замерли. Все смотрели на Казимирыча.

— А что? — спросил Иван.

— Ты хочешь оставить там детей?

— То есть?

— То есть у них там сразу откроется дизентерия... Если еще не по дороге. Папа... ничего умнее не придумал?

— Да?

— Да, — спокойно сказал Казимирыч.

Всем сразу стало как-то легко. Даже весело.

— Вот, Ванька!.. А ведь говорили ему! Говорили! Нет, уперся, дубина!.. Спасибо, Лев Казимирыч!

— Не за что.

— Выпьете, Лев Казимирыч? Махонькую...

— Нет, спасибо. Нельзя.

— Махонькую!

— Нельзя. Спасибо.

— Лев Казимирыч! — полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. — А вот скажите мне на милость: если намешать алой с тройным одеколоном...

— Да не лезь ты со своим тройным одеколоном! Если уж хочешь знать, то я тебе скажу: «Красный мак» лучше. Лев Казимирыч, у меня к вам другой вопрос: вот, допустим, у вас засорился жиклер...

— Так, — сказал Лев Казимирыч, склонив набочок головку. — Засорился. Прекратилась подача топлива в цилиндры. Ну?

— А мотор работает!

— Мотор не работает.

— Работает!

— Значит, жиклер не засорился.

— Нет, засорился: идет натуральная стрельба.

— Значит, засорился, но не совсем. Логика.

— Споем, Лев Казимирыч?!

В дальнем конце стола, где мужичок с золотыми зубами, услышали «споем» и запели:

А сброшу кольца, сброшу серьги.
В шумный город жить пойду... —

запела здоровенная, курносая девица и скосила... опасный, как ей, должно быть, теперь казалось, глаз на молодого соседа.

Там назову себя цыганкой,
Себя цыганкой назову.
Раз я сидела и мечтала
Да у открытого окна;
А чернобровая, в лохмотьях,
Ко мне цыганка подошла...

Опасный глаз не встревожил молодого соседа. Он о чем-то задумался... Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает.

— А дело в том, — сказал он, — что это не жиклер засорился! Понял?!

— А что же?

— Поршни подработались. Кольца. Ты давно их смотрел?

— Я их никогда не смотрел.

— Смени кольца!

А горят свечи восковые;
Гроб черным бархатом обшит.
А в том гробу лежит девчонка —
Да и она крепко, крепко спит.

Прислушались было к песне, но... петь вместе не умели, а чего же так сидеть слушать? — не на концерт же пришли.

А на коленях перед гробом
Стоит изменник молодой...

— Зина! А Зин! — едва остановили крупную девушку. — Давай каку-нибудь, каку все знают. Давай, голубушка, а то уж ты шибко страшно как-то — гроб...

— Эх-х!.. — сосед Льва Казимирыча, рослый мужик, серьезный и мрачноватый, положил на стол ладонь-лопату, Лев Казимирыч вздрогнул. — Лев Казимирыч, давай что-нибудь революционное! А?

— Спойте хорошую русскую песню, — посоветовал Лев Казимирыч. — «Рябинушку», что ли.

И запели «Рябинушку». И славно вышло... Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый, хороший вечер — поплыла в улицу, достигла людского слуха, ее не обругали, песню.

— У Ваньки, что ли?..

— Ну. Провожают. Поют.

— Поют. Хорошо поют.

— На курорт, что ли, едет?

— На курорт. Деньги девать некуда дураку.

— Ваня, он и есть Ваня: медом не корми, дай выпупиться. Нюрка-то едет же?

— Берет. Хочет и детей взять.

— О-о!.. Знай наших!

— Ты поросят-то не ходила глядеть к Ивлевым?

— Нет. Я нонче не буду брать... Одну покормлю до ноября — и хватит. Ну их к черту.

— Почем же, интересно, Ивлевы-то отдают?

— Да почем?.. Двадцать пять, известно. Месячные?

— Месячные.

— Двадцать пять.

— Сходить завтра поглядеть... Я бы боровка взяла одного. Покормила бы уж, черт его бей. Тоскливо без мяса-то, тоскливо.

— Знамо, тоскливо.

— Тоскливо.

Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса, на тракт. Шли серединой улицы: Иван с Нюрой — в центре, по бокам — тетки, дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый после вчерашних проводов.

Нюрка в цветастой шали, в черной юбке, в атласной бордовой кофте — нарядная, как в праздник.

Шел также молодой племянник Ивана с гитарой и громко играл что-то нездешнее, с маху вколачивая по струнам.

Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села — так же вот пойдет с родней по улице, так же будут все обращать внимание.

Пришли на автобусную станцию... Иван с двоюродными братьями отошли в чайную. Жена Нюра и старшие в родне промолчали: положено. На дорожку.

Скоро Иван и братья вышли из чайной — красные, покашливали. Закуривали.

— Дай твоих, у меня мятые какие-то...

— Спал, что ль, на них?

— Сел где-то...

— Ваньк, дорогой-то не пей шибко.

— Да ну, что я?..

— Ты пивко лучше. Захотел выпить, возьми пару бутылок пива — не задуреешь, все будет нормально.

— Да ну, что я?..

Братья — ребята все крепкие, кулакастые — вместе кому хошь свернут шею. А города опасались. Иван слегка волновался.

— Не духарись там особо...

— Да ну, что я?..

Подошел автобус.

Родные наскоро перецеловались...

— Иван, гляди там!..

— Мама, ребятишек-то, это — смотри тут за ими. На реку бы не ходили...

— Да ехайте, ехайте — погляжу тут.

— А то у меня душа болит...

— Ехайте! Раз уж тронулись — ехайте. Чего бы, дуракам, здесь-то не отдохнуть? Ехайте уж...

— Нюра, Нюр, — подсказывали под руку, — ты деньги-то под юбку, под юбку, ни один дьявол не догадается... Я сроду под юбкой вожу... Целеньки будут.

— Мам, ребятишек-то гляди... На реку бы, на реку — гляди!

— Пишите! Иван, пиши!

— Все будет — печки-лавочки! — кричал уже из окна Иван.

— Мама, ребятишек... ради Христа!..

Поехали. Автобус двинулся. Поехали наши — не робейте, держитесь! Привыкайте.

Иван маленько в автобусе принахмурился; все глядел в окно, пока проезжали деревню, знакомые с детства места... Поскотину проехали, лесок...

— Первый раз? — поинтересовался сосед Ивана, пожилой добрый человек.

Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал:

— Да ну, что вы!.. — и посмотрел на Нюру, и опять принахмурился, и отвернулся к окну. Посидел маленько, повернулся к соседу. — Куда — первый раз?

— В далекий путь-то.

— А вы почему догадались?

— Ну... видно: всей родней провожали.

— Нет, я в городе-то бывал, а так далеко не бывал — первый раз.

— А куда?

— К Черному морю.

— Хорошее дело.

— В санаторий.

— Хорошее дело.

Билеты продавали снаружи вокзала, и была большая очередь. Иван устроил Нюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь.

Стал за каким-то человеком в шляпе — шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще, в городе он стал какой-то суетливый. Волновался, что ли.

— За билетом? — спросил он человечка в шляпе.

Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана...

— Нет, за колбасой.

Иван не обиделся.

— Далеко?

Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана...

— В Ленинград.

— А я — к югу.

— Хорошо.

— Да решил, знаете... Ну ее, думаю, все к черту — поеду. Билетов-то хватит?

— Должно хватить. А там... бог ее знает. Народу много.

— Да, — Иван понизил голос, приблизил свою шляпу к шляпе человека с газетой. — Куда, к черту, едут? Чего дома-то не сидится?

Человек еще раз глянул на Ивана... И стал опять читать газету.

Иван помолчал, посмотрел вокруг... Посмотрел на длинную очередь... Заглянул через плечо человеку — в газету.

— Ну, что там?

Человек раздраженно качнул головой, сказал резковато:

— В Буэнос-Айресе слона задавили. Поездом.

— Ох, о!.. — удивился Иван.

Еще некоторые удивились в очереди, посмотрели на человека с газетой.

— А как же поезд? — спросил Иван.

— Поехал дальше. Слушайте, неужели охота говорить при такой жаре?

Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным — всем повеселей будет. Постоял еще немного, потом молча поманил рукой Нюру... Та подошла.

— Постой маленько, — сказал Иван. — Я покурю.

— Иди к чемодану, там покури.

Иван пошел к чемодану, а Нюра осталась стоять в очереди — терпеливо, с пониманием, что надо стоять, долго надо стоять.

Билетов всем хватило... Даже еще, наверно, остались лишние, так как в купе кроме Ивана с Нюрой был только один пассажир.

Иван вошел в купе несколько шумно, покрикивал на Нюру.

— Вот!.. Здесь — двадцать два, двадцать три. Давай сюда! Здравствуйте!

У столика сидел уверенный человек, чуть даже нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу... Записной командировочный.

— Ну, — сказал командировочный, глядя на Нюру, — будем знакомиться? Николай Николаевич.

— Иван Расторгуев, — сказал Иван. — А это жена моя, Нюра.

— Так, так... — и как-то сразу понял командировочный, что с этой парой можно говорить снисходительно, в упор их разглядывать, Нюру особенно, только что не похлопывать. — Далеко ли?

— К югу, — Иван старался быть вежливым, знающим.

Николай Николаевич засмеялся.

— Вы что, перелетные птицы, что ли? К югу?

Ивана обидел этот смешок, но он не подал виду.

Вошел проводник.

— Постель будете брать?

— Мне не потребуется, — сказал командировочный, — я в Горске схожу. А им вот потребуется, конечно. Они — к югу, — и командировочный опять посмеялся, глядя на Нюру.

— Да, да, — поспешно сказал Иван, — нам, конечно, потребуется. Тащите.

Проводник принес два комплекта — постели.

— Два рубля.

— Каких два рубля? — не понял Иван.

— За две постели.

— Это... — Иван почуял некий подвох с этими двумя рублями. — А что, за постели отдельная плата?

Командировочный и проводник переглянулись.

— Отдельная, отдельная. Давайте поскорей, мне некогда.

— Нюся, дай два рубля, пожалуйста, — спокойно сказал Иван.

— Загороди меня, — тихонько попросила Нюра.

Иван стал так, чтоб загородить жену от мужчин.

— Счас мы свои рублишки достанем из чулочка... И отдадим, — Ивану страсть как неловко было, что деньги — где-то у жены «в чулочке»... И он прямо, вызывающе-прямо посмотрел на ухмыляющихся проводника и командировочного и тоже улыбнулся, но зло улыбнулся. Если бы командировочный посмотрел внимательней на Ивана, он бы перестал улыбаться. Но он смотрел невнимательно — он улыбнулся. — Жена у меня боязливая... возьмут, говорит, да своруют наши рублишки... А кому они нужны, наши рублишки? Верно?

Нюра достала наконец пятерку... Подала кондуктору. Тот сдал трояк сдачи и ушел.

— Первый раз? — весело спросил командировочный.

— Что?

— Едешь-то. Первый раз?

— Так точно! А что?

— Надо доверять людям... Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги спрятали... аж вон куда! — командировочный опять посмеялся. — Значит, не доверяете мне. Так? Объективно так. Не зная меня, взяли меня под подозрение. А ехать вам далеко — вы так и будете всем не доверять? Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Раз уж поехали... к югу, как ты выражаешься, надо соответственно и вести себя... Или уж сиди дома, не езди. А куда к югу-то? Юг большой...

— На кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт новый открылся... Вот я туда первый раз и смазал лыжи.

Нюра засмеялась. Невольно.

Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра засмеялась.

— А ты что это сразу в бутылку-то полез?

— А вы что это сразу тыкать-то начали? Я вам не кум, не...

— О-о! — командировочный удивился и засмеялся насильственно. — Да мы, оказывается, с гонором!

— Вот так, дорогой товарищ... Я бы лично эти ваши ухмылочки не строил. Что, вы от этого сильно умный, что ли, стали? Нет же...

— Иван! — вмешалась Нюра.

— Слушайте!.. — посерьезнел командировочный. — Вы все-таки... это, научитесь вести себя как положено —вы же не у себя в деревне. Если вам сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться. Поняли? — командировочный повысил голос. — Научись сначала ездить. Еще жену с собой тащит...

— А что тебе моя жена? — зловеще тихо спросил Иван. — Что тебе моя жена?

Нюра знала, что после таких вопросов — так сказанных — Иван дерется.

— Вань!..

— Что тебе моя жена-то?

— То, что надо сначала самому научиться ездить, потом уж жену за собой возить.

— А твое какое дело? Я тебе что, на хвост нечаянно наступил?

— Да вы только не это... не стройте из себя припадочного. Не стройте. Видели мы и таких... И всяких, — у командировочного серьезно побелели глаза. — Не раздувайте ноздри-то, не раздувайте! А то ведь — как сел, так и слезть можешь.

— Это кто же, ты ссадишь?

— Ванька! Да перестань ты, господи-батюшки!.. И вечно с им какие-нибудь истории!

Командировочный весь встрепенулся, осмелел еще пуще.

— Так вот, чтобы историй этих больше не было — мы поможем ему... Ишь ты, понимаешь...

— Ну-ка, помоги.

— Сча-ас. Вот до следующей станции доедем и вызовем милицию. Может, с историями-то придется остановку сделать... суток на пятнадцать. Подумать, как вести себя в дороге. А то...

— Профурсетка в штанах, — отчетливо сказал Иван. — Он еще пугать будет... Сам у меня слезешь. Спрыгнешь... И — по шпалам, по шпалам... — Иван встал; Нюра вцепилась в него.

Командировочный вскочил с места. Он сделал это поспешно и сам же усовестился своей поспешности, гордо тряхнул головой.

— Ах, так? Ну погоди... — и он пошел из купе, но в дверях еще оглянулся. — Счас ты у меня уедешь, — и вышел.

Нюра перепугалась.

— Опять!.. На кой черт потащил тогда, на самом-то деле, если с характером своим поганым совладать не можешь?..

— Не гнуси. Я, что ли, начал?

— Ссадют, правда, на станции — кукуй там...

— Счас — ссадили.

— Он, может, начальник какой, откуда ты знаешь?

— Он дурак. Чего он начал ухмылочки строить?

— А ты что, с лица спал от этих ухмылочек? Строй он их!.. Как хорошо поехали — нет, надо свой характер показать!..

— Не ори. И не пужайся, наоборот, держи теперь нос выше, а то, правда, не ссадили бы.

— Как хорошо поехали!.. — горько горевала Нюра.

Дверь в купе отодвинулась...

Стояли два кондуктора, а за ними — командировочный.

— Вы что тут? — спросил кондуктор, который выдавал постели.

— Что? — откликнулся Иван. — Ничего.

— Чего шумите-то?

— Кто шумит? Никто не шумит.

— А кто меня из вагона выбросить хотел? — спросил командировочный.

— Вы что-то перепутали, — спокойно сказал Иван. — Это вы меня ссадить хочете... А мне неохота — слезать-то... Я затосковал.

Кондукторы увидели, что пассажир — не пьян, обратились к командировочному:

— Перейдите в другое купе, места есть. Во втором есть два места.

Командировочный взял свой портфель и, смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом, сказал:

— В Горске мы еще увидимся.

— Давайте. По кружке пива выпьем...

— Ты это... не очень! — прикрикнул на Ивана кондуктор. — А то выпьешь у меня.

И они ушли.

— Вот так! — сказал Иван. Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе. — А то будут тут мне... печки-лавочки строить, понимаешь.

— Сиди уж!.. Герой! У самого небось душа в пятки ушла.

— У кого? У меня? Мне только на станции сидеть неохота, а то бы ему... сказал несколько слов. Зато вон как свободно стало!.. Хорошо! — Иван полез в карман — закуривать.

— Иди в коридор курить-то. Здесь нельзя, наверно.

Иван вышел в коридор.

В коридоре стоял молодой мужчина... Смуглый, нарядно одетый, улыбчивый. Морда — кирпича просит.

Иван похлопал по карманам — в одном брякнули спички... Но все равно смуглый, вежливо улыбнувшись, подставил свою папироску. Иван прикурил.

— Маленькое недоразумение? — спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе.

— Да один товарищ... начал чего-то — ни с того ни с сего...

— Далеко?..

— Еду-то? К югу. Надо, знаете, отдохнуть малость. На курорт, — Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд.

— Один? — все расспрашивал смуглый, скорый.

— Нет, с женой.

Смуглый вдруг протянул руку — знакомиться.

— Виктор.

— Иван.

— Кроме вас, в купе есть кто-нибудь?

— Нет. Этот-то ушел...

— Я тогда перейду к вам... — Виктор вошел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. —А то у меня там одни женщины... Пойдем в твое.

— Пошли.

Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье.

— Ну вот... — сказал он облегченно. И улыбнулся Нюре. — Ну, как там... в колхозе-то?

— Да ведь оно — как? — пустился в рассуждения Иван. — С одной стороны, конечно, хорошо — материально нас поддержали, с другой стороны... А вы кто будете по специальности?

— Я?

— Ну...

— Конструктор.

— Вот — городской человек. Вот нам говорят: давайте сравняем город с деревней. Давайте! Значит, для вас в городе главное что, деньги? Ну, значит, давайте и для деревни так же сделаем — деньги будут главными. А — хрен!.. Так нельзя.

— Иван, — сказал Нюра.

— Ну?

Нюра притворно посмеялась.

— Ты с какими разговорами... Человек, может, устал, а ты...

— Нет, нет, я не устал, — сказал Виктор. — Ну, так — деньги?

— Деньги. Я, например, тракторист, она — доярка. Мы в добрый месяц зашибаем где-то — две, две с лишним сотни.

— Да? — удивился конструктор. — Я думал, меньше.

— Да что вы! Иной раз до трех выходит!..

— Вань...

— Чего тебе?!

— Ну, ну? — любопытствовал дальше конструктор.

— Теперь, — продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы. — Что получается? Если я не поленюсь, я эти свои сто двадцать рублей завсегда вышибу. Так? Буду вкалывать с утра до ночи... а то и ночи прихвачу... Так?

— Ну.

— Правильно! — Иван всерьез волновался. — Но один маленький вопрос: чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот.

— А в чем вопрос-то? Это ответ.

— Ну, ответ. А вопрос еще хуже: спроси?

— Кого?

— Меня.

— О чем?

— Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все?

— Все.

— Хрен!.. Это на заводе — сковал я, допустим, ось, так она ось и нужна — я все сделал...

— Но ось-то — тоже для машины! На одной оси-то не поедешь.

— Правильно! А машину потом соберет другой — и за это тоже ему плати денюжку...

— Но ведь и у вас: ты вспахал, другой посеял...

— Я вспахал — получил, он посеял — получил, а хлеба например, нету. А мы денюжку получили. Я к примеру говорю.

— Это какой-то Гегель получается...

— Да никакой не Гегель!

— Да почему хлеба-то нету? Неурожай, что ли?

— Да меня это не касается, вот штука-то! Не знаю, может, неурожай. Я пахал хорошо. И получил хорошо — на курорт вот поехал... Хватило.

— Вань...

— Не ванькай! Я ж за колхоз волнуюсь, а не... чего-нибудь. Мне тоже понять охота.

— Значит, вы живете хорошо, — подвел итог конструктор.

— Хорошо. Вон у меня ряшка-то — с похмелья не... это... Она и у те... Да. Хорошо живем!

— А почему вы в город из деревни бежите?

— Это не вопрос, это — семечки. Я же эти сто двадцать рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе?..

— Наверно.

— Заработаю! Силенка есть, и башка на плечах — сумею.

— Сумеешь.

— То в городе я на эти сто двадцать рублей... интересней проживу. В городе у меня все под боком: и магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино... А у себя-то я со своим рубликом еще побегаю поищу — где пальтишко девчонке купить, где рубаху себе, где пальто демисезонное супруге... За любым малым пустяком — в райцентр. А до райцентра — семьдесят километров. Да еще приедешь, а там тоже нету.

— М-да. А куда сейчас-то? Место подбирать, куда бежать?

Иван обиделся.

— Ать! — поймал! Пойма-ал, конструктор... — посмеялся недобро. — Что, есть на примете хорошее местечко?

— Обиделся! — конструктор тоже посмеялся — добрее. — Оби-иделся пахарь. Не обижайся, я без всякого умысла. Куда едете-то?

— Я же говорил — к югу.

— А, да. К югу — это хорошо, — похвалил конструктор. — Я сам думаю махнуть скоро... — И конструктор пропел шутливо: — «Там море Черное, песок и пляж, там жизнь привольная чарует нас!..» Да?

Нюра засмеялась. Она была очень смешливая женщина. И смеялась как-то очень доверчиво и мило — хотелось ее смешить.

— Так-так, — сказал довольный конструктор. И поднялся. И достал из-под сиденья чемодан. — Ну, что нам тут положили? Собираешься вечно второпях... вечно торопишься... Ну, конечно, — ключи забыл дома. На пианино. Вечная история! Ножик есть, Ваня?

— Есть.

— Да зачем же ломать такой добрый чемодан! — встряла Нюра.

— Ничего. На наш век чемоданов хватит. Верно, Иван? — конструктор ловко поддел концом ножа блестящие замочки, и они один за другим отскочили.

— Вы не по тракторам конструктор?

— Нет. По железной дороге.

— А то бы я вам задал пару вопросов...

— Нет, лучше не надо, Иван, — конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя. — Я устал от вопросов... Ага — коньячишко!.. КВК. Прекрасно. А тут что?.. Кюпюры. О, мне эти интеллигенты: кто же деньги кладет в чемодан! — конструктор переложил деньги из чемодана в карман. — Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого... М-да. Ну? — конструктор весело посмотрел на Ивана, на Нюру... И какая-то мысль влетела ему в лоб. Он достал из чемодана очень нарядную кофточку.

— Ну-ка, Маруся, встань.

— Нюра. Маруся у нас дома осталась.

— Ну-ка, Нюра, примерь...

— Зачем?

— Примерь, я посмотрю.

— Ой, да я сроду и не нашивала таких...

— Да примерь — просют! — воскликнул Иван.

— Ну, отвернись.

Мужчины отвернулись. И, отвернувшись, поговорили малость.

— Какое отношение к коньяку? — спросил конструктор негромко.

— У меня? Хорошее.

— Рюмочку — не возражаешь? КВК.

— Что это, коньяк?

— Да. Генеральский.

— Не возражаю.

— Ну, глядите! — сказала Нюра. Кофточка так ее скрасила, так преобразила!.. Нюра покраснела под взглядами мужчин. Засмеялась милым своим смехом.

— Идет вам.

— Это кому же вы такое богатство везете? — спросила Нюра.

— Носите на здоровье, — просто сказал конструктор.

— Да что вы! — испугалась Нюра.

— Ничего, носите. Это так вам к лицу!.. — смугловатый джентльмен улыбнулся. — У нас хватит. Ах, как она вам идет! Шик-блеск — тру-ля-ля, как мы говорим, когда заканчиваем какую-нибудь конструкцию.

— У нас... это... — растерялся и Иван, — деньжонок в обрез... На дорогу только. А она ж дорогая, наверно...

Конструктор укоризненно покачал головой.

— Не обижай, Иван. Деньги — это бяка. Скажи лучше, чем мы закусим коньячишко?

— У нас огурцы малосольные есть...

— Нет, огурцы здесь не... Ага! — конструктор нашел в чемодане шоколад. — Ах, молодцы! Все продумали.

— Заботливая у вас жена, — сказала Нюра, желая сказать что-нибудь очень хорошее доброму человеку.

— Ничего... Немножко рассеянная.

— Работа, видно, такая. У нас на квартире жил один ученый — такой умница, такой башковитый, добрый тоже такой, а ширинку вечно забывал застегнуть, — Нюра засмеялась. Конструктор тоже посмеялся. И Иван посмеялся. Все посмеялись, так всем что-то хорошо стало.

— Держи, Иван.

Нюра дернула было Ивана за пиджак — чтоб он не увлекался коньяком-то, но Иван только ногой дрыгнул и досадливо, с укором поморщился.

— Вот так вот живешь, работаешь... а радости — нет. Радость — на нуле, — конструктор чего-то вдруг взгрустнул. — Настоящей творческой работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий... устаю. Все время в напряжении, все время нервы как струны натянуты, и я боюсь, что когда-нибудь они лопнут.

— Железная дорога! — понимающе сказал Иван. — Тут так-то просто проедешь, и то голова кругом, а вам все время думать надо. Это же не печки-лавочки, понимаешь.

— Ну?..

— Поехали...

Они хватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету с золотым обрезом — тоже из чемодана, вытянул ноги, чуть прикрыл глаза.

— Покой нам только снится, — сказал он негромко.

— Но я вам так скажу, Виктор...

— Александрович. Друзья меня называют — Виктóр.

— Я вам так скажу, Викто́р, — пустился в подхалимаж Иван, — без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали...

— Куда вы без нас!

— Вот я — тракторист. Я поучился три месяца — и готово дело: управляю. А ведь его же придумать надо было, сконструировать! Сколько там всяких узлов, систем... — Иван повернулся к Нюре, стал загибать пальцы. — Система питания, система зажигания, система охлаждения...

— Молодец, хорошо знаешь трактор, — похвалил Виктор. — А вот нам, авиаконструкторам...

— Вы же — по железной дороге.

— Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклоном. Мы сейчас разрабатываем систему игрек: железная дорога без мостов.

— Как это?

— Так. Вот идет поезд, на пути — река... А моста нет.

— Ну а как же?

— Очень просто: поезд пла-авненько поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы.

— Где же у него крылья-то будут? — тоже очень заинтересовалась Нюра.

— Никаких крыльев — воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара — и по пару, по пару...

Иван засмеялся.

— Премию большую могут дать за такую механизацию!

— Могут дать, — согласился Виктор, улыбаясь.

— Так что, правда, что ли? — не поняла Нюра.

Мужчины засмеялись вместе.

— Что ты, шуток не понимаешь? — сказал Иван.

Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках.

— Это какая станция? — встрепенулся Виктор.

Иван выглянул в окно.

— Гор...ск. Горск.

— Сколько здесь стоит?

— Не знаю.

— Наливай по рюмочке... И продолжим мирно беседовать.

— Хватит бы вам, — сказала Нюра, — Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит. А то он счас по вагону начнет бегать.

— Зачем? — не понял Виктор.

— А он всегда так: как выпьет, так...

— Да брось-ка ты! — обиделся Иван. — С коньяка не забегаешь! Это тебе не самогон.

— Зачем же он бегать будет? Мы будем спокойно сидеть — беседовать. Вы на съезде колхозников были?

— Нет.

— Но какие вопросы...

В это время дверь в купе отодвинулась: стояли милиционер, а за ним... командировочный.

— Вот, пожалуйста, коньяк сидит дует! — брезгливо сказал командировочный. — Он до Новосибирска не доедет. И эта — тоже... куда с таким пьянчугой поехала! На куро-орт!..

— Куда едете? — строго спросил милиционер Ивана.

— К югу. А чего, я не понимаю?.. Вот билеты, вот путевка...

— Тебе не на курорт надо, а в вытрезвитель, — зло говорил командировочный. — Еще жену за собой тащит...

— Минуточку, — остановил его милиционер. Внимательно осмотрел билеты, путевку. — Как же так: не успел отъехать — уже за бутылку?

— Тут недоразумение, товарищи, — спокойно, чуть принахмурившись и негромко заговорил железнодорожный конструктор. — Товарища колхозника угостил коньяком я, и выпили мы — вот, что видите, — совсем немного. До этого он был совершенно трезв, я это утверждаю.

— Вы не заступайтесь за него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас, этот хам...

— Я не заступаюсь! — повысил голос конструктор. — Я констатирую (он выговорил — консцацирую) факт: товарищ был совершенно трезв и угостил его — я. А вас... вам стыдно, товарищ, бегать по милициям и вносить дезинформацию. Кляузами заниматься.

— Я же и кляузничаю! А это что у вас на столе? Боржоми?

— Это коньяк. КВК. У нас в стране нет сухого закона. Ясно? И не бегайте, и не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут...

— А кто вы такой, собственно? — ощетинился командировочный.

— Это же самое я хочу спросить у вас. Где вы работаете, кстати? — конструктор вынул из кармана записную книжку приготовился записать.

— А вы куда едете? — спросил милиционер.

— В новосибирский академгородок, — небрежно бросил конструктор. — Так где вы работаете, товарищ?

— Не ваше дело.

— Хорошо, — конструктор спрятал записную книжку. — Я постараюсь это узнать. Через Николая Сергеевича, — конструктор посмотрел выразительно на милиционера. — Это не составит труда. И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников. Почему вы им устраиваете проверку документов... и прочее.

— Вы же не слышали, как он тут обзывался...

— Это ваше мужское дело! — конструктор ни секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом, например. — Вышли в тамбур и выяснили отношения. Нет, вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка...

— Спокойней, товарищи, спокойней! — влез наконец милиционер со словами. — Наше дело — предупредить, чтобы товарищ... не забывался, что он в дороге, тем более что он не один. И вам, так же самое, — совет: выпиваете, а без закуски. А еще молоды, опыта в этом деле мало — развезет, и сами не заметите как. Вон же, есть вагон-ресторан, взяли первое, второе, ну и выпили. Но тогда есть уверенность, что не развезет. А так — это же риск. Езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает. Но опять же, мой совет, как старшего товарища: будьте с этим делом бдительны. Коньяк — его ведь только пить приятно, но он свое берет. До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

Дверь в купе задвинулась. Некоторое время все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.

— Валерьянка есть? — спросил он. Он и правда побледнел.

Нюра испугалась.

— Я схожу спрошу у этого... какой постели выдавал... У них есть, наверно.

— Нет, — сказал конструктор. — Не надо. Сейчас мы вот этих капель накапаем, — он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил. — Вот так. Пройдет.

Поезд тронулся.

— Поехали? Ну, вот... а ты, дурочка, боялась... — конструктора что-то кинуло в болтливость, с коньяка, что ли.

— Ты, Иван, спрашивал насчет системы игрек: только что, на твоих глазах, сработала система игрек. Мы же были в воздухе. Ты не заметил?

— Как в воздухе? — спросила Нюра. — Мы стояли.

— Мы были в воздухе. Пла-авненько поднялись и опусти-ились, — конструктор показал рукой, как пла-авненько поднялись и опусти-ились.

— Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце у меня опустилось в пятки, это точно, — признался Иван.

Конструктор почему-то обрадовался. Даже засмеялся.

— Испугался?

— Испугался! Ссадют, думаю...

— А-а, вот так! И ссадили бы — запросто. Да. Ну, хорошо с вами... но мне пора.

— Куда вы?

— Да пойду поищу тут товарища одного... — Виктор затянул чемодан ремнями. — Товарищ один должен ехать... тоже конструктор. — Виктор взял чемодан в левую руку, правой еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся.

— Вы коньяк-то пробочкой заткните да в карман, — посоветовал Иван. — Товарища-то стренете — будет что выпить.

— Мы найдем. До свидания.

— Виктор Александрыч, — заговорила Нюра, — за кофточку-то... я уж и не знаю как благодарить. Дай бог здоровья жене вашей, деткам, если есть...

— Должны быть по идее.

— Не заругали бы вас дома-то. Скажут: такое добро, а кому-то отдал.

Конструктор прислушался к шуму в коридоре.

— Ничего... Носите на здоровье, Нюря. В Крыму, даст бог, увидимся.

Конструктор отодвинул дверь, выглянул... И скоро ушел.

— Гляди-ка, какие люди бывают! — сказала Нюра. — Даже не верится. Ведь такая кофта... рублей сорок, а то и все пятьдесят. Вон Грушке Богатковой брат прислал — сорок пять рублей, пишет, а она победней этой-то.

— Эта? — Иван прикинул на глаз. — А шестьдесят не хочешь? Сорок... Это же заграничная, вон, гляди, клеймо-то. Это тебе не печки-лавочки.

— Все-таки, никак я его не пойму: за что?

— А мы и не поймем. Мы ведь как рассуждаем: сами возимся, как жуки в навозе, и думаем, что и все так. А есть — люди! Орлы! Я бы сам такой же был, если бы не твоя жадность. Дай-ка мне сюда деньги, а то каждый раз лезешь туда... со стыда сгораю.

— Не сгоришь. Они там надежней будут. Дай тебе бог здоровья, добрый человек! — Нюра все не могла налюбоваться на кофту, все смотрелась в зеркало. — Прямо сият, сият!..

Вдруг зеркало отъехало в сторону — в двери стояли два милиционера и проводники. И еще один — в гражданском.

— Где он? — спросил милиционер, тот самый, который был здесь, с командировочным.

— Кто? — не понял Иван.

— С вами ехал... Он ушел?

— Ушел.

— Когда? Давно?

— С полчаса. Может, минут двадцать... Это вы про конструктора?

— Конструктора... Он все с собой забрал? Что у него было?

— Чемодан... Желтый такой.

— И все?

— Все... Вроде все.

Нюра так и села. В кофте-то. И с ужасом смотрела на милиционеров.

— Но он не в Горске сошел? Позже?

— Позже. Ему так-то до Новосибирска ехать... Он пошел товарища, говорит, поискать...

— Наверно, на Верхотурском подъеме спрыгнул, — стали гадать милиционеры и человек в гражданском. — Не иначе.

— Черт его... мог и на шестьдесят седьмом спрыгнуть. Он куда пошел: вперед или в хвост поезда?

— Да вышел из купе, и все. Дальше мы не видели. А в чем дело?

Милиционеры и в гражданском ушли. Но сказали:

— Не уходите никуда из купе.

— Вот, брат, какое дело... — один проводник, очень расстроенный, присел на краешек дивана. — Зачем посадил без билета?! Ну, есть места — и посадил. Ну, нет: теперь виноватых надо найти! Как же! Он вот и с вами, вижу, коньяк выпивал — выходит, и вы виноватые?

— А что случилось-то?

— Сами поймать не могут, давай на других сваливать! — проводник очень, очень расстроился. — Ну, посадил... Они про-сются завсегда, а места есть, все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай — надо же ехать, ехай. Нет, теперь виноватых будут искать. Эх-хе-хе!.. — проводник встал и ушел.

Нюра, как села в своей заграничной кофте, так сидела, не могла встать. Смотрела на мужа...

— Вань... да что же это?

— Вор, вот чо это такое. Ворюга несусветный... — но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость. — Снимай кофту, — велел он. — Быстро! Давай ее сюда. Одевай свою!..

Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубаху и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала и заглянул проводник.

— Бутылку с коньяком не велели трогать. Вообще ничего не трогать — отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите.

— Сидим.

Проводник удалился... Иван подождал немного, выглянул в коридор... И быстро-быстро по коридору — в туалет.

В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил... Кофта застряла в трубе: раковина наполнилась водой. Иван заметался по малому пространству сортира — нечем было протолкнуть кофту. В дверь толкнулись снаружи раз, другой... Пошевелили ручкой.

— Счас! — громко откликнулся Иван. — У меня понос, товарищи!

— Иди, там следователь пришел, — сказал проводник.

— Счас приду.

Проводник все не уходил... Стоял за дверью.

— Иди, он зовет, — еще сказал он.

— Да счас иду! — заорал Иван со злостью.

— Давай, — сказал проводник. И ушел.

С отчаяния Иван еще разок нажал на педаль внизу... Вода полилась через край, на пол...

В купе следователь расспрашивал пока Нюру.

— Он что, знакомым вашего мужа представился?

— Да нет, он вышел покурить, муж-то, а, смотрю, вместе идут...

— Значит, просто попутчик? — следователь (это тот, что был в гражданском, в красивых очках) внимательно посмотрел на Нюру, чем окончательно доконал ее. — И что он сказал, когда вошел?

— Ничего. Здравствуйте, мол. Обходительный.

Проводник, который вошел и присел на диван, угоднически посмеялся.

— Обходительный...

— Ну а где же... товарищ-то отсюда? — повернулся следователь к проводнику.

— Я сказал ему! — поспешно воскликнул тот. — У него... Разрешите? — проводник наклонился к уху следователя, что-то сказал.

Следователь поморщился.

— Со страха, что ли?

Виноватый проводник опять противненько посмеялся и сказал:

— Это уж точно.

— Понос, что ли? — спросила Нюра. — У него бывает.

В дверь купе постучали.

— Да! — сказал следователь.

Вошел Иван... Правый рукав его нового пиджака весь был мокрехонек до плеча.

— Здравствуйте, гражданин следователь.

Следователь, забыв свое важное положение, громко засмеялся. И проводник — не понимая, в чем дело, — тоже неуверенно подхихикнул. И Иван тоже изготовился изобразить улыбку, только не понимал, что это за смешинка попала в рот серьезному следователю.

— Почему же я — гражданин? — спросил следователь, отсмеявшись.

— А как?

— Обыкновенно — товарищ.

Проводник понял наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в восторге от своей догадливости. Даже вскочил.

— Рано!.. Рано гражданином-то. Это потом, чудак!..

Поезд в это время подошел к какой-то большой станции. Кого-то встречали, провожали, кто-то уезжал грустный, а кто-то улыбался и похохатывал... Жизнь, нормальная, крикливая, шла своим чередом. Шла и ехала на колесах.

Вот встретили какого-то флотского, старшину второй статьи. Флотский еще на подножке изобразил притворный ужас от того, что его столь много понашло, понаехало встречать... Актеры, эти флотские! Ему кричали, шли рядом с вагоном, его звали скорей сойти, а он, счастливчик, все изображал ужас и что он теперь будет делать!.. Потом поезд совсем остановился, флотский упал в руки друзей...

А вот слегка поношенный человек идет через перронную сутолоку, держит в руках каракулевую папаху, какие носят полковники, и негромко, однообразно повторяет:

— А вот папаха. А вот папаха. Кому папаху?..

— А ну, дай глянуть, — остановился один удачливый спекулянт. — Что просишь?

Поезд опять поехал.

Иван снял пиджак, надел другую рубаху... Сидели с Нюрой, молчали. Очень уж неожиданно и тяжело свалился на них этот «железнодорожный конструктор».

— Да-а, — только и сказал Иван, глядя в окно. — Дела...

— Такой молодой — и надо же! — вздохнула Нюра. — И что заставляет?

Тут дверь в купе отодвинулась, вошел пожилой опрятный человек с усиками, с веселыми, нестариковскими живыми, даже какими-то озорными глазами. Вошел он и опускает на пол... большой желтый чемодан с ремнями.

— Здравствуйте! — приветливо сказал пожилой, веселый. — По-моему, это здесь... Двадцать четыре — здесь. Будем соседями?

Иван, увидев желтый чемодан с ремнями, «сделал ушки топориком». Нюра тоже смотрела на нового пассажира подозрительно и со страхом.

— Далеко ехать? — спросил словоохотливый сосед.

— Далеко, — сказал Иван.

— И мне далеко... — сосед, однако, был удивлен столь явным недружелюбием соседей. — Я не помешал вам?

— Нет.

Некоторое время сидели молча.

— Вы не конструктор будете? — спросил Иван.

— Нет... А почему вы решили, что конструктор?

— Да так... — Иван насмешливо, с укоризной посмотрел на пожилого соседа. — А кто вы будете, интересно бы узнать?

— Я — профессор. Но... самый, наверно, несерьезный странный, профессор: ездил в ваши края собирать частушки, сказочки...

Иван с Нюрой переглянулись.

— Собрали?

— И преизрядное количество! — профессор хлопнул чемодан по пузу. — Богат народ! Ах, богат! Веками хранит свое богатство, а отдает даром — нате! Здесь, в этом чемодане, — пуд золота. Могу показать — хотите? — профессор полез было в чемодан.

— Нам ничего не надо! — вскричала Нюра.

А Иван даже предостерегающе привстал... И смотрел на профессора недобро, очень серьезно.

Профессор вовсе был удивлен.

— М-гм, — сказал он. И замолчал.

Все долго молчали.

— Пойду, пожалуй, чайку спрошу, — сказал профессор. И встал. — Для вас не попросить?

— Нет, — сказал Иван.

— Нам не надо, — сказала Нюра.

Профессор вышел.

— Проверь деньги, — заговорил Иван, едва дверь за профессором закрылась. — А то тут снова пошли печки-лавочки.

Нюра пощупала на боку деньги.

— Здесь.

— Переверни вниз и сиди на них. И не вставай зря...

— Да уж отсюда-то... как, поди?

— Они с руки часы снимают, не то что... оттуда. С такого объема — ты и не почувствуешь.

— Да ведь все такие обходительные!

— Чай принесет, тоже не бери: может подсыпать снотворного... По-моему, они из одной шайки, — Иван показал на чемодан профессора, так поразительно похожий на чемодан «железнодорожного конструктора».

— Может, сказать кому-нибудь?

— Да? А потом — нож под ребро... Сиди и помалкивай: мы — деревенские, люди темные, с нас взятки гладки. Спать будем по очереди.

Вошел профессор.

— Ну, вот и чаек! Да такой, знаете, славный!.. Напрасно отказались.

— Мы уже... почаевничали, — сказал Иван.

Профессор внимательно глянул на Ивана.

Нюра хранила молчание.

— Сельские? — полюбопытствовал профессор.

— Ага, сельские. Из деревни.

— Ну и как там теперь, в деревне-то? По-моему, я вот поехал, веселей стало? А? Люди как-то веселей смотрят...

— Что вы!.. Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица — как начнет хохотать, ну, спасу нет. Пожарными машинами отливают.

— О, как! Массовое веселье... Чего они?

— А вот — весело! Да я по себе погонюсь: бывает, встанешь утром, еще ничем-ничего, еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Креписся-креписся, ну, никак. Смешно! Иной раз вот так вот полдня прохохочешь...

— А знаете, что надо делать, чтоб остановиться? Со мной бывало такое — тоже целыми днями хохотал. Меня один умный человек научил, как избавиться...

— Ну-ка? А то прямо беда!

— Беда, беда. Что вы!.. Я знаю. То ли работать, то ли смеяться...

— Вот, вот.

— Надо встать на одну ногу, взять правой рукой себя за левое ухо, за мочку, прыгать и... Вас как зовут?

— Иван.

— Прыгать и приговаривать:

Ваня, Ваня, попляши,
Больно ножки хороши;
Больно ножки хороши —
Ваня, Ваня, попляши!

Нюра невольно засмеялась.

А Ивана почему-то эта песенка оскорбила.

— Помогает? — зло спросил он.

— Как рукой снимет.

— Вот... ученые-то, все-то они знают! Прямо позавидуешь, ей-богу. Надо запомнить. Как? — «Ваня, Ваня, попляши»?

— Ваня, Ваня, попляши.

— А вдруг да заместо того, чтоб хохотать, — плясать примешься? Тоже ведь — опасно.

— Плясать?

— Но. Попрыгаешь так-то, да и пойдет чесать целый день.

— Хм... Не исключено, не исключено. Ну, что-нибудь и здесь придумается. А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина? — вдруг от души предложил профессор. — А то мы... — он хотел еще сказать: «А то мы что-то никак не наладим добрые отношения — все что-то с подковыркой говорим». Но Иван и Нюра в один голос дружно сказали:

— Нет.

— Что так?

— Нет! Большое спасибо.

— Не понимаю...

— Он у меня непьющий, — пояснила Нюра.

— И некурящий, — добавил Иван.

Профессор посмотрел на него.

— Золотой мужик.

— Подарок, — еще сказала Нюра. — На балалайке играет.

— А при чем тут — золотой? — спросил Иван.

— Ну — непьющий, некурящий... Денег, наверно, много?

— Откуда? — воскликнула Нюра. — Мы вот поехали к югу, и только-только наскребли на билеты в один конец. С грехом пополам... назанимались...

— А как же оттуда? — удивился профессор.

— Да не знаю как... Как-нибудь.

Профессор смотрел на сельских жителей — он, правда, не понимал, что происходит.

— Я вот, допустим, тракторист, — стал рассказывать Иван, — она — доярка... Откуда же у нас деньги? От сырости, что ли? Вот вы говорите — выпьем. Я б выпил, приласкал душеньку... Только она, рюмочка-то, кусается нынче. Я вот к вечеру-то наломаюсь хорошо, иду мимо магазина — эх, двести бы граммчиков! А? А в уме прикинешь — рубль с лиху... слишком это, знаете, чувствительно. Так уж придешь домой да нормального само... вот! И все, и проходишь мимо магазина. Попьешь молочка дома и ложишься спать. Вот он, желудок-то, и не подготовлен к вину. Даже к хорошему. А я выпил бы сейчас с вами. С удовольствием...

— Его сразу стошнит.

— Да, сразу...

— Чувствую, — заговорил профессор серьезно, — ломаете дурака, Иван Иваныч...

— Иван Федорыч.

— Иван Федорыч... Ломаете дурака, Иван Федорович, а не пойму — зачем?

— Вы одного конструктора знаете? — в лоб спросил Иван.

— Я их много знаю, не одного... А что?

— Да нет, ничего, все ясно. По железной дороге, да?

— Что «по железной дороге»?

— Без мостов. Система игрек?.. Пожилой человек. Не стыдно?

— Вань!.. — взмолилась Нюра.

— Да пошли они к..! — открыто обозлился Иван. — Бессовестные. Люди за копейку-то горб ломают, а эти — стянул чемодан и радешенек, и богатый, хорошее вино пьют, коньяки... Есть у меня деньги, есть! — не подговаривайся! Только попробуй возьми хоть один рубль — вот, видел? — Иван показал увесистый кулак. — Быка-трехлетка с ног сшибаю...

Профессор понюхал протянутый кулак.

— Да, могилой пахнет. Серьезный кулак. Надежный. И все же тут какое-то недоразумение, Иван. Вы меня за кого-то другого принимаете... Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам? А ему я покажу документы. Хотите, вам покажу?..

— Не нужны мне ваши документы. И ходить никуда не надо. И я никуда не пойду — не мое дело. А поживиться здесь не удастся, заранее говорю.

— Нет, я все-таки схожу. А то этак мы всю дорогу и будем подозревать друг друга...

Профессор вышел.

— Вань, — встревожилась Нюра, — не зря мы человека-то обидели?

Иван молчал. Ему тоже сомнение вкралось в душу.

— А, Вань?

— А я откуда знаю? — взорвался Иван. — Иди разбери их... Откуда он, пуд золота-то? — Иван пнул профессорский чемодан. — Может, кокнул кого-нибудь в тайге — вот и...

— Да шибко уж не похожий.

— А тот был похожий?

— Господи, господи, — только и сказала Нюра. — Правда, трудно понять людей.

Вошли профессор с проводником. Проводник ухмыляется.

— Ты чего это тут бдительность развел? — спросил он. — Это товарищ Степанов, профессор, из Москвы... Тебе уж теперь на каждом шагу будут воры казаться. Некрасиво, обидел товарища...

— Насчет обиды — это не надо, — попросил профессор. — Никакой обиды.

— Ну как же?..

— Никакой обиды! Хорошо, что все объяснилось.

— Давай тут... не очень! — счел нужным еще сказать проводник Ивану. — Какой же он вор! Хоть немного-то разбирайся в людях.

— Ты много разобрался в том конструкторе... которого без билета посадил? — обиделся Иван на нравоучения лакеистого кондуктора. — Бегал тут... икру метал. Еще ухмыляется!

— Ну-ка! — прикрикнул проводник. — Давай-ка, приведи себя в порядок! Не очень тут!.. Не дома на печке. Устраивайтесь, товарищ профессор.

— Я устроюсь. Хорошо.

— Если он будет тут чего-нибудь фордыбачить, скажите мне... Мы его живо приструним. Мы ему...

— Да идите вы к дьяволу! — вскричал вдруг профессор. — Чего вы пристали к человеку?!

Проводник опешил. Молчал.

— Извините, пожалуйста! — сказал профессор. — Спасибо. Мы теперь сами разберемся. Идите.

— Ну, давайте, — сказал проводник. — Ничего. — И ушел.

— Фу-ты, дьявольщина какая! Нехорошо как...

— Товарищ профессор, вы уж простите нас, ради бога, — сказала Нюра. — Обознались мы...

— Да что вы!.. За что? Я, старый дурак, поперся к проводнику... Надо было самим разобраться.

Иван, опозоренный, молчал, насупив брови.

— Попроси прощения! — строго велела Нюра. — Язык-то не отсохнет.

— Та-а... — Иван сморщился. — В этом, что ли, дело?

— Забудем все недоразумения! — решительно сказал профессор. — Нам же далеко ехать!.. С какой стати мы испортим себе дорогу? Иван!..

А поезд опять подходил к станции.

И опять перронная кутерьма... Приехали. Уезжают.

В вагон, где ехали Иван, Нюра и профессор, садилась большая гитаристая группа студентов — юноши и девушки, большинство — девушки.

Поезд тонко закричал...

Иван с профессором пригубили-таки из высокой бутылки дорогого вина. Профессор — с блокнотом в руках — экзаменует Ивана на предмет владения родным языком. Настроение у них хорошее; Иван относится к «экзамену» довольно серьезно; Нюра — больше на подсказках.

— Просто — ударить. Он ударил — я ударила — кто-то ударил...

— Вломил, — начинает Иван.

— Так.

— Жогнул.

— Жогнул?

— Ну — жогнул. Рраз! — жогнул.

— Ага. Хорошо. Еще?

— Тяпнул.

— Да. Еще?

— Матерно можно?

— Нет, это не надо.

— А там много, вообще-то...

— Нет, лучше не надо. Кроме того, здесь женщина.

— Она слышала...

— Итак?

— Наподдал, — подсказала Нюра.

— Наподдал... Да. Невыразительный глагол. Женский какой-то.

— Хряпнул. Ломанул.

— Вот это... глаголы! Мускулистые.

— Перелобанил. Окрестил. Саданул... Нае... Нет, не туда. Врезал. Смазал.

— Так, так, — подбадривает профессор.

— Пиннул, — опять вмешивается Нюра.

— Пиннул? Это хорошо. Пнул, да?

— Ну да. Пиннанул, у нас бабка говорит.

— Это старушечий, — снисходительно бросил Иван. — Взял на калган, — еще вспоминает он.

— Это что такое?

— Головой дал! Вот так вот, — Иван взял профессора за плечи и рывком кинул на себя и подставил голову но, конечно, не ударил — показал.

— О-о! А калган — это голова?

— Голова.

— Это по-каковски же?

— По-русски! Кал-ган. У нас еще зовут — сельсовет.

Профессор засмеялся.

— А как еще?

— Чердак.

— Чего попало! — изумилась Нюра. — Неужели вам это на самом деле нужно?

— Нужно, Нюра.

Тут в купе вошли веселые девушки-студентки устраивать одну свою подружку. Трое.

— Нам сказали, у вас одно место свободное...

— Так точно! — приветливо откликнулся профессор. — Располагайтесь. Которая из вас? Стоп, мы сами выберем. Самую красивую.

— А ну? — девушки все были хорошие, крепкие, голоногие. — Выбирайте!

Профессор поверх очков оглядел всех... Искренне вздохнул.

— Оставайтесь все. Выбирает тот, кто... забирает. О-о!.. — сам болезненно сморщился он. — Вот это каламбур!

Девушки засмеялись.

— Какую же?

— Какую, Иван?

Иван гигикнул, покраснел и... посмотрел на Нюру.

— Ну, раз ты уже выбрал, то мне — все равно: я свою станцию проехал, — сказал профессор.

Оставили голубоглазую грудастую Любу.

— Закончена сессия — и ноги в руки! — позавидовал профессор. — Что за институт?

— Педагогический.

— Факультет?

— Физмат.

— Физмат, и только физмат. Всемогущий физмат! — огорченно сказал профессор. — Куда только прибежите со своим физматом.

— А вам не нравится физмат?

Профессор весело посмотрел на девушку с физмата.

— Милая, он вам самой не нравится.

— Почему? — растерялась девушка.

— Потому что вам нравится Лермонтов, Есенин...

— Одно другому не мешает.

— О, еще как!

— Педагогический — это, значит, будете учительствовать? — встрял в разговор Иван.

— Да.

— Да-а... — значительно сказал Иван. — Вот сейчас радуетесь, что учитесь, веселитесь — в люди выходите, а я смотрю на вас и жалею...

— Иван! — сказала Нюра.

— Что?

— Чего заборонил-то? Жалеет он. Ты что?

— А что такое, Иван? — заинтересовался профессор. — Нюра, почему вы остановили?

— Да нет, я хотел про наших учителей рассказать, про сельских...

— Ну?

— Да ладно!

— Да что же «ладно»? Расскажи.

— Достается им, бедным... Но, может, я, правда, чего-нибудь недопонимаю, а полезу рассуждать... Ладно.

— Фигура учителя заметно стала ниже, — сказала девушка Люба. — Очевидно, он это хотел сообщить.

— Что ты хотел сообщить, Иван? — спросил профессор строго. — Что подлинные учителя в городе остаются?

— Он сам не знает, что он хотел сообщить, — сердито сказала Нюра. — Выпил лишнего? Ложись вон, спи.

Иван только успевал поворачиваться на слова, к нему обращенные... Но молчал.

Тут из соседнего купе пришла делегация девушек.

— Сергей Федорыч... простите, пожалуйста...

— Ну, ну, — сказал профессор.

— Мы вас узнали... вы по телевидению выступали...

— Выступал. Был грех.

— Пойдемте к нам... Расскажите нам, пожалуйста... Мы вас приглашаем к себе. Мы — рядом.

— Пошли, Иван. Недалеко, — профессор встал. — Бутылочку брать с собой? — спросил девушек.

Девушки засмеялись.

— Берите!

— Ваня, а ты бы воздержался — не ходил, — сказала Нюра.

Но Ивану очень интересно с профессором.

— Да будет тебе! Чего тут такого? Рядом же.

— Да ничего! Будешь потом по вагону бегать...

— Нюра, он не будет бегать по вагону, — пообещал профессор.

И профессор с Иваном ушли.

А луна светила!.. Ночь шла по земле, выстилая на полях белые простыни.

Жутковато, гулко прогудел мост... Поезд выскочил из его железной паутины и громко закричал, радуясь воле.

Выбежали к дороге белоногие березки — и такие они ясные, белые под луной, такие родные... И грустные. Смотрят вслед поезду.

— А вот вы приезжайте, посмотрите! — шумел в купе, где студенты, щедрый, размашистый Иван. — Вот тогда узнаете, как я живу!..

Студентам весело. Ивану тоже.

Только профессор как-то задумчиво смотрел на Ивана: не то ему жалко Ивана, не то малость неловко за него.

— А косить мы будем?

— А зачем косить? У нас теперь машины косют... А-а, так — в охотку? Можно покосить. Я вас устрою. Но это, ребятки, тяжело. Лучше мы с вами сядем в лодочки... Как в песне-то поется:

С сестрой мы в лодочку садились,
Тихо-онько плыли по волна-ам...

Студенты засмеялись.

— А «Волга» у вас есть?

— А зачем она мне? Я без «Волги» вот так живу! Я, ребятки, живу крупно. Чего только у меня нет! У меня — зайдешь в дом — пять ковров сразу висят. Персидских.

— А шкура медвежья есть?

— Три штуки. Одна в прихожке — я сапоги об ее вытираю, одна в детской, детишки на ней играют, волосья дерут... Дальше, посмотрим направо — барометр висит...

— А громоотвод?

— Громоотвод — на крыше. Я пока внутренность описываю. А налево, как зайдешь, — сервант на тоненьких ножках. Я его один раз — с получки — задел нечаянно, на сорок восемь рублей одной только посуды расколол...

— Жена вам — скандал?

— Не, она у меня не базланит. Это не то что есть некоторые... Ох, не будьте такими — это хуже всего на свете. Тут и так-то... не сладко, а если еще и дома... Если я устал как собака, я посплю, отдохнул — можно снова за работу. А если еще дома... Нет, это плохо. Хуже нет.

— Вы же говорите, вы хорошо живете.

— Я-то хорошо! Я про других. Я-то — дай бог каждому! Я, допустим, прихожу с работы: «Ну, Нюся, давай корми, голубушка». Она на стол — картошку с мясом. Мясо у меня круглый год не выводится. Свиннота эта у меня вот здесь сидит, — Иван хлопнул себя по загривку. — Ох, и прожорливые же!.. Иной раз взял бы ружье и пострелял всех к чертовой матери. А если, бывает, совсем здорово устанешь на работе, я сразу, с порога: «Ну, Нюся...»

Нюра сидела одна у темного окна, слушала песни по радио.

Вошел профессор.

— Ну, Нюся!.. Что, скучаем?

— Что он там? — озабоченно спросила Нюра.

— Иван?.. Да ничего особенного, не беспокойтесь. Рассказывает студентам, как он хорошо живет, богато.

— Тьфу, трепло! Вот трепло-то! Пара штанов завелась лишняя да рубаха-перемываха... Богач! Вот, знаете, так му-

жик — ничего, грех жаловаться: ребятишек любит, меня жалеет... Но как выпьет, тут уж держись: или хвастать начнет, какой он богатый, или в драку лезет. И ведь сколько уж раз учили, дурака, один раз голову стяжком проломили — неймется! Нальет глаза, и все нипочем: на пятерых — на пятерых лезет.

— Часто пьет?

— Да нет, так-то грех тоже жаловаться. Работает-то он, правда, много. У их все в роду — работники. Его уважают. А вот есть эта дурацкая замашка... Как праздник подходит, так у меня душа загодя болит. Люди веселятся, а я сижу дома, жду: счас прибегут, скажут: «Ванька дерется!»

Профессор вздохнул.

— Смеются там над ним? — спросила Нюра.

— Да нет... Ну, молодые: им палец покажи, они смеяться будут. Там все беззлобно... Сострить опять же можно. Только... — профессор не стал говорить, что это «только». — Ничего. Не беспокойтесь.

— Как же не беспокоиться — не чужой. Сердце-то болит.

В купе, где студенты, слышно, запели под гитару нечто крикливое, бестолковое:

В трюмах кораллы и жемчуг;
Весел пиратский бриг.
Судно ведет с похмелья
Сам капитан-старик...

— Пираты, — в раздумье молвил старик профессор. — Пираты, ковбои... Суровая зелень. Отчаянный народ.

В купе заглянул курносый парень.

— Это у вас?

— Что?

— Пели-то.

— Нет, это по соседству, — сказал профессор. — Они уже перестали. Слова списать?

— Я бы их так запомнил... Хорошая песня.

— Куда путь держим? — спросил профессор.

— В Крым, — курносый присел на диван. — Второй раз. Опять радикулит... Замучил.

— Болит? — посочувствовала Нюра.

— Болит, — отмахнулся курносый, настраиваясь поговорить о другом. — Во народу где! Идешь по пляжу — тут жен-

щина голая, там голая — валяются. Идешь, переступаешь через их...

— Совсем голые?! — удивилась Нюра.

— Зачем? В купальниках. Но это же так — фикция. Я сперва в трусах ходил, потом мне один посоветовал: «Купи плавки!» Так они что там делают: по улице и то ходят вот в таких вот штанишках — шортики называются, — курносый чуть подсюсюкивал, у него получалось — «станиски», «сортики». — Ну, идешь, ну, смотришь же... Неловко, вообще-то...

— Ну да, — согласилась Нюра, — другая и по морде даст.

— Да нет, там это само собой разумеется. Но, вообще-то, неловко. Ну, мне там один тоже посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберешь, куда смотришь...

— Во!

— Заходишь вечером в ресторан, берешь шашлык, а тут наяривают, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я скажу! Вот, собаки! Сердце заходится. Так глядишь — вроде совестно, а потом подумаешь: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего же мне-то совестно? Ритмичность... везде ритмичность. Там один тоже стоял: бесстыдники, говорит, что вытворяют! Ну, его тут же побрили: не нравится, говорят, не смотри. Иди спать. А один раз как дали «Очи черные», у меня на глазах слезы навернулись. Такое ощущение (осюсение), полезь на меня десять человек — не страшно. Я чуть не заплакал. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз — ну красота! На всех пароходах — музыка. Такое осюсение, что музыка из воды идет. Спускаемся — опять в ресторан...

— Это ж сколько денег просадить можно?! — сказала Нюра. — Тут ресторан, там ресторан...

— Они там на каждом шагу! Мне там один тоже говорит: первый и последний раз. Корову, говорит, целую ухнул. Нет, там есть пельменные, вообще-то. Три порции — от так от хватает...

...А в купе, где Иван, некто молодой, очень красивый, пел под гитару очень красивую песню — про «Россию-матушку».

За Россию-матушку — все умны,
За Россию-матушку — все смелы...

Иван слушал, стиснув зубы. Песня очень ему нравилась.

Вошел курносый (курортник), присел, тоже стиснул зубы.

Ему тоже очень понравилась песня.

Песня кончилась.

Все посидели молча... Курносый спросил гитариста:

— А «Очи...» можешь? Дай «Очи...»!..

Иван пристукнул кулаком по колену... Встал и пошел из купе.

И запел в коридоре:

С сестрой мы в лодочку садились,
Тихо-онько плыли по волна-ам!..

Потом Иван вошел в свое купе.

— Дорогие мои, хорошие... — заговорил он было. Но профессор с Нюрой говорили негромко между собой, и Иван смолк.

А профессор и Нюра, не обращая на Ивана никакого внимания, продолжали говорить. И очень даже странно они говорили:

— Прямо не знаю, как вам и сказать... — раздумчиво сказала Нюра. — Все же у меня двое детей... да маленькие такие!..

— Господи! — тихонько воскликнул профессор. — Ну и что? И прекрасно. Он как раз детей очень любит. У него под Москвой домик... будете жить-поживать да добра наживать. Он не пьет, не буянит, сроду никогда грубого слова не сказал. Как у Христа за пазухой будешь жить. Решайся.

— Прямо не знаю... — тихо и грустно опять сказала Нюра. — Если уж честно-то: конечно, мне надоела такая жизнь. У людей праздник, а у меня загодя душа болит. Или ехать куда: опять, думаешь, какая-нибудь история... А ему сколько лет-то?

— Тому человеку-то? Семьдесят. Но он еще в форме... Седой такой, головку носит гордо — красавец. Он всю жизнь танцевал в оперетте, поэтому... головку умеет держать.

— Многовато вообще-то...

— Да я же говорю: он любого молодого за пояс заткнет! Ну, и потом — культура! Там же через каждое слово — «мерси», «пардон», «данке шен»... Ты хоть отдохнешь от этих всяких «ча-во» да «надысь»...

— Да охота, конечно, пожить, как...

— Я извиняюсь, — вмешался Иван, заметно трезвея. — Про кого тут речь?

— Дело же не в том даже, что самой пожить, — продолжала Нюра, не слыша и не видя Ивана, — а в том, чтобы детей воспитать на хорошем примере. Сейчас-то — что за пример они видят!

— Я же про то и говорю! — подхватил профессор. — Пример же будет.

— Я подумаю, — сказала Нюра.

— Подумай-подумай.

— Ну и что, что семьдесят: я за ним ухаживать буду...

— Так, а что там ухаживать-то: утром отнес его в садик, посадил в креслице — и сиди он себе, «мерсикай». Ест мало, кашку какую-нибудь сварил, он покушает, и все. А вечером...

— Слушайте, — заговорил Иван, угрожающе округлив глаза. — Я говорю, я извиняюсь, но я же — тут! В чем дело?!

— А, ты тут? — «спохватилась» Нюра. — А мы и не слышим — заговорились с Сергеем Федорычем. Давно пришел?

— Да как тихо вошел! — удивился и Сергей Федорыч.

— В чем дело? — спросил Иван.

— Ни в чем.

— Кому семьдесят лет?

— Мне, — сказал профессор.

— Нет, я же слышал...

— Ложись-ка спать, Ваня, — мирно сказала Нюра. — Ложись. Лезь вон на полку и засыпай. Все рассказал людям, рассказал, как живешь, спел... чего еще? Свою норму выполнил — можно и на боковую. Лезь, Ванюшенька, лезь, милый. Лезь баиньки. Давай.

— Я ничего не понимаю, — пробормотал Иван.

— Завтра поймешь. Завтра все поймешь.

Иван полез на верхнюю полку и затих.

Пришла Люба... Прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку и тоже затихла.

Профессор с Нюрой остались сидеть у окна.

— Что же, правда, что ли, там такая жизнь?.. — спросила Нюра тихо. — Парень-то рассказывал...

— Нет, — тоже тихо откликнулся профессор. — Впрочем... что-то есть и от правды.

— Гляди-ка, корову, говорит, целую ухнул... Неужели можно?

— А сколько корова стоит?

— Четыреста — четыреста пятьдесят... А с телком — так и больше.

— Можно. Можно и корову с телком ухнуть... На Руси умеют коров ухать.

Все, наверно, спят в длинном поезде.

Не спят только на паровозе.

Машинист, пожилой уже человек, глядя вперед, вдруг спросил молодого помощника:

— Кольк, знаешь, как в отделе кадров бухгалтера подбирали?

— Знаю. Третий сказал: «А сколько вам надо?» Ты уж седьмой раз рассказываешь.

Машинист засмеялся.

— Придумают же!.. Смешно.

— Анекдот-то — вот с такой бородой.

— Все равно смешно. Интересно, кто их сочиняет?

Колька пожал плечами.

— Люди...

— Я вот хочу какой-нибудь сочинить, и никак не выходит.

Нюра спит... Но вот какая-то далекая тревога отразилась на ее спокойном лице.

Она увидела сон.

Распахнулся огромный, с плющом, с фикусами в огромных кадках, сверкающий зал ресторации. И весь он ходуном ходит. Полуголые девицы, волосатые парни зашлись в танце... «Очи черные».

Гремит и кривляется «ритмичная жизнь». То ли это какой-то вселенский шабаш, то ли завтра — конец света. Не архангел ли Гавриил дует в свою сзывающую трубу и нет ли тут — среди обаятельных дам и джентльменов — этих, с хвостиками и на копытцах?

С трудом продралась Нюра через гремящий, орущий, бесноватый зал... И вышла к столу, где пирует ее Иван. Он

славно пирует! По бокам его почти голые девицы, смеются, пьют шампанское...

— Пойдем домой! — сказала Нюра.

Иван отрицательно покачал головой. И усмехнулся.

И сильней грянула музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно...

Нюра пошла к выходу. Ей в лицо смеялись, девицы проплывали у нее перед носом, подергивая плечиками...

И вдруг Нюра остановилась. И заткнулась музыка... И все замерли. Нюра опять пошла к столу... И с ее шагами, сперва тихо, потом громче стала нарастать удалая, вольная музыка «Из-за острова на стрежень».

И сам Иван сидит за столом в облике Стеньки Разина... И грозно смотрит на Нюру.

Нюра подошла, выдернула мощной рукой его из-за стола и дала пинка под зад. И сама пошла следом за ним.

На пороге, в дверях, оглянулась и произнесла гневную речь.

— Эх вы! — сказала она. — Смеетесь?! Над кем смеетесь?! Это над вами смешно-то. Это мне надо смеяться-то, а не вам. Что вы делаете?! Как вам не стыдно?! Девушки!.. Зачем заголились? Чтобы мужиков приманивать? Да если ты хорошая, если ты человек хороший, мужик и так увидит. На вас же глядеть муторно! Тьфу!.. В такие-то годы — работать да детей рожать, а вы с ума сходите.

За Нюрой, за ее спиной, стали появляться мужчины пенсионного возраста и тоже укоризненно смотрели. И молчали.

— Мой вам совет: прекратите это и займитесь полезным трудом!

Положительные мужчины за Нюрой захлопали.

— Чтобы я этого больше не видела!

Мужчины опять захлопали...

Нюра проснулась, полежала немного и шепотом позвала:

— Вань!..

Иван спал глубоким сном.

Нюра встала, потрогала его на верхней полке... И опять легла. И закрыла глаза.

Утром проснулся Иван с больной совестью. Проснулся и не поворачивался, лежал тихо.

Профессор негромко рассказывал Нюре и Любе нечто далекое из юношества.

— Я тоже был гордый! Я очень красиво выразился: «Не моя воля, что я родился под этой крышей, отныне моя воля в том, что я навсегда ухожу отсюда!» Во как сказал! Я был позер. В двадцать лет все позеры.

— Почему все? — возразила Люба.

— Все, без исключения, — подтвердил профессор.

— Ну а дальше? — попросила Нюра.

— Я ушел. Простите, уехал.

— А она?

— Она осталась.

— Но вы же любили ее!

— Да. Но себя я тоже любил. Себя я любил больше. Я ушел в Вологду, в Вологодчину, в деревню. Я стал учителем. Это было прекрасное время!.. Знаете, ближе к осени, когда с осины упадет первый лист, воздух в лесу — зеленый...

— Что же дальше? — все не терпелось узнать Нюре.

— Дальше... Я встретил там Машу... Свою Марью Ивановну. И все.

— А Катя?

— А Катя встретила своего... какого-нибудь Василия Ивановича — баш на баш.

— А кто раньше встретил: Катя или вы? — спросила Люба.

Профессор засмеялся.

— Вот что значит — не романист я! — пропустил такую главу... Катя встретила первая. Я был очень далеко... в деревне — с экспедицией. И там я узнал. И ушел в свою деревню. На этот раз я ушел пешком. Я шел пешком сто двадцать верст...

— Что же, никто не мог подвезти?

— Я не хотел. Я нес свое горе, страдал! Не на телеге же страдать. И, знаете, я правильно сделал, что протопал эти сто двадцать верст. Я не верю в скоротечные — в одну ночь — перерождения... Но в сто двадцать верст вологодских дорог я верю. Много я передумал всякого... Много понял.

— Господи, прямо как в книге, — сказала завороженная Нюра.

— Вот это-то я и понял главным образом: что все это — мое горе, мои страдания — это пока роман. Но еще не жизнь. Жизнь началась потом...

— А к отцу-то вы вернулись?

— Нет. Уже не вернулся. И вообще, дальше уже... нечто иное. Не роман. Но роман был захватывающий... А?

Обе в один голос — и Нюра и Люба — воскликнули:

— Очень интересно!

— Очень!

В купе заглянул проводник:

— Чайку желаете?

— Желаем! — сказал профессор. — И побольше, пожалуйста. Десять стаканов. Скажите, а газеты здесь носят?

— Нет, газеты на станциях.

Иван воспользовался приходом проводника, скоренько надернул под простыню штаны, слез с полки.

— Здравствуйте, — сказал невнятно, взял полотенце и ужом выскользнул из купе.

— Стыдно, — сказала Нюра.

— Чего? — не понял профессор.

— Ну... вчера хватил лишка, сегодня стыдно. Весь день молчать будет.

— Ну, зачем же так? Так даже скучно.

— Ничего, пускай. Пускай помается.

— Всегда так?

— Всегда. А если где подерется, то и ночевать домой не придет — в мастерской спит, у сторожа. Дня по два там живет. Совестно.

Поезд подошел к станции.

Иван, с полотенцем в руках, выскочил из вагона и побежал к газетному ларьку. Накупил газет — всех по одной... побежал обратно.

В купе готовились пить чай.

Иван вошел с газетами... Положил их на стол. Фальшиво-небрежным тоном сказал:

— Почитаем, что ли...

— Газеты! — удивился профессор. — Где достал, Иван?

— Там... — Иван кивнул в сторону станции.

— Ну как? — спросила Нюра строго.

Иван вздрогнул, быстро поднял голову и опустил. Спросил тоже скоро, испуганно:

— Что, что?

— Ничего!

— А что? Ничего. А что?

— Ничего... и совесть спокойна, и душа не болит?

— А что, что? — тихо, впробормот спрашивал Иван. И ни на кого не глядел.

— Крепкая же у тебя совесть... — Нюра взяла полотенце и пошла умываться.

Профессор с Иваном остались одни (Люба ушла к своим).

— Попало? — спросил профессор.

— Та-а... — Иван поморщился, не поднимая головы. Он читал газету, которую разложил у себя на коленях.

— Голова болит?

— Не! — поспешно, с бодрецой откликнулся Иван. Но головы опять не поднял.

— У меня есть бутылочка сухого... Выпьешь?

Иван глянул на дверь.

— Она долго не придет — там очередь. Выпей, легче станет.

— А вы?

— Я не хочу... У меня не болит.

Профессор достал из чемодана длинную бутылку. Сам тоже посматривал на дверь. Налил стакан.

Иван одним махом оглушил стакан.

— Ху!..

— Еще?

— Нет. Спасибо.

— Тяжело бывает после выпивки?

— Да не то что тяжело — муторно.

— Но ты особо-то не переживай, ничего вчера безобразного не было.

Иван мучительно поморщился.

— Трепался, наверно?.. Гадский язык: обязательно натрепаться! Ненавижу себя за это!.. Один раз, знаете, поехал на мельницу. А мельница у нас в другом селе, за пятьдесят километров. Смолол. Ну, выпили там с мужиками... И чего мне в башку влетело: стал всем доказывать, что я Герой Социалистического Труда.

— О!

— Ну! Меня на смех, я в драку... Как живой остался! — их человек восемь, мужиков-то.

— Да-а. А вчера что-то быстро ты захмелел-то?

— Да я же еще днем коньяк пил! С этим ворюгой-то. Ну и развезло — ерш получился. Я так-то не слабый... А чего я говорил там?

— Где? У студентов? Рассказывал, как ты хорошо живешь.

— О-о!.. Вот же козел!

— Ну а как жизнь вообще-то? Если не трепаться...

— Да ничего живу... Нормально. Я не гонюсь за богатством. Мне бы вот ребятишек выучить — больше ничего не надо. Ничего так-то — все есть. Телевизор есть, корова есть. Свинья даже есть, хоть я их ненавижу, собак, — прожорливые. Все есть, я не жалуюсь.

— Иван, ты хотел про учителей рассказывать... Расскажи?

Иван посмотрел на дверь купе...

— Ладно, — сказал профессор, — мы еще выберем время.

Велика матушка-Русь!

И на восходе солнца, и на заходе солнца, и белым днем и ночью — идут, идут, идут поезда. И куда только едут люди? Куда-то все едут, едут...

Молоденький офицерик, от которого вкусно пахнет маминым молоком, говорит миловидной соседке по купе:

— Все это хорошо, но это — сплошная чувствительность. Мы сегодня — не те.

— Но это же прекрасно, — неуверенно сказала соседка. И прочитала:

Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

— Не мужские стихи, — проговорил жестокий лейтенант. — Розовый конь — это не из двадцатого века. Согласитесь.

Как тут не согласиться! И миловидная соседка пожимает плечами, что можно понять, как «пожалуй».

Две дамы от души состязаются в любезности.

— Позвольте, разрешите, я полезу на верхнюю полку.

— Да нет, зачем же? Я могу туда прекрасно полезть.

— Но меня это нисколько не затруднит!

— Меня это тоже ничуть не затруднит. Что вы!

— Прошу вас, устраивайтесь внизу. Честное слово, меня ничуть не затруднит...

— Нет, пожалуйста, пожалуйста...

Внизу на диване полулежит здоровенный парнина и, отложив «Огонек» в сторону, с интересом слушает дам.

А вот — дядя... Вооружившись мешком и чемоданом, таранит встречных и поперечных в проходе общего вагона. Ему кричат:

— Что же ты прешь, как на буфет! Дядя!..

— Ну, куда? Куда?

— Эй!.. Можно поосторожней?!

Дядя — ноль внимания. Трудный опыт российского пассажира подсказывает ему, что главное — занять место. Можно себе представить, что когда-нибудь все вагоны будут купейные, а если будут общие, то в них будет свободно... И что же будет? — тоска зеленая!

Едут, едут, едут...
Спят...
Читают...
Играют в карты...
Играют в домино...
Рассказывают друг другу разные истории из жизни...
Едят...
Едят...
Едят...

Иван двинул с дороги письмо домой.

«Здравствуйте, родные:

теща Акулина Ивановна, дядя Ефим Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки: Валя и Нина! Во первых строках моего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, чего и вам желаем. Пишу с дороги, поэтому еще конца нет. Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет, но зато едем без горюшка. Едем по просторам нашей необъятной родины, смотрим в окно. Погода стоит хорошая — градусов двадцать пять по Цельсию. Один раз ходили в вагон-ресто-

ран. Взяли на первое — по борщу, на второе — бистроганов. Едет с нами один старичок профессор, очень хороший. Ну, были другие разные происшествия — приедем, расскажем. Поедем мы через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться хоть на сколь — у него пятикомнатная квартира. Ну, Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу в крематорий. Об нас не беспокойтесь. Берегите детей.

Иван».

И вот — Москва.

По радио торжественно объявили:

— «Граждане пассажиры! Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины — город-герой Москву!»

Нюра и Иван заметно взволновались. Особенно Нюра.

Профессор с интересом наблюдал за ними.

— Ваня!.. Глянь-ка, дом-то! Вань! — вскрикивала Нюра.

Ивану тоже страсть как интересно, но он сдерживал себя. И Нюру.

— Чего ты орешь-то? Чего орешь-то? — он даже посмеялся, пригласив взглядом и профессора — тоже посмеяться вместе над Нюрой. — Ну, дом... колоколенкой.

— Гостиница «Ленинградская», — сказал профессор.

— Сколько этажей? — спросил деловитый Иван.

— Черт его знает!.. Понятия не имею.

Поезд остановился.

Профессор и Иван с Нюрой вышли на перрон... Профессор высматривал кого-то в толпе.

— Сын должен встретить, — пояснил он. — Иван, расскажи ему про учительницу... Вообще, поговори с ним, а то эти молодые ученые... решили, что они все знают...

— Тоже ученый? — полюбопытствовал Иван, но только заради одной голой вежливости, потому что ему куда как важнее все, что вокруг него.

— Постоим тут, — велел профессор. — А то разминемся.

Остановились в сторонке от потока.

— Народу-то, народу-то! — все изумлялась Нюра.

— Миллионов десять живет? — поинтересовался точный Иван. — Или побольше?

— Понятия не имею!— несколько даже гордо ответил профессор. — Это наши ученые знают... Знают, а ничегошеньки сделать не умеют. Вавилон растет и растет. Вон он! О-о!.. Одна поступь чего стоит!.. Ужасно самовлюбленный народ... — профессор помахал рукой.

— Чую, батько! — громко сказал высокий молодой человек, выдираясь из людского потока.

— Наконец! — сказал веселый, иронический профессор.

Они поцеловались. Профессор представил сына:

— Сын.

— Иван, — сказал сын.

Иван тоже назвался:

— Иван.

Профессор засмеялся.

— Нюра, — сказала Нюра. И подала ладонь лодочкой.

— Это мои гости, — пояснил профессор. — Мать здорова?

— Относительно...

— Твои?

— Все в порядке. Хорошо съездил?

— Хорошо. Пошли, пошли, чего мы стоим? Пошли.

— Тебе звонили из...

Трое наших затерялись в толпе.

А «миллион народа» все двигался и двигался, говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал...

Хозяина и гостей в квартире профессора встретила довольно толстая, круглолицая Мария Ивановна.

Перецеловались, перезнакомились в прихожей...

— Проходите сюда! — позвал размашистый, великодушный профессор. — Иван!..

— Да, папа?

— Не ты, Иван-гость. Ну и ты — давайте сюда! Иван-сын, как у тебя день?

— У меня лекции. Я отпросился тебя встретить.

— «Лекции», «лекции», — недовольно заметил профессор. — Поговорил бы лучше с живыми людьми — это не социологические столбики с цифрами...

— Социология — это как раз живые люди, — отрезал сын. — Вечером мы с удовольствием поговорим.

— Вечером у вас Дом кино, театр, друзья... Послушал бы, правда. Иван, расскажи ему про учительницу...

Где-то в одной из комнат затрещал телефон. Иван-сын скоро пошел туда.

— А ведь какая видимость деятельности! — все ворчал профессор.

Иван и Нюра не понимали: всерьез профессор чем-то недоволен или же это такая его манера говорить дома?

— Папа, тебя! — позвал сын.

Профессор пошел к телефону.

Супруги Расторгуевы на малое время остались одни.

— Опять вылетел с языком? — сердито, негромко заговорила Нюра. — Чего рассказывал про учительницу-то? Про какую учительницу?

— Да это... про Федорову...

— Тьфу! Вот пропишут куда-нибудь в газету!.. Сказал — рассказал такой-то. Чего рассказывал-то?

Иван лихорадочно обдумывал положение.

— Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивши... Спьяну молол. Так? Потом, я говорил, что она получает сто рублей... Но я же забыл алименты! Сорок семь рублей алиментов. Сто сорок семь — не такая уж это бедность.

— Дрова бесплатно привозют, — подсказала Нюра.

— Налогов меньше. Телефон провели, а мне, допустим, фигу...

— Для чего он тебе, телефон-то?

Иван сердился, что не понимают тонких извивов его мысли.

— Да здесь-то, для сравнения-то, надо чего-нибудь говорить! Мало ли, что он не нужен, делай вид, что пропадаешь без телефона...

— А чего ты ему говорил-то?

— Та-а...

— Ванька, скажи! Я, может, чего-нибудь придумаю — выручу тебя. Чего говорил-то?

— Ну, говорил, что я, необразованный человек, живу лучше ее... Ненормально, мол, это. Оно, так-то подумать — ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живет хуже... Да я готов ей вскладчину допла...

В комнату вошли профессор с сыном.

— Ну иди, иди, — говорил отец. — Ай да наука!.. Наизусть на дом не задают?

Иван-сын пожал плечами и вышел.

Иван-гость и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.

— Иван, Нюра... вы распрямитесь как-нибудь... Чувствуйте себя свободней!

Иван пошевелился на стуле, а Нюра — как сидела, так и осталась сидеть — в гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть улыбнулась и чуть кивнула головой.

Профессор пошел на кухню.

— Они надолго? — спросила Марья Ивановна.

— А что? — наструнился профессор.

— Ничего, просто спрашиваю.

— Мне показалось — не просто.

— Но я должна подумать, рассчитать...

— Изволь, они пробудут здесь две недели, — спокойно сказал профессор. И даже не стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна. — Приготовь завтрак.

— Почему две недели? Они же куда-то дальше едут...

— Они едут на юг. А почему бы им не пожить две недели в Москве? У них это не так часто случается.

— Пожалуйста, пусть живут. Почему ты нервничаешь?

— Я? Нисколько.

— Только очень тебя прошу: води их по Москве сам, не проси Ивана — ему действительно некогда.

— Я знаю, у него лекции.

— У него лекции, да, — стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. — Если тебе...

Иван-гость осмелел в большой, обставленной книжными шкафами комнате. Прохаживался, смотрел книги.

— Не тронь! — сказала Нюра.

— Чего?

— Сядь и сиди. Не лазий там. Чего ты там забыл?

— Книги смотрю... Что тут такого? Все культурные люди так делают.

— Культурные люди в чужом доме сядут и сидят.

— Ну и неправильно! Надо... развязней быть. Поговорить...

— Ты уж один раз поговорил... Говорун.

— Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтоб мы людям не в тягость были... Чтоб интересно с нами было, — учил Иван.

— Откуда только набрался! Возьми вот расскажи, как вы в прошлом годе от медведя чесали. Пусть люди похохочут...

Вошел профессор, весело объявил:

— Сейчас будем завтракать!

Нюра не шевельнулась.

А Иван кивнул головой, одобрил:

— Хорошее дело.

— Ну, так как вам Москва-то?

— Очень большая, — вежливо сказала Нюра.

— Вавилон! Заметьте, однако: за последние годы рождаемость в городах упала в два раза. А прирост населения в полтора раза увеличился. Опять отдувается деревня-матушка. Не хотим мы рожать в городе, и все тут. Нам некогда, мы заняты серьезной деятельностью!.. Охламоны.

Марья Ивановна, собирая на стол, заметила с упреком:

— Не утомлял бы гостей, товарищ профессор. Сам же...

— Им это полезно знать.

— Сына упрекаешь за лекции, а сам...

— Это цифры ученых. Социология.

— Что же здесь плохого, если они знают эти цифры? Они этим занимаются... Они ставят перед обществом вопросы.

— Честные, деятельные люди перед собой ставят вопросы, а не...

В дверь в это время позвонили. Марья Ивановна пошла открывать.

Вошел пожилой человек, по облику тоже профессор... Лысый. Поздоровался.

— Приехал?

— Приехал.

— Ну как? Полностью сельский человек?

— Не говорите! С собой даже привез... На сына набросился — за лекции...

— Предлагает ехать в деревню? — с улыбкой спрашивал лысый профессор, снимая плащ. — В народ?

— Теперь это надолго, — вздохнула Марья Ивановна.

Лысый профессор погладил лысину, вошел в комнату.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте!.. С приездом, — лысый уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина. — Как поживает деревня-матушка?

Профессор-хозяин тоже изобразил обаятельную улыбку.

— А как себя чувствует Вавилон?

Профессор-гость не снимал игривого тона:

— Ну, ему-то что сделается! Растет. Шумит.

— Нет, это не рост — нагромождение, — сказал хозяин. — Рост нечто другое... Живая, тихая жизнь. Все, что громоздится, то ужасно шумит о себе.

— Гуманитарии всякий раз забывают один простой и вечный закон природы: тело не упадет, если сохранит скорость... Не нам с тобой, Сергей Федорыч, дорогой, исправлять этот закон. Будут расти, шуметь, строить... Постараются сохранить скорость.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила хозяйка к столу.

И тут Нюра совсем выпряглась.

— Спасибо, спасибо, — сказала она. — Мы утром чай попили...

— Да вы что! — воскликнул профессор-хозяин. — Ну-ка, давайте...

— Да не беспокойтесь, мы где-нибудь в столовой...

Даже Иван понял, что это уж слишком.

— Садись, что ты?

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила и хозяйка. — Зачем же идти в столовую, когда можно дома?

— Мы в столовой-то знаешь сколько время потратим! — убеждал жену Иван. — А тебе интересней по магазинам походить, сама говорила.

Нюра сдалась.

— Ну, можно закусить немного...

Когда сели уже за стол (профессор-гость отказался, просматривал записи, привезенные хозяином), пришла Люда, невестка, высокая, статная, очень красивая. Иван неприлично открыто засмотрелся на нее.

— Это мои гости, — сказал профессор-хозяин.

— Очень приятно.

— Людмила... как у тебя день?

— У меня с двух часов заочники.

Профессор помрачнел. Замолчал.

— Ваня звонил? — спросила Люда, не замечая, а может, не желая замечать, что свекор помрачнел.

— Он ушел на лекции.

Люда с Марьей Ивановной ушли на кухню.

— Странный ты человек, Сергей Федорыч, — заговорил профессор-гость. — Ну а что ты предлагаешь? Как предлагаешь им поступить?

— Это ты странный!.. Я предлагаю! Я уже давно ничего не предлагаю. Попробовал бы я предложить!..

— Ну, как же быть?

— На это мог бы ответить хозяин дома. Но таковых теперь в домах не бывает... Разве вот у них, — Сергей Федорыч кивнул в сторону Ивана и Нюры. — И то вряд ли.

— Частенько русские... домострой вспоминают. Странная тоска... В профессорском доме. Не находишь?

— Нет, не нахожу.

Профессор-гость уткнулся в тетрадку.

Гости — Иван и Нюра — не поняли, о чем шла речь. Иван аккуратно доставал ложечкой красную икру из вазочки и ел прямо так — из ложечки же. И снова доставал.

— Вкусная штука, — похвалил он, когда почувствовал на себе взгляд хозяина.

— Ешь, ешь, — кивнул Сергей Федорыч. — Это память о домострое. Редкая штука.

ГУМ.

Людская река растекается здесь на десятки проток. То закрутит у прилавка с носками, то увлечет в салон электроприборов... То вынесёт на горбатый мостик, и тогда можно оглядеться, передохнуть, прийти в себя.

Ивану очень понравилось смотреть сверху, с мостика, на людей внизу... Но Нюра торопила. Куда торопила? Впрочем, она что-то покупала — что-то такое Иван держал уже в руках, какую-то коробку.

Нюра неутомимо перебирала, прикидывала на голову платки... Продавщицы ей делали замечания, Нюра не обращала на них внимания. Ее очень увлекло это занятие — перебирать товары. Она прямо преобразилась вся. И куда девалась ее деревенская робость, нерешительность!

Она тащила Ивана все дальше и дальше... Они вместе трогали плащи, мяли рукава их, растягивали... Вместе заглядывали в бирочки, где указана цена... И шли дальше.

В одном месте толпа растащила их в разные стороны...

Иван забеспокоился... Стал кидаться туда-сюда, спрашивал людей, показывал руками, что потерял жену, крупная такая женщина, с веснушками.

Одни качали головой — не видели...

Другие улыбались...

А один сердобольный молодой человек стал, как видно, объяснять Ивану, что надо пойти на радиоузел, сказать фамилию, имя, отчество жены, и там объявят по радио, и жена придет к фонтану...

А профессор Сергей Федорыч в это время названивал по телефону в справочное Курского вокзала. Справочное все время было занято.

— Кошмар!.. — застонал профессор. — Целый час — все занято.

Профессор-гость, читая тетради хозяина, пояснил:

— Они кладут трубку на стол и читают детективные романы.

А Иван стоял у фонтана в ГУМе и ждал... жену. Волновался, как любовник.

— Нет, это черт знает что такое! — взревел профессор-хозяин. И бросил трубку. — Это же, простите, не работа!.. — он встал и заходил по комнате. — Это не неумение работать, это не-же-ла-ние работать! Ну, как же: она десять лет училась, ей вдалбливали в голову, что удел человеческий — это беспосадочный перелет Москва — Владивосток...

— Старо! — сказал профессор-гость.

— Это первенство мира по прыжкам в высоту, а тут кто-то хочет узнать, когда идет поезд «Москва — Симферополь»! Фи! — Сергей Федорыч всерьез разволновался. — Ах ты, кудрявая, судьба обошла тебя, не повезло в жизни!.. Вот увидишь, сейчас, если дозвонюсь, рявкнет: «Москва — Симферополь» отходит в ноль целых...» И подумает: «Старый осел».

— А ты как-нибудь... молодым баритоном попробуй.

Профессор опять подсел к телефону. Опять было занято.

— Так!.. — профессор тихо стал звереть. И неожиданно перешел от крика на тихий, зловеще-вкрадчивый голос: — А ведь никто не догадался объяснить ей, что простое чело-

веческое дело — ответить, если спросили, — и есть высокий долг...

— Видишь, у тебя получается — баритоном-то.

— Пошел к дьяволу!

— Чего ты психуешь-то? Ну, занято... Один ты звонишь, что ли?

В это время пришел Иван-сын.

— Вий пришел, — сказал отец. — Слушай, Вий, объясни мне, пожалуйста...

— В чем дело?

— Не могу дозвониться в справочное Курского вокзала. Все время занято...

— Когда нужны билеты?

— Ты хотя бы узнай...

— Когда нужны билеты? Их принесут сюда, на дом.

— На завтра.

Иван-сын подсел к телефону, набрал номер...

— Сергей? Сережа, нужно два билета... Хотя, подожди... У них сквозной до Симферополя?

— Нет.

— На завтра. Два билета. До Симферополя. Спасибо, — сын положил трубку. — Завтра утром сюда принесут два билета. От десяти до двенадцати.

Старики молчали. Долго молчали...

— Так жить можно, — не то шутя, не то серьезно сказал профессор-отец, — блат кругом, — и продолжал иным тоном: — Иван, я серьезно прошу, поговори с деревенским человеком. Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то поразительно доверчивый человек. Ведь это сегодняшняя Россия...

— Ну уж! — воскликнул профессор-гость. — Вся, сразу — в одном Иване...

— О чем поговорить? О положении сельского учителя сегодня? Но я больше его знаю об этом...

— О-е-е!

— Знаю, например, что подавляющее большинство учителей в стране — женщины. Могу назвать цифры...

— Не надо. Ну и что, что женщины?

— Это нехорошо. То есть не то что вовсе нехорошо, но желательно, чтоб мужчин-педагогов было больше. Не нужно же тебе объяснять, что для ребенка-мальчишки, поло-

жим, сказанное учителем-мужчиной совсем не одно и то же, что скажет учительница. Мы это знаем.

— Ну и что вы собираетесь делать?

— Пишем диссертации, — не то в шутку, не то всерьез ответил сын.

— Лихие ребята!

— Дальше, мы знаем, что общекультурный уровень тех же сельских учителей... Ну, как бы это... оставляет желать лучшего, что ли. И вовсе не потому, что они...

Зазвонил телефон.

Профессор поднял трубку, послушал и сказал:

— Его нет дома. Позвоните попозже... Итак, вовсе не потому, что они не хотят его повышать, а...

— Меня просили?

— Да. Переживут. А почему же?

— Первое: огромная, иногда нелепая перегруженность в школе. Учителей, я имею в виду. Любовь местных властей общественную работу на селе сваливать на тех же учителей. Они и агитаторы, и организаторы, и участники художественной самодеятельности, и депутаты сельских Советов — словом, актив.

— Не вижу ничего в этом плохого.

— Плохо то, что некогда книгу почитать, фильм посмотреть... Они падают от усталости.

— Третье?

— Третье: я бы увеличил им зарплату. Но из своего кармана, сам понимаешь, я это не могу сделать.

— И все-таки, что же делать? Ведь им доверено будущее страны — дети. Между прочим, никто из них — я говорил со многими — не пожаловался. Очень добрые, приветливые люди... Даже веселые.

— Это труженики. И потом, что же, они тебе, московскому профессору, станут жаловаться? Ты бы стал жаловаться, когда был молодым?..

Профессор-отец ничего на это не сказал. Не ответил.

— Папа, мы не помешаем, если соберемся сегодня у нас?..

— Кто? Да нет... что же? Нет, конечно, не помешаете. Этот... волосатый — придет? — профессор весь перекорежился, перекосился — изобразил, что играет на гитаре.

Иван-сын ушел к себе в комнату, никак не отреагировав на выходку отца.

— Ах, славно! — воскликнул профессор-гость. И хлопнул ладошкой по тетрадке. — Много ты добра привез, Серега! Славные есть штучки.

Профессор-хозяин посмотрел на него... Ничего не сказал. Помолчал, задумчиво глядя на телефон... И сказал вдруг:

— А кумекают... эти-то, — кивнул в сторону, куда ушел сын.

— А? — откликнулся профессор-гость. — Эти-то? Кумекают.

— Кумекают. Славные, говоришь, есть штуки?

— Ах, славные! — профессор-гость ласково погладил тетрадку.

В ту ночь профессору пришла в голову блистательная идея: устроить встречу студентов, какие остались на каникулах в Москве, аспирантов и преподавателей университета — всех, кто способен насладиться музыкой живой русской речи, — встречу с Иваном Расторгуевым. Собрать несколько человек — «любителей словесности».

В аудитории, где происходила бы встреча, во вступительном слове профессор сказал бы так:

— Уважаемые коллеги, друзья! Я пригласил вас на эту встречу вот с какой — единственной — целью: просто чтобы мы послушали одного из тех, кого мы называем языкотворцем, хранителем языка. Собираются же слушать музыку!.. И собираются, и внимательно слушают бесчисленных кликуш с гитарами... Я уже говорил и писал, почему эти... «ловцы губок» привлекают к себе внимание. Если привлекает подделка, значит, есть тоска по настоящему, неподдельному. Так было, так есть. Мы очень много знаем, мы строим невиданный Вавилон... Мы оглушили себя треском машин, воем сирен... Мы, в своем упоении цифрами, полупроводниками, схемами, телевидением, мы социологи, математики, нумизматики, мастера классической демагогии... мы уже давно не слышим, как говорит наш народ. Послушайте же!

Еще в машине, когда ехали московскими улицами в университет, профессор говорил Ивану:

— Рассказать?.. Ну, расскажи что-нибудь... О себе. Расскажи, как ты собираешься детей учить. Почему непремен-

но надо учить. Расскажи, как ты обо всем этом думаешь, — получится про жизнь.

— Можно, Нюра тоже выступит? — попросил Иван.

— Можно.

— Нет, я не буду, — воспротивилась Нюра. — Я не умею.

— Ну, посмотрим, как там будет... Только, Иван, дело-то в том, что это вовсе не значит — выступать. Надо рассказать, как умеешь... Понимаешь ли?

— Все будет в порядке, — заверил Иван.

А еще раньше, в тот же день, утром, у профессоров — Сергея Федорыча и его коллеги — произошел серьезный разговор.

— Почему? — спросил Сергей Федорыч коллегу.

— Потому, — стал внятно, жестко, но не зло пояснять лысый профессор, — что ты его не знаешь. Не понимаешь. Не чувствуешь, выражаясь дамским языком. И не суйся ты в это дело. И не срамись: и себя подведешь, и парня... поставишь в глупое положение. Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот... И фамилия его — не Каратаев. Как ты еще не устал от своего идеализма! Даже удивительно.

— Жалко, Лев Николаич помер — послушал бы хоть. Тоже был идеалист безнадежный.

— В отношении мужичка — да, был идеалист.

— Ну, и как же его фамилия? Мужичка-то нынешнего? Полупроводник Шестеркин?

— Не знаю. Я, видишь ли, не специалист здесь, в отличие от... некоторых. Наверно, не Шестеркин, но и не Каратаев. И не Сивкин-Буркин. Не смеши, Серега, народ честной, не смеши.

Посмотрим.

И вот вышел Иван на трибуну...

Профессор и Нюра сидели за столом. Лысый профессор — в зале.

— Уважаемые товарищи! — громко начал Иван. — Меня Сергей Федорыч попросил рассказать вам... как я думаю про жизнь. Я хорошо думаю, товарищи!

В зале засмеялись.

— Я родился в крестьянской семье... Нюра — тоже в крестьянской. Значит... воспитывались там же, то есть в крестьянской семье. Я окончил шесть классов, Нюра прихватила восьмилетку. За границей не были...

В зале опять засмеялись.

— Что он делает? — негромко спросил профессор Нюру.

Нюра, очень довольная, сказала:

— Выступает. А что?

— Я по профессии механизатор, тракторист. Норму...

— А Нюра? — спросили из зала.

Нюра привстала и сказала:

— Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю.

— Даже перевыполняет, — продолжал Иван.

— На сколько процентов?! — опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и не злой.

— Процентов, — поправил Иван. — Нюся, на сколько процентов, я забыл?

Нюра опять привстала.

— На тридцать-сорок.

— На тридцать-сорок, — сказал Иван. — Вот гляжу на вас, молодой человек, — тоже весело и не зло продолжал Иван, глядя на гривастого парня, — и вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу. Была у меня в молодости кобыла... Я на ней копны возил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у Селедки, стало быть, — Иван наладился на этакую дурашливо-сказочную манеру, малость даже стал подвывать, — была невиданной красоты грива. А бригадиром у нас был Гришка Коноплев, по прозвищу Дятел, потому что он ходил всегда с палочкой и все время этой палочкой себя по голенищу стукал, и вот этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: «Ванька, веди сюда свою Селедку, мы ей гриву обкорнаем. Я видел в кино, как сделано у коня товарища маршала на параде». Привел я Селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее гривы. Стало как у коня товарища маршала. Но что делает моя Селедка? Она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается... Хоть ты что с ней делай. Уж сам Дятел пробовал надевать — ни в какую! Кусается и задом норовит накинуть... Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун. Мы — к нему Он нам и говорит: «Отпустите ее на волю на недельку... Пусть она одна побудет, привыкнет без гривы-то. На кой, говорит,

черт вы ей гриву-то отхватили, оглоеды?» Вот, товарищи, какой случай был. Теперь насчет...

— Почему кобылу звали Селедкой? — спросили из зала весело. Опять гривастый спросил.

— Почему Селедкой-то? А — худая. Худая, как селедка. Там только одна грива и была-то.

Засмеялись.

И профессор тоже невольно засмеялся. И покачал головой.

Нюра наклонилась к нему спросила:

— Ну как — ничего?

— Ничего, — сказал профессор. — Хитер мужик твой Иван. Хорошо выступает.

Нюра была польщена.

— Он умеет, когда надо...

— Иван, — спросил профессор Сергей Федорыч, когда ехали в машине из университета оба профессора, Иван и Нюра, — скажи, пожалуйста, зачем ты про кобылу-то рассказывал? Про Селедку-то...

Лысый профессор громко засмеялся.

Иван улыбнулся...

— Да повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик.

— А тебе что, трудно пришлось?

— Да не то чтоб уж трудно... Я же не знал, что они улыбаться начнут. А что, плохая история? С кобылой-то.

— Славная история, Иван! — воскликнул лысый профессор. — Славная. Жалко — про Вавилон еще не поговорили.

— Про какой Вавилон? — спросил Иван.

— Про город. Есть, видишь ли, люди, которым очень не нравится город...

— Не город, — поправил профессор Сергей Федорыч, — а Вавилон. Надо быть точным, даже если... передергиваешь карты.

— Вавилон, — согласился лысый профессор. И перевел Ивану: — Вавилон — это большой-большой город. И вот есть люди...

— Большой-большой недостроенный город, — опять уточнил Сергей Федорыч.

— Да. Так вот есть люди, которые прекрасно устроились в этом Вавилоне, с удобствами, так сказать, но продолжают всячески поносить...

— Нет, — резко сказал Сергей Федорыч, — это... Так нельзя. Это шулерство. Ты хочешь спросить Ивана: нравится ли ему город?

— Не совсем так...

— А как?

— А мне так нравится! — воскликнула Нюра. — Мне тоже нравится, — сказал Иван. — Зря вы спорите, товарищи. Жить можно. Чего вы?

Профессора засмеялись.

Из Москвы Иван двинул домой второе письмо.

«Уважаемые родные, друзья!

Пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон! Я бы даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь, и был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе — не удивляйтесь: здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не сходил, говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрену туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие, но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. Вообще-то ничего, но... профессора коробит. Меня тоже.

Сегодня в 22.30 отбываем на юг.

Иван».

И вот — юг.

Иван объяснился для начала с директором санатория. В его, директорском, кабинете.

— Как — с вами? — не понимал директор. — У вас же только одна путевка.

— Больше колхоз не дал... Не было.

— Так зачем же было ее везти с собой?

— А что же?.. Я один буду по санаториям прохлаждаться, а она дома сидеть? Несправедливо. Ей же тоже охота хоть раз в жизни на море побывать.

— Вы что, серьезно? — не понимал директор, крупный, толстый, в дорогом светлом костюме, — Вы не разыгрываете меня?

— Кто — я? Бог с вами!

— А где ваша жена?

— А вон! — Иван показал на окно. — Вон она сидит.

Директор подошел, посмотрел вниз.

Во дворе санатория, у фонтана с каменными лебедями, сидела Нюра.

Директор прошелся по кабинету.

— Вы сделали большую глупость.

— Почему?

— Ее придется отправлять назад...

— Почему? — Иван с этими своими «почему» способен был вызвать раздражение. И он вызвал раздражение.

— Да потому! Почему... Потому что так никто не поступает: взять одну путевку и везти с собой еще жену.

— Но ей же тоже охота...

— Что вы дурачка-то из себя строите? Чего дурачка-то строите?

— Почему?

— А где она жить будет?

— Со мной.

— Да как — с вами-то? Как?

— Но мне же положена одна комната...

— Так...

— Поставим раскладушку...

Директор в изумлении хлопнул себя по ляжкам.

— Феноменально! А тещу вы не могли прихватить с собой?

— Не трогайте мою тещу! — обиделся Иван. Обиделся и осердился: — Такую тещу как у меня, — поискать! И нечего ее трогать.

— Идите устраивайтесь, — тоже осердился директор. — Ни о каких раскладушках, конечно, не может быть речи.

Иван растерялся... Долго молчал.

— А куда же она?

— Куда хотите. Вы что, думали, здесь Дом колхозника, что ли?

Ивану пришла в голову какая-то, как видно, толковая мысль.

— Счас, одну минуточку, — сказал он.—Я к жене схожу... — и вышел.

— Ну? — спросила Нюра.

— Уперся... Слушать не хочет.

— Да ты попроси хорошенько! Скажи, мол, издалека приехали...

— Просил всяко! Не могу, говорит. Это... чего я подумал: может сунуть ему? Рублей двадцать...

— Ну-ка да не возьмет?

— Да возьмет, поди, куда он денется? Или мало — двадцать?

— Да хватит!

— Может, четвертак? Ведь месяц почти жить...

— Ну, дай, черт с им! Только уж пусть он получше комнату-то подберет. Побольше.

— Ну, сделает, наверно!..

— Хорошо бы, если б из окошка-то вот этот бы фонтан видно было. Прямо глаз не оторвать — до того глянется. Хорошо-то как здесь, господи! Рай.

— Вот черт, понимаешь... — стал мучиться Иван.

— Чего ты?

— Не умею я давать-то... Не приходилось.

— Сунь ему в руку...

— Сунь! Тут кто кому сунет: я ему или он мне... как сунешь...

— Ну, парень!.. Как же теперь? Надо как-то выходить из положения.

— Пойдем вместе? — сказал Иван.

— А я-то чего там?

— Ну, я, может, похрабрей буду...

— Да хуже только: так — с глазу на глаз, а так — свидетель. Иди, не бойся. Ну, не возьмет — не возьмет: в лоб не ударит.

— Да если б ударил-то — это бы полбеды, а то потянет за взятку-то. Отдохнешь... в другом месте, елки зеленые. Будешь там заместо отдыха... печки-лавочки делать.

— Как же быть-то?

— Погоди, счас, может, насмелюсь... Черт, никогда с этим не приходилось! Шофера, те привычные... Ладно, пошел.

В кабинете директора, когда туда опять вошел Иван, сидела некая милая женщина, по виду врач.

— Подождите минутку, — сказал директор Ивану.

Иван понял так, что надо подождать здесь, в кабинете. И присел на стул.

Женщина-врач посмотрела на Ивана... И решила, что при нем можно рассказывать свое.

— Я говорю, но послушайте, укол всегда болезнен. Нет, говорит, присылайте другую сестру. Иначе буду жаловаться. Представляете? Что в таком случае...

— Минутку, — сказал директор. И повернулся к Ивану. — В чем дело? Что у вас еще? Я же вам сказал: идите устраивайтесь.

— Вы беседуйте, беседуйте, — вежливо молвил Иван. — Я подожду.

— Нина Георгиевна, зайдите, пожалуйста, через... десять минут. Мы вот с товарищем тут...

— Хорошо.

Женщина вышла.

Директор изготовился, видно, говорить строго.

— Слушаю.

Иван подошел к столу, посмотрел на директора — в глаза ему в самые — и выложил на стол ассигнацию в 25 рублей.

— Сойдемся?

Директор... молчал.

— Что? — спросил Иван. — У меня больше нету: осталось здесь пожить и на обратную дорогу.

Директор посмотрел на бумажку... Потрогал ее.

— Я бы больше дал, нету, — еще сказал Иван.

— Ладно, — решил вдруг директор. Встал. — Устрою твою жену. А деньги возьми.

— Да без этих-то я обойдусь!.. — запротестовал Иван. — Бери!

Директор засмеялся.

— Что? — спросил Иван.

— Возьми деньги, — велел директор. — Откуда приехали-то?

— С Алтая, — Иван вышел на балкон и крикнул Нюре: — Заходи!

Нюра подошла ближе к балкону и спросила негромко, но так, чтоб Иван — на втором этаже — слышал:

— Взял?

— Потом. Счас я иду к тебе.

В бассейне, где били вверх струйки воды, плавали каменные лебеди.

И вот вышли они к морю!..

— А народу-то! — заорал Иван.

— Не ори, — сказала Нюра. И засмеялась.

Они подошли к воде... Иван скоренько разделся до трусов. Нюра пока не стала, присела пока так, на камушки.

— Море, море!.. — сказал Иван вдохновенно, оглядел, зачарованный, даль морскую, залитую солнцем... Подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и вскрикнул: — А холодная-то!

— Холодная? — испугалась Нюра.

Иван засмеялся.

— Я шучу. Молоко парное!.. Раздевайся.

И третье письмо написал Иван — с моря. Оно начиналось словами:

«Здравствуйте, дорогие мои!

Стою на берегу моря! Если смотреть прямо, — будет Турция. Справа и слева от меня — голые счастливые люди. Да и сам я — в одних трусиках щеголяю. А Нюра смеется, дурочка...»

КАЛИНА КРАСНАЯ

История эта началась в исправительно-трудовом лагере, севернее города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня.

Люди собрались в клубе...

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!

На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора — один за одним. Они стали так, что образовали две группы — большую и малую. Хористы все были далеко не «певучего» облика.

— В группе «бом-бом», — возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу, — участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.

Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент ударили с чувством:

— Бом-м, бом-м...

В группе «бом-бом» мы видим и нашего героя — Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженого. Он старался всерьез и, когда «звонили», морщил лоб и качал круглой крестьянской головой — чтобы похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем воздухе.

Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди — воля.

Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор:

— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? — спросил начальник. Он, видимо, много-много раз спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то готовые.

— Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко.

— Да это-то я понимаю... А как? Как ты это себе представляешь?

— Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник.

— Товарищ.

— А? — не понял Егор.

— Теперь для тебя все — товарищи, — напомнил начальник.

— А-а! — с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже посмеялся своей забывчивости. — Да-да... Много будет товарищей!

— А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло? — искренне поинтересовался начальник.

— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще люблю природу. Куплю корову...

— Корову? — удивился начальник.

— Корову. Вот с таким вымем, — Егор показал руками.

— Корову надо не по вымю выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее «вот такое» вымя? А то выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя... Толку-то что? Корова должна быть... стройная.

— Так это что же тогда — по ногам? — сугодничал Егор вопросом.

— Что?

— Выбирать-то. По ногам, что ли?

— Да почему по ногам? По породе. Существуют породы — такая-то порода... Например, холмогорская... — больше начальник не знал.

— Обожаю коров, — еще раз с силой сказал Егор. — Приведу ее в стойло... поставлю...

Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга.

— Корова — это хорошо, — согласился начальник. — Только... что ж, ты одной коровой и будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?

— У меня много профессий.

— Например?

Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее... как бы это сказать — меньше всего пригодную для воровских целей.

— Слесарь...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— Да. Да. А какой урок-то был? Тема-то какая? «Евгений Онегин»? Так, а насчет кого они вопросы-то стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно в Татьяне? Что, говорю, им там... — начальник некоторое время слушал тонкий крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой: мол, все ясно. — Пусть... Слушай сюда: пусть они там демагогией не занимаются! Что значит — будут дети, не будут дети?!. Про это, что ли, поэма написана! А то я им приду объясню! Ты им... Ладно, счас Николаев придет к вам, — начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил: — Доценты мне... Николаев? Там у учительницы литературы урок сорвали: начали вопросы задавать. А? «Евгений Онегин». Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны: будут у нее дети от старика или не будут? Иди разберись. Давай. Во, доценты, понимаешь! — сказал начальник, кладя трубку. — Вопросы начали задавать.

Егор посмеялся, представив этот урок литературы.

— Хотят знать...

— У тебя жена-то есть? — спросил начальник строго.

Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел.

— Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления.

На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная.

— Будущая, — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. — Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел.

— Как это?

— Заочница, — Егор потянулся, взял фотографию. — Позвольте, — и сам засмотрелся на милое русское простое лицо. — Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а! Это удивительно, правда? На кассира похожа.

— И что она пишет?

— Пишет, что беду мою всю понимает... Но, говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить? Хорошие письма. Покой от них... Муж был пьянчуга — выгнала. А на людей все равно не обозлилась.

— А ты понимаешь, на что идешь? — негромко и серьезно спросил начальник.

— Понимаю, — тоже негромко сказал Егор и спрятал фотографию.

— Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой... Ванька с Пресни заявишься, — начальник недовольно оглядел Егора. — Что это за... почему так одет-то?

Егор был в сапогах, в рубахе-косоворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе — не то сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности.

Егор мельком оглядел себя, усмехнулся.

— Так надо было по роли. А потом уже не успел переодеться.

— Артисты... — только и сказал начальник, и засмеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов.

И вот она — воля!

Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вздохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась.

— Вам плохо?

— Мне хорошо, мать, — сказал Егор. — Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться.

— Куда садиться? — не поняла старушка.

— В тюрьму.

Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и посеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора.

А Егор поднял руку навстречу «Волге». «Волга» остановилась. Егор стал договариваться с шофером. Шофер сперва не соглашался везти, Егор достал из кармана пачку денег, показал... и пошел садиться рядом с шофером.

В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору, — не поленилась перейти улицу.

— Я прошу извинить меня, — заговорила она, склоняясь к Егору. — А почему именно весной?

— Садиться-то? Так весной сядешь — весной и выйдешь. Воля и весна! Чего еще человеку надо? — Егор улыбнулся старушке и продекламировал: — Май мой синий! Июнь голубой!

— Вон как!.. — старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня — туда же, по улице идет, где машины. У старушки было румяное, морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую, дорогую минуту.

«Волга» поехала.

Старушка некоторое время смотрела вслед ей.

— Скажите... Поэт нашелся. Фет.

А Егор весь отдался движению.

Кончился поселок, выскочили на простор.

— Нет ли у тебя какой музыки? — спросил Егор.

Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон.

— Включи. Крайняя клавиша...

Егор включил какую-то славную музыку. Откинулся головой на сиденье, закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался.

— Рад? — спросил шофер.

— Рад? — очнулся Егор. — Рад... — он точно на вкус попробовал это словцо. — Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую — отдал тебе, а третью — прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться? — Егор от полноты чувства мог иногда взбежать повыше — где обитают слова красивые и пустые. — Умеешь, нет?

Шофер пожал плечами, ничего не ответил.

— Э-э, тухлое твое дело, сынок, — не умеешь.

— А чего радоваться-то?

Егор вдруг стал серьезным. Задумался. С ним это бывало — вдруг ни с того ни с сего задумается.

— А? — спросил Егор из каких-то своих мыслей.

— Чего, говорю, шибко радоваться-то? — шофер был парень трезвый и занудливый.

— Ну, это я, брат, не знаю — чего радоваться, — заговорил Егор, с неохотой возвращаясь из своего далекого далека. — Умеешь — радуйся, не умеешь — сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?

Парень опять неопределенно пожал плечами.

— Вот видишь, — с сожалением сказал Егор, — а ты радоваться собрался.

— Я и не собирался радоваться.

— Стихи надо любить, — решительно закруглил Егор этот вялый разговор. — Слушай, какие стихи бывают, — и Егор начал читать — с пропуском, правда, потому что подзабыл.

...в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу тебе выхожу!

Город, город! Ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске...

какой-то... Тут подзабыл малость.

Телеграфными столбами давясь...

Тут опять забыл. Дальше:

Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты недаром даешься ножу.
Как и ты — я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

Егор, сам оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде, сосредоточенном, устремленном вдаль, решимость, точно и сам он бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь.

— Как стихи? — спросил Егор.

— Хорошие стихи.

— Хорошие. Как стакан спирту дернул, — сказал Егор. — А ты: не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка... я своих подружек встретил.

Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился.

Егор вышел из машины... Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.

— Ну, ты глянь, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью. — Здорово! Ишь ты какая... Невеста какая. Жениха ждешь? Скоро уж, скоро. — Егор быстро вернулся к машине. Все теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно.

— Жми, малыш, на весь костыль. А то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь?

— Откуда!

— Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек?

— Двести.

— Беру за триста. Он мне понравился.

В областном городе, на окраине, Егор велел остановиться, не доезжая того дома, где должны быть свои люди. Щед-

ро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами, сложно, пошел «на хату».

«Малина» была в сборе.

Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога, упорно смотрел на телефон. Сидели четыре девицы с голыми ногами... Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон... Сидел в кресле Губошлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское... Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где — курили или просто так.

Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то обои, захватанные и тоже драные, совсем уж некстати напоминали цветом своим весеннее небо, и от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокрытом мирке, тяжко. Про такие обиталища говорят, обижая зверей, — логово.

Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки
Характер вызнала.

Характер вызнала,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он пошел к другой...
А я...

Во входную дверь негромко постучали условным стуком.

Все сидящие дернулись, как от вскрика.

— Цыть! — сказал Губошлеп. И весело посмотрел на всех. — Нервы, — еще сказал Губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь.

Пошел рослый парень.

— Чепочка, — сказал Губошлеп. И сунул руку в карман. И ждал.

Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь... И поспешно скинул цепочку, оглянулся на всех...

Дверь закрылась.

И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с мест.

Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся.

К нему подходили, здоровались... Но старались не шуметь.

— Привет, Горе (такова была кличка Егора — Горе).

— Здоро́во.

— Отпыхтел?

Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были не просто знакомые — была тут Люсьен (скуластенькая), был, наконец, Губошлеп — их Егор рад был видеть. Но что они?

— А чего вы такие все?

— Ларек наши берут, — пояснил один, здороваясь. — Должны звонить... Ждем.

Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее... И всего исцеловала. Глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от неподдельной радости.

— Горе ты мое!.. Я тебя сегодня во сне видела...

— Ну-ну, — говорил счастливый Егор. — И что я во сне делал?

— Обнимал меня. Крепко-крепко.

— А ты ни с кем меня не спутала?

— Горе!..

— А ну, повернись-ка, сынку! — сказал Губошлеп. — Экий ты какой стал!

Егор подошел к Губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал. Весело смотрел на Егора.

— Я вспоминаю один весенний вечер... — заговорил Губошлеп. И все стихли. — В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Все люди взволнованы — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один... Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: «Что пригорюнился, добрый молодец?» — «Да вот... горе у меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться». Тогда молодой человек...

Зазвонил телефон. Всех опять как током дернуло.

— Да? — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога. И долго слушал. И кивал. — Все сидим здесь. Я не отхожу от телефона. Все здесь, Горе пришел... Да. Только что. Ждем. Ждем, — похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем. — Начали.

Все пришли в нервное движение.

— Шампанзе! — велел Губошлеп.

Бутылки с шампанским пошли по рукам.

— Что за ларек? — спросил Егор Губошлепа.

— Кусков на восемь, — сказал тот. — Твое здоровье!

Выпили.

— Люсьен... Что-нибудь... снять напряжение, — попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый, глаза очень наглые.

— Я буду петь про любовь, — сказала приятная Люсьен. И тряхнула крашеной головой, и с маху положила ладонь на струны. И все стихли.

Тары-бары-растабары,
Чары-чары...
Очи-ночь.
Кто не весел,
Кто в печали —
Уходите прочь!

Во лугах, под покровом ночи,
Счастье даром раздают!
Очи, очи...
Сердце хочет:
Поманите — я пойду!
Тары-бары-растабары...

Опять зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина.

— Да? — изо всех сил спокойно сказал Бульдог в трубку. — Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает, — Бульдог положил трубку. — В прачечную звонит, сука.

Все пришли в движение.

— Шампанзе! — опять велел Губошлеп. — Горе, от кого поклоны принес?

— Потом, — сказал Егор. — Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот, вишь, тут молодые люди незнакомые... Ну-ка, я познакомлюсь.

Молодые люди по второму разу, с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой заглядывал им в глаза. И кивал головой и говорил: «Так, так».

— Хочу плясать! — заявила Люсьен. И трахнула фужер об пол.

— Ша, Люсьен, — сказал Губошлеп. — Не заводись.

— Иди ты к дьяволу! — сказала подпившая Люсьен. — Горе, наш коронный номер!

И Егор тоже с силой бросил свой фужер.

И у него тоже заблестели глаза.

— Ну-ка, молодые люди, дайте круг. Брысь!

— Ша, Горе! — повысил голос Губошлеп. — Выбрали время!

— Да мы же услышим звонок! — заговорили со всех сторон Губошлепу. — Пусть сбацают.

— Чего ты? Пусть выйдут!

— Бульдя же сидит на телефоне.

Губошлеп вынул платочек и хоть запоздало, но важно, как Пугачев, махнул им.

Две гитары дернули «Барыню».

Пошла Люсьен... Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями — чтоб отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже красивой вдруг сделалась, родной и милой...

Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину, ничего вроде особенного, не прыгал козлом — а тоже хорошо. Хорошо у них выходило. Таилось что-то за этой пляской — неизжитое, незабытое.

— Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа, — сказал Егор вполне серьезно. Такой, верно, ждалась ему желанная воля.

— Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу, — откликнулась Люсьен. — Ах как я ее успокою! И сама успокоюсь.

— Успокой, Люсьен. А то она плачет.

— Успокою. Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: «Устала? Милая... милая... добрая... Устала».

— Смотри, не клюнула бы эта голубка, — встрял в этот деланный разговор Губошлеп. — А то клюнет.

— Нет, она не злая, — серьезно сказал Егор, не глядя на Губошлепа. И жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали. На них хотелось без конца смотреть, и молодые люди смотрели, с какой-то тревогой смотрели, жадно, как будто заколачивалась в гроб некая отвратительная часть и их жизни тоже — можно потом выйти на белый свет, а там — весна.

— Она устала в клетке, — сказала Люсьен нежно.

— Она плачет, — сказал Егор. — Нужен праздник.

— По темечку ее... Прутиком, — сказал Губошлеп. — Она успокоится.

— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен. — Какие злые!

— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то... Плачет.

— Успокоим, Егорушка, успокоим. Я же волшебница, я все чары свои пущу в ход...

— Из голубей похлебка хорошая, — сказал ехидный Губошлеп. Весь он, худой как нож, собранный, страшный своей молодой ненужностью, весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой.

— Нет, она плачет! — остервенело сказал Егор. — Плачет! Тесно ей там — плачет! — он рванул рубаху... И стал против Губошлепа. Гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.

Губошлеп держал уже руку в кармане.

— Опять ты за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.

— Я тебе, наверно, последний раз говорю, — спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху. — Не тронь меня за болячку... Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.

— Я слышал.

— Эх-х!.. — огорчилась Люсьен. — Скука... Опять покойники, кровь... Бр-р... Налей-ка мне шампанского, дружок.

Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все.

Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку... Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки.

Первым вскочил с места Губошлеп. Он был стремительный человек. Но все же он был спокоен.

— Сгорели, — коротко и ужасно сказал Бульдог.

— По одному — кто куда, — скомандовал Губошлеп. — Веером. На две недели все умерли. Время!

Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал.

— Ни одной пары! — еще сказал Губошлеп. — Сбор у Ивана. Не раньше десяти дней.

Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.

— Ты что, Горе? — спросил Губошлеп.

— Я?.. — Егор помедлил в задумчивости. — Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством.

Люсьен и Губошлеп стояли над ним в недоумении.

— Каким сельским хозяйством?

— Уходить надо, чего ты сел?! — встряхнула его Люсьен.

Егор очнулся. Встал.

— Уходить? Опять уходить... Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящичек?.. А, вот он. Обязательно надо уходить? Может...

— Что ты! Через десять минут здесь будут. Наверно, выследили.

Люсьен пошла к выходу.

Егор двинулся было за ней, но Губошлеп мягко остановил его за плечо. И мягко сказал:

— Не надо. Погорим. Мы скоро все увидимся...

— А ты с ней пойдешь? — прямо спросил Егор.

— Нет, — твердо и, похоже, честно сказал Губошлеп. — Иди! — резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях.

Люсьен недобро глянула на Губошлепа и вышла.

— Отдохни где-нибудь, — сказал Губошлеп, наливая в два фужера. — Отдохни, дружок, — хоть к Кольке Королю, хоть к Ваньке Самыкину, у него уголок хороший. А меня прости за... сегодняшнее. Но... Горе ты мое, Горе, ты же мне тоже на болячку жмешь, только не замечаешь. Давай. Со встречей. И — до свиданья пока. Не горюй. Гроши есть?

— Есть. Мне там собрали...

— А то могу подкинуть.

— Давай, — передумал Егор.

Губошлеп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору. Пачку.

— Где будешь?

— Не знаю. Найду кого-нибудь. Как же вы так — завалились-то?..

В это время в комнату скользнул один из молодых, белый от испуга.

— Квартал окружили, — сказал он.

— А ты что?

— Я не знаю куда... Я вам сказать.

— Сам прет на рога, — засмеялся Губошлеп. — Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой, теленочек мой... За мной, братики!

Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы, но оттуда, с той стороны, послышались крепкие шаги патруля. Они — в другую сторону, но и оттуда раздались тоже шаги...

— Так, — сказал Губошлеп, не утрачивая своей загадочной веселости. — Что-то паленым пахнет. А, Егор? Чуешь?

— Ну-ка, сюда! — Егор втолкнул своих спутников в какую-то нишу.

Шаги с обеих сторон приближались...

И в одном месте, справа, по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря.

Губошлеп вынул из кармана наган...

— Брось, дура! — резко и зло сказал Егор. — Психопат. Может, те не расколются... А ты тут стрельбу откроешь.

— Та знаю я их! — нервно воскликнул Губошлеп. Вот сейчас, вот тут он, пожалуй, утратил свое спокойствие.

— Вот я сейчас рвану — уведу их. У меня справка об освобождении, — заговорил Егор быстро, выискивая глазами — в какую сторону рвануть. — Справка помечена сегодняшним числом... Я прикрытый. Догонят — скажу: испугался. Скажу: бабенку искал, услышал свистки — испугался сдуру... Все. Не поминайте лихом!

И Егор ринулся от них... И побежал напропалую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног.

Егор бежал с каким-то азартом, молодо... Бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел:

— Оп, тирдарпупия! Ничего я не видал, ох, никого не знаю!..

Он уже перебрался через трубы... Сзади в темноте, совсем близко, бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер.

Над ним загрохотали железные шаги...

Егор сидел, скрючившись, и довольно улыбался. И шептал:

— Д-ничего я не видал, д-никого не знаю.

Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал.

За ним опять устремились.

— Эх, ничего я не видал, ох, никого не знаю! Д-никого не знаю! — подбадривал себя Егор. Маханул через какую-то высокую изгородь, побежал по кустам — похоже, попал в какой-то сад. Близко взлаяла собака. Егор кинулся вбок... Опять изгородь, он перепрыгнул и очутился на кладбище.

— Привет! — сказал Егор. И пошел тихо.

А шум погони устремился дальше — в сторону.

— Ну надо же, сбежал! — изумился Егор. — Всегда бы так, елки зеленые. А то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься, как ребенок.

И опять охватила Егора радость воли, радость жизни.

— Ох, д-ничего ж я не видал, д-никого не знаю, — еще разок спел Егор. И включил свой славный ящичек на малую громкость. И пошел читать надписи на надгробиях. Кладбище огибала улица, и свет фар надолго освещал кресты — пока машина огибала угол. И тени от крестов, длинные, уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам... Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музычка Егорова — вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку.

— «Спи спокойно до светлого утра», — успевал прочитывать Егор. — «Купец первой гильдии Неверов»... А ты-то как здесь?! — удивился Егор. — Тыща восемьсот девяносто... А-а, ты уже давно. Ну-ну, купец первой гильдии... «Едут с товарами в путь из Касимова...» — запел было негромко Егор, но спохватился. — «Дорогому незабвенному мужу от неутешной вдовы», — прочитал он дальше. Присел на скамеечку, посидел некоторое время... Встал. — Ну, ладно, ребята, вы лежите, а я пойду. Ничего не сделаешь... Пойду се-

бе, как честный фраер: где-то же надо, в конце концов, приткнуть голову. Надо же? Надо, — и все же спел еще разок. — Д-ничего ж я не видал, д-никого ж не зна-аю.

И стал он искать, куда бы приткнуться.

У двери деревянного домика на самой окраине из сеней ему сурово сказали:

— Иди отсюда! А то я те выйду, покажу горе... Горе покажу и страдание.

Егор помолчал немного.

— Ну, выйди.

— И выйду!

— Выйдешь... Ты мне скажи: Нинка здесь или нет? — по-доброму спросил Егор мужика за дверью. — Только правду! А то ведь я узнаю... И строго накажу, если обманешь.

Мужик тоже помолчал. И тоже сменил тон, сказал дерзко, но хоть не так зло:

— Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят! Неужели непонятно? Шляются тут по ночам-то.

— Поджечь, что ли, вас? — вслух подумал Егор. И брякнул спичками в кармане. — А?

За дверью долго молчали.

— Попробуй, — сказал наконец голос. Но уже вовсе не грозно. — Попробуй подожги. Нет Нинки, я те серьезно говорю. Уехала она.

— Куда?

— На Север куда-то.

— А чего ты лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?

— А потому что меня зло берет на вас! Из-за таких вот и уехала... С такими же вот.

— Ну, считай, что она в надежных руках — не пропадет. Будь здоров!

В телефонной будке Егор тоже рассердился.

— Почему нельзя-то?! Почему? — орал он в трубку. Ему что-то долго объясняли.

— Заразы вы все, — с дрожью в голосе сказал Егор. — Я из вас букет сделаю, суки: головками вниз посаж в клум-

бу... Ну, твари! — Егор бросил трубку... И задумался. — Люба, — произнес он с дурашливой нежностью. — Все. Еду к Любе, — и он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу. И говорил дорогой: — Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка... Оладушек ты мой сибирский! Я хоть отъемся около тебя... Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдобная! — Егор все набирал и набирал какого-то остервенения. — Съем я тебя поеду! — закричал он в тишину, в ночь. И даже не оглянулся посмотреть — не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице, подморозило на ночь, асфальт звенел. — Задушу в объятиях!.. Разорву и схаваю! И запью самогонкой. Все!

И вот районный автобус привез Егора в село Ясное.

А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее. В сердце толкнуло — она!

И пошел к ней.

— Е-мое, — говорил он себе негромко, изумленный, — да она просто красавица! Просто зоренька ясная. Колобок просто... Красная шапочка...

— Здравствуйте, — сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И подал руку. — Георгий, — и пожал с чувством крепкую крестьянскую руку. И — на всякий случай — тряхнул ее, тоже с чувством.

— Люба, — женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора. Молчала. Егору от ее взгляда сделалось беспокойно.

— Это я, — сказал он. И почувствовал себя очень глупо.

— А это — я, — сказала Люба. И все смотрела на него спокойно и задумчиво.

— Я некрасивый, — зачем-то сказал Егор.

Люба засмеялась.

— Пойдем-ка посидим пока в чайной, — сказала она. — Расскажи про себя, что ли...

— Я непьющий, — поспешил Егор.

— Ой ли? — искренне удивилась Люба. И очень как-то просто у нее это получилось, естественно. Егора простота эта сбила с толку.

— Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но... это... не так чтоб засандалить там... Я очень умеренный.

— Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько, — Люба все смотрела на своего заочника... И так странно смотрела, точно над собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком: «Ну не дура ли я? Что затеяла-то?» Но женщина она, видно, самостоятельная: и смеется над собой, а делает, что хочет. — Пойдем... Расскажи. А то у меня мать с отцом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим арестантом, — Люба шла несколько впереди и, говоря это, оглядывалась, и вид у нее был спокойный и веселый. — А я им говорю: да он арестант-то по случайности. По несчастью. Верно же?

Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал. Но вида не подал.

— Да-да, — сказал он «интеллигентно». — Стечение обстоятельств, громадная невезуха...

— Вот и я говорю.

— У вас родители — кержаки?

— Нет. Почему ты так решил?

— Строгие-то... Попрут еще. Я, например, курю.

— Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит...

— И брат есть?

— Есть. У нас семья большая. У брата двое детей — большие уже: один в институте учится, другая десятилетку заканчивает.

— Все учатся... Это хорошо, — похвалил Егор. — Молодцы. — Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни.

Зашли в чайную. Сели в углу за столик. В чайной было людно, беспрестанно входили и выходили... И все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неуютно.

— Может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь? — предложил Егор.

— Зачем? Здесь вон как славно... Нюра, Нюр! — позвала Люба девушку. — Принеси нам, голубушка... Чего принести-то? — повернулась к Егору.

— Красненького, — сказал Егор, снисходительно поморщившись. — У меня от водки изжога.

— Красненького, Нюр! — загадочное впечатление производила Люба: она точно играла какую-то умную игру, игра-

ла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора: разгадал тот или нет, что это за игра?

— Ну, Георгий... — начала она, — расскажи, значит, про себя.

— Прямо как на допросе, — сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел.

— Ну, что рассказывать? Я бухгалтер, работал в ОРСе, начальство, конечно, воровало... Тут — бах! — ревизия. И мне намотали... Мне, естественно, пришлось отдуваться. Слушай, — тоже перешел он на «ты», — давай уйдем отсюда: они смотрят, как эти...

— Да пусть смотрят! Чего они тебе? Ты же не сбежал.

— Вот справка! — воскликнул Егор. И полез было в карман.

— Я верю, верю, господи! Я так, к слову. Ну, ну? И сколько же ты сидел?

— Пять.

— Ну?

— Все... А что еще?

— Это с такими ручищами ты — бухгалтер? Даже не верится.

— Что? Руки?.. А-а. Так это я их уже там натренировал,... — Егор потянул руки со стола.

— Такими руками только замки ломать, а не на счетах... — Люба засмеялась.

И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже.

— Ну а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?

— Нет! — поспешно сказал Егор. — Бухгалтером я больше не буду.

— А кем же?

— Надо осмотреться... А можно малость попридержать коней, Люба? — Егор тоже прямо глянул в глаза женщины. — Ты как-то сразу погнала вмах: работа, работа... Работа — не Алитет. Подожди с этим.

— А зачем ты меня обманывать-то стал? — тоже прямо спросила Люба. — Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил...

— А-а, — протянул Егор, пораженный. — Вот оно что... — и ему стало легко и даже весело. — Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай.

И включил Егор музыку.

— А такие письма писал хорошие, — с сожалением сказала Люба. — Это же не письма, а целые... поэмы прямо целые.

— Да? — оживился Егор. — Тебе нравятся? Может, талант пропадает... — он пропел: — Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы. Давай, Любовь, наливай. Централка, все ночи полные огня... Давай, давай!

— А чего ты-то погнал? Подожди... Поговорим.

— Ну, начальничек, мля! — воскликнул Егор. — И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал? Да? Бухгалтером... — Егор хохотнул. — Бухгалтер... По учету товаров широкого потребления.

— Так чего же ты хотел, Георгий? — спросила Люба. — Обманывал-то... Обокрасть, что ли, меня?

— Ну, мать!.. Ты даешь! Поехал в далекие края — две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.

— А чего же?

— Что?

— Чего хочешь-то?

— Не знаю. Может, отдых душе устроить... Но это тоже не то: для меня отдых — это... Да. Не знаю, не знаю, Любовь.

— Эх, Егорушка.

Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу: так похоже она это сказала — так говорила далекая Люсьен.

— Что?

— Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... только еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь. Запалишься и упадешь. У тебя правда, что ли, никого нету? Родных-то...

— Нет, я сиротинушка горькая. Я же писал. Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не побирушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретилась... Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие... вполне презираю.

— Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть.

— Я не из-за денег иду.

— Из-за чего же?

— Никем больше не могу быть на этой земле — только вором, — Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить.

— Ое-ей! Ну, допивай да пойдем, — сказала Люба.

— Куда? — удивился Егор.

— Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? — Люба засмеялась. Ей было легко с Егором, очень легко.

— Погоди... — не понимал Егор. — Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер...

— Ну, уж ты тоже выбрал профессию... — Люба качнула головой. — Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней — ну, осудили, мол. А ты, и правда-то, не похож на жулика. Нормальный мужик... Даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли?

— Между прочим, — не без фанаберии заговорил Егор, — к вашему сведению: я шофер второго класса.

— И права есть? — с недоверием спросила Люба.

— Права в Магадане.

— Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты — Горе! Бича хорошего нет на это горе. Пошли.

— Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга несусветный. Я...

— Тише! Что, опьянел, что ли?

— Так. А в чем дело? — опомнился Егор. — Не понимаю, объясни, пожалуйста. Ну, мы пойдем... Что дальше?

— Пошли ко мне. Отдохни хоть с недельку... Украсть у меня все равно нечего. Отдышись... Потом уж поедешь магазины ломать. Пойдем. А то люди скажут, встретила — от ворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут какие!.. Сразу друг друга осудим. Да и потом... не боюсь я тебя чего-то, не знаю.

— Так. А папаша твой не приголубит меня... колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову.

— Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня.

Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине дома жила Люба со стариками, через стенку — брат с семьей.

Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой крутизне.

Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка, Михайловна, увидела в окно Любу и Егора.

— Гли-ка, ведет ведь! — всполошилась она. — Любка-то!.. Рестанта-то!..

Старик тоже приник к окошку.

— Вот теперь заживем! — в сердцах сказал он. — По внутреннему распорядку язви тя в душу! Вот это отчебучила дочь!

Видно было, как Люба что-то рассказывает Егору: показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой. Но больше взглядывал на дом Любы, на окна.

А тут переполох полный. Все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывала от Егора, все равно не верилось. А обернулось все чистой правдой.

— Ну, окаянная, ну, халда! — сокрушалась старуха. — Ну, чо я могла с халдой поделать? Ничо же я не могла...

— Ты вида не показывай, что мы напужались или ишо чего... — учил ее дед. — Видали мы таких... разбойников! Стенька Разин нашелся.

— Однако и приветить ведь надо?.. — первая же и сообразила старуха. — Или как? У меня голова кругом пошла — не соображу...

— Надо. Все будем по-людски делать, а там уж поглядим: может, жизни свои покладем... через дочь родную. Ну, Любка, Любка...

Вошли Люба с Егором.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Егор.

Старики в ответ только кивнули... И открыто, в упор разглядывали Егора.

— Ну, вот и бухгалтер наш, — как ни в чем не бывало заговорила Люба. — И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по... этому по...

— По недоразумению, — подсказал Егор.

— И сколько же счас дают за недоразумение? — спросил старик.

— Пять, — кротко ответил Егор.

— Мало. Раньше больше давали.

— По какому же такому недоразумению загудел-то? — прямо спросила старуха.

— Начальство воровало, а он списывал, — пояснила Люба. — Ну, допросили? А теперь покормить надо — человек с дороги. Садись пока, Георгий.

Егор обнажил свою стриженую голову и скромненько присел на краешек стула.

— Посиди пока, — велела Люба. — Я пойду баню затоплю. И будем обедать.

Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла — чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверно, надеялась на своих незлобивых родителей.

— Закурить можно? — спросил Егор.

Не то что тяжело ему было — ну и выгонят, делов-то! — но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше. Интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время, а еще и надо было... Где-то надо было и пересидеть пока, и осмотреться.

— Кури, — разрешил дед. — Какие куришь?

— «Памир».

— Сигаретки, что ли?

— Сигаретки.

— Ну-ка, дай я опробую.

Дед подсел к Егору. И все приглядывался к нему, приглядывался.

Закурили.

— Дак какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб? — как бы между делом спросил дед.

Егор посмотрел на смекалистого старика.

— Да... — неопределенно сказал он. — Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели — ушел. Вот и попались...

Старуха выронила из рук полено и села на лавку.

Старик оказался умнее, не испугался.

— Семерых?

— Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли.

— Свят-свят-свят... — закрестилась старуха. — Федя...

— Тихо! — скомандовал старик. — Один дурак городит чего ни попадя, а другая... А ты, кобель, аккуратней с языком-то: тут пожилые люди.

— Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в разбойники записали? Вам говорят — бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну — из тюрьмы... Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят?

— Кто тебя в убийцы зачисляет! Но только ты тоже, того... что ты булгахтер, это ты тоже... не заливай тут. Булгахтер! Я булгахтеров-то видел-перевидел!.. Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки... и, потом, я заметил: они все курносые. Какой же ты булгахтер — об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про булгахтера — она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил: этот — или за драку, или машину лесу украл. Так?

— Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец, — сказал Егор. — Цены бы не было. Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?

Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего — он и сам не знал. Слова очень уж зловещие.

— Ты чего это? — спросил он. — Чего мелешь-то?

— А чего так сразу смутился? Я просто спрашиваю... Хорошо, другой вопрос: колоски в трудные годы воровал с колхозных полей?

Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и построил свой «допрос», чтобы сбивать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела.

— Затрудняетесь, — продолжал Егор. — Ну, хорошо... Ну, поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему, что ли: на собраниях часто выступаем?

— Ты чего тут Микитку-то из себя строишь? — спросил наконец старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито, но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате.

— Видите, как мы славно пристроились жить! — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика. — Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна... Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгиль-

дяйства и слабоумия, люди, можно сказать, заикаются от напряжения, — Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его. — Люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы... А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот как! Славно, славно... Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми...

— Да он с десяти годов работает! — встряла старуха. — Он с малолетства на пашне...

— Реплики потом, — резковато осадил ее Егор. — А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана...

— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня восемнадцать похвальных грамот.

Егор остановился удивленный.

— Так чего же ты сидишь молчишь? — спросил он другим тоном.

— Молчишь... Ты же мне слова не даешь воткнуть!

— Где похвальные грамоты?

— Там, — сказала старуха, вконец тоже сбитая с толку.

— Где «там»?

— Вон, в шкапчике... все прибраны.

— Им место не в шкапчике, а на стене! В «шкапчике». Привыкли все по шкапчикам прятать, понимаешь...

В это время вошла Люба.

— Ну, как вы тут? — спросила она весело — она разрумянилась в бане, волосы выбились из-под платка... Такая она была хорошая! Егор невольно загляделся на нее. — Все тут у вас хорошо? Мирно?

— Ну и ухаря ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик. — Ты гляди, как он тут попер!.. Чисто комиссар какой! — старик засмеялся.

Старуха только головой покачала... И сердито поджала губы.

Так познакомился Егор с родителями Любы.

С братом ее, Петром, и его семьей знакомство произошло позже.

Петро въехал во двор на самосвале... Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек. Наконец стал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая.

— К Любке-то приехал... Этот-то, заочник-то, — сразу сообщила она.

— Да? — нехотя полюбопытствовал Петро, здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах. — Ну и что? — пнул баллон, другой.

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия — то-се... А по роже видать: бандит.

— Да? — опять нехотя и лениво сказал Петро. — Ну и что?

— Да ничего. Надо осторожней первое время... Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.

— Да? — Петро продолжал пинать баллоны. — Ну и что?

— Ты иди глянь на него! Иди глянь! Вот так нашла себе!.. Иди глянь на него — нам же под одной крышей жить теперь.

— Ну и что?

— Ничего! — завысила голос Зоя. — У нас дочь-школьница, вот что! Заладил свое: «Ну и что? Ну и что?» Мы то и дело одни на ночь остаемся, вот что! «Ну и что». Чтокалка чертова, пень! Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит...

Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он «шагу не прибавит» — это как-то на него похоже: на редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочал головой и смотрел маленькими своими глазами — прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием.

— Вот счас с Петром вместе пойдете, — говорила Люба, собирая Егора в баню. — Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так: едешь свататься, и даже лишней пары белья нету? Ну? Кто же так заявляется!

— На то она и тюрьма! — воскликнул старик. — А не курорт. С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные. Илюха вон Лопатин радикулит ездил лечить: корову целую ухнул, а приехал без копья.

— Ну-ка вот, мужнины бывшие... Нашла. Небось годится, — Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны.

— То есть? — не понял Егор.

— Моего мужика бывшего... — Люба стояла с бельем в руках. — А чего?

— Да я что?! — обиделся Егор, — Совсем, что ли, подзаборник — чужое белье напялю. У меня есть деньги — надо сходить и купить в магазине.

— Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. А чего тут такого? Оно стираное...

— Бери, чего? — сказал и старик. — Оно же чистое.

Егор подумал и взял.

— Опускаюсь все ниже и ниже, — проворчал он при этом. — Даже самому интересно... Я потом вам спою песню: «Во саду ли, в огороде».

— Иди, иди, — провожала его к выходу Люба. — Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой.

Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор.

— Бритых принимают? — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке.

— Всяких принимают, — все тем же ровным голосом, каким он говорил «ну и что», сказал Петро.

— Будем знакомы, Георгий, — Егор протянул руку. И все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей, почему-то теперь хотелось, Люба, что ли?.. — Я говорю: я — Георгий.

— Ну-ну, — сказал Петро, — давай еще целоваться. Георгий, значит, Георгий. Значит, Жора...

— Джордж, — Егор остался с протянутой рукой. Перестал улыбаться.

— А? — не понял Петро.

— На! — с сердцем сказал Егор. — Курва, суюсь сегодня, как побирушка!.. — Егор бросил белье на лавку. — Осталось только хвостом повилять. Что, я тебе дорогу перешел, что ты мне руку не соизволил подать?

Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил. Сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали.

— Чего ты? — спросил Петро. — Расселся-то?

— Иди мойся, — сказал Егор. — Я потом. Я же из заключения... Мы после вас. Не беспокойтесь.

— Во!.. — сказал Петро. И, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом...

Егор прилег на широкую лавку, курил.

— Ну надо же!.. — сказал он. — Как бедный родственник, мля.

Открылась дверь бани, из парного облака выглянул Петро.

— Чего ты? — спросил он.

— Чего?

— Чего лежишь-то?

— Я подкидыш.

— Во!.. — сказал Петро. И усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки... Не выдержал и опять открыл дверь. — Ты пойдешь или нет?! — спросил он.

— У меня справка об освобождении! — чуть не заорал ему в лицо Егор. — Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя! Точно такой, за исключением маленькой пометки, которую никто не читает. Понял?

— Счас возьму и силком суну в тазик, — сказал Петро невыразительно. — И посажу на каменку. Без паспорта, — Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил: — Со справкой, — и хохотнул коротко.

— Вот это уже другой разговор! — Егор сел на лавке. И стал раздеваться. — А то начинает тут... Диплом ему покажи!

А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее.

— На кой ты его в чайную-то повела? — визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная. — Ведь вся уж деревня знает: к Любке тюремщик приехал! Мне на работе прямо сказали...

— Любка, Любка!.. — насилу дозвалась мать. — Ты скажи так: если ты, скажи, просто так приехал — жир накопить да

потом опять зауситься по свету, — то, скажи, уезжай седни же, не позорь меня перед людями. Если, скажи, у тебя...

— Как это может так быть, чтобы у него семьи не было? Как? Что он — парень семнадцати годов? Ты думаешь своей головой-то?

— Ты скажи так: если, скажи, у тебя чего худое на уме, то собирай манатки и...

— Ему собраться — только подпоясаться, — встрял в разговор молчавший до этого старик. — Чего вы навалились на девку? Чего счас с нее спрашивать? Тут уж — как выйдет, какой человек окажется. Как она за него может счас заручиться?

— Не пугайте вы меня, ради Христа, — только и сказала Люба. — Я сама боюсь. Что, вы думаете, просто мне?

— Вот!.. Я тебе чего и говорю-то! — воскликнула Зоя.

— Ты вот чего... девка... Любка, слышь? — опять затормошила Любу мать. — Ты скажи так: вот чего, добрый человек, иди седни ночуй где-нибудь.

— Это где же? — обалдела Люба.

— В сельсовете.

— Тьфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем одурели?! Гляди-ка: вызвали мужика да отправили его в сельсовет ночевать! Вот так да!.. Совсем уж нехристи какие-то.

— Пусть его завтра милиционер обследует, — не сдавалась мать.

— Чего его обследовать-то? Он весь налицо.

— Не знаю... — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу... Еще на карточке заметила: глаза какие-то... грустные. Вот хоть убейте вы меня — мне его жалко. Может, я и...

Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле.

— Свари-ил! — кричал Петро. — Живьем сварил!..

Следом выскочил Егор с ковшом в руке.

К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.

— Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра. — Люди добрые, убили!..

— Не ори, — страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. — Чего ты?

— Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик.

— Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды — поддать на каменку, а он взял меня да окатил.

— А я еще удивился, — растерянно говорил Егор, — как же, думаю, он стерпит?.. Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем попробовал — прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверно. Наверно, думаю, кожа, как у быка, — толстая. Я же не знал, что надо на каменку...

— «Пальцем попробовал», — передразнил Петро. — Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый?

— Я же думал, тебе окупнуться надо...

— Да я еще не парился! — заорал спокойный Петро. — Я еще не мылся даже!.. Чего мне ополаскиваться-то?

— Жиром каким-нибудь надо смазать, — сказал отец, исследовав ожог. — Ничего тут страшного нету. Надо только жиру какого-нибудь... Ну-ка, кто?

— У меня сало баранье есть, — сказала Зоя. И побежала в дом.

— Ладно, расходитесь, — велел старик. —А то уж вон людишки сбегаются.

— Да как же это ты, Егор? — спросила Люба.

Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться:

— Понимаешь, как вышло: он уже наподдавал — дышать нечем и просит: «Дай ковшик горячей». Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести...

— «Бала-анс», — опять передразнил его Петро. — Навел бы я те счас баланс — ковшом по лбу! Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был?

— Я же пальцем попробовал...

— «Пальцем»!.. Чем тебя только делали, такого.

— Ну, дай мне по лбу, правда, — взмолился Егор, — мне легче будет, — он протянул Петру ковш. — Дай, умоляю...

— Петро... — заговорила Люба. — Он же нечаянно. Ну, что теперь?

— Да идите вы в дом, ей-богу! — рассердился на всех Петро. — Вон и правда люди собираться начали.

У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек шесть-семь любопытных.

— Чо там у их? — спросил у стоявших вновь подошедший мужик.

— Петро ихний... Пьяный на каменку свалился, — пояснила какая-то старушка.

— Ох, е!.. — сказал мужик. — Дак а живой ли?

— Живой... Вишь, сидит. Чухается.

— Вот заорал-то, наверно!

— Так заорал, так заорал!.. У меня ажник стекла задребезжали.

— Заорешь...

— Чо же, задом, что ли, приспособился?

— Как же задом? Он же сидит.

— Да сидит же... Боком, наверно, угодил. А эт кто же у их? Что за мужик-то?

— Это ж надо так пить! — удивлялась старушка.

Засиделись далеко за полночь.

Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их, старых, набралось за столом изрядно, человек двенадцать. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по двое, по трое.

— Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж-то вон куда выходила — в Краюшкино, ну!

— Правильно. За этого, как его? За этого...

— За Митьку Хромова она выходила!

— Ну, за Митьку.

— А Хромовых раскулачили...

— Кого раскулачили? Громовых? Здорово живешь?..

— Да не Громовых, а Хромовых!

— А-а. А то я слушаю — Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили.

— А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили...

— Правильно, он маслобойку держал.

— Кто маслобойку держал? Хромов? Это маслобойку-то Воиновы держали, ты чо! А Хромов, сам-то, гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно, а маслобойку Воиновы держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо от гурта взяли... Я ишо помню: амбар у их стали ломать — пимы искали, они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть.

— Нашли?

— Девять пар.

— Дак, а Митьку-то не тронули?

— А Митька-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина: чижало ему показалось после этого жить там.

— Погоди-ка, а кто же тада у их в Карасук выходил?

— Это Манька! Манька-то тоже ишо живая, в городе у дочери живет. Да тоже плохо живет! Этто как-то стрела ее на базаре: жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, говорит, нужна была, а ребятишки выросли — в тягость стала.

— Оно так, — сказали враз несколько старух. — Пока водисся — нужна, как маленько ребятишки подросли — не нужна.

— Ишо какой зять попадет. Попадет обмылок какой-нибудь — он тебе...

— Какие они нынче, зятья-то! Известное дело...

Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила.

— А это Михаил, — показывала Люба братьев. — А это Павел и Ваня... вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило, в Берлине. Нам командир письмо присылал... Мне Ваню больше всех жалко, он такой веселый был. Везде меня с собой таскал, я маленькая была. А помню его хорошо... Во сне вижу — смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш... Во, строгий какой, а самому всего только... сколько же? Восемнадцать ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избили сильно... А больше нигде даже не царапнуло.

Егор поднял голову, посмотрел на Петра... Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак, он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный.

— Зато я его сегодня... ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.

Люба склонилась ближе к Егору и спросила негромко и хитро:

— А ты не нарочно его? Прямо не верится, что ты...

— Да ты что! — искренне воскликнул Егор. — Я, правда, думал, он на себя просит, как говорится: вызываю огонь на себя.

— Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал?

— Ну... везде свои обычаи.

— А я уж, грешным делом, решила: сказал ему чего-нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и плесканул.

— Ну!.. Что ж я?..

Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону... Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.

— Что, Жоржик, сварил было?

— Ты прости, Петро.

— Да будет! Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.

Егор включил магнитофон. И грянул тот самый марш, под который Егор входил в «малину». Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он странно звучал здесь, в крестьянской избе, — каким-то нездешним ярким движением вломился в мирную беседу. Но движение есть движение: постепенно разговор за столом стих. И все сидели и слушали марш-движение.

А ночью было тихо-тихо. Светила в окна луна.

Егору постелили в одной комнате со стариками, за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет.

Люба спала в горнице. Дверь в горницу была открыта. Там тоже было тихо.

Егору не спалось. Эта тишина бесила.

Он приподнял голову, прислушался... Тихо. Только старик похрапывает да тикают ходики.

Егор ужом выскользнул из-под одеяла и, ослепительно белый, в кальсонах и длинной рубахе, неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло... Только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то.

Он дошел уже до двери горницы. И ступил уже шаг-другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, никакой не сонный голос Любы:

— Ну-ка, марш на место!

Егор остановился. Малость помолчал...

— А в чем дело-то? — спросил он обиженно, шепотом.

— Ни в чем. Иди спать.

— Мне не спится.

— Ну, так лежи... думай о будущем.

— Но я хотел поговорить! — стал злиться Егор. — Хотел задать пару вопросов...

— Завтра поговорим. Какие вопросы ночью?

— Один вопрос! — вконец обозлился Егор. — Больше не задам...

— Любка, возьми чего-нибудь... Возьми сковородник, — раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.

— У меня пестик под подушкой, — сказала Люба.

Егор пошел на место.

— Поше-ол... На цыпочках. Котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышут. Я все слышу. И вижу.

— Фраер!.. — злился шепотом Егор за цветастой занавеской. — Отдохнуть душой!.. Телом!.. Фраер со справкой!

Он полежал тихо... Перевернулся на другой бок.

— Луна еще, сука!.. Как сдурела, — он опять перевернулся. — Круговую оборону заняли, понял! Кого охранять, спрашивается?

— Не ворчи, не ворчи там, — миролюбиво уже сказала старуха. — Разворчался.

И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:

— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся, — пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон... ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь.

— Это не я ругаюсь, — пояснил Егор. — А Лихтенберг.

— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит.

— Тоже, наверно, булгахтер? — спросил старик не без издевки.

— Француз, — откликнулся Егор.

— А?

— Француз!

— Спите! — сердито сказала старуха. — Разговорились.

Стало тихо. Только тикали ходики.

И пялилась в окошки луна.

Наутро, когда отзавтракали и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал:

— Так, Любовь... Еду в город заниматься эки... ров... экипировкой. Оденусь.

Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор.

— Ехай, — сказала она тихо.

— А чего ты так смотришь? — Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней. И ему тоже стало грустно, но он грустить не умел — он нервничал.

— Как?

— Не веришь мне?

Люба долго опять молчала.

— Делай как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь — верю, не верю?.. Верю я или не верю — тебя же это не остановит.

Егор нагнул свою стриженую голову.

— Я бы хотел не врать, Люба, — заговорил он решительно. — Мне всю жизнь противно врать... Я вру, конечно, но от этого... только тяжелей жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселей и желательно с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать: я не знаю. Может, вернусь. Может, нет.

— Спасибо за правду, Егор.

— Ты хорошая, — вырвалось у Егора. И он засуетился, хуже того, занервничал. — Повело!.. Сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замусолил. Ничего же слова не стоят! Что за люди!.. Дай, я сделаю так, — Егор положил свою руку на руку Любы. — Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба.

— Делай, как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко-жалко! Я, наверно, заплачу... — у Любы и теперь на глазах выступили слезы. — Но худого слова не скажу.

Егору вовсе стало невмоготу: он не переносил слез.

— Так... Все, Любовь. Больше не могу — тяжело. Прошу пардона.

И вот шагает он раздольным молодым полем... Поле не паханное, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает шибко. Решительно. Упрямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, — решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Шел — как будто в этом одном все исступление, чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого.

И вдруг за ним — невесть откуда, один за одним — стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все его дружки, подружки, потертые, помятые, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор — шагает. А за ним толпа все прибывает... И долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, с силой отмахнулся от всех и сказал зло, сквозь зубы:

— Ну, будет уж! Будет!

Оглянулся. Ему навстречу шагает один только Губошлеп. Идет и улыбается. И держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы... И Губошлеп пропал.

...А стоял Егор на дороге и поджидал: не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина — до города.

Одна грузовая показалась вдали.

Работалось и не работалось Любе в тот день... Перемогалась душой. Призналась нежданно подруге своей, когда отдоились, молоко увезли и они выходили со скотного двора:

— Гляди-ка, Верка, присохла ведь я к мужику-то, — сказала и сама подивилась. — Ну, надо же! Болит и болит душа — весь день.

— Так а совсем уехал-то? Чего сказал-то?

— Сам, говорит, не знаю.

— Да пошли ты его к черту! Плюнь. Ка-кой! «Сам не знаю». У него жена где-нибудь есть. Что говорит-то?

— Не знаю. Никого, говорит, нету.

— Врет! Любка, не дури: прими опять Кольку, да живите. Все они пьют нынче! Кто не пьет-то? Мой вон позавчера пришел... Ну, паразит!.. — и Верка, коротконогая живая бабочка, по секрету, негромко рассказала: — Пришел, кэ-эк я его скалкой огрела! Даже сама напугалась. А утром встал — голова, говорит, болит, ударился где-то. Я ему: пить надо меньше, — и Верка мелко-мелко засмеялась.

— И когда успела-то? — удивилась опять Люба своим мыслям.

— А? — не поняла Верка.

— Да когда, говорю, успела-то? Видела-то... всего сутки. Как же так? Неужели так бывает?

— Он за что сидел-то?

— За кражу... — и Люба беспомощно посмотрела на подругу.

— Шило на мыло, — сказала та. — Пьяницу на вора... Ну и судьбина тебе выпала! Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка да его опять воровать потянет? Что тогда?

— Что тогда? Посадют.

— Ну, язви тебя-то! Ты что, полоумная, что ли?

— А я сама не знаю, чего я. Как сдурела. Самой противно... Вот болит и болит душа, как, скажи, век я его знала. А знала — сутки. Правда, он целый год письма слал...

— Да им там делать-то нечего, они и пишут.

— Но ты бы знала, какие письма!..

— Про любовь?

— Да нет... Все про жизнь. Он, правда, наверно, повидал много, черт стриженый. Так напишет — прямо сердце заболит, читаешь. И я уж и не знаю: то ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа — и все.

А Егор в это самое время делал свои дела в райгороде.

Перво-наперво он шикарно оделся.

Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстуке, в шляпе, руки в карманах.

Зашел на почту. Написал на телеграфном бланке адрес, сумму прописью и несколько слов привета. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги.

— «*Деньги передать губошлепу*», — прочитала девушка в окошечке. — Губошлеп — это фамилия, что ли?

Егор секунду-две думал. И сказал:

— Совершенно верно, фамилия.

— А чего же вы пишете с маленькой буквы? Ну и фамилия!..

— Бывают похуже, — сказал Егор. — У нас в тресте один был — Пистонов.

Девушка подняла голову. Она была очень миленькая девушка, глазастенькая, с коротким тупым носиком.

— Ну и что?

— Ничего. Фамилия, мол, Пистонов, — Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе.

— Ну, и... нормальная фамилия.

— Вообще-то нормальная, — согласился Егор. И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся. И обеспокоился. — Скажите, пожалуйста, — сунулся он в окошечко, — вот я приехал с золотых приисков, а у меня совершенно тут никаких знакомых...

— Ну и что? — не поняла девушка.

— У вас есть молодой человек? — прямо спросил Егор.

— А вам что? — тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора.

— Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?

— Гражданин!.. — строго повысила голос девушка. — Вы не хамите тут! Вы деньги переводите? Вот и переводите.

Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь: девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. К чему спрашивается, эти разные штучки-дрючки?

— И сразу на арапа берут! — негромко возмущался он. — «Гражданин!..» Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат.

Девушка опять подняла на него большие серые глаза.

— Работайте, работайте, — сказал Егор. — А то только глазками стрелять туда-сюда!

Девушка хмыкнула и склонилась к бланку.

— Шляпу, главное, надел, — не удержалась и сказала она, не глядя на Егора.

И квиточек отдала, тоже не глядя: положила на стойку и занялась другим делом. И попробуй отвлеки ее от этого дела.

— Шалашовки, — ругался Егор, выходя с почты. — Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Кракобяк!.. — он зашагал к вокзальному ресторану. — Польку-бабочку! — Егор накалял себя. В глазах появился тот беспокойный блеск, который свидетельствовал, что душа его стронулась и больно толкается в груди. Он прибавил шагу. — Нет, как вам это нравится! Марионетки. Красные шапочки... Я вам устрою тут фигурные катания! Я наэлектризую здесь атмосферу и поселю бардак, — дальше он и вовсе бессмысленно бормотал, что влетит в голову: — Тарьям-па-пам, тарьям-па-пам!.. Тарьям-папам-папам-папам...

В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку, официанту, бумажку в двадцать пять рублей и сказал:

— Спасибо. Сдачи не нужно.

Официант даже растерялся...

— Очень благодарен, очень благодарен...

— Ерунда, — сказал Егор. И показал рукой, чтоб официант присел на минуточку. Официант присел на стул рядом. — Я приехал с золотых приисков, — продолжал Егор, изучая податливого человечка, — и хотел вас спросить: не могли бы мы здесь где-нибудь организовать маленький бардак?

Официант машинально оглянулся...

— Ну, я грубо выразился... Я волнуюсь, потому что мне деньги жгут ляжку, — Егор вынул из кармана довольно толстую пачку десятирублевок и двадцатипятирублевок. — А? Их же надо пристроить. Как вас зовут, простите?

Официант при виде этой пачки очень обеспокоился, но изо всех сил старался хранить достоинство. Он знал: людям достойным платят больше.

— Сергей Михайлович.

— А? Михайлыч... Нужен праздник. Я долго был на Севере...

— Я, кажется, придумал, — сказал Михайлыч, изобразив сперва, что он внимательно подумал. — Вы где остановились?

— Нигде. Я только приехал.

— По всей вероятности, можно будет сообразить... Что-нибудь, знаете, вроде такого пикничка — в честь прибытия, так сказать.

— Да, да, да, — заволновался Егор. — Такой небольшой бардак. Аккуратненький такой бардельеро... Забег в ширину. Да, Михайлыч? Вы мне что-то с первого взгляда понравились! Я подумал: вот с кем я взлохмачу мои деньги!

Михайлыч искренне посмеялся.

— А? — спросил Егор. — Чего смеешься?

— О'кей! — весело сказал Михайлыч. — Ми фас понъяль.

Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михайлыч, и заходила и что-то тихонько спрашивала Михайлыча востроносая женщина с бородавкой на виске.

— Але-е! Любаша!.. — кричал Егор. — Я говорю: я в военкомате! Никак не могу на учет стать! Поздно?.. А здесь допоздна. Да, да, — Егор кивнул Михайлычу. — Да, Любаша!

Михайлыч приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко пошел мимо Егора. И когда был рядом, громко крикнул:

— Товарищ капитан! Можно вас на минуточку?!

Егор кивнул ему головой, мол, хорошо, и продолжал разговаривать. А Михайлыч в это время беззвучно показушно хохотал.

— Любаша, ну что же я могу сделать?! Придется даже ночевать, наверно. Да, да...

Егор долго слушал и «дакал». И улыбался, и смотрел на фальшивого Михайлыча счастливо и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил: — Беспокоюсь, говорит. И жду.

— Жди-жди, дол... — подхватил было угодливый Михайлыч, но Егор взглядом остановил его.

— Да, Любушка!.. Говори, говори: мне нравится слушать твой голосок. Я даже волнуюсь!..

— Ну, дает! — прошептал в притворном восхищении Михайлыч. — Волнуюсь, говорит!.. — и опять засмеялся. Бес-

совестно он как-то смеялся: сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, поэтому он старался.

— Ночую-то? А вот тут где-нибудь, на диванчике... Да ничего! Ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся! Да, дорогуша ты моя!.. Малышкина ты моя милая!.. — у Егора это рванулось так искренне, так душевно, что Михайлыч даже перестал изображать смех. — До свидания, дорогая моя! До свидания, целую тебя... Да я понимаю, понимаю. До свидания.

Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михайлыча — смотрел и не видел его. И в эту минуту как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его по лицу, и лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жесткость, строптивость.

—Да...— сказал Егор очнувшись. — Ну что, трактирная душа? Займемся развратом? Как там?

— Все готово.

— Халат нашли?

— Нашли какой-то... Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого!

— А ну?

Егор надел длинный халат, стеганый, местами вытертый. Огляделся.

— Больше нигде нету, — оправдывался Михайлыч.

— Хороший халат, — похвалил Егор. — Н-ну... как я велел?

Михайлыч вышел из комнаты.

Егор прилег с сигаретой на диван.

Михайлыч вошел и доложил:

— Народ для разврата собрался!

— Давай, — кивнул Егор.

Михайлыч распахнул дверь... И Егор в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошел развратничать.

«Развратничать» собрались диковинные люди: больше пожилые. Были и женщины, но какие-то все на редкость некрасивые, несчастные. Все сидели за богато убранным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но вида не подал.

— Чего взгрустнули?! — весело и громко сказал Егор. И прошел во главу стола. Остановился и внимательно оглядел всех.

— Да, — не удержался он. — Сегодня мы оторвем от хвоста грудинку. Ну!.. Налили.

— Мил человек, — обратился к нему один из гостей, пожилой, старик почти, — ты объясни нам: чего это мы празднoваем-то! Случай какой... или чего?

Егор некоторое время думал.

— Мы собрались здесь, — негромко, задумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского, — чтобы... — вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех. И лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения. — Братья и сестры, — проникновенно сказал он, — у меня только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу, — Егор говорил серьезно, напористо, даже торжественно. Он даже немного прошелся, сколь позволило место, и опять оглядел всех. — Весна... — продолжал он. — Скоро зацветут цветочки. Березы станут зеленые... — Егор чего-то вовсе заволновался и замолчал. Он все еще слышал родной голос Любы, и это путало и сбивало.

— Троица скоро, чего же, — сказал кто-то за столом.

— Можно идти и идти, — продолжал Егор. — Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно говорю? Да потому что я, как фраер, говорю и стыжусь своих же слов! — Егор всерьез на себя рассердился. И стал валить напропалую — зло и громко, как если бы перед ним стояла толпа несогласных. — Вот вы все меня приняли за дурака — взял триста рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд! Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда она отелится. Пусть пикничка не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я нежный, — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить друг друга! — Егор почти закричал это. И сильно стукнул себя в грудь. — Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирают?! Я не понимаю вас... — Егор прошелся по-за столом. — Не понимаю! Отказываюсь

понимать! И себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы. Все! Идите, воруйте сами... Я сяду на пенек и буду сидеть тридцать лет и три года. Я шучу. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, я... не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит — но страшно. Мне страшно! Вот штука-то... — неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор. Помолчал, опустив голову, потом добро посмотрел на всех и велел: — Взяли в руки по бутылке шампанского... взяли, взяли! Взяли? Откручивайте, там проволочки такие есть, — стреляйте!

Все задвигались, заговорили... Под шум и одобрение захлопали бутылки.

— Наливайте быстрей, пока градус не вышел! — распоряжался Егор.

— А-а, правда, — выходит! Давай стакан!.. Подай-ка стакан, кум! Скорей!

— Эх, язви тебя!.. Пролил маленько.

— Пролил?

— Пролил. Жалко — добро такое.

— Да, штука веселая. Гли-ка, прямо кипит, кипит! Как набродило. Видно, долго выдерживают.

— Да уж, конечно! Тут уж, конечно, стараются...

— Ух, а шипит-то!

— Милые мои! — с искренней нежностью и жалостью сказал Егор. — Я рад, что вы задвигались и заулыбались. Что одобряете мое шампанское. Я все больше и больше люблю вас!

На Егора стеснялись открыто смотреть — такую он порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры.

— Выпили! — сказал Егор.

Выпили.

— С ходу — еще раз! Давай!

Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник — дармовой.

— Ух ты, все шипит и шипит!

— Но счас уже поменьше. Уже сила ушла.

— Но вкус какой-то... не пойму.

— Да, какой-то неопределенный.

— А?

— На вид — вроде конской мочи, а вкус какой-то... неясный.

— А чего-то оно в горле останавливается... Ни у кого не останавливается?

— Да, распирает как-то.

— Ага! И в нос бьет! Пей — хорошо!

— А вот градус-то и распирает.

— Да какой тут, к черту, градус — квас. Это газ выходит, а не градус.

— Так, оставили шампанское! — велел Егор. — Взяли в руки коньяк.

— А мы куда торопимся-то?

— Я хочу, чтобы мы песню спели.

— Э-э, это мы сумеем!

— Взяли коньяк!

Взяли коньяк. Тут уж — что велят, то и делай.

— Налили по полстакана. Коньяк помногу сразу не пьют. И если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, — дам бутылкой по голове. Выпили!

Выпили.

— Песню! — велел Егор.

— Мы же не закусили еще...

— Начинается... — обиженно сказал Егор и сел. — Ну, ешьте, ешьте, все наесться никак не могут. Все бы ели, ели!..

Некоторые — совестливые — отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора.

— Да ешьте, ешьте! Чего вы?..

— Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь.

— Не захмелею. Ешьте.

— Ну, язви тебя-то! — громко возмутился один лысый мужик. — Что же ты, пригласил, а теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закуски, я моментально под стол полезу. Мне же неинтересно так. И никому неинтересно, я думаю.

— Ну и ешьте!

А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее, бедную, все допрашивали и допрашивали.

— Ну а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха.

Люба и сама терялась в догадках. И верилось ей, и не верилось с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором, сама слышала его голос, и какие он слова говорил... Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?»

— Любк?

— Ну?

— Какой же военкомат? Все на ночь запирается, ты чо!

— Нет, наверно, если он говорит, что ночует там...

— Да он наговорит, только развесь уши.

— Я думаю так, — решил старик, — ему сказали: явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь — там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем утром опять переться туда.

— Да он же и говорит! — обрадовалась Люба. — Ночую, говорит, здесь на диване...

— Да все учериждения на ночь запираются! — стояла на своем старуха. — Вы чо? Как это его там одного на ночь оставют? А он возьмет да печать украдет...

— Ну, мама!..

И старик тоже скосоротился на такую глупость.

— На кой она ему черт нужна, печать?

— Да я к слову говорю! Сразу «мама»! Слова не дадут сказать.

Егор налаживал хор из «развратников».

— Мы с тобой будем заводить, — тормошил он лысого мужика, — а вы, как я махну, будете петь «бом-бом». Пошли:

Вечерний зво-он,
Вечерний зво-он...

Егор махнул, но группа «бом-бом» не поняла.

— Ну, чего вы?! Я же сказал: как махну, так «бом-бом».

— Дак ты махнул, а сам поешь...

— Наступай! Я от того и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине... И я запел потихоньку. А вы свое: «бом-м, бом-м». Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую, — это не ваше дело.

— Вроде в тюрьме человек сидит — тоскует, — подсказал Михайлыч. — Или в плену где-нибудь.

— В плену какие церкви? — возразили на это.

— Как же? У них же там тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно — церква, с колоколом. Верно же, Георгий?

— Да пошли вы!.. Только болтать умеете, — вконец рассердился Егор. — Во-от начнут говорить! И говорят, и говорят... Чего вы так слова любите? Что за понос такой словесный?!

— Ну, давай. Ты не расстраивайся.

— Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы... Ну, пошли:

Вечерний зво-он,
Вечерний зво-он...

— Бо-м, бо-ом, бо-о-ом... — вразнобой «забили на колокольне», все спутали и погубили.

Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно:

— Валяйте любую. Не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте. Можете свой родной «камыш» затянуть.

Группа «бом-бом» да все, кто тут был, растерянно помолчали... Но вина и всевозможной редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и погоревали, но так, больше для очистки совести.

— Чего он?

— А вы уже тоже — «бом-бом» не могли спеть! — упрекнул всех Михайлыч. — Чего там петь-то!

— Да разнобой вышел...

— Это Кирилл вон... Куда зачастил?

— Кто зачастил? — оскорбился Кирилл. — Я пел нормально — как вроде в колокол бьют. Я же понимаю, что там не надо частить. Колокол, его еще раскачать надо.

— А кто зачастил?

— Да ладно, чего теперь? Давайте, правда, — он же велел гулять.

— Оно, конечно, того... вроде не заслужили, но с другой стороны, а если я не пою? Какого я хрена буду рот разевать, если у меня сроду голоса не было?

Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михайлыч.

— Георгий, ты уж прости — не вышло у нас... с колоколами-то.

Егор помолчал... И капризно спросил:

— А почему они все такие некрасивые?

Михайлыч даже растерялся.

— Дак это... Георгий, красивые-то все — семейные, замужем. А я одиноких собрал, ты же сам велел.

Егор еще некоторое время сидел. И лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулась, вспомнилась в душе его какая-то радость.

— Ты можешь такси вызвать?

— Могу.

— До Ясного. Я заплачу, сколько он хочет. Звони! — Егор встал, сбросил халат, надел пиджак и поправил галстук.

— А зачем в Ясное-то?

— У меня там друг, — и опять стал взволнованно ходить. — Душа у меня... наскипидаренная какая-то, Михайлыч. Заведет она меня куда-нибудь. Как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони! Сколько ты собрал людей?

— Пятнадцать. С нами — семнадцать. А что?

— Вот тебе две сотни. Всем дать по червонцу, себе остальные. Не обмани! Я заеду узнаю.

— Да что ты, Георгий!..

И вот Георгий летел светлой лунной ночью по доброму большаку — в село, к Любе.

«Ну, что это, что это? — пытал себя Егор. — Что это я?» Беспокойство и волнение овладели им. Он уже забыл, когда он так волновался из-за юбки.

— Ну, как там... насчет семейной жизни? — спросил он таксиста. — Что пишут новенького?

— Где пишут? — не понял тот.

— Да вообще — в книгах...

— В книгах-то понапишут, — недовольно сказал таксист. — В книгах все хорошо.

— А в жизни?

— А в жизни... Что, сам не знаешь, как в жизни?

— Плохо, да?

— Кому как.

— Ну, тебе, например?

Таксист пожал плечами — очень похоже, как тот парень, который продал Егору магнитофон.

— Да что вы все какие-то!.. Ну, братцы, не понимаю вас. Чего вы такие кислые-то все? — изумился Егор.

— А чего мне тут — хихихать с тобой? Ублажать, что ли, тебя?

— Да где уж ублажать! Ублажать — это ты свою бабу ублажай. И то ведь — суметь еще надо. А то полезешь к ней, а она скажет: «Отойди, от тебя козлом пахнет».

Таксист засмеялся.

— Что, тебе говорили так?

— Нет, я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло.

Таксист глянул на Егора, но смолчал.

А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино, — все в голове спуталось из-за этой Любы.

Подъехали к большому темному дому, Егор отпустил машину. И вдруг оробел. Стоял с бутылками коньяка у ворот и не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота — в ограду Петра, поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо, потом скрипнула избяная дверь, легко — босиком — прошли по сеням, и голос Петра спросил:

— Кто там?

— Я, Петро. Георгий, Жоржик...

Дверь открылась.

— Ты чего? — удивился Петро. — Выгнали, что ли?

— Да нет... Не хочу будить. Ты когда-нибудь «Рэми-Мартин» пил?

Петро долго молчал, всматривался в лицо Егора.

— Чего?

— «Рэми-Мартин». Двадцать рублей бутылка. Пойдем врежем в бане?

— Пошто в бане-то?

— Чтоб не мешать никому.

— Да пойдем на кухне сядем...

— Не надо! Не буди никого.

— Ну, дай я хоть обуюсь... Да закусить вынесу чего-нибудь.

— Не надо! У меня полные карманы шоколада, я весь уже провонял им, как студентка.

В бане, в тесном черном мире, лежало на полу — от окошечка — пятно света. И зажгли еще фонарь, сели к окошечку.

— Чего домой-то не пошел? — не понимал Петро.

— Не знаю. Видишь, Петро... — заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. — Видишь — коньяк. Двадцать рублей, гад! Это ж надо!

Петро достал из кармана старых галифе два стакана.

Помолчали.

— Не знаю я, что говорить, Петро. Сам не все понимаю.

— Ну, не говори. Наливай своего дорогого... Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет.

— Да не пахнет он клопами! — воскликнул Егор. — Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет?

— Дорогой, может, и не пахнет. А такой... нормáльный пахнет.

Ночь истекала. А луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще — тоже перед рассветом, когда в низинках незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо.

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

Сижу за решеткой
В темнице сырой... —

завел первым Егор. Петро поддержал. И так неожиданно красиво у них вышло, так — до слез — складно и грустно:

Вскормленный в неволе орел молодо-ой;
Мой грустны-ый товарищ, махая крыло-ом,
Кровавую пищу клюет под окном...

Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так — увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней, — у нее было светлое настроение. И утро было хорошее — с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись.

— Чего загрустил, Егорша? — спросила Люба.

— Так... — неопределенно сказал Егор.

— В баню зачем-то поперлись, — Люба засмеялась. — И не боятся ведь! Меня сроду туда ночью не загонишь.

Егор удивился:

— Чего?

— Да там же черти! В бане-то... Они там и водются.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу... И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти... Я их знаю!

— Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал...

— Какой Коленька?

— Да муж-то мой.

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Приезжает, как же.

— Ну? А ты что?

— Ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает.

Егор встрепенулся, заслышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно.

— Да-да-да, — притворно посочувствовал Егор, — прямо беда с этими алкашами!

— Беда! — подхватила простодушная Люба. — Да беда-то какая. Горькая: слезы да ругань.

— Прямо трагедия. О-е!.. — удивился Егор. — Коров-то сколько!

— Ферма... Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они... коровы-то, — повторял он. — Вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смо-отрют... — Егор помолчал... И вдруг, не желая этого, проговорился: — Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице. Знаешь: зимой возют, а весной из-под снега вытаивает, на дорогах, на плетнях остается...

Вот... А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще... Прокололи. Кишки домой приволокла.

Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор — видно было — жалел, что он у него вырвался этот рассказ, был недоволен.

— Чего смотришь?

— Егорша...

— Брось, — сказал Егор. — Это же слова. Слова ничего не стоят.

— Ты что, выдумал, что ли?

— Да почему!.. Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как... — Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно, и чуть стесняясь, погладил ее по спине. — Неужели тебя никогда не обманывали?

— Нет... Кому?

— М-гм... — Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся. — Кошмар, — все время хотелось трогать ее. И смотреть.

— Глянь-ка, директор совхоза идет, — сказала Люба. — У нас был, — она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего.

К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверно, таких же лет, как Егор. Шел он твердой хозяйской походкой, с любопытством смотрел на Любу и на ее— непонятно кого — мужа, знакомого?

— Чего ты так уж разулыбалась? — неприятно поразился Егор.

— Он хороший у нас. Хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?

— Был у вас. Здравствуйте! — директор крепко тряхнул руку Егора. — Что, не пополнение ли к нам?

— Дмитрий Владимирович, он — шофер, — не без гордости сказала Люба.

— Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить? Права есть?

— У него еще паспорта нету... — гордость Любина угасла.

— А-а. А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго.

— Егор! — заволновалась Люба. — А? Район наш увидишь. Поглянется!

И это живое волнение и слова эти нелепые — про район — подтолкнули Егора на то, над чем он пять минут назад искренне бы посмеялся.

— Поехали, — сказал он.

И они пошли с директором.

— Егор! — крикнула вслед Люба. — Пообедаешь в чайной где-нибудь! Где будете... Дмитрий Владимирыч, вы ему подскажите, а то он не знает еще!

Дмитрий Владимирыч посмеялся.

Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его.

— Сам из каких мест? — спросил директор.

— Я-то? Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Как нет? Есть.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

— Странно... Куда же она девалась? — Егору не понравился директор: довольный, гладкий... Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей. — Была деревня Листвянка, я хорошо помню.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— М-да, — сказал он. — Наверно, сгорела.

— Наверно, сгорела. Жалко — хорошая была деревня.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Чего так со мной заговорил-то? — спросил директор.

— Как?

— Ну... как: Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать.

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

— Как? Так... Документов у меня никаких нету, кроме одной справки, никто меня тут не знает — чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать, я сын прокурора.

Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился: какой-то бессмысленно строптивый.

— А что? Вон я какой — в шляпе, при галстуке... — Егор посмотрел в зеркальце. — Чем не прокурорский сын?

— Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоремся вот на участкового — что делать?

— Вы — хозяин.

Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины.

— У меня тут дельце одно, А то, хошь, пойдем со мной — старик медом угостит.

— Нет, спасибо, — Егор тоже вышел на волю. — Я вот тут... пейзажем полюбуюсь.

— Ну, смотри, — и директор ушел.

А Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг. Подошел к березке, потрогал ее.

— Что? Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро... Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая... Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— А что не зайдешь-то? — крикнул Егору с крыльца. — Иди чайку стакан выпей!

— Спасибо, батя! Не хочу.

— Ну, гляди, — и дед ушел.

Вскоре вышел и директор. Дед провожал его.

— Заезжайте почаще, — приветливо говорил дед. — Чай, по дороге. То и дело ездите тут.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

Поехали.

— Вот... — сказал директор, устраивая какой-то сверточек между сиденьями. — Есть вещество такое — прополис, пчелиный клей, иначе.

— Язву желудка лечить?

— Да. Что, болел? — повернулся директор.

— Нет, слыхал просто.

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

— Меня ссадишь у клуба, — сказал директор, — а сам съездишь в Сосновку — здесь, семь километров: привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди.

Егор кивнул.

Ссадил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей, и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав.

— Владимирыч...

— А? А-а. Привез? Хорошо, иди.

— Нет... — Егор позвал директора в сторонку и, когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: — Вы сами умеете на машине?

— Умею. А что такое?

— Я больше не могу. Доехайте сами — не могу больше. И ничего мне с собой не поделать, я знаю.

— Да что такое? Заболел, что ли?

— Не могу возить. Я согласен: я дурак, несознательный, отсталый... Зэк несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале. На тракторе! Ладно? Не обижайся. Ты мужик хороший, но... Вот мне уже сейчас плохо — я пойду.

И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил, как... Извинялся, что ли? А что извиняться-то? Не могу — и все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою пялить... Тьфу! Горько было Егору. Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать... Тьфу! Нет, очень это горько.

А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему — он не все понял, то есть он ничего не понял.

Егор шел обратно перелеском.

Вышел на полянку, прошел полянку — опять начался лесок, погуще, покрепче.

Потом он спустился в ложок — там ручеек журчит. Егор остановился над ним.

— Ну надо же! — сказал он.

Постоял-постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок...

А там открылась глазам березовая рощица, целая большая семья выбежала навстречу и остановилась.

— Ух ты!..— сказал Егор.

И вошел в рощицу.

Походил среди березок... Снял с себя галстук, надел одной — особенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу. Отошел и полюбовался со стороны.

— Ка-кие — фраера! — сказал он. И пошел дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку. И улыбался. На душе сделалось легче.

Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил. Время от времени принимался вдруг напевать: «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Бросал петь, останавливался, некоторое время смотрел в окно или в стенку... И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался. И опять не мог... Он нервничал.

— Не переживай, Егор, — сказал дед. Он тоже похаживал по комнате — к двери и обратно, сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скоб-

ке, и дед обшаркивал ее старой рукавицей. — Трактористом не хуже. Даже ишо лучше. Они вон по сколь счас выгоняют!

— Да я не переживаю.

— Сплету вот переметы... Вода маленько посветлеет, пойдем с тобой переметы ставить — милое дело. Люблю.

— Да... Я тоже. Прямо обожаю переметы ставить.

— И я. Другие есть — больше предпочитают сеть. Но сеть — это... поймать могут, раз; второе: ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь — время-то сколько надо!

— Да... Попробуй покидай ее. «Зачем вы, девушки...» А Люба скоро придет?

Дед глянул на часы.

— Скоро должна придтить. Счас уж сдают молоко. Счас сдадут — и придет. Ты ее, Егор, не обижай: она у нас — последыш, а последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого — спомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей... Этого пьянчужку нанесло — насилу отбрыкались.

— Да, да... С этими алкашами беда прямо! Я вот тоже... это смотрю — прямо всех пересажал бы чертей. В тюрьму! По пять лет каждому. А?

— Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь, — оживился дед, — под строгий изолятор — я бы их столкал! Всех, в кучу!

— А Петро скоро приедет?

— Петро-то? Счас тоже должен приехать... Пущай посидят и подумают.

— Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают! — подбросил жару Егор.

— Да, правильно: лес вон валить!

— В шахты! В лес — это... на чистом-то воздухе дурак согласится работать. Нет, в шахты! В рудники! В скважины!

Тут вошла Люба.

— Вот те раз! — удивилась она. — Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома.

— Он не стал возить директора, — сказал дед. — Ты его не ругай — он объяснил почему: его тошнит на легковушке.

— Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор. И увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился.

В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило.

Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала, за руль.

— Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать.

— Да я сама толком не знаю... Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу.

— Любка!.. — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью.

— Чего он такое затеял, этот Жоржик? — вслух подумал дед. — Это что за жизнь такая чертова пошла — вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай...

И он скоренько тоже пошел на половину сына — спросить, куда это Егор повез дочь, вообще, куда они поехали?

— Есть деревня Сосновка, — объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали, — девятнадцать километров отсюда...

— Знаю Сосновку.

— Там живет старушка, по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице.

— Где это ты узнал-то все?

— Ну, узнал... я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее расспросить — где они, живы ли?

— А зачем ему — товарищу-то?

— Ну... Родня она ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так: подъедем, ты зайдешь... Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты.

— Почему?

— Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! — повысил голос Егор. Нет, он, конечно, нервничал.

— Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. Ну?

— Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что, значит, он сидел с ее сы... это, с

племянником. Ну, и сама кинется выспрашивать. А товарищ мне наказал, чтоб я не говорил, что он в тюрьме... Фу-у! Дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть?

— Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь?

— Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета... Нет, не из сельсовета, а из рай... этого, как его, пенсии-то намеряют?

— Райсобес?

— Райсобес, да. Из райсобеса, мол, проверяю условия жизни престарелых людей. Расспроси, где дети, пишут ли? Поняла?

— Поняла. Все сделаю, как надо.

— Не говори «гоп»...

— Вот увидишь.

Дальше Егор замолчал. Был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал:

— Не обижайся, Люба, я помолчу. Ладно?

Люба тронула ладонью его руку:

— Молчи, молчи. Делай как знаешь, не спрашиваю.

— А что закричал... прости, — еще сказал Егор. — Я сам не люблю, когда кричат.

Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные коренья, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывало, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед — рот плотно сжат, глаза чуть прищурены.

Просторная изба. Русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленый и снова мытый. Простой стол с крашеной столешницей. В красном углу — Николай-угодник.

Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору... Егор был в темных очках.

— Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она. — Рази через их видать?

Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал.

— Вот мне велели, бабушка, разузнать все, — сказала Люба.

Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике.

— Дак а чего узнавать-то? Мне плотют двадцать рублей... — она снизу, просто посмотрела на Любу: — Чего же еще?

— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое в городах... Коля в Новосибирске на паровозе работает, Миша тоже там же, он дома строит, а Вера на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали — всей семьей, внучатки уж большенькие, двое: мальчик и девочка.

Старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже умела уходить в мыслях далеко — и ушла, перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу, сказала — так, чтоб не молчать, а то неловко молчать, о ней же и заботятся:

— Вот... Живут, — и опять замолчала.

Егор сидел на стуле у порóга. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее.

— А еще двое? — спросила Люба.

— А вот их-то... я и не знаю: живые они, сердешные душеньки, или нету их давно.

Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла глаза фартуком.

— Не знаю. В голод разошлись по миру... Теперь не знаю. Два сына ишо, два братца... Про этих не знаю.

Зависла в избе тяжелая тишина... Люба не могла придумать, что еще спрашивать, — ей было жалко бабушку. Она глянула на Егора... Тот сидел изваянием и все смотрел на Куделиху. И лицо его под очками тоже как-то вполне окаменело. Любе и вовсе не по себе стало.

— Ладно, бабушка... — она вдруг забылась, что она из «райсобеса», подошла к старушке, села рядом, умело както — естественно, просто — обняла ее и приголубила. — Погоди-ка, милая, погоди — не плачь, не надо: глядишь, еще и найдутся. Надо же и поискать!

Старушка послушно вытерла слезы, еще покивала головой.

— Может, найдутся... Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян? Простецкая-то.

— Из крестьян, откуда же. Поискать надо сынов-то...

Егор встал и вышел из избы.

Медленно прошел по сеням. Остановился около уличной двери, погладил косяк — гладкий, холодный. И прислонился лбом к этому косяку, и замер. Долго стоял так, сжимая рукой косяк, так что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни — все немного легче было бы. Но ни слезинки же ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы, и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше, что помогло бы в тяжкую минуту: ни табак, ни водка — ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там медленным огнем. И еще только твердил в уме, как молитву: «Ну, будет уж! Будет!»

Егор заслышал в избе шаги Любы, откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны... Снял очки, стал смотреть на избу.

Вышла Люба.

— Господи, до чего же жалко ее стало! — сказала она. — Прямо сердце заломило.

— Поехали, — велел Егор.

Развернулись... Егор последний раз глянул на избу и погнал машину.

Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула.

Выехали за деревню.

Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза.

— Чего, Егор? — испугалась Люба.

— Погоди... постоим... — осевшим голосом сказал Егор. — Тоже, знаешь... сердце заломило. Мать это, Люба. Моя мать.

Люба тихо ахнула:

— Да что же ты, Егор? Как же ты?..

— Не время, — почти зло сказал Егор. — Дай время... Скоро уж. Скоро.

— Да какое время, ты что! Развернемся!

— Рано! — крикнул Егор. — Дай хоть волосы отрастут... Хоть на человека похожим стану, — Егор включил скорость. — Я перевел ей деньги, — еще сказал он, — но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась — от кого, спро-

сит. Еще не возьмет. Прошу тебя, съезди завтра к ней опять и... скажи что-нибудь. Придумай что-нибудь. Мне пока... Не могу пока — сердце лопнет. Не могу. Понимаешь?

— Останови-ка, — велела Люба.

— Зачем?

— Останови.

Егор остановил.

Люба обняла его, как обняла давеча старуху, — ласково, умело, — прижала к груди его голову.

— Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. — она заплакала. — Что мне с вами делать-то?

Егор освободился из ее объятий, крякнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле, включил скорость и с веселым остервенением сказал:

— Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю.

Дома их в ограде встретил Петро.

— Волнуется, видно. За машину-то, — догадалась Люба.

— Да ну, что я? Я же сказал...

Люба с Егором вылезли из кабины, и Петро подошел к ним.

— Там этот пришел... твой, — сказал он по своей привычке как бы нехотя, через усилие.

— Колька? — неприятно удивилась Люба. — Вот гад-то! Что ему надо-то? Замучил, замучил, слюнтяй!..

— Ну, я пойду познакомлюсь, — сказал Егор. И глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой.

— Егор!.. — всполошилась Люба. — Он же пьяный небось — драться кинется. Не ходи, Егор! — и Люба сделала было движение за Егором, но Петро придержал ее.

— Не бойся, — сказал он. — Егор...

Егор обернулся.

— Там еще трое дожидаются — за плетнем. Знай.

Егор кивнул и пошел в дом.

Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко.

— Да они же изобьют его! — чуть не плакала Люба. — Ты что? Ну, Петро!..

— Кого изобьют? — спокойно басил Петро. — Жоржика? Его избить трудно. Пускай поговорят... И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда.

— А-а, — сказал Коля, растянув в насильственной улыбке рот. — Новый хозяин пришел, — он встал с лавки. — А я — старый, — он пошел на Егора. — Надо бы потолковать... — он остановился перед Егором. — Мм?

Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятной наружности, с голубыми умными глазами.

Старики со страхом смотрели на «хозяев» — старого и нового.

Егор решил не тянуть, сразу лапнул Колю за шкирку и поволок из избы...

Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз.

Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут.

— Если ты, падали кусок, будешь еще... Ты был здесь последний раз, — сказал Егор сверху. И стал спускаться.

Коля вскочил с земли... И засуетился.

— Пойдем отсюда! Иди за мной... Идем, идем. Ну, собака!.. Иди, иди-и!..

Они шли уже из ограды. Егор шел впереди, а Коля сзади. Коля очень суетился, разок даже подтолкнул Егора в спину. Егор оглянулся и укоризненно качнул головой.

— Иди, иди-и, — с дрожью в голосе повторял Коля.

Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро.

— Только не здесь, — решительно сказал Егор. — Пошли дальше!

Пошли дальше. Егор опять очутился впереди всех.

— Слушайте, — остановился он, — идите рядом, а то как на расстрел ведут. Люди же смотрят.

— Иди, иди-и, — опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя.

Еще прошли немного.

Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся вбок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал. Но еще один кинулся, этого Егор ударил наотмашь —

кулаком в живот. И этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела. Зато Коля вскочил и побежал к плетню выламывать кол.

— Ну, собака!.. — задыхался Коля от злости. Выломил кол и страшно ринулся на Егора.

Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается — всегда, даже в страшно короткое время, успеет подумать: что будет? И если убивают, то хотели убить. Нечаянно убивают редко.

Егор стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел на Колю. Коля наткнулся на его спокойный — как-то по-особому спокойный, зловеще спокойный — взгляд.

— Не успеешь махнуть, — сказал Егор. Помолчал и добавил участливо: — Коля.

— А чего ты тут угрожаешь-то?! Чего ты угрожаешь-то?! — попытался еще надавить Коля. — С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!

— Пить надо меньше, дурачок, — участливо сказал Егор. — Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи.

Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то двинулся было за ним, — наверно Коля, — но его остановили:

— Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер городской. Мы его где-нибудь в другом месте прищучим.

Егор не остановился, не оглянулся.

Первую борозду в своей жизни проложил Егор.

Остановил трактор, спрыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь: неужто это его работа. Пнул сапогом ком земли, хмыкнул:

— Ну и ну... Жоржик. Это ж надо! Ты же так ударником будешь!

Он оглянулся по степи, вдохнул весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. Постоял так.

Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает... Волнующее чувство. Егор всегда это чувство помнил: как будто это нездешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт

знает где. Если покрепче зажмуриться и целиком вникнуть в этот мощный утробный звук, то он перейдет в тебя — где-то загудит внутри, в голове, что ли, или в груди — не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немногое: корова Манька, да как с матерью носили на себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжко, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку... Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора.

Егор еще раз оглядел степь. Вот этого и будет жаль. «Да что же я за урод такой! — невольно подумал он. — Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо. Ну и радуйся». Егор глубоко вздохнул.

— Сто сорок лет можно жить... с таким воздухом, — сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему.

— Ох, вы мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что дождались? Зазеленели... — он ласково потрогал березку. — Ох, ох нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят. Хоть бы крикнули, позвали — нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу — красивые. Ну, ладно, мне пахать надо. Я тут рядом буду, буду заходить теперь, — Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся: — Ка-кие стоят! — и пошел к трактору.

Шел и еще говорил по своей привычке:

— А то простоишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так вот... Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так. И запел Егор:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки-и

Характер вызнала-а,
Характер вызнала-а,
Характер ой како-ой...

Так с песней он залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал петь, но уже песни не было слышно из-за грохота и лязга.

Вечером ужинали все вместе: старики, Люба и Егор.

В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни.

Вдруг дверь отворилась, и заявился нежданный гость: высокий молодой парень, тот самый, который заполошничал тогда вечером при облаве.

Егор даже слегка растерялся.

— О-о! — сказал он. — Вот так гость! Садись, Вася!

— Шура, — поправил гость, улыбнувшись.

— Да, Шура! Все забываю. Все путаю с тем Васей, помнишь? Вася-то был, большой такой, старшиной-то работал... — Егор тараторил, а сам, похоже, приходил пока в себя — гость был и вправду нежданный. — Мы с Шурой служили вместе, — пояснил он. — У одного генерала. Садись, Шура, ужинать с нами.

— Садитесь, садитесь, — пригласила и старуха.

А старик даже и подвинулся на лавке — место дал:

— Давайте.

— Да нет, меня такси ждет. Мне надо сказать тебе, Георгий, кое-что. Да передать тут...

— Да ты садись поужинай! — упорствовал Егор. — Подождет таксист.

— Да нет... — Шура глянул на часы. — Мне еще на поезд успеть...

Егор полез из-за стола. И все тараторил, не давая времени Шуре как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить, что вконец запутывал других. Бывало это и от растерянности.

— Ну как, знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки!.. Мне эта служба до сих пор во сне снится. Ну, пойдем — чего там тебе передать надо: в машине, что ли, лежит? Пойдем, примем пакет от генерала. Расписаться ж надо, да? Ты сюда рейсовым? Или на перекладных? Пойдем...

Они вышли.

Старик помолчал... И в его безгрешную крестьянскую голову пришла только такая мысль:

— Это ж сколько они на такси-то прокатывают — от города и обратно? Сколько с километра берут?

— Не знаю, — рассеянно сказала Люба. — Десять копеек.

Она в этом госте почуяла что-то недоброе.

— Десять копеек? Десять копеек — на тридцать шесть верст... Сколько это?

— Ну, тридцать шесть копеек и будет, — сказала старуха.

— Здорово живешь! — воскликнул старик. — Десять верст — это уже рупь. А тридцать шесть — это... три шестьдесят, вот сколь. Три шестьдесят да три шестьдесят — семь двадцать. Семь двадцать — только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал.

Люба не выдержала, тоже вылезла из-за стола.

— Чего они там? — сказала она и пошла из избы.

...Вышла в сени, а сеничная дверь на улицу — открыта. И она услышала голос Егора и этого Шуры. И замерла.

— Так передай. Понял? — жестко, зло говорил Егор. — Запомни и передай.

— Я передам. Но ты же знаешь его...

— Я знаю. Он меня тоже знает. Деньги он получил?

— Получил.

— Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму, — Егор коротко посмеялся. — Не советую.

— Горе... Ты не злись только, я сделаю, как мне велено: если, мол, у него денег нет, дай ему. На.

И Шура, наверно, протянул Егору заготовленные деньги. Егор, наверно, взял их и с силой ударил ими по лицу Шуру — раз и другой, и третий. И говорил негромко, сквозь зубы:

— Сучонок... Сопляк... Догадался, сучонок!..

Люба грохнула чем-то в сенях. Шагнула на крыльцо.

Шура стоял руки по швам, бледный...

Егор протянул ему деньги, сказал негромко, чуть хриплым голосом:

— На. До свидания, Шура. Передавай привет! Все запомнил, что я сказал?

— Запомнил, — сказал Шура. Посмотрел на Егора последним — злым и обещающим — взглядом. И пошел к машине.

— Ну, вот, — Егор сел на приступку. Проследил, как машина развернулась... Проводил ее глазами и оглянулся на Любу. Люба стояла над ним.

— Егор... — начала она было.

— Не надо, — сказал Егор. — Это мои старые дела. Долги, так сказать. Больше они сюда не приедут.

— Егор, я боюсь, — призналась Люба.

— Чего? — удивился Егор.

— Я слышала, у вас... когда уходят от них, то...

— Брось! — резко сказал Егор. И еще раз сказал: — Брось. Садись. И никогда больше не говори об этом. Садись... — Егор потянул ее за руку вниз. — Что ты стоишь за спиной, как... Это нехорошо — за спиной стоять, невежливо.

Люба села.

— Ну? — спросил весело Егор. — Что закручинилась, зоренька ясная? Давай-ка споем лучше!

— Господи, до песен мне...

Егор не слушал ее.

— Давай я научу тебя... Хорошая есть одна песня, — и Егор запел:

Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...

— Да я ее знаю! — сказала Люба.

— Ну? Ну-ка, поддержи. Давай:

Калина...

— Егор, — взмолилась Люба, — Христом богом прошу, скажи, они ничего с тобой не сделают?

Егор стиснул зубы и молчал.

— Не злись, Егорушка. Ну что ты? — и Люба заплакала. — Как же ты меня-то не можешь понять: ждала я, ждала свое счастье, а возьмут да... Да что уж я — про́клятая, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя?!

Егор обнял Любу и ладошкой вытер ей слезы.

— Веришь ты мне?

— Веришь, веришь... А сам не хочет говорить. Скажи, Егор, я не испугаюсь. Может, мы уедем куда-нибудь...

— О-о!.. — взвыл Егор. — Станешь тут ударником! Нет, я так никогда ударником не стану честное слово. Люба, я не могу, когда плачут. Не могу! Ну, сжалься ты надо мной, Любушка.

— Ну, ладно, ладно. Все будет хорошо?

— Все будет хорошо, — четко, раздельно сказал Егор. — Клянусь, чем хочешь... всем дорогим. Давай песню. — И он запел первый:

Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а .

Люба поддержала, да так тоже хорошо подладилась, так славно. На минуту забылась, успокоилась.

Я у залеточки
Характер вызнала,
Характер вызнала-а,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой

Из-за плетня на них насмешливо смотрел Петро.

— Спишите слова, — сказал он.

— Ну, Петро, — обиделась Люба. — Взял спугнул песню.

— Кто это приезжал, Егор?

— Дружок один. Баню будем топить? — спросил Егор.

— А как же? Иди-ка сюда, что скажу...

Егор подошел к плетню. Петро склонился к его уху и что-то тихо заговорил.

— Петро! — сказал Люба. — Я ведь знаю, что ты там, знаю. После бани!

— Я жиклер его прошу посмотреть, — сказал Петро.

— Я только жиклер гляну... — сказал Егор. — Там, наверно, продуть надо.

— Я вам дам жиклер! После бани, сказала, — сурово молвила напоследок Люба. И ушла в дом. Она вроде и успокоилась, но все же тревога вкралась в душу. А тревога та — стойкая, любящие женщины знают это.

Егор полез через плетень к Петру.

— Бренди — это дерьмо, — сказал он. — Я предпочитаю или шампанзе или «Рэми-Мартин».

— Да ты спробуй!

— А то я не пробовал! Еще меня устраивает, например, виски с содовой...

Так, разговаривая, они направились к бане.

Теперь то самое поле, которое Егор пахал, засевали. Егор же и сеял. То есть он вел трактор, а на сеялке — сзади, где стоят и следят, чтоб зерно равномерно сыпалось, — стояла молодая женщина с лопаточкой.

Подъехал Петро на своем самосвале с нашитыми бортами — привез зерно. Засыпали вместе в сеялку. Малость поговорили с Егором:

— Обедать здесь будешь или домой? — спросил Петро.

— Здесь.

— А то отвезу, мне все равно ехать.

— Да нет, у меня с собой все... А тебе чего ехать?

— Да что-то стрелять начала. Правда, наверное, жиклер.

Они посмеялись, имея в виду тот «жиклер», который они вместе «продували» прошлый раз в бане.

— У меня дома есть один, все берег его.

— Может, посмотреть — чего стреляет-то?

— Ну, время еще терять. Жиклер, точно. Я с ним давно мучаюсь, все жалко было выбрасывать. Но теперь уж сменю.

— Ну гляди, — и Егор полез опять в кабину. Петро поехал развозить зерно к другим сеялкам.

И трактор тоже взревел и двинулся дальше.

...Егор отвлекся от приборов на щите, глянул вперед, а впереди, как раз у того березового колка, что с края пашни, стоит «Волга» и трое каких-то людей. Егор всмотрелся... и узнал людей. Люди эти были — Губошлеп, Бульдя, еще какой-то высокий. А в машине — Люсьен. Люсьен сидела на переднем сиденье, дверца была открыта, и, хоть лица не было видно, Егор узнал ее по юбке и по ногам. Мужчины стояли возле машины и поджидали трактор.

Ничто не изменилось в мире. Горел над пашней ясный день, рощица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем... Густо пахло землей, так густо, тяжко пахло сырой землей, что голова легонько кружилась. Земля собрала всю свою весеннюю силу, все соки живые — готовилась опять породить жизнь. И далекая синяя полоска леса, и облако, белое, кудрявое, над этой полоской, и солнце

в вышине — все была жизнь, и перла она через край, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась.

Егор чуть-чуть сбавил скорость... Склонился, выбрал гаечный ключ — не такой здоровый, а поаккуратней — и положил в карман брюк. Покосился — не виден он из-под пиджака? Вроде не виден.

Поравнявшись с «Волгой», Егор остановил трактор и заглушил мотор.

— Галя, иди обедать, — сказал помощнице.

— Мы же только засыпались, — не поняла Галя.

— Ничего, иди. Мне надо вот тут с товарищами... из ЦК профсоюза поговорить.

Галя пошла к отдаленно виднеющемуся бригадному домику. На ходу раза три оглянулась на «Волгу», на Егора...

Егор тоже незаметно глянул по полю... Еще два трактора с сеялками ползли по тому краю; ровный гул их как-то не нарушал тишины огромного светлого дня.

Егор пошел к «Волге».

Губошлеп заулыбался, еще когда Егор был далековато от них.

— А грязный-то! — с улыбкой воскликнул Губошлеп. — Люсьен, ты глянь на него!..

Люсьен вылезла из машины. И серьезно смотрела на подходящего Егора, не улыбалась.

Егор тяжело шел по мягкой пашне... Смотрел на гостей... Он тоже не улыбался.

Улыбался один Губошлеп.

— Ну, не узнал бы, ей-богу! — все потешался он. — Встретил бы где-нибудь — не узнал бы.

— Губа, ты его не тронешь, — сказала вдруг Люсьен чуть хриплым голосом и посмотрела на Губошлепа требовательно, даже зло.

Губошлеп, напротив, весь так и встрепенулся от мстительной какой-то радости.

— Люсьен!.. О чем ты говоришь! Это он бы меня не тронул! Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком по окаянной шее...

— Ты не тронешь его, тварь! — сорвалась Люсьен. — Ты сам скоро сдохнешь, зачем же...

— Цыть! — сказал Губошлеп. И улыбку его как ветром сдуло. И видно стало — проглянуло в глазах, — что мсти-

тельная немощность его взбесилась: этот человек оглох навсегда для всякого справедливого слова. Если ему некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост. — А то я вас рядом положу. И заставлю обниматься — возьму себе еще одну статью: глумление над трупами. Мне все равно.

— Я прошу тебя, — сказала Люсьен после некоторого молчания, — не тронь его. Нам все равно скоро конец, пусть он живет. Пусть пашет землю — ему нравится.

— Нам — конец, а он будет землю пахать? — Губошлеп показал в улыбке гнилые зубы свои. — Где же справедливость? Что он, мало натворил?

— Он вышел из игры... У него справка.

— Он не вышел, — Губошлеп опять повернулся к Егору. — Он только еще идет.

Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле и шел.

— У него даже и походка-то какая-то стала!.. — с восхищением сказал Губошлеп. — Трудовая.

— Пролетариат, — промолвил глуповатый Бульдя.

— Крестьянин, какой пролетариат.

— Но крестьяне-то тоже пролетариат!

— Бульдя! Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри — читай «Мурзилку» и дыши носом. Здорово, Горе! — громко приветствовал Губошлеп Егора.

— А чего они еще сказали? — допрашивала встревоженная Люба своих стариков.

— Ничего больше... Я им рассказал, как ехать туда...

— К Егору?

— Ну.

— Да мамочка моя родимая! — взревела Люба. И побежала из избы.

В это время в ограду въезжал Петро.

Люба замахала ему — чтоб не въезжал, чтоб остановился.

Петро остановился...

Люба вскочила в кабину... Сказала что-то Петру. Самосвал попятился, развернулся и сразу шибко поехал, прыгая и грохоча на выбоинах дороги.

— Петя, братка милый, скорей, скорей! Господи, как сердце мое чуяло!.. — у Любы из глаз катились слезы, она их не вытирала — не замечала их.

— Успеем, — сказал Петро. — Я же недавно от него...

— Они только что здесь были... спрашивали. А теперь уж там. Скорей, Петя!..

Петро выжимал из своего горбатого богатыря все, что мог.

Группа, что стояла возле «Волги», двинулась к березовому колку. Только женщина осталась у машины, даже залезла в машину и захлопнула все дверцы.

Группа немного не дошла до берез — остановилась. О чем-то, видимо, поговорили... И двое из группы отделились и вернулись к машине. А двое — Егор и Губошлеп — зашли в лесок и стали удаляться и скоро скрылись с глаз.

...В это время далеко на дороге показался самосвал Петра. Двое стоявших у «Волги» пригляделись к нему. Поняли, что самосвал гонит сюда, крикнули что-то в сторону леска. Из леска тотчас выбежал один человек, Губошлеп, пряча что-то в карман. Тоже увидел самосвал и побежал к «Волге». «Волга» рванула с места и понеслась, набирая скорость...

Самосвал поравнялся с рощицей.

Люба выпрыгнула из кабины и побежала к березам.

Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, Егор. Шел, хватаясь другой рукой за березки. И на березах оставались ярко-красные пятна.

Петро, увидев раненого Егора, вскочил опять в самосвал, погнал было за «Волгой». Но «Волга» была уже далеко. Петро стал разворачиваться.

Люба подхватила Егора под руки.

— Измажу я тебя, — сказал Егор, страдая от боли.

— Молчи, не говори, — сильная Люба взяла его на руки. Егор было запротестовал, но новый приступ боли накатил, Егор закрыл глаза.

Тут подбежал Петро, бережно взял с рук сестры Егора и понес к самосвалу.

— Ничего, ничего, — гудел он негромко. — Ерунда это... Штыком насквозь прокалывали и то оставались жить. Через неделю будешь прыгать...

Егор слабо качнул головой и вздохнул — боль немного отпустила.

— Там пуля, — сказал он.

Петро глянул на него, на белого, стиснул зубы и ничего не сказал. Прибавил только шагу.

Люба первая вскочила в кабину. Приняла на руки Егора. Устроила на коленях у себя, голову его положила на грудь себе. Петро осторожно поехал.

— Потерпи, Егорушка... милый. Счас доедем до больницы...

— Не плачь, — тихо попросил Егор, не открывая глаз.

— Я не плачу...

— Плачешь... На лицо капает. Не надо.

— Не буду, не буду...

Петро выворачивал руль и так, и этак — старался не трясти. Но все равно трясло, и Егор мучительно морщился и раза два простонал.

— Петя... — сказала Люба.

— Да уж стараюсь. Но и тянуть-то нельзя. Скорей надо.

— Остановите, — попросил Егор.

— Почему Егор? Скорей надо...

— Нет... все. Снимите.

Петро остановился.

Егора сняли на землю, положили на фуфайку.

— Люба, — позвал Егор, выискивая ее невидящими глазами где-то в небе — он лежал на спине. — Люба...

— Я здесь, Егорушка, здесь, вот она...

— Деньги... — с трудом говорил Егор последнее. — У меня в пиджаке... раздели с мамой... — у Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подрожала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к столбам.

Люба упала ему на грудь и тихо, жутко выла.

Петро стоял над ними, смотрел на них и тоже плакал. Молча.

Потом поднял голову, вытер слезы рукавом фуфайки.

— Да что же, — сказал он на выдохе, в котором почувствовалась вся его устрашающая сила, — так и уйдут, что ли? — обошел лежащего Егора и сестру и, не оглядываясь, тяжело побежал к самосвалу.

Самосвал взревел и понесся прямо по степи, минуя большак. Петро хорошо знал здесь все дороги, все проселки и теперь только сообразил, что «Волгу» можно перехватить — наперерез. «Волга» будет огибать выступ того леса, который синел отсюда ровной полосой... А в лесу есть зимник, по нему зимой выволакивают на тракторных санях лесины. Теперь, после дождя, захламленный ветками зимник даже надежнее для самосвала, чем большак. Но «Волга», конечно, туда не сунется. Да и откуда им знать, куда ведет тот зимник?

...И Петро перехватил «Волгу».

Самосвал выскочил из леса раньше, чем здесь успела прошмыгнуть бежевая красавица. И сразу обнаружилось безысходное положение: разворачиваться назад поздно — самосвал несся в лоб, разминуться как-нибудь тоже нельзя: узка дорога... Свернуть — с одной стороны лес, с другой целина, напитанная вчерашним дождем, — не для городской машинки. Оставалось попытаться все же по целине с ходу, на скорости, объехать самосвал и выскочить опять на большак. «Волга» свернула с накатанной дороги и сразу завиляла задом, пошла тихо, хоть скреблась и ревела изо всех сил. Тут ее и настиг Петро. Из «Волги» даже не успели выскочить... Труженик-самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок, опрокинул и стал над ней.

Петро вылез из кабины...

С пашни, от тракторов, к ним бежали люди, которые все видели.

БРАТ МОЙ...

В путанице ферм, кранов и тросов большой стройки девушка-почтальон нашла бригадира Ивана Громова. Иван, задрав голову, кричал кому-то:

— Смотреть надо, а не ворон считать!

Сверху что-то отвечали.

— Слезь у меня, слезь... Я тут с тобой потолкую! — проворчал Иван.

— Вы Громов?

— А?

— Громов Иван Николаич?

— Ну.

— Телеграмма...

Иван взял телеграмму, прочитал... Посмотрел на девушку, сел на груду кирпичей, вытер рукавом лоб (девушка, видно, знает содержание телеграммы, понимающе смотрит на бригадира, ждет с карандашиком и квитанцией, где Иван должен расписаться).

Иван еще раз прочитал телеграмму... Склонил голову на руки.

Подошли двое рабочих из бригады.

— Что, Иван?

— Отец помирает, — сказал Иван, не поднимая головы.

— Распишитесь, — попросила девушка.

— А?

— За телеграмму...

Иван машинально чиркнул, куда ему показали. Девушка ушла.

— Наука, — один из рабочих взял телеграмму, прочитал.

— Семен-то... кто это?

— Брат.

— Нда...

Подошли еще рабочие.

— Что?

— Отец у Ивана помирает.

...Взвыл с надсадной тоской паровоз.

Иван в тамбуре вагона. Курит. Смотрит в окно...

...Сеня Громов, маленький, худой парень, сидел один в пустой избе, грустно и растерянно смотрел перед собой. Еще недавно на столе стоял гроб. Потом была печальная застолица... Повздыхали. Утешили как могли. Выпили за упокой души Громова Николая Сергеевича... И разошлись. Сеня остался один.

...Вошел Иван.

Сеня, увидев его, скривил рот, заморгал, поднялся навстречу...

— Все уж... отнесли.

Иван обнял щуплого Сеню, неумело приласкал. Тот, уткнувшись в грудь старшего брата, молча плакал, хотел остановиться и не мог... Досадливо морщился, вытирал рукавом глаза.

— Ладно, перестань. Ладно, Сеня...

— Он все ждал... кхэх... На дверь все смотрел...

— Ладно, Сеня.

Братья не были похожи. Сеня — поджарый, вихрастый, обычно непоседа и говорун — выглядел сейчас много моложе своих двадцати пяти лет, Ивану — за тридцать, среднего роста, но широк и надежен в плечах, с открытым крепким лицом, взгляд спокойный, твердый, несколько угрюмый...

— Ладно, Сеня, ничего не сделаешь.

Сеня высморкался, вытер слезы, пошел к столу.

Иван огляделся.

— Что же один-то?

— А кому тут?.. Были. Посидели маленько, помянули и ушли. Вечером тетка Анисья придет, приберется.

Иван закурил, присел к столу, отодвинул локтем тарелку с кутьей. Еще раз оглянулся.

Сеня тоже сел.

— Поглядел бы, какой он сделался последнее время — аж просвечивал. Килограмм двадцать, наверно, осталось... А до конца в памяти был.

Иван глубоко затянулся сигаретой.

— Может, поешь с дороги?

— Пошли на могилу сходим.

Когда вышли из ограды, Иван оглянулся на родительскую избу. Она потемнела, слегка присела на один угол... Как будто и ее придавило горе. Скорбно смотрели в улицу два маленьких оконца... Тот, кто когда-то срубил ее, ушел из нее навсегда.

— Завалится скоро, — сказал Сеня, догадавшись, о чем думает брат. — Перебрать бы — никак руки не доходят.

— Тут, я погляжу все-то не лучше.

— А кому строиться-то? Разъехались строители... города строить.

Некоторое время шли молча.

— Почему так пусто в деревне-то? — спросил Иван. — Как Мамай прошел.

— Я ж тебе говорю...

— Да ну, все, что ли, разъехались?

— Много. А кто есть — все на уборке.

— У вас совхоз, что ли?

— Теперь совхоз... Отделение, а центральная усадьба в Завьялове. Когда колхоз был, поживее было. И район был в Завьялове — рядом совсем.

— А сейчас где?

— В Березовском.

— А ты шоферишь все?

— Шоферю. У нас в отделении шесть машин, я — главный.

— Механик, что ли?

— Старший шофер, какой механик.

Пришли на кладбище.

Остановились над свежей могилой, обнажили головы... Мир и покой царства мертвых, нездешняя какая-то тишина кладбища, руки-кресты, безмолвно воздетые к небу в неве-

домой мольбе, — все это действует на живых извечно одинаково: больно.

Иван стиснул зубы, стараясь побороть подступившие к горлу слезы. Сеня шаркнул ладонью по глазам.

— Давай помянем, — сказал он.

Он, оказывается, прихватил бутылку красного вина и рюмку. Налил брату...

Иван выпил... Помолчал. Склонился, взял горсть влажной земли с могилы, размял в руке, сказал:

— Прости, отец.

— Уберемся с хлебом — оградку сделаю, — пообещал Сеня. — И березу посажу.

Налил себе, тоже выпил.

— Пошли, Сеня. Тяжело. Хоть по деревне пройдемся.

Обратно шли медленно.

— У тебя в семье-то все хорошо? — расспрашивал Сеня.

— Нету семьи, — неохотно ответил Иван. — Разошлись.

— Почему?

— Потом...

Сеня качнул головой, но больше об этом говорить не решился.

— Поживешь здесь хоть маленько-то?

— Некогда, Сеня.

— Поживи, братка. А то мне одному... Хоть с недельку. А?

Иван переменил тему разговора.

— Ты-то почему не женишься?

Сеня горестно оживился.

— Женись... когда они, паразитки, не хочут за меня. У меня душа кипит, — он стукнул себя в грудь сухим крепким кулачком, — а им — хаханьки. Пулей прозвали — и довольны. А я просто энергичный. И не виноват, что не могу на месте усидеть. Вон она — недалеко живет, Валька-то Ковалева... Помнишь, нет?

— Ефима Ковалева?

— Но.

— Так она же вот такая была...

— А счас под потолок вымахала. Вот люблю ее, как эту... как не знаю... Прямо задушил бы, гадину! — Сеня говорил скоро, беспрестанно размахивая руками. — Но я ее допеку, душа с меня вон.

— Красивая девка?

— На тридцать семь сантиметров выше меня. Вот здесь — во, полна пазуха! Глаза горят, вся гладкая... Я как увижу так полдня хвораю.

— Выбрал бы поменьше. Куда она тебе такая?

— Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна рядом поселилась, на сорок три сантиметра выше меня...

— Кто?

— Ты не знаешь, они с Украины приехали. Мыкола. Он тоже в нее втюрился. Так тот хочет измором взять. Как увидит, что я к ней пошел, надевает, бендеровец, бостоновый костюм, приходит и сидит. Веришь — нет, может два часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит и все — специально мешает мне. Мне уж давно надо от слов к делу переходить, а он сидит.

— Поговорил бы с ним.

— Говорил! Он только мычит. Я говорю: если ты — бык, оглобля, верста коломенская, так в этом все? Тут вот что требуется! — Сеня постучал себе по лбу. — Я говорю, я — талантливый человек, могу сутки подряд говорить, и то у меня ничего не получается. Куда ты лезешь? Ничего не понимает!

Иван узнавал младшего брата. Как только не называли его в деревне: «пулемет», «трещотка», «сорока на колу», «корсак» — все подходило Сене, все он оправдывал. Но сейчас ему действительно, видно, горько было. Взъерошенный, курносый, со сверкающими круглыми глазками, он смахивал на подстреленного воробья (Сеня слегка прихрамывал), возбужденно крутил головой, показывал руками, какого роста «оглобля», Валька Ковалева, и как много у нее всего.

— А она?

— Что?..

— Она-то как к нему?

— Она не переваривает его! Но он упрямый, хохол. Я опасаюсь, что он — сидит и чего-нибудь высидит. Парней-то в деревне — я... да еще несколько.

— Трепешься много, Сеня, поэтому к тебе серьезно не относятся.

— А что же мне остается делать? — остановился Сеня. — Что я, витязь в тигровой шкуре? Мне больше нечем брать, —

Сеня вдруг внимательно посмотрел на брата. — Пойдем сейчас к ней, а?

— Зачем?

— Ты объяснишь ей, что внешность — это нуль! Ты сумеешь, она послушает тебя. Ты ей докажи, что главное — это внутреннее содержание. А форма — это вон, оглобля. Пойдем, братка. Ты хоть поглядишь на нее. Я ведь весь уж высох из-за нее. А ей хоть бы что! Я сохну, а она поперек себя шире делается. Это не девка, а Малахов курган какой-то...

— Ты не захмелел?

— Да ничего! Что я? Я редко пью. Это счас уже... Пойдем.

— Ну пошли.

Уже вечерело. На улице появились люди — шли с работы.

Возле соседнего с домом Ковалевых двора Сеня остановился, спросил белоголового карапуза, который таскал на веревочке грузовик и гудел:

— Жираф дома?

— Ой, — сказал карапуз, — он тебя мизинчиком поднимет.

— Скажи ему, чтоб он вышел. Иди, скажи. А я тебе завтра петушка привезу.

— Не обманешь?

— Нет. Счас посмотришь эту оглоблю. Иди, Васька, скажи: пошли, мол, крепость брать.

Карапуз побежал в дом.

— Зачем ты? — спросил Иван.

— Счас увидишь...

— Ко-олька, иди клепость блать, Сенька-пуля зовет! — закричал еще на крыльце карапуз.

— Пойдем, ни к чему это, — опять сказал Иван.

— Подожди, подожди... Счас увидишь...

На крыльцо из дома вышел огромный парень, еще в рабочей одежде.

— Здорово, Микола! — вежливо поприветствовал Сеня. — Иди познакомься с братом.

Микола вытер тряпкой грязные огромные ладони, подошел к воротцам, протянул Ивану руку.

— Микола.

— Иван.

— Костюм погладил? — спросил Сеня.

— Он у меня всегда глаженный, — ответствовал Микола, не удостоив взглядом Сеню.

— Все, Микола, — Сеня высморкался на дорогу. — Больше он тебе не понадобится: идем договариваться насчет свадьбы.

Простодушный Микола беспокойно и вопросительно посмотрел на Ивана. Иван, чтоб скрыть неловкость, стал закуривать.

— Мели, Емеля... — сказал Микола.

— В общем, мы пошли, — Сеня первый деловито пошагал к дому Ковалевых.

...Валя только пришла с работы, умывалась во дворе под рукомойником. Увидев входящих Ивана и Сеню, ойкнула и, накинув полотенце, побежала в дом.

— Куда вы?!. Я же без кофты!

— Видал? — спросил Сеня, грустно глядя вслед девушке.

— Это Валька? — удивился Иван.

— Она.

— Ну, Сеня... тут, по-моему, тебе нечего делать. Господи, растут-то как!..

— Пошли в дом.

— Она же не одетая.

— Она в горнице, а мы пока в прихожей посидим.

Ковалевы — отец, мать, молодая женщина с ребенком (невестка), младшая сестра Вали, школьница, тоже не по годам рослая, очень похожая на нее, — ужинали.

Поздоровались.

— Подсаживайтесь с нами, — пригласил хозяин.

— Спасибо, мы только из-за стола.

Братья присели на лавку у порога.

Ели хозяева молча, с крестьянской сосредоточенностью. Натруженные за день руки аккуратно, неторопливо носили из общей большой чашки наваристую похлебку. Один хозяин позволил себе поговорить во время еды.

— Не захватил отца-то, Иван.

— Нет.

— Чо же, долго ехать шибко?

— Четверо суток почти.

Хозяин качнул головой.

— Эка... занесло тебя.

Из горницы выглянула Валя.

— Заходите.

Сеня с готовностью поднялся, ушел в горницу. Иван остался поговорить с хозяином.

— Где робишь там?

— На стройке.

— Ничто получаешь-то, хорошо?

— Да ничего, хватает. А Петро-то ваш где?

— А тоже, вроде твоего, в город подался, судьбу искать. Вы ить какие нонче: хочу крестьянствую, хочу хвост дудкой и... Наоставляют вот, с такими, горя мало, — старик кивнул в сторону невестки.

— Да уеду я, уеду господи! — в сердцах сказала та. — Устроится он там маленько — уеду, лишнего куска не съем.

— Мне куска не жалко, — все так же спокойно, ровно продолжал старик. — Меня вот на их зло берет, — он посмотрел на Ивана. — Уехать — дело нехитрое. А на кого землю-то оставили? Они уехали, ты уедешь, эти (в сторону младшей дочери) тоже уедут — им надо нивирситеты кончать. Кто же тут-то останется? Вот такие, как мы со старухой? А нам веку осталось — год да ишо неделя. Вон он, Сергеич-то... раз-два и сковырнулся. Так и все уйдем помаленьку. Что же тогда будет-то?

Из горницы выглянул Сеня.

— Иван, зайди к нам.

Иван бросил окурок в шайку, пошел в горницу. Слова старика нежданно вызвали в нем чувство вины; когда шел по улице и поразился пустотой в деревне, почему-то не подумал о себе.

Сеня ходил по горнице, засунув руки в карманы брюк. Видно, он только что что-то горячо доказывал.

— Здравствуй, Валя.

— Здравствуйте, — навстречу Ивану поднялась рослая, крепкая, действительно очень красивая девушка. Круглолицая, с большими серыми глазами... Высокую грудь туго облегала белая простенькая кофта. Здоровье, сила чувствовались в каждом ее движении, в повороте опрятной, гладко причесанной головы, во взгляде даже.

— Валя!.. — невольно сказал Иван, пожимая ей руку. — Ты когда успела так вырасти?

— Годы, Иван... Вы уж сколько не были дома-то?

— Да ну, сколько?.. Ну, может, много. Только ты все равно не «выкай», я не привык как-то. Ты... ну, Валя, Валя...

Валя засмеялась довольная.

— Что «Валя»?

— Красавица ты прямо.

— Да ну уж...

— Вот так мы ее тут и испортили, — встрял Сеня. — Каждый кто увидит: «Красавица! Красавица!» А ей на руку.

— Сеня, ты же первый так начал, — с улыбкой сказала Валя.

— Когда?

— Когда из армии-то пришел. Ты что, забыл?

— Так то я один, а то вся деревня, языки вот такие распустили...

— Нет, Сеня, тут распускай, не распускай, а факт остается фактом, — Иван сел на стул. — Как живешь-то, Валя?

— Хорошо, — Валя внимательно посмотрела на Ивана, усмехнулась. — Надолго к нам?

— Да не знаю, — неопределенно ответил Иван. — Вспомнились слова старика Ковалева, и он невольно опять подумал о них. — Курить здесь можно?

— Пожалуйста. Я сейчас принесу чего-нибудь... — Валя вышла из горницы.

— Видал, что делается? — спросил Сеня.

— Видал. Неважные твои дела.

— Просто пройдет по горнице, а у меня вот здесь, как ножами... Видал, как счас прошла?

Иван не успел ответить. Вошла Валя, поставила на стол блюдце.

— Вот сюда пепел.

— Ты вот послушай его, если мне не веришь. Он больше нашего повидал, — начал Сеня.

— Ну? — Валя опять весело посмотрела на Ивана.

— Как было при царизме? — рассуждал Сеня.

— Как? — спросила Валя.

— Ручной труд. Эксплуатация человека человеком, — Сеня не мог сидеть, когда говорил. — Тогда, конечно, надо было, чтобы мужик был здоровый. Кого лучше эксплуатировать? Миколу или меня? Миколу. На него можно два куля навалить, и он понесет. Со мной хуже: где сядешь, там и

слезешь. Теперь: наше время — атомный век. Спрашивается, для чего мне надо расти с колокольню? Я нажимаю стартер, завожу машину и везу три тонны. Сейчас даже модно маленьким быть. Японцы, например, все маленькие, и ведь живут — ничего! У нас же как вымахает какая-нибудь жердь — так все рады-радешеньки, без ума прямо! — Сеня не на шутку расходился. — Вырос детинушка. Ладно, он, допустим, один восемьдесят. А вот этот фактор у него работает? — Сеня постучал себя по лбу.

— Пулемет ты, Сеня, — сказала Валя. — Наговорил сорок бочек... Ну, к чему ты все? Ведь по твоей теории выходит, что я... какая же я модная?

— Я про мужиков говорю.

— Так если мужикам не надо быть здоровыми, то уж бабам-то и подавно. А я вон какая...

Иван засмотрелся на девушку. Валя перехватила его взгляд, усмехнулась и покраснела.

— Куда же мне деваться-то такой? — спросила обоих. — Эксплуатации нет, кули не надо таскать. Что же мне, закрывать глаза да головой в прорубь?

Сеня беспомощно, с надеждой посмотрел на старшего брата. Тот пожал плечами.

— Иван, хорошо в городе? — спросила Валя, как-то излишне пристально глядя на него. Ей хотелось говорить с ним.

— По-разному Валя, Как везде.

— Ну, с нами-то не сравнишь.

— Сами виноваты! — опять встрял Сеня. — Умоляют людей: записывайтесь в самодеятельность — нет, понимаешь...

— Пошли вы со своей самодеятельностью! Что я, дура, что ли, вылезу на сцену ногами дрыгать. Я ее проломлю там у них.

— Ты можешь любую роль играть, не обязательно ногами дрыгать. Дрыгают в танцевальном кружке, а есть — драматический.

В дверь горницы постучали.

— Внимание, — Сеня поднял палец кверху. — Счас будет — акт!

— Да, — сказала Валя.

Вошел Микола в бостоновом костюме.

— Здрассте.

— Здравствуй, Коля. Садись.

Микола сел на стул, поддернул на коленях наглаженные брюки. Видно, что это его привычная поза.

— Рассказал бы нам чего-нибудь про город, Иван, — попросила Валя серьезно. — Как там живут?

— Живут... Лучше расскажите, как вы живете? Мне тоже интересно.

— Микола, расскажи, — попросил Сеня.

— На провокации не идем, — ответствовал Микола.

— Иной раз посмотришь в кино, душа заболит, — заговорила Валя. — Вот, думаешь, живут люди! Все нарядные ходят, чистенькие... В комнатах все блестит, все под руками... Господи. Правда, что ли, так живут? — Валя смотрела на Ивана. Сеня и Микола тоже смотрели на него. Ждали.

Иван долго молчал, задумчиво глядя на кончик сигареты.

Опять некстати припомнились слова старика. Поднял голову, увидел, что его с интересом ждут, усмехнулся.

— Я вам не скажу за всю Одессу... По-разному живут, ребята. Бывает, как в кино, бывает, похуже. Мне вот ночами часто деревня снится. Покос... Изба родительская. А давеча глянул на нее — и больно стало: то ли она постарела, то ли я...

— Ну вот у тебя сколько комнат в квартире? — Сене неприятно было упоминать об избе: его совести дело, что она заваливается, так он чувствовал. — Комнаты три?

— Перестань, Сеня. Что вы взялись допрашивать меня?

— Кого же нам допрашивать больше? — спросила Валя. — Друг друга, что ли?.. Мы и так все знаем.

— Мне расскажите.

— Я могу за всех ответить: середка на половинке живем, — сказал Сеня.

— Скучновато живем, — добавила Валя.

— Выходи за Миколу, — посоветовал Сеня, — каждый день будешь со смеху умирать.

Микола спокойно посмотрел на Сеню, хотел что-то сказать, но решил, видно, не стоит.

— Замуж надо, действительно, — согласился Иван.

— Замуж — не напасть... — непонятно сказала Валя. И, глядя на Ивана, спросила прямо: — А за кого замуж-то? Сене не подхожу — высокая, говорит, Микола — молчит. Не станешь же сама навязываться.

Обоих женихов слова эти ударили по сердцу.

— Минуточку!.. — взвился Сеня...

Микола пошевелился на стуле, так что стул угрожающе скрипнул.

— Легкая провокация.

Валя запрокинула назад голову, громко, искренне расхохоталась. Все трое невольно засмотрелись на девушку, открыто любуясь ею.

— Все хаханьки, — заметил Сеня.

Микола пожирал Валю влюбленными глазами.

Иван смотрел внимательно, несколько удивленно.

Валя досмеялась до слез, вытерла воротничком кофты глаза, сказала:

— Не обижайтесь, ребята. Меня что-то смех разобрал. Бывает...

— Ну что, Сеня?.. Пойдем? — Иван поднялся.

— Посидите, — с просительной ноткой в голосе сказала Валя, глядя на Ивана. И такой это был взгляд — необычный, что Микола, например, обратил на него внимание.

— Устал я, Валя. Вы сидите, а я пойду прилягу немного.

— Ну уж...

— Правда. До свиданья.

Сеня посмотрел на Миколу, Микола — на Сеню... Оба остались сидеть. Валя встала и пошла провожать Ивана.

— У нас в сенцах темно...

В прихожей отужинали.

Младшей дочери не было дома.

Невестка переодевала для сна девочку. Хозяйка убирала со стола. Старик рубил у порога табак в корытце.

Иван остановился около него.

— Самосад?..

— Он самый. Какой-то не крепкий нонче уродился. Листовухи добавлю — все слабый.

Иван присел на корточки.

— Дай-ка попробую... Давно не курил.

— Спробуй, спробуй.

Валя стояла рядом, смотрела сверху на Ивана.

— Валька, ужинать-то... простынет все, — сказала мать.

— Потом, — откликнулась Валя.

Дед с Иваном закурили.

— Как?

— Хорош!

— Донничка ишо потом добавлю — ничего будет.

— Ну, бывайте здоровы.

— Мгм.

Иван с Валей вышли в темные сени.

— Давай руку, — сказала Валя. — А то тут лоб разбить можно. Вот здесь ступенька будет.

— Где?.. Ага, вот она.

— Вот... теперь ровно.

Остановились. Плавал в темноте огонек Ивановой папироски.

Некоторое время молчали.

— Ну, иди, а то там женихи-то... скучают.

— Пусть маленько поскучают.

— Сенька-то правда любит, Валя.

— Я знаю. И Микола тоже.

— Ну?..

— А я не люблю.

Молчание.

— Что делать? — спросила Валя.

— Что делать... На нет — спроса нет. Обидно, конечно, за брата... Но этому горю не поможешь.

— Нет, а что мне-то делать?

— Валя!.. Ты уж сама большая — смотри.

— А я любить хочу.

— Пора.

— А почему ты с женой разошелся?

— Кто тебе сказал?

— Сеня.

— Во звонарь-то... успел уж.

— Почему?

— Сложно это, Валя...

— Разлюбил? Или она тебя?

— Иди к женихам-то.

— Сколько поживешь у нас?

— Не знаю... Побуду пока. Сеньке тяжело одному... Он хоть тараторит, крепится, а душонка болит...

Между тем в горнице происходил такой разговор:

— Тебе надо громоотводом работать, — советовал Сеня.

— А тебе — комиком, — невозмутимо отвечал Микола.

— Ты хоть знаешь, сколько комики получают? — снисходительно спросил Сеня.

— По зубам в основном. За провокации.

— Комики даже лауреаты есть, комики есть депутаты Верховного Совета. Вы ж не понимаете ничего...

— А с какого этажа их спускают оттуда?

— Кого?

— Комиков.

— Я — комик? Ладно. Вот она счас придет, я буду молчать. Ты ж за счет меня только держишься, потому что я говорю, а тебе молчать можно. А счас я буду молчать. Посмотрю, что ты будешь делать. Проведем такой опыт.

Микола молчал.

— Много вывезли сегодня? — спросил Сеня.

— Двенадцать ездок. Потом сразу два комбайна стали. Пока возились — стемнело.

— Сделали?

— Один. Ты ничего не заметил своим фактором?

— Чего заметил?

— Так, — Микола, видно, заметил какую-то перемену в Вале.

— Чего заметил-то?

Молчание.

— Ладно, счас я тоже буду молчать.

— Зря, — сказал Микола.

— Чего я не заметил?

Молчание.

— Все. Молчу и смеюсь внутренним смехом.

Вошла Валя. Села на кровать.

— Ну, что будем делать?

Молчание. Долгое.

— Вы что, поругались, что ли?

Молчание.

— Сень?

Молчание.

— Коля?

Молчание.

— Что случилось-то?

— Провоцируют, — пояснил Микола.

— Кто провоцирует?

— Вон... — Микола кивнул на Сеню.

— Я провожу опыт, — кратко сказал Сеня.

— Какой опыт?

Сеня сделал знак рукой.

Долго молчали все трое.

— Да ну вас! — рассердилась Валя. — Сидят, как два сыча.

Молчание.

— Тогда я ложусь спать.

— Сенька, брось, — взволновался Микола.

Сеня замотал головой — нет.

А Иван пошел к другу детства Девятову Василию.

Пришел, а у Девятовых — дым коромыслом: Василий спорил с женой, как назвать новорожденного сына.

— Ванька!.. — кричала жена Настя. — Где это ты их видел нынче, Ванек-то?! Они только в сказках остались — Вани-дурачки. Умру, не дам Ванькой назвать.

— Сама ты дура, — тоже резко говорил Василий. — Сейчас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

— На черта он мне сдался, твой город! Там с ума начнут сходить и ты за ними? Я своим умом живу...

— Да сын-то мой! — заорал Василий. Он был в рабочей одежде — заехал на время домой; у ворот стояла его машина. — Или чей?

— А мне он кто?!.

Супруги так увлеклись важным спором, что сперва даже не заметили гостя.

— Можно к вам? — спросил Иван.

— О! — удивился Василий. — Иван! Заходи.

Поздоровались.

— Что за шум, а драки нет?

— А вон — сына не дает Ванькой назвать.

— И не дам, — стояла на своем Настя.

— А как ты хочешь? — спросил ее Иван.

— Валериком.

— Иваны, говорит, одни дураки остались, в сказках. Много ты понимаешь! Спроси вот у него, как в городе...

— Мне ваш город не указ.

Иван заглянул в кроватку к младенцу.

— Лежит... А тут из-за него целая война идет. А чего ты, Настя, Иванов-то списала со счета? — спросил он Настю. — Не рано?

— Не рано.

— Зря. Иваны еще сгодятся.

— Вот кому сгодятся, тот пускай с ними и живет, а мы будем жить с Валериком. Правда, сынок? — мать подошла тоже к кроватке, склонилась над сыном. — Уй ти мой маленький, мой холесенький... Иваном. Еще чего!

— Ну, Валерик — это тоже не подарок, — заметил Иван, отходя от кроватки.

— Да плохо просто! — загорячился опять Василий. — Чем нехорошо — Иван Васильевич?.. Царь был Иван Васильевич...

— У нас счас, скажи, царей нету, — тютюшкалась мать с младенцем. — Нету, скажи, царей, нечего на них и оглядываться.

— Ну что ты будешь делать? — с отчаянием сказал Василий. — Ну, е-мое, Валериком он тоже не будет, это я тебе тоже не дам. Как недоносок какой — Валерик... Он должен быть мужиком, а не...

— Будет Валериком.

— Нет, не будет!

— Нет, будет!

— Назовите в честь деда какого-нибудь, — посоветовал Иван. — В честь твоего отца или твоего.

— Да они обои — Иваны! — воскликнул Василий. — В том-то и дело!

Домой Микола пришел мрачный и решительный.

— Ты чего такой? — спросил отец.

Микола сел к столу, положил подбородок на кулаки, задумался.

— А?

— Так.

Отец готовился спать. Сидел на кровати в нижней рубахе, в галифе, босиком. Шевелил пальцами ног.

На печке лежал хворый дед Северьян.

До прихода Миколы они разговаривали и теперь вернулись к разговору.

— Он, старик-то, говорит: мы, говорит, пахали их, те поля. Приехали, обрадовались — землищи-то! И давай. Ну, год, два, три — пашем. Глядим, а песок-то с той стороны все ближе да ближе к нам. Нам, говорит, тогда старики и сове-

туют: «Пусть эта земля лучше залежью будет, лучше поурежьте свои пашни, которые к северу, а эти не трожьте. Бросьте эти поля пахать, не трогайте». Собрались, говорит, мы миром и порешили: не пахать к югу от Сагырлака. И верно: остановился песок. Трава-то его держать стала. А счас опять все распахали... И уж заметно, как сохнет к северу. Еще вот лет пять попашем — и сгубим пашню. Тогда и удобрениями ничего не сделаешь — сожгем только землю...

— Сказали бы начальству.

— А то не говорили! Доказывали: никакая это не целина, это залежь, специально которую не трогали, чтобы пески держать с юга. Ну, рази ж послушают!..

— Тять, я жениться надумал, — сказал Микола.

— Эка!.. — удивился отец. — Кого же брать хочешь?

— Вальку Ковалеву, — негромко ответил Микола.

Отец кивнул головой: слышал кое-что.

— Ты говорил с ней насчет этого?

— Та-а... — Микола мучительно сморщился. — Нет.

— Я сватать не пойду, — твердо заявил отец.

— Почему?

— Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство: придешь, а девка ни сном ни духом не ведает. Сперва договорись с ней, как все люди делают, тогда пойду. А то... ты вечно, Микола... — все за тебя отец. Прогонют, потом житья в деревне не будет, бежать от стыда придется.

— Ну, ты тоже прынц выискался: сватать он не пойдет, — сердито сказал дед Северьян. — Ты забыл, Тимоха, как я за тебя невесту ходил провожать? Забыл?

Тимофей недовольно нахмурился.

— Ведь не пойдет она за него. Слышал я — бабенки трепались — не глянется он ей.

— Пойдет! — сказал дед. — За такого парня!.. Чего ей еще надо?

— Почему ты думаешь, что не пойдет? — спросил Микола.

— Это уж тебе лучше знать. Хоть бы поговорил с девкой!..

— Пойдем, тять. Я один не сумею.

— Счас, что ли? — испугался отец.

— Счас.

— Ты что, опупел?

— Надо... А то поздно будет. Прошу тебя, один раз в жизни сделай...

— Тимоха, помоги парню.

— Да почему счас-то? Кто так делает?..

— А то поздно будет. Фактор один появился... поздно будет.

— Какой фактор?

— Ну... поздно будет. Ее спровоцируют.

— Тимоха...

— Да ну вас к черту, вы что, на самом деле! Ночь-полночь — сваты заявились. Завтра хохотать все будут.

— Вот как раз счас самое время идти, — рассуждал дед с печки. — Никто не увидит. Откажут, никто знать не будет.

Тимофей вздохнул, задумался.

— Какой фактор-то? — спросил он сына. — Сенька, что ли?

— Нет.

— Собирайтесь и идите, а то спать лягут люди. Ничего с тобой, Тимоха, не случится — сходишь, не похудеешь. Сделай одолжение парню. А девка правда хорошая — на ней пахать можно.

— Пойдем, тять.

— Язви вас в душу!.. Может, с матерью сходишь? Она счас придет...

— Та-а...

— Чего она, мать?.. Баба есть баба. Иди, Тимоха. Вишь, загорелось парню: значит, надо. Раз какой-то хвактор появился, не надо тянуть. Они нонче такие: не успеешь глазом моргнуть — поздно будет. Опередить надо.

Отец снял грязные галифе, нашел в сундуке новые брюки, надел и, болезненно сморщившись, долго ловил негнущимися темными пальцами маленькую скользкую пуговицу на ширинке.

— Тц... сердце мое чует — на радость зубоскалам идем. Ни хрена из этого сватовства не выйдет. Подождем хоть дня-то?

— Днем хуже.

— Какая тебе разница, Тимофей?

— Вот сошьют, оглоеды!.. Не лезет, хоть матушку-репку пой.

— Чего там?

— Пуговица не лезет, мать ее...

— Подрежь ножницами петельку-то, — посоветовал дед.

Микола пригладил жесткие волосы. Долго стоял перед зеркалом.

— Чего бы сделать над собой? — спросил он деда.

Дед подумал.

— Ничего, иди так. И так хорошо. Главное, смейся там побольше. Смешно, не смешно — ты: «Ха-ха-ха-ха...» Девкам это глянется. Был бы я не хворый, пошел бы с вами.

— Поллитра-то брать, что ли? — спросил Тимофей отца.

— Возьмите в карман, — сказал дед. — Понадобится — она при себе. Не робейте, главное. Ты, Тимоха, тоже посмеивайся там поболе. А то ведь придете счас два земледава... слова сказать не сумеете.

Сеня был уже дома, когда пришел Иван.

— Что так скоро? — спросил Иван.

— Я один опыт провел: начал тоже молчать, как Микола. Он меня комиком зовет, а я ему счас доказал.

— Чего доказал?

— Что он без меня совсем пропадет.

— Чем доказал-то?

— Молчал.

— Ну?

— Ну, она нас обоих выгнала.

— Обои вы комики... Как дети, честное слово.

— Нет, пусть он теперь не вякает.

— Что, девок, что ли, не хватает в деревне?

— Они не такие...

— Зря ты, Сенька... Ты же видишь, не любит она тебя.

Сеня — в майке и в длинных трусах — задумался около сундука.

— Видать-то я вижу, братка, — серьезно и грустно сказал он. — А отстать не могу. Умом все понимаю, а вот тут... болит. И ничего не могу сделать. Девки есть... полно. Но все не такие.

— Чем она тебе так уж?..

— Она какая-то надежная. Я бы с ней не пропал. Мне с ней легко как-то. Увижу ее, радуюсь, как дурак. Прямо, как праздник сделается. И вот ты же заметил: я сразу остроум-

ный какой-то становлюсь, жизнерадостный... Счас уж — какое горе, и то... вспомнишь про нее, легче становится. Я бы с ней хорошо прожил.

Иван прилег на кровать. Закурил. Непонятно, то ли слушал брата, то ли думал о чем-то своем.

— А так просто жениться — лишь бы жениться — неохота. Вон ребята женются... Год-два поживут — и уже надоели друг другу. Он норовит, как бы скорей из дому да выпить с дружками, она — ругается. И как скоро ругаться выучиваются! Так поливает, другой старухе не угнаться. Что за жизнь?.. Ни себе, ни людям. Охота не так.

— Всем охота, — сказал Иван. — Не всегда получается. Ты сам крепко виноват: смеются над тобой люди...

— Они ж не со зла.

— Какая разница. Доверчивый ты, душонка добрая и та... вся открытая. А есть любители — кулаком туда ткнуть. Тоже не со зла, а так — от скуки: интересно посмотреть, как скорчишься.

— Да меня вроде ничего... любят.

— Хм...

— Так ведь и я их люблю! Оттого иной раз и выкинешь какую-нибудь штуку, чтобы посмеялись хоть. А то ходют как сонные... Жалко порой делается.

— Мало били... не рассуждал бы так.

— Тебе что, часто попадало?

— Я так, к слову, — Иван поднялся. Прошел к порогу бросил окурок в шайку. — Это хорошо, что ты парень веселый. Но иногда надо и зубы показать. А то заласкают, как... собаку шалавую, и последний кусок отнимут, и ничего не сделаешь. Пора это понимать, тебе уж, слава богу, двадцать шестой годик — не ребенок.

Помолчали.

Иван прошелся по избе, остановился у окна.

— Тишина на улице... Ни песен, ни гармошки. Как повымерло все.

— Наработались люди — не до песен.

— Раньше-то что, не работали, что ли?

— Молодежи больше было.

— А где Ванька Свистунов? Тоже уехал?

— Ванька милиционером работает. Участковым. А живет в районе. Хорошо живет, дом недавно себе поставил.

— А Ногайцевы ребята?.. Колька, Петька.

— С Петькой я вместе в армию уходил. Меня-то в первый же год помяло в танке, а он дослужил. Отслужил и завербовался куда-то. Не знаю даже где. А Колька на агронома выучился, тоже в районе живет.

— Нда-а...

— Да жить можно! — сказал Сеня, словно возражая кому. — От самих себя много зависит. Бежали-то когда? Когда действительно жрать нечего было. Счас же нет этого. Так уж... разбаловались люди, от крестьянской работы отвыкли. Учиться многие едут. Вот и нет никого. Ужинать будешь?

— А ты?

— Я не хочу что-то.

— Я тоже.

— Ты где был-то?

— К Ваське Девятову заходил. Чего-то мне, Сенька, мысли всякие в башку полезли... Шел счас дорогой, раздумался...

— Какие мысли?

— Всякие. Нехорошо как-то стало.

— Залезла бы тебе одна мысль в голову — вот было бы дело.

— Какая?

— Остаться здесь. Я не из-за себя, а так... вообще. А чего? Все равно же... семьи там нету...

— А ты сам не подумывал уехать отсюда? — спросил Иван.

— Нет. Я один-то год в армии и то едва прослужил — тянет домой.

— Привык бы. Меня первое время тоже тянуло...

— Сам же говоришь: покос снится.

— Покос снится. Вообще, какой бы сон ни увидел — все я вроде вот в этой избе.

Помолчали.

— Он сколько в больнице лежал?

— Месяц. Потом меня вызвали: вези, говорят, домой.

— Он знал или нет, что у него...

— Нет. Может, догадывался последнее время. Один раз, недели за полторы, подозвал к себе и говорит: «Я знаю, у меня рак». Я успокоил его, бумажки всякие начал совать — вот, мол, гляди, тут написано. Меня в больнице научили. А последние три дня знал, что умирает...

— Что говорил?

— Ничего. Молчал. Тебя ждал...

— Пораньше бы телеграмму-то дал.

— Я думал, поживет еще. Кхах... Не надо про это... Забудешься — вроде ничего, а как... это... Лучше не надо.

— Не буду.

— С семьей-то почему не получилось?

— Та... длинная история. И поганая. Спуталась она там с одним... На работе у себя. Ну ее к... Тоже не хочу об этом.

— Любил?

— Дочь жалко... Иной раз подкатит вот сюда — хоть на стенку лезь.

— Видаешь ее?

— Переехали они... В другом городе. Не надо, Сеня.

Долго молчали.

— Остался бы здесь, правда.

— Давай спать, поздно уже. Тебе ж на работу рано.

Выключили свет, легли.

Но не спалось обоим — лежали с открытыми глазами, думали.

...Утром чуть свет к братьям пришла Валя.

— Поднялись? Здравствуйте! Давайте сготовлю вам чего-нибудь... — сразу в маленькой избе сделалось как будто просторней, светлее, когда появилась она и зазвучал ее молодой, сильный, свежий голос. — Сеня, давай за картошкой!.. Мясо-то есть?

— Господи! — воскликнул Сеня. — Завались! В погребе.

— Давай в погреб! А я пока приберусь маленько, а то заплесневеете тут. Иван, собирай половик, неси на улицу — вытрясем. Шевелитесь, ядрена мать! Мне тоже на работу надо.

Сеня побежал в погреб. Иван неумело — ногой, начал было скатывать половик.

— Да не так, господи! Руками! Спина, что ли, отвалится — нагнуться-то боишься? Вот так... Неси. Я сейчас выйду. Отвык от деревенской работы?

— Какая это деревенская?..

— Она тут всякая, милок. У нас вон ребята коров доят, ничего.

— Брось ты?

— Чего? Поломались маленько и пошли. Комсомол помог, правда. Еще как доят-то!..

— Руками?

Валя засмеялась.

— Счас аппараты есть. Но и аппарат тоже не ногами управляется. Первое время матерились, а потом ничего... Смешно только смотреть на них. Неси.

Иван взял половик, понес во двор. Валя шла следом. Развернули половик, начали трясти. Сеня вылез из погреба с куском мяса.

— Картошки я начищу.

— Давай.

Мимо ворот по улице прошел на работу Микола. Увидев Валю во дворе Громовых, склонил голову и прибавил шагу.

— Что же не здороваешься, Коль? — крикнула Валя.

Микола буркнул что-то и свернул в переулок.

Валя посмотрела на Ивана и засмеялась.

— Чего ты?

— Так. Смешинка в рот попала. Держи крепче... Пыли-то! Жени ты его, ради Христа, Иван. А то старуха-то измучилась...

— Какая старуха?

— Тетка Анисья-то ваша. Шутка в деле — с конца на конец деревни ходить старой, хозяйничать тут.

— Он же говорит, в столовой ест.

— Да ест — одно, а прибрать вот, помыть, постирать...

Выскочил Сеня на крыльцо.

— Жарить будем или как?

— Это — как хотите.

— Иван?

— Мне все равно.

— Поджарим.

— Неси, хватит.

Иван свернул половик, и они ушли с Валей в избу.

На крыльцо опять вскочил счастливый Сеня... Пробежал по двору, набрал дров, снова исчез в избе.

...А над деревней, над полями вставало солнце... Тихо загорался нежаркий, светлый осенний день. Незримые золотые колокольчики высоко и тонко вызванивали прозрачную музыку жизни...

— Хо-о, Валюха!.. — Сеня отвалился от стола. — На весь день наелся.

— Едок, — упрекнула Валя. — Съел-то всего ничего. Вот оттого и не вырос — ешь мало.

— Начинается старая песня, — недовольно заметил Сеня. — Шел я лесом-просекой...

— Спасибо, Валя, — сказал Иван.

— На здоровье.

Сеня заторопился на работу.

— Закурим, братка, и я побежал. Надо еще свой «шевролет» собрать. На ходу сыпется, зараза.

Валя принялась убирать со стола. С затаенной надеждой глянула на Ивана.

Сеня прихватил из-под кровати какие-то железки, остановился на пороге.

— Не тоскуй здесь один-то. Хошь, возьми у дяди Ефима ружьишко, перепелов сходи постреляй. Они жирные сейчас. Вечером похлебку заварим. Или порыбачь... Удочки в кладовке, в углу...

— Сеня, — сказал вдруг Иван, — возьми меня с собой.

Валя и Сеня посмотрели на него.

— Зачем? — спросил Сеня.

— Ну... посмотреть поля родные...

Валя усмехнулась и качнула головой.

— Поехали! — сказал довольный Сеня.

...Посреди поля стоят комбайн и грузовик. Неподалеку — «начальственный» «газик». В «газике» директор совхоза. Рядом стоит комбайнер.

Из-под грузовика торчат ноги шофера.

Сеня с Иваном подлетели на мотоцикле, вздымая за собой вихрь пыли. Сеня издали заорал:

— По пятьдесят восьмой пойдешь! Понял? — осадил мотоцикл, взял гаечный ключ и пошел к шоферу. Тот торопливо вылез из-под капота. — Развинчивай!

— Сеня...

— Быстро! А то я тебе счас нос отверну и к затылку приставлю.

— Не я же взял-то, разорался.

— А кто взял?

— Вон, — шофер кивнул в сторону директора. Тот уже шел к ним.

— Здравствуй, Сеня.

— Что же получается: я...

— Подожди, Сеня, я сейчас все объясню. Этот охламон залил в картер грязное масло и побил вал. А так как тебя нет...

— Что, меня век, что ли, не будет?

— Но комбайн-то стоит. А твоя все равно разобрана...

— Ее собрать — полчаса.

— Ну...

— Что же я-то делать буду?!

— Надо достать вал.

— Где? — Сеня подбоченился, склонил голову набок. — Интересуюсь, где? Адрес.

— Чего-нибудь надо придумать, Сеня. Такое положение... Иван наблюдал эту сцену со стороны.

— Ну, тогда я рожу его, — Сеня высморкался на стерню. — Если получится — можно двойняшку.

Шофер, незнакомый Ивану, хмыкнул и сочувственно заметил:

— Трудно тебе придется.

— Чего трудно? — повернулся к нему Сеня.

— Рожать-то. Он же гнутый, спасу нет... — он кивнул на свой израненный вал, валявшийся тут же.

Сеня пошел на него с ключом. Шофер отскочил.

— Сенька!..

— Ладно, Сеня, брось его,— сказал директор. И прикрикнул на шофера:

— Делай свое дело! Остряк... Ты мне еще за вал выплатишь.

Шофер полез под капот. Директор взял Сеню под руку отвел в сторону.

— Знаешь, у кого есть валы?

— У Макара?

— У Макара.

— Не даст. Вообще, я не хочу иметь с ним ничего общего.

— Хочешь не хочешь, а надо выходить из положения. Я бы сам поехал. Но мне он принципиально не даст. Ты как-нибудь на обаяние возьми его...

— Я его взял вчера на обаяние... Ладно, попробую.

— Попробуй.

Сеня с Иваном уехали.

...Через десять минут они подлетели к правлению колхоза «Пламя коммунизма». Сеня опять высморкался, молодцевато взбежал на крыльцо... и встретил в дверях Макара Сударушкина. Тот собирался куда-то уезжать.

— Привет! — воскликнул Сеня. — А я к тебе... С добрым утром! — Сударушкин молча подал руку и подозрительно посмотрел на Сеню.

— Как делишки? Жнем помаленьку? — затараторил Сеня.

— Жнем, — сказал Макар.

— Мы тоже, понимаешь!.. Фу-у! Дни-то, а?.. Золотые денечки стоят!

— Ты насчет чего? — спросил Сударушкин.

— Насчет коленвала. Подкинь парочку.

— Нету, — Макар легонько отстранил Сеню и пошел с крыльца.

— Слушай, монумент!.. — Сеня пошел за ним следом. — Мы же к коммунизму подходим... Я же на общее дело...

Макар невозмутимо шагал к своей «Волге».

— Дай пару валов!! — рявкнул Сеня.

— Не ори.

— Дай хоть один. Я же отдам... Макар.

— Нету.

— Кулак, — сказал Сеня, останавливаясь. — На критику обиделся?

— Осторожней, — посоветовал Макар, залезая в «Волгу». — Насчет кулаков поосторожней.

— А кто же ты?

— Поехали, — сказал Макар шоферу.

«Волга» плавно тронулась с места.

Сеня завел мотоцикл, догнал «Волгу», крикнул:

— Поехал в райком!.. Жаловаться. Готовь валы! Штук пять!

— Передавай привет в райкоме! — сказал Макар.

Сеня дал газку и обогнал «Волгу».

Когда выехали опять в степь, Иван попросил:

— Завези меня домой, Сеня.

— Чего?

— Да... неловко мне как-то: люди делом заняты, а я, как... этот, как тунеядец. Да еще не знаю никого... Сколько много людей новых! Все приезжие, что ли?

— Есть приезжие. А Мишку-то Докучаева ты разве не знал?

— Какого Мишку?

— А шофер-то? Лаялся-то я с которым...

— Это Мишка?!

— Мишка.

— Не узнал. Гляди-ка!.. А директор приезжий?

— Он, вообще-то, из нашего района. В райкоме раньше работал, попросился в совхоз. Сам попросился. Толковый мужик. А Макар — кулак.

— Ты не боишься так с ними разговаривать-то?

— А чего? — удивился Сеня.

— Да нет, я так... Ссади меня здесь, я пешком пройдусь.

Сеня остановился.

Иван слез и пошел по малой тропинке в деревню.

— Не скучай там! — крикнул Сеня. И газанул — поехал, оставляя за собой пыльный шлейф.

Иван догнал по дороге медленно двигающуюся подводу. Молодой человек, очень не деревенский на вид, вез на дрожках листовое железо.

— Отца хоронить приезжали? — спросил молодой человек.

— Да, — ответил Иван. — Только не успел.

— Он был безнадежен.

— А вы кто?

— Я здешний доктор. Он у нас лежал.

Иван с удивлением посмотрел на молодого человека — очень уж он не походил на доктора.

— Хороший старик, — продолжал доктор. — Совестливый. Сам попросился из больницы — неудобно, что за ним ухаживают, судно подкладывают. Не привык, говорит, так. Ну, как там город поживает?

— Поживает... Что ему?

Молодой человек вдруг посмеялся своим мыслям.

— Видите, как у нас: поменялись местами. Я — коренной горожанин.

— Вы, что же, совсем сюда?

— Нет... Не думаю, — честно сказал доктор. — Наверно, как все: отработаю свои три года и поеду в свой город. А вас не тянет сюда?

— Как вам сказать... — замялся Иван.

— Значит, не тянет, — молодой человек весело посмотрел на Ивана. — «Знать, в далекий тот век жизнь не в радость была, коль бежал человек из родного села». Так раньше певали? Все нормально, все естественно...

— Куда это железо-то?

— Холодильник будем делать. Выроем глубокую землянку, изнутри обошьем деревом и железом... Сам додумался: медикаменты хранить. Едва выбил железо — дошли до личных оскорблений с директором совхоза. Он говорит: буду жаловаться, а я: не буду ваш плеврит лечить. У него, видите ли, плеврит, так вот пусть дальше шагает с ним. Придет на прием, я ему велю клизму поставить... — доктор весело поглядывал на Ивана.

— Но он же дал. Железо-то, — Иван тоже настроился на веселый лад. Как-то удивительно легко было с доктором.

— Да, но обозвал молокососом.

— А вы его как?

— Я? Я почему-то назвал его веником. Хотя почему веник? Сам не знаю.

Иван засмеялся.

В приемной райкома партии было человека три. Сидели на новеньких стульях с высокими спинками, ждали приема. Курили.

Мягко хлопала дверь кабинета... Выходили то мрачные, то довольные.

Сеня присел рядом с каким-то незнакомым мужчиной усталого вида. Мужчина держал на коленях большой желтый портфель.

— Вы крайний? — спросил его Сеня.

— Э... кажется, да, — как-то угодливо ответил мужчина.

Сеня тотчас обнаглел.

— Я вперед пойду.

— Почему?

— У меня машина стоит. Так бы я ничего.

— Пожалуйста.

К Сене подсел цыгановатый парень с курчавыми волосами, хлопнул его по колену.

— Здорово, Сеня!

Сеня поморщился, потер колено.

— Что за дурацкая привычка, слушай, руки распускать!

Курчавый хохотнул, встал, поправил ремень гимнастерки. Посмотрел на дверь кабинета.

— Судьба решается, Сеня.

— Все насчет тех тракторов?

— Все насчет тех... Я сейчас скажу там несколько слов, — курчавый заметно волновался. — Не было такого указания, чтобы закупку ограничивать.

— А куда их вам? Солить, что ли?

— Тактика нужна, Сеня, — поучительно сказал курчавый. — Тактика.

Из кабинета вышли.

Курчавый еще раз поправил гимнастерку, вошел в кабинет... И тотчас вышел обратно. Достал из кармана блокнот, вырвал чистый лист, пошел в угол, к урне. Сеня с недоумением смотрел на него. Когда он чего-нибудь не понимал, он чуть приоткрывал рот. Курчавый склонился и стал вытирать грязные сапоги.

Сеня хихикнул.

— Ну, что?.. Сказал несколько слов? Или не успел?

— Ковров понастелили, — проворчал курчавый. Брезгливо бросил черный комочек в урну.

Усталый гражданин пошевелился на стуле.

— Что, не в духе сегодня? — спросил курчавого (он имел в виду секретаря райкома). Курчавый ничего не сказал.

— Не в духе, — сказал усталый, повернувшись к Сене. — Точно?

— Я сам не в духе, — ответил Сеня.

— Вот так, — сказал секретарь курчавому. — Так и передай там.

— Ладно, — курчавый вышел.

Вошел Сеня.

— Здравствуйте, Иван Васильевич.

— Здорово. Садись. Что?

— Прорыв. Один наш охламон залил в картер грязное масло... И, главное, без меня! Она, говорит, у тебя все равно стоит!.. — Сеня даже руками развел.

— Что случилось-то? — секретарь тряхнул головой. — Короче можно?

— Вал полетел. В результате стоит машина. А запасных нету...

— У меня тоже нету.

— У Сударушкина Макара есть. Но он не дает. И главное, убеждает: нету. А я знаю...

— Так что ты хочешь-то?

— Позвоните Сударушкину, пусть он...

— Сударушкин пошлет меня куда подальше и будет прав.

— Не пошлет! — убежденно сказал Сеня. — Побоится.

— Ну, так я сам не хочу звонить. Что вам Сударушкин, снабженец? Докатились, что ни одного вала в запасе нету! Передай своему директору, чтобы он к обеду позвонил мне и доложил: «Вал достали». Я узнаю, будет стоять машина или нет. Все.

— Все понятно. До свиданья. Значит, мы звоним?

— Звоните.

Сеня вышел.

— Великолепно! — Сеня не знал, куда теперь двинуть.

В приемной остался один усталый гражданин. Сидел, не решаясь входить в кабинет.

— Пятый угол искали? — вежливо спросил он и улыбнулся.

Сеня грозно глянул на него... И вдруг его осенило: городской вид, а главное, желтый портфель — все это вызывало в воображении Сени чарующую картину склада запчастей... Темные низкие стеллажи, а на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежали валы — огромное количество коленчатых валов. И городской незаметно сует ему пару...

— Слушай, друг!.. — Сеня изобразил на лице небрежность и снисходительность. — У тебя на авторемонтном никого знакомого нету? Пару валов вот так надо. Поллитра ставлю.

Городской снял со своего плеча Сенину руку.

— Я такими вещами не занимаюсь, товарищ, — сказал он. Потом деловито спросил: — Он сильно злой?

— Кто?

— Секретарь-то?

Сеня посмотрел в глаза городского и опять увидел стройные ряды коленчатых валов на стеллажах.

— Нет, не очень. Бывает хуже. Иди, я тебя подожду здесь. Иди не робей.

Городской поднялся, поправил галстук. Прошелся около двери, подумал...

Дверь неожиданно распахнулась — на пороге стоял секретарь.

— Здравствуйте, товарищ первый секретарь, — негромко и торопливо заговорил усталый, ибо секретарь собирался уходить. — Я по поводу своей жалобы.

Секретарь не разобрал, по какому поводу.

— Что?

— Насчет жалобы. Она теперь в вашем районе живет и...

— Кто живет в нашем районе?

Усталый досадливо поморщился.

— Я вот здесь подробно, в письменной форме... — он стал вынимать из портфеля листы бумаги. — Целый «Война и мир», хе-хе...

— Вот тут на улице, за углом, прокуратура, — сказал секретарь, — туда.

— Не в этом дело, товарищ секретарь. Они не поймут... Я уже был там.

Секретарь прислонился спиной к дверному косяку.

— Идите. Там все понимают.

Усталый помолчал и дрожащим от обиды голосом сказал:

— Ну что же, пойдем выше, — повернулся и пошел на выход совсем в другую сторону. — Все забыли!..

— Не туда, — сказал секретарь. — Вон выход-то!

Усталый вернулся. Проходя мимо секретаря, горько прошептал: — А кричим: «Коммунизм! Коммунизм!»

Секретарь проводил его взглядом, повернулся к Сене.

— Кто это, не знаешь?

Сеня пожал плечами.

— А ты чего стоишь тут?

— Уже пошел, все.

Грустный грустно шагал серединой улицы — большой, солидный. Круглая большая голова его сияла на солнце.

Сеня догнал его.

— Разволновался? — спросил он.

— Заелся ваш секретарь-то, — сказал грустный, глядя перед собой. — Заелся.

— Он зашился, а не заелся. Погода вот-вот испортится, а хлеб еще весь на полях. Трудно.

— Всем трудно, — сказал грустный. — У вас чайная где?

— Вот, рядом.

— Заелся, заелся ваш секретарь, — еще раз сказал грустный. — Трудно, конечно, такая власть в руках — редко кто не заестся.

— Ты из города?

— Да.

— У тебя там на авторемонтном никого знакомого нету?

— А что?

— Пару валов надо...

— Волов?

— Валов. Коленчатых.

Грустный человек грустно посмеялся.

— Мне послышалось: волов. Надо подумать.

— Подумай, а?

Подошли тем временем к чайной. Вошли в зал. Грустный сказал:

— Сейчас... Сделаем небольшой забег — что-нибудь сообразим.

— Какой забег?

— В ширину.

Сеня не понял. Грустный опять посмеялся.

— Ну, выпьем по сто пятьдесят... Выражение такое есть, — он грузно опустился на стул, портфель поставил на стол. — Садись.

— Слушай, тут же нет по сто пятьдесят.

— Как?

— Не продают.

— Тьфу!.. Демократия!

— Красного можно.

— Ну, возьми хоть красного. На деньги.

Сеня принес бутылку вина, стакан.

— А себе стакан?

— Мы же в город поедем. На мотоцикле же. Как я поведу-то?

— А, валы-то... — грустный налил полный стакан, выпил, перекосился. — Ну и гадость!.. Чего только не наделают, — налил еще полстакана и еще выпил. — От так.

Закурили.

— Валы, говоришь?
— Валы.
— Прямо хоть караул кричи?
— Точно. Погода стоит...
— Мне бы ваши заботы... А на кой они тебе сдались, эти валы?
— Я же тебе объяснял: полетел...
— Нет, я про тебя говорю. Машина-то чья?
— Моя.
— Личная?
— Какая личная!..
— А, государственная?
— Ну.
— А почему тебе жарко?
— Так я же на ней работаю!
— А ты не работай. Нет валов — загорай. У них же все есть — пусть достанут. Они же самые богатые в мире. Они, вообще, самые свободолюбивые. Законов понаписали — во! — грустный показал рукой высоко над полом. — А все без толку. Что хотят, то делают.
Сеня оглянулся в зал.
— Чего ты орешь-то?
— Братство! Равенство!.. — грустного неудержимо повело. Он еще выпил полстакана. — Они на «Волгах» разъезжают, а мы вкалываем — равенство.
Сене было нехорошо. Он не знал, что делать.
— Брось ты, слушай, чего ты развякался-то? Поедем за валами.
— Вот им, а не валы! Пусть они на своих законах ездят. Я им покажу валы... — грустный вылил остатки в стакан, выпил. — Пусть они — петушком, петушком... Пошли их к...
— Да мне нужны валы-то, мне-е! — Сеня для убедительности постучал себя пальцем в грудь.
— Вот им — принципиально! — грустный показал фигу.
— Значит, не поедем?
— Нема дурных, как говорил...
— Что же ты мне, гад, голову морочил? Я счас возьму бутылку, как дам по твоей люстре, чтоб ты у меня рабочее время не отнимал. Трепач.
— Потише, молодой человек. Сопляк. Разговаривать научились! Еще гадом обзывается... Я тебе найду место. На-

до честно работать, а не махинациями заниматься! — грустный явно хотел привлечь внимание тех немногих посетителей, которые были в зале. — А я на махинации не пойду!

Сеня оглянулся — никого знакомых мужиков не было. А одному такую глыбу не свалить. Это, видно, понял и грустный, и это его приободрило.

— Щенок еще, а уже махинациями занимаешься! Химичишь уже... Я вот отведу сейчас в одно место, там тебе покажут валы.

— Вот сука! — удивился Сеня. И хотел было уже идти. И увидел, как в чайную вошел Микола... Повернулся к грустному и коротко и властно скомандовал: — Встать!

Теперь удивился грустный. Маленькие его глаза вовсе сошлись у переносья.

— Что-о?..

— Микола! — позвал Сеня. — Иди-ка сюда, тут твои поршня́ требуются.

Огромный, грязный Микола пошел к столику...

Грустный трухнул.

— Чего? — спросил Микола.

— Шпион, — показал Сеня на грустного. — Счас мы его ловить будем. Встать!

— Брось дурить-то...

— Микола, ты бери портфель — там факты лежат, — а я буду его окружать, — Сеня двинулся «окружать».

Грустный взял портфель и пошел из чайной.

— Хулиганье, черти.

Сеня провожал его до двери. У двери дал ему хромой ногой пинка под зад.

— От-тюшеньки мои!

Грустный оглянулся во гневе...

— От так!.. по мягкой по твоей! — Сеня еще разок достал грустного. — Микола, иди, тут с моей ногой ничего не сделаешь — она у него как перина. Тут кувалду надо...

Грустный плюнул и ушел от греха подальше.

Все сидевшие в зале с интересом и любопытством наблюдали за этой сценой.

Сеня вернулся к столику, где стоял Микола.

— Ты чо делаешь-то? С ума, что ли, сошел?

— Посулил гад такой вал достать, а сам обманул.

— Какой вал?

— Коленчатый. У нас вал полетел, а запасного нету. У вас нету?

— Что ты!..

— Хоть матушку-репку пой. К Макару, что ли, еще съездить...

— А что это за человек-то был?

— А хрен его знает.

— Так он же тебя счас посадит.

— Не посадит. А в «Заре» нет запасных, не знаешь?

— Ты лучше иди отсюда, он счас с милиционером придет.

Сеня посмотрел в окно, потом на Миколу.

— Да? Вообще-то лучше, конечно, без приключений... — и Сеня скоренько похромал из чайной.

Микола подошел к стойке, посмотрел меню... Задумался, посмотрел в окно и тоже пошел из чайной.

— Еще в свидетели счас запишут, — сказал он буфетчице на прощание.

...Только к вечеру Сеня добыл вал. Но теперь у него стал мотоцикл. Сеня, грязный по уши, копался в нем.

...Микола издалека узнал знакомую маленькую фигурку на дороге. Подъехал, остановился.

— Чего у тебя?

— Прокладку пробило... Зараза. Весь изматерился.

Микола подошел, тоже склонился к мотоциклу.

— Вроде сделаю, начну заводить — чихает пару раз и глохнет.

Микола внимательно исследовал неполадку... Покачал головой.

— Надо новую.

— Надо... Курево есть?

— Есть.

— Давай перекурим это дело.

Микола, вынимая из кармана папиросы, увидел коленчатый вал.

— Достал?

— Достал. Новенький. Если теперь кто сунется еще раз к моей машине, стрелять буду.

— А где достал?

— Тайна, папаша, покрытая мраком.

— Трепло.

— Там больше все равно нету.

...Сидели, курили.

Мимо, по тракту, шли и шли машины, груженные хлебом. Навстречу ехали пустые. А когда машин не было, слышно было, как в сухом теплом воздухе стрекочут кузнечики и заливаются вверху невидимые жаворонки.

Поле за трактом было уже убрано; земля отдыхала от гула машин и тучной ноши своей — хлеба. Только одинокие свежие скирды соломы золотились под солнцем.

Парни смотрели вдаль, думая каждый о своем.

— По двадцать семь на круг выходит, — сказал Микола. — Такой — даже у нас редко бывал.

Сеня взял с земли какой-то плоский предмет, обернутый тряпкой... Развернул тряпку, показал — патефонная пластинка.

— В районе купил, — Сеня прищурил глаза, прочитал: — Рада Волшанинова. «Уйди». «Когда душа полна» — в скобках. Нет, вот эта: «Не уезжай ты, мой голубчик». Тоже Рада. Братке везу, пусть послушает. Тонкий намек...

Микола глянул на Сеню... Поднялся, задавил каблуком окурок.

— Нужны ему твои... голубчики, как собаке пятая нога.

— Ничего говорить не буду, заведу молчком и сяду. Вот поет, слушай... Я давеча в раймаге чуть не заплакал. Давай забросим к тебе мотоцикл, а то я тут ночевать буду. Бери его... — Сеня завернул пластинку, взял коленчатый вал и понес в кабину.

Микола повел мотоцикл к задку кузова.

Вместе забросили мотоцикл в кузов.

Поехали.

Сеня положил пластинку в багажничек. Вал держал в руках, как ребенка.

Некоторое время молчали.

Иван курил, сидя на кровати.

Валя подошла к нему.

— Встань-ка, я застелю.

Иван поднялся... Оказались друг против друга. Близко. Иван засмотрелся в ее чистые, чуть строгие от смущения глаза...

— Сватать меня вчера приходили, — тихо сказала Валя.

Иван молчал.

— Что же не спросишь — кто?

— Я догадываюсь.

— Ну? — требовательно и нетерпеливо спросила она.

— Что?

— Что же не спросишь, чем кончилось-то? Сватовство-то.

— Я знаю.

— Господи!.. Все-то он знает. Какой ведь еще... Чем?

— Отказом.

— Отказом... Легко сказать: мне их жалко обоих. Сеньку даже жальчее.

Помолчали.

— Почему ж ты молчишь-то как каменный?

— Потому что мне тоже жалко.

— А меня так вот никому не жалко!.. Или ты это — из жалости?

Иван повернул ее лицом к себе.

Валя быстро смахнула ладошкой слезу.

— Господи... так скоро и такой дорогой стал, — Валя сняла у него с подбородка табачинку, прижалась горячей ладошкой к заросшей щеке, погладила. — Колючий...

Иван обнял ее, прижал к груди. Долго стояли так.

— Валя, Валя... Мне кажется, я сумку отнимаю у нищего на дороге.

— Ты про Сеню?

— Про Сеню и про...

— Ну а что же мне-то делать, Ваня, голубчик? Мне ведь тоже любить охота. Кто же любить не хочет?

— Все хотят, — согласился Иван.

— Если бы я пожила-пожила да снова родилась — тогда можно и так как-нибудь. А снова-то не родишься.

— Тоже верно. Все понимаешь.

— Господи, я вообще все понимаю! Мне, дуре, надо было мужиком родиться, а я вот...

— Не жалей.

— Как не жалеть! Были бы у нас права одинаковые с вами, а то...

— Что?

— Вам все можно, а наше дело — сиди скромничай.

— Что — «все»-то?

— Да все! Захотел парень подойти к девке — подходит. Захотел жениться — идет сватает. А тут сиди выжидай...

Иван крепко поцеловал ее.

— Чего глаза-то закрыла?

— Совестно... И хорошо. Как с обрыва шагнула: думала — разобьюсь, а взяла — полетела. Как сон какой...

Иван поцеловал ее в закрытые глаза.

— Теперь смотри...

Когда он ее целовал, вошел Сеня... Мгновение стоял, пораженный увиденным, потом повернулся и хотел выйти незамеченным. Но споткнулся о порог... В этот момент его увидел Иван. Валя ничего не видела, не слышала. Открыла глаза, счастливая, и ее удивило, как изменился в лице Иван.

— Ты что?

Иван прижал ее, погладил по голове.

— Ничего. Ничего.

— Ты как-то изменился...

— Ничего, ничего. Так.

Сеня загремел в сенях, закашлял.

— Сеня идет.

Валя отошла к столу, принялась готовить.

— Как раз к ухе-то. Он ее любит. Сейчас — страда, некогда, а то все время на речке пропадает.

Вошел Сеня. Улыбчивый.

— Привет!

— Здравствуй, Сеня! Как раз ты к ухе своей любимой подоспел.

— Так я ведь... Где только не подоспею! — Сеня мельком глянул на Ивана, проверяя: видел тот его, как он выходил из избы? Иван ничем себя не выдал — сидел как всегда спокойный. Он боролся с собой как мог — горько было. — Ходил удить?

— Посидел маленько. Плохо клюет.

— Э-э, это уметь надо! Мы вот с дядей Емельяном всегда ходим и сидим на одном месте — он нарочно подсаживает-

ся... И что ты думаешь? Я не успеваю дергать, а он только матерится. А я и сам не знаю, как у меня получается. Иной раз и не хочешь, а смотришь — клюет.

Иван кивнул головой, поддакнул:

— Бывает. Что это у тебя?

Сеня положил пластинку, достал патефон, завел.

— Ты чего это, Сень? — спросила Валя.

— Пластинку одну купил... Услышал давеча в раймаге — поглянулось...

Иван, когда Сеня суетился с патефоном, смотрел на него. И ему нелегко было. Только Вале было легко и хорошо.

— Какую пластинку-то?

— Вот... слушай.

Не уезжай ты, мой голубчик,
Печально жить мне без тебя;
Дай на прощанье обещанье:
Что не забудешь ты меня.

Цыганистый с надрывом голос больно ударил по трем потревоженным сердцам. Трое, притихнув, внимательно слушали.

Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня.
Что любишь меня.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь ты меня... —

стонал, молил голос.

Сеня, пытаясь унять боль и волнение, хмурился, шваркал носом. Ни на кого не смотрел.

Валя повлажневшими глазами открыто смотрела на Ивана.

Иван курил, тоже слегка хмурился, смотрел вниз как виноватый.

Когда порой тебя не вижу,
Грустна, задумчива сижу;
Когда речей твоих не слышу,
Мне кажется, — я не живу.

Слушают...

Сеня...

Иван...

Валя...

Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня.
Что любишь меня.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь ты меня.

«Она» допела... Сене невмоготу было оставаться здесь еще. Он вскочил, глянул на часы...

— Я ж опаздываю! Елкина мать, у меня же дел полно еще!

— Уху-то, — сказала Валя.

— Не хочу, — сказал на ходу Сеня и вышел не оглянувшись.

— Хорошая песня, — похвалила Валя. — Душевная.

Иван встал с места, принялся ходить по избе.

— Сенька все видел.

Валя резко обернулась к нему... Ждала, что он еще скажет.

— Ну? Что дальше?

— Все. Отнял все-таки сумку-то... Встретил на дороге и отнял. Среди бела дня.

— Так... — Валя села на стул, положила руки на колени. — Жалко?

— Жалко.

— Что же теперь делать-то? Ограбил нищих — ни стыда, ни совести, теперь хватай меня, догоняй этих нищих и отдавай обратно, — Валя насмешливо и недобро прищурила глаза. — А как же?

Иван остановился перед ней. Тоже резковато заговорил:

— А усмешка вот эта... она ни к чему! Больно мне, ты можешь понять?

— Нет, не могу Ты куда приехал-то? К нищим, к темным... И хочешь, чтоб его тут понимали. Не поймем мы.

— Ну, и к черту все! — Иван обозлился, — И нечего толковать. Вас, я вижу не тронь здесь: «Мы темные, такие-сякие»...

— Да не мы, а ты нас сюда жалеть-то приехал, болеть за нас.

— Значит, уехать надо!

— Уезжай, правильно. А то мы тут с жалобами полезли со всех сторон... с любовью. Обрадовались.

— Перестань так говорить! — резко сказал Иван. — Если не понимаешь, слушай, что другие говорят.

— Вот теперь понятно, — Валя встала, подошла к рукомойнику сполоснула руки, вытерла их... И вышла.

Иван сел к столу, склонился на руки... Болезненно сморщился, скрипнул зубами.

— Ммх...

Встал, начал ходить.

Сеня пришел на берег родной своей бурной реки.

Река здесь врывалась в теснину, кипела, катила крутую волну. Купались в ней редко — холодно и опасно.

Неподалеку от деревни находился санаторий — белел издали поместьем.

Дул ветерок, похоже, нагоняло дождя. Река была вовсе неприветлива...

На берегу собрались туристы, отдыхающие... Смотрели на реку, бросали ей в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность:

— Смотри, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает.

— Да.

— Простите, сэр, — это велосипед.

— Почему?

— Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

— Я думал не о законе как таковом, а о том, что это... похоже на людей.

— ??

— Сильные идут дальше. В результате: в шторм... в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные — кто дальше отгребется.

— Это слишком умно...

— Это слишком неверно, чтобы быть умным.

— Почему?

— Вопрос: как оказаться подальше от берега?

— Я же и говорю: наиболее сильные...

— А может быть так: наиболее хитрые?

— Это другое дело. Возможно...

— Ничего не другое. Есть задача: как выжить в житейский шторм? И есть решение ее: выживают наиболее «легкие» — любой ценой. Можно за баркас зацепиться...

— Это по чьему-то опыту, что ли?

— По опыту сильных.

— Я имел в виду другую силу — настоящую.

— Важен результат...

В этот момент Сеня появился на берегу.

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики. — Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете...

Сенька даже не посмотрел на очкариков (там была девушка среди них, Сеня на них на всех обиделся). Снял рубаху, штаны... Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень, сделал несколько приседаний и похромал волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у девушки (девушка еще и в штанах, черт бы их побрал с этими штанами. Моду взяли!).

— Здешний, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Сенька взмахнул руками, крикнул:

— Эх, роднуля! — и нырнул в «набежавшую волну». И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй, слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна:

— Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк, — сказали на берегу. — Все нипочем.

— Верных семьдесят шесть градусов.

— ...авай! — орал Сеня. — Роднуля!

Но тут «роднуля» подмахнула высокую крутую волну... Сеня хлебнул раз, другой, закашлялся... А «роднуля» все накатывала, все била наглеца. Сеня закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. «Роднуля» била и била его холодными мягкими лапами, толкала вглубь...

— ...сы-ы! — донеслось на берег. — Тру-у-сы спали-и!.. Тону!

Очкарики заволновались.

— Он серьезно, что ли?

— Он же тонет, ребята!

— Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

— Да серьезно, какого черта!..

— ...у-у, — орал Сенька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул... Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал.

— Лодку! Лодку!.. — забегали на берегу. — Эй, держись! Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел:

— Она примкнута к коряге.

— Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз...

— Ребята, ну что же вы?! — чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Сеньки поплавком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась... И руками он теперь взмахивал реже.

— Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погреб к Сеньке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

— Эй, держись! Держи-ись! — кричала девушка и махала зачем-то руками. — Ребята, они успеют?

— Успеют.

— Вот фраер-то!..

— Зачем он полез-то!

— Семьдесят шесть градусов, Николай верно говорил.

— Трепач-то!.. Хоть бы успели.

— Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?

— Ребята, успеют или нет? Где он, ребята!?

Ребята только-только успели: поймали Сеню за волосы и погребли к берегу.

Сеня наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих; подложили Сене под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Сениными руками, давили на живот... Сеня был без трусов, девушка издали спрашивала, отвернувшись от компании:

— Ребята, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Сеней, захихикали.

— Ирочка, без трусов не считается.

— Как не считается?

— Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.

— Ира, иди подержи голову.

— Да ну, какие-то!..

Сеня стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал... Потом его стало рвать водой и корежить. Рвало долго. Сеня устал. Закрыл глаза. Потом вдруг — то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов, — вскочил, схватился... там, где носят трусы... Очкарики засмеялись. Сеня — бегом по камням, прикрывая руками стыд, — добежал к своей одежде, схватил, еще три-четыре прыжка — и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

— Вот теперь и выпить полагается!

— Зря он сбежал! — сокрушались. — Лютенко нахмурится: «В честь чего выпивка?» — «Спасли утопающего». Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

— Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

Сеня между тем пришел в магазин. Продавщица была молодая. Сеня оглянулся, спросил продавщицу негромко:

— Здесь бумажник никто не находил?

— Какой бумажник?

— Кожаный... в нем пятнадцать отделений.

— Твой, что ли?

— Не имеет значения. Никто не поднимал?

— Нет. А что там было?

— Деньги.

— Твои, что ли?

— Не имеет значения.

— Много денег?

— Три тысячи.

— Новых?!

— Новых... Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что Сеня ее разыгрывает.

— Господи!.. Сенька, заикой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видел такие деньги?

Сеня криво улыбнулся.

— Хочешь, я тебе сейчас... Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку, — Сеню всего трясло — замерз.

— Чего «я сейчас»?

— Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

— Женился бы ты, чудак-человек, — с искренним сочувствием сказала продавщица. — Женишься — заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало...

— Ладно, ладно, — сказал Сеня, не попадая зуб на зуб. Еще раз предупредил продавщицу: — Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать — ты ничего не знаешь, чьи они.

— Ладно, Сеня, не скажу. Только ведь не отдадут.

— Как?

— А то не знаешь — как? Найдут и промолчат. Три тыщи — это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоют, и все.

— На всякий случай: ты ничего не знаешь. Они — фальшивые.

...Пришел Сеня поздно. Заметно выпивши.

— А где... она?

— Что ж ты один? Прихватил бы сюда — вместе бы выпили.

— ...А она ушла?

— Ушла.

— Почему? Почему она ушла?

— Завтра поеду.

— Почему?

— Ты что, так уж пьян, что ли? Заладил, как попугай: «Почему? Почему?» Когда-никогда надо ехать.

— Надо?

— Тьфу!..

— Не сердись, братка. Правда, маленько выпил. Но ведь... ладно. Теперь слушай меня: не торопись. Поживи еще маленько... Никуда твой город не денется.

— Не могу.

— Можешь. Я знаю, почему ты заторопился. Ну, вот слушай: женись на ней. Если у тебя такие дела с семьей — женись. Лучше ее тебе нигде не найти. Это я тебе не пьяный говорю. Я для того и выпил, чтобы сказать. Если смущает,

что я тут со своей... с этой... с любовью, то не обращай внимания. Я тут пришей-пристебай, никогда она за меня не пойдет, мы все это прекрасно понимаем. А и пойдет, то что я с ней буду делать, с такой? За тебя пойдет. Кладу голову на отсечение: лучше ее ни в жизнь не найти. Ваня, братка, я рад буду: женись на ней. Живите здесь. Я найду себе!.. Их тут навалом. Дом поставишь, семья будет... Ты же крестьянин, Ваня, как ты можешь так легко уехать? Тут не Мамай прошел... Тут твои руки нужны, голова твоя умная. Разве ты не понимаешь? Ты привык там, я знаю... Отвыкни. Трудно же без вас, черти! Мы справимся, урожай уберем, все сделаем... не то делали, — Сеня крепко зажмурился, тряхнул головой. — Не в этом дело. Вот ты говоришь: «Пусто». А что, мы не видим, что ли? Что, нам неохота, чтоб тут народу кишмя-кишело, чтоб гармошки орали по ночам, девки пели, чтоб праздники были, гуляли бы, на покос собирались? Помнишь, говоришь, покос-то? — Сеня помолчал. — Тоже люблю... Ребятишек бы своих косить учили. Помнишь, отец учил: «На пятку жми, сукин сын!» А про меня ты не думай, не жалей меня. Жалеть будешь — мне обидно станет. Это мне тебя жалко, но я молчал. А сейчас — раз уж пошел такой разговор — говорю: жалко и удивительно. Как только у тебя сердце терпит? Эхх, — вздохнул Сеня, — братка милый мой...

— А знаешь, какой дом можно сделать? — сказал вдруг Иван. — Двухэтажный. Сейчас мода — двухэтажные. Красиво, я видел. Мне один раз даже во сне такой приснился...

— Да зачем он, поди, двухэтажный-то?

— Да что ты?! — заволновался Иван. — Знаешь, как удобно! Вот, смотри как: низ — как обычный пятистенок, так? Но кладовка и сенцы не пристраиваются, а — в срубе. Так?

— А крыша как? Флигелем?

— Нет, кругом. Теперь смотри: на втором этаже — где кладовка и сенцы — пойдет веранда. Причем ее можно пропустить и с торца — под окнами, балкон такой...

— А крышу — свесить, — подхватил Сеня. — А?

— Но!

Сеня снялся с места и заходил по избе.

— Знаешь, где его можно поставить? На берегу, где Змеиный лужок-то выходит... Где кузня-то была! Знаешь?

— Знаю.

— А баню прямо на берегу поставить...

— А с кручи спустить трос...

— Для чего?

— Воду доставать. Ворот, колесо какое-нибудь — и мотай.

— Да там и принести не так уж высоко.

— Да на кой черт носить, если можно приспособление сделать?

— Ну да, — согласился Сеня. — А то жена беременная будет, ей тяжело будет.

При упоминании о «жене» оба как бы спохватились, замялись. Помолчали малость и выправились.

— Еще я бы полати сделал в избе, — сказал Сеня. — Черт ее знает что — люблю полати!

— Помнишь, как мы на полатях спали?

— Помню. Но полати — это... Ну, можно и полати. А что баню — на самом обрыве, — это хорошо.

— Как хорошо-то! Я люблю, когда моешься, чтоб из окошечка далеко видно было. А еще лучше, когда в окошечке видно, как солнышко закатывается...

— А дома самовар стоит.

— А жена выйдет на крыльцо: «Сенька, ты ничего там?»

— Помнишь, мама все выходила: «Ванька, вы ничего там? Не угорели?!»Эх, братка...

— Вот пойди такая жизнь, я согласный по пятнадцать часов в день работать — и ни разу не пожалуюсь. А в субботу — под воскресенье — поплыли бы лучить. Ох, я знаю одно место-о! В субботу завестись пораньше да хорошего смолья успеть заготовить — хоть до утра рыбачь...

— Любишь лучить?

— Нет, я лучше с удочкой уважаю.

— Верно, я тоже больше с удочкой люблю. Культурней как-то. Хошь, книжку возьми, возьми одеяло, раскинь на бережку — так поваляйся, благодать. А детишки пойдут! Детишек с собой взять.

Иван качнул головой. И задумался.

Сеня, чтоб не спугнуть его хорошие думы, чтобы его так и оставить с этими думами, поспешно сказал:

— Давай-ка соснем пока, братка. Верно говорят: утро вечера мудренее.

— Пойдем на сеновал спать, — предложил Иван.

— Пошли, — охотно согласился младший брат.

Они вынесли одеяла, подушки и устроились спать на сеновале в сарае.

Только оба долго не могли заснуть — глядели сквозь щели сарая в большую лунную ночь. Молчали.

Утром, чуть свет, когда Сеня еще спал, Иван осторожно поднялся... Осторожно прокрался по сараю...

Вошел в избу.

Достал из-под кровати свой маленький чемоданишко, с каким приехал... Открыл его: там кое-какие подарки, которые он привез отцу и Сене, — пара рубах, зажигалка Сене, шарфик какой-то... Иван все это выложил на кровать, взял чемодан, постоял с ним...

Присел перед дорогой на кровать, посидел, встал и пошел.

И вышел из избы.

Оглянулся на сарай, на избу...

И решительно пошагал прочь.

На улицах деревни никого не было.

Только из ограды Ковалевых вышел отец Вали... Иван, увидев его, хотел было свернуть в переулок, но уже поздно было.

Поздоровались.

— Поехал? — спросил старик.

— Надо, — ответил Иван.

— Закури на дорожку, — предложил старик. — Подмешал вчера доннику в табак — ничо, скусный стал.

Закурили.

— Тут машины ходят счас?

— Машин полно, — сказал старик. — Хлеб круглые сутки возют. Все на вокзал едут.

Постояли. Говорить больше не о чем было.

— Ну, счастливо доехать тебе, — молвил старик.

— До свиданья, — сказал Иван.

И разошлись.

Иван удалялся по улице. Потом свернул с улицы в сторону большака. И пропал из виду.

ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ...

В небольшом русском городке, где-то на окраине, где дальше — за пустырем — виден уже и лес и не дымят трубы, в аккуратном домике из трех комнат жила женщина. Звали женщину красиво — Агриппина, Агриппина Игнатьевна Веселова, попросту — Груша. Было ей тридцать четыре года, и были у нее сын Витька двенадцати лет да брат Николай Игнатьевич, главный бухгалтер пригородного совхоза, да где-то был муж... С мужем они разошлись три года назад: тот взял в подруги... бутылку, и та подруга белоголовая завлекла его куда-то далеко, даже и не слышно было, где он.

Брат Николай приезжал по воскресеньям к сестре и племяннику, старался как-нибудь им помочь, продукты привозил, деньжонок иногда.

И один раз, в воскресенье, приехал он с важным каким-то делом... Но пока дело это не выкладывал, а как обычно, они с Витькиной матерью воспитывали Витьку.

— Ну сладу нет — не слушается, и все, — жаловалась мать. — Совсем парень выпрягся...

— Что же это ты, Витька? — гудел большой дядя Николай, постукивая толстыми прокуренными пальцами по клеенке. — Не годится так, не годится. А что же дальше-то будет, если ты уже счас... черт-те чего вытворяешь? Ведь матери-то одной трудно с тобой, как ты это не поймешь!..

— Ни дьявола не понимает! На днях чего удумал: взял да соседской свинье глаз выбил...

— Глаз? — удивился дядя Николай.

— Но! Ветеринар, сосед-то... ладно, мужик добрый — не пошел никуда жаловаться. А то было бы дело!

— Зачем же ты ей глаз-то выбил? — спросил дядя.

Лобастый Витька сидел тут же, за столом, делал вид, что усердно читает книгу. Молчал.

— Витьк!

— Ну?

— Зачем глаз-то свинье выбил?

— Я нечаянно, — буркнул Витька.

— «Нечаянно»! — воскликнула мать. — Знаю я, как нечаянно... Нечаянно, — и повернулась к брату — рассказать: — Я его все в пример ставлю, ветеринара-то: выучился человек, теперь живет-поживает, в доме-то только живой воды, наверно, нет... Бери, мол, пример — приглядывайся. А он его и невзлюбил...

— При чем же тут животное, если тебе человек не поглянулся? Витьк!

— Ну?

— Разве можно такие вещи делать?! Ты что, живодер, что ли?

Витька молчал.

— Папа родимый — набычится, и не сдвинешь с места, — заключил дядя Николай. Помолчал. Спросил сестру: — Где он счас? Не слышно?

— «Где»! — горько воскликнула мать. — У него дорог много, и все — веселые.

— Алименты-то шлет?

— Шлет.

— Эх, Витька, Витька... — вздохнул дядя Николай. — Что ж ты так живешь-то? А?

Витька молчал.

— Витьк!

— Ну?

— Чего молчишь?

— Я читаю.

— Что ты мне очки втираешь! — осердился дядя Николай. — Читает он!.. — потянулся, взял у Витьки книгу. — Что ты читаешь? То ж — задачник! Кто же так задачник читает... как художественную литературу. Менделеев мне нашелся!

— Вот так он меня все время обманывает, — сказала мать. — Спросишь: Витька, выучил уроки? Выучил! А где

выучил, где выучил — никого не выучил, одна улица на уме...

— Ты эту улицу брось, Витька, — резонно стал убеждать дядя Николай. — Она до добра не доведет. Хватишься потом, да поздно будет. Вот он, близко будет, локоть-то, да не укусишь. Улица от тебя не убежит, а время уйдет, не воротишь. Ты лучше возьми да уроки хорошенько выучи, чем... глаза-то свиньям вышибать. Чем выбил-то, камнем, что ли?

Витька водил пальцем по синим клеточкам клеенки. На вопрос только неопределенно поморщился и пожал плечами.

Дядя помолчал и спросил совсем другим тоном — мирно, несколько удивленно:

— Так что, здесь тоже свиней держут?

— Держут, — откликнулась мать. — А чего? Мужик-то в доме, так и держут. Зато всю зиму без горюшка — с мясом. Мужик-то есть, чего не держать?

— Витька, — повернулся дядя к Витьке, — иди учи уроки в ту комнату, мне надо с матерью поговорить.

Витька незаметно с облегчением вздохнул и ушел в другую комнату. Накачка кончилась.

— Я вот о чем с тобой, — заговорил Николай негромко. И посмотрел на часы. — Помнишь, я тебе говорил про мужика-то?..

— Ну, помню.

— Это... видал я его в пятницу, говорил с ним...

Груша насторожилась. Заинтересовалась.

— Ну?

— Он придет сегодня... — Николай опять глянул на часы, — через десять минут.

— Батюшки! — испугалась Груша. — Чего же ты молчишь-то сидишь? Надо же хоть маленько прибраться, что ли?..

— А что у тебя?.. Нормально и так.

Груша вскочила было, но оглянула комнату и села опять.

— Так ты расскажи про него... Что хоть за человек-то? Ты откуда его знаешь-то?

— Учился с ним на курсах бухгалтеров вместе...

— Так это когда было-то!

— Давненько. А тут встретил его: я в банк приехал, и он туда же пришел. Ну, разговорились... Ну — как, мол, жи-

вешь? То, се... Одинокий он счас — разошлись тоже, двое детей было...

— А чего разошлись-то?

— Пил тоже...

— Вот те на! Так это что же мне, шило на мыло менять?

— Да погоди ты! Пил, счас не пьет — лечился, что ли, или так бросил, не спрашивал. Но твердо знаю, что счас не пьет. Хороший мужик. Я рассказал про тебя: вот, есть, мол, сестра — одинокая тоже, парнишка в пятом классе... Приду, говорит. Посмотри, может, что и выйдет у вас. Чего же одна будешь с этих лет...

Через приоткрытую дверь в горницу Витька слышал весь разговор. Навострил уши.

— Страшно, Коля, — говорила мать. — С одним всадилась до ушей... Но тогда хоть молодая была — простительно, а теперь-то — это уж глупость будет несусветная. Сама себя исклянешь...

— А не торопись, никто тебя силком не гонит, — отвечал на это Николай. — Присмотрись сперва... Да и он, думаю, тоже не кинется сломя голову. Алименты только с него здоровые дерут...

— Да это-то... черт бы его бей, с алиментами, они все нынче с алиментами. И я-то ведь не девка. Был бы человек хороший. Не зряшный какой...

— Да нет, он так-то ничего вроде. Вон он идет! Особо не суетись — тоже не в поле обсевок. Но и... это... не строй из себя... Нормально, как всегда...

— Да уж как-нибудь сумею. А семья-то его где, здесь живет?

Николай не успел ответить. В дверь снаружи постучали.

— Ну? — кивком показал на дверь Николай — откликнись, мол.

Груша чего-то растерялась...

Помолчали и вместе сказали:

— Да!

— Войдите!

Вошел носатый, серьезный, преуспевающий на вид человек лет этак сорока трех — сорока пяти. В добром, сталистого цвета плаще, при шляпе и при большом желтом портфеле. Маленькими глазами сразу с любопытством воткнулся в женщину... Но смотрел ровно столько, сколько позволило первое приличие.

— Ну вот, не заблудился, — сказал он. — Здравствуйте.
Николай поднялся ему навстречу.

Поздоровались за руку.

— Сестра моя... Груша — знакомьтесь, — представил Николай.

Груша, по-молодому еще стройная, ладная, тоже поднялась, подала руку.

— Владимир Николаевич, — назвался гость.

— Груша.

— Груша — это... Графена?

— Агриппина, — сказал Николай. — Это родители наши верующие были, ну, крестили, конечно... Хорошо, я под Миколу-Угодника угодил, а то был бы тоже какой-нибудь... Евлампий. — Николай мелко, насильственно посмеялся. — У нас был в деревне один Евлампий...

— Он потом переменил имя, — сказала Груша.

— Да, потом, правда, променял на... забыл, кто он стал-то?

— Владимир.

— Тезки, значит, — Владимир Николаевич тоже искусственно посмеялся.

— Садитесь, — пригласила Груша.

— Спасибо. Я бы разделся...

— О господи! — спохватилась Груша. И покраснела. — Раздевайтесь, пожалуйста!

Она была еще хороша, Груша. Особенно заметно стало это, когда она суетилась и на тугие скулки ее набежал румянец, и глаза, широко расставленные, простодушно, искренне засмеялись.

Владимир Николаевич опять ненароком прицелился к ней мелким, острым взглядом.

— Витька! — громко позвал дядя Коля. — Иди-ка сюда.

Вошел Витька.

— Познакомься с... дядей Володей, — сказал дядя Коля.
Витька стоял и смотрел на носатого дядю Володю.

— Ну, герой!.. — добренько сказал дядя Володя. И поискал в карманах у себя... — На-ка — пиратом будешь, — подал простенький пистолетишко, который даже и без пистонов был, а просто — чакал.

Витька не смог сдержать снисходительную ухмылку. Чакнул пару раз...

— Это — для первачей только.

Матери стало неловко, что сын у нее такой неблагодарный. Она опять покраснела.

— Ну, Витька!.. — сказала она. И засмеялась, и опять доверчиво и ясно засмеялись ее глаза.

— Ну, дядя Володя тебя еще не видел, не знал, что ты такой большой, — пришел на выручку дядя Коля. — В следующий раз принесет... А что тебе, пушку, что ли, надо?! Какой!

— Садитесь, Владимир Николаевич, — пригласила мать.

Владимир Николаевич прихватил портфель и прошел с ним к столу. Присел, портфель поставил возле ног.

— Тепло как на улице-то, — сказал он. — Все же — сентябрь месяц, должно уже чувствоваться...

— Ну что, Витька? — спросил дядя Коля. — Небось на улицу лыжи навострил? Ну, иди, иди, а то там дружки твои заждались.

Витька вопросительно глянул на мать.

— Иди, поиграй, — разрешила мать.

Витька ушел.

Дружков у Витьки было несколько. Но самый задушевный, самый верный и умный, кому Витька подражал во всем почти, был Юрка, девятиклассник, квартирант старика Наума Евстигнеича, что жил по той же улице, через три дома.

У Юрки нелегкое положение. Отца у него нет, погиб на лесоповале, одна мать, а у матери, кроме Юрки, еще трое на руках — мал мала меньше. Мать живет в небольшой деревне, в сорока километрах отсюда, там вот нет десятилетки. Мать бьется из последних сил: хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка и сам хочет окончить школу. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский. Единственный, пред кем Витьке совестно, что он плохо учится, — это Юрка.

Огромный старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — старик аккуратно напивался. И после этого дня по два лежал в лежку.

— Как черти копытьями толкут! — слабо удивлялся старик на печке. — О! О! Что делают!..

Юрка учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка, — возвестил старик. — Все.

— Не надо было напиваться, — жестко сказал Юрка: старик мешал ему.

— Молодой ишо рассуждать про это — надо, не надо. Шибко уж много вы нынче знаете!

Юрка ниже нагнулся к книге.

— А что же мне делать, если не выпить? — старику охота поговорить: все, может, полегче будет. — Все ученые стали! — старик всерьез недолюбливает Юрку за его страсть к учению. У него свои дети все выучились и разъехались по белому свету, старик остался один и винит в этом только учение. — В собаку кинь — в ученого попадешь.

Юрка молчит. Шевелит губами.

Вошел Витька.

— Здорово, Витька! — сказал старик. — Хвораю.

— Опять? — спросил Витька.

— Вон дружок твой ругает, что выпил... Должен же я хоть раз в месяц отметиться.

— Зачем? — спросил Юрка, откинувшись на спинку стула и подмигнув Витьке на старика. — Зачем напиваться-то?

— Что я, не человек, что ли?

— Хм... — Юрка качнул головой. — Рассуждения, как при крепостном праве. Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — старик смотрит сверху страдальчески и снисходительно. — Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка, а сидит, рассуждает...

Юрка скосоротился и безнадежно махнул рукой.

Витька подсел к нему.

— Как дела? — спросил Юрка негромко.

— Ничего!

— Все знают! — разошелся старик. — Все на свете знают. А чего человек с похмелья хворает, это вы знаете, товарищи ученые?

«Ученые» переглянулись...

— Отравление организма, — отчеканил Юрка. — Отравление сивушным маслом.

— Где масло? В водке?

— Так точно, ваше благородие! — Юрка с Витькой хихикнули.

— Доучились! — старик доволен, что поймал зеленых на явной глупости. — А сыра там нет случаем? Хэх, елки-палки!..

— Хочешь, я тебе формулу покажу? — вскочил Юрка. — Сейчас я тебе наглядно докажу... На! Вот она, формулка...

— Пошел ты со своей формулой! О-ох, опять накатило... О, что делается!

— Ну, похмелись уж тогда, чего мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение.

Витька заговорщически наклонился близко к другу и сказал тихо:

— Денег жалко. На похмелку-то.

Юрка согласно кивнул головой: знаю, мол.

— Я тебе сала маленько принес. В сенцах оставил.

— Дядька приехал?

Витька кивнул.

— Еще какой-то гусь пришел — к маме. Володя какой-то.

— Зачем?

Витька пожал плечами.

— Сватать, что ли... Он прямо не говорит. Пистолет вот подарил.

— Ну-ка? Ой, ну и пистолет!

— Он думал, я еще маленький.

— Витька, отец-то пишет? — спросил старик. — Где он счас?

— Не знаю, — неохотно сказал Витька.

— Помогает вот он вам?

— Не знаю. Помогает.

— Носит нынче людей по белому свету... — сказал старик. — И моих где-то черт носит. Вот оно, ученье-то!

— Радоваться надо, что дети выучились, а он... ворчит, — заметил Юрка.

Старик приподнялся на локте.

— Сколько тебе лет учиться до хирурга?

— Шестнадцать. Десять плюс шесть в медицинском институте.

— Так, — зловеще гнул старик. — А сколько ты будешь получать?

— Не в этом дело...

— Нет, сколько?

— Я не интересуюсь зарплатой.

— А-а — завилял? Зарплатой не интересуется... Видали ухаря? Витька, дай ему там подзатыльник, хвастунишке. Зарплатой они не интересуются!.. Только старикам шиш высылают.

— Что, у тебя денег, что ль, нету?

— Есть. Не про вашу честь.

— Ну и вот.

— Я тебе про другое толкую: на кой шут жилы-то из себя тянуть столько лет? Иди вон на шофера выучись да работай. Они вон по сколь зашибают. Да ишо приворовывают: где лесишко кому подкинет, где угля — деньги. И матери бы помог. У ей ведь трое на руках... Шутка в деле! Кажилится на тебя, кажилится, а ты потом — хвост трубой и завьесся в большой город.

— Не твое дело.

— Знамо, не мое. Я чужой человек, плотишь мне пять рублей — живи на здоровье. Мне матерю твою жалко. Легко, думаешь, ей одной с вами?..

— Проживем! — резко сказал Юрка. — Никому до этого... Нечего! Жили и проживем.

— Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету. Ты ишо кто? — сосунок, а уж по квартирам ошиваешься. Дома родного не знаешь.

— Если дома нет десятилетки, что я теперь?

— Во-от! «Десятилетки», «пятилетки»... Жили раньше без всякого ученья — ничо, бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас только одно на уме — «раньше»!

—А то... ирапла-анов наделали — дерьма-то.

— А тебе больше глянется на телеге?

— А чем плохо на телеге? На телеге-то я если поехал, то хоть знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернесся с этого своего ираплана — костей не соберут.

Юрка махнул рукой.

— Витька, спорь с ним, если охота. Мне надо учить.

— А космос? — значительно спросил Витька старика.

— Что «космос»?

— Космос. Куда наши космонавты лётают...

— Летают, — поправил Юрка.

— Летают, — поправился Витька.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин. Много уже.

— А чего они туда летают? Ну и что, что летают? Что толку-то?

— Во дает! — воскликнул Юрка, опять откинувшись на спинку стула.

— Понял? — сказал Витька. — А что, им лучше на печке лежать?

— Чего вы привязались с этой печкой? — обиделся старик. — Доживите до моих годов, тогда вякайте. Только сперва доживите.

— Я же не в обиду тебе говорю, — продолжал Витька. — Но спрашивать, зачем люди в космос летают, — это, я тебе доложу...

— Доложи, сделай милость. Доложи старику. Я, видишь, не спрашиваю, зачем ты, паршивец, ко мне в сад лазишь — знаю потому что, а в космос — не знаю, доложи, сделай милость.

Витька великодушно пропустил мимо ушей замечание про сад.

— Ну, во-первых: основание космоса — это... надо. Придет время, люди совсем сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры, так? А на Венере, может, тоже люди живут...

— На Марсе, — поправил Юрка.

— Ну, на Марсе. Разве ж не интересно глянуть на их?

— Они такие же, как мы?

Витька оглянулся на Юрку... Юрка пожал плечами.

— Этого я точно не знаю, — честно сказал Витька. — Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся, — сказал старик.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — старик явно заинтересовался Витькиным рассказом. — Незваный гость хуже татарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются.

— Еще неизвестно, кто из нас умнее, — включился в разговор Юрка. — Может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим... — Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. — Мы же еще не знаем, сколь-

ко еще таких планет, похожих на Землю. А их, может, много! И везде живут... существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, что ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! «Жениться»...

— У них одно на уме — жениться, — недовольно заметил Витька.

— Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Вот тогда будет жизнь! Захотел ты, допустим, своих сыновей повидать прямо с печки — пожалуйста: включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Ругайся, если хочешь. А медицина будет такая, что люди будут до ста — ста двадцати лет жить...

— Ну, это уж ты... приврал.

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок. Мы только не располагаем данными... Но мы их возьмем у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс... — Юрка даже слегка кокетничает, изображает из себя какого-то учителя. — Может, мы и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро.

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство...

— «Средство»... Открыли бы лучше какое-нибудь средство от похмелья. А то башка, как...

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали. Юрка опять решительно сел за учебник.

— У вас только одно на языке: «Будет! Будет!» — опять начал старик. — Трепачи. Ты вот — шешнадцать-то лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты сделаешь?

Юрка не намерен больше болтать. Молчит.

— Вырежет ему чего-нибудь, — сказал Витька.

— Да если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?

Витька не знал.

— Я на такие... темные вопросы не отвечаю.

— Нечего отвечать, вот и не отвечаете. Светлые ваши головушки... только мякиной набиты.

— Нечего? — опять вскочил Юрка. — А вот эти люди?.. — сгреб кучу книг и показал. — Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего — вранье одно. У меня на квартире жил один...

— Во дает?! — сказал Витька.

— Ладно! — Юрка опять начал ходить по избе. — Чума раньше была?

— Была. У нас в двадцать...

— Где она теперь? Есть?

— Не приведи, господи! Может будет...

— В том-то и дело, что больше не будет. С ней научились бороться. Дальше! Если бы тебя раньше укусила бешеная собака, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.

— И помер бы. А сейчас — сорок уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас — пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые. «Вранье»... Хоть бы уж помалкивали, если не знаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Ладно. Собака — это ладно. А змея укусит?.. Где они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало пошепчет — и как рукой снимет. А ведь она институтов ваших не кончала.

— Укус был не смертельный, вот и все. Это элементарно.

— Иди подставь. пусть она тебя разок чикнет...

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю — и пусть кусает, сколько влезет, — я только улыбнусь.

— Хвастунишка.

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал на книги. — Люди на себе экспериментировали! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает...

— Как это? — очень заинтересовался старик.

Витька тоже не слышал про это.

— Так. «Вот, говорит, сейчас у меня холодеют ноги — пишите». Они писали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

— А они пишут?

— Они пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали, — у Юрки у самого на глазах показались слезы. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

— Ну?

— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки, А вы с этими вашими бабками еще бы... триста лет в темноте жили. «Раньше было! Раньше было!» Какие-то кулацкие уклоны... Вот так было раньше? — Юра подошел и включил радио. Пела певица. Немного все послушали ее. — Где она? — спросил Юрка.

— Кто?

— Певица-то. Ее же нет здесь, а — поет.

— Так это по провода-ам.

— Это радиоволны! «По провода-ам». По проводам — это у нас здесь. А она, может, где-нибудь в Москве или в Ленинграде поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, видел: вдоль железной дороги провода висят. На столбах. Чего ты мне говоришь-то?

Юрка махнул рукой.

— Тебе не втолковать! Мне надо уроки учить. Все.

— Ну и учи.

— А вы отрываете, — Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал усердно читать.

Долго в избе было тихо.

— Витька, а ты на кого хочешь учиться? — спросил старик.

Витьку этот вопрос застал врасплох.

— Я пока выбираю, — сказал он.

— На кого он будет учиться! — оторвался от книги Юрка. — У него по арифметике плохо. Не исправил, Витька?

— Не...

— Что ж ты?

— Знаешь, на кого учись? На судью, — посоветовал старик.

— О-о! — удивились ребятишки. — Чего это?

— Люди будут бояться. Скажут: вон, вон — судья идет! Большое дело.

— Тогда уж — на прокурора, — сказал Витька. — Он пострашней.

— Прокурор — это не все понимают, что страшно. А вот судья... это судья. Это уже тюрьмой пахнет.

Еще помолчали.

— Он есть на карточке? — спросил вдруг старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Витьке тоже показал редкостного ученого.

— Старенький уж был, — сказал Евстигнеич жалостливо.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые, — Юрка отнял книгу. — И не валялся потом на печке, не матерился...

— Чего вы взъелись-то на меня?! — вскричал больной старик. — Ты гляди что — житья не дают! Комиссары нашлись... Вам ба по тогдашнему делу — только комиссарами быть. Они тогда молодые были... Такие же вот... молокососы заполошные. Командовали.

Юрка сел опять за учебники, а Витька стал листать книжку с портретами ученых.

— Ох, мать ты моя-а!.. — закряхтел опять старик. И полез с печки. Надел валенки, взял нож и вышел в сени.

— Куда это он? — спросил Витька.

Юрка пожал плечами.

— Ну, и что этот гусь? — спросил Юрка. — Наверно, отцом твоим станет?

Витька уставился на друга, точно до него только сейчас дошел истинный смысл прихода дяди Володи в их дом.

— Отцом? — переспросил он.

— Ну а кем же? Не родным, конечно, но жить-то у вас будет.

Вошел старик... Нес в руке добрый кус сала.

— Нате поешьте... ученые. А то, пока дойдете до своих хирургов-то, — загнетесь.

— Зачем? У меня есть — мне Витька принес...

— Ешьте! «Витька принес»... У Витьки у самого... зад сверкает. Безотцовщина. Ешьте, это доброе сало, не базарное.

— Нам дядя Коля привез из деревни — тоже доброе, — вступился Витька за свое сало.

— В деревне теперь разучились солить. Не разучились, а... не хотят. Тоже все на базар норовят: как попало посо-

лил, лишь бы вид сохранить, — старик опять полез на печку. — Ох, язви тя в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Давай, мы сбегаем за четвертинкой? — еще раз предложил Юрка.

Старик помолчал.

— Не надо, — сказал. — Перемаюсь как-нибудь.

Ребятишки достали хлеб и принялись за сало.

— Ну и как мне его теперь, папкой, что ли, звать? — спросил Витька негромко.

Юрка пожал плечами.

— К нам, когда папка помер, тоже приходил один... я его дядей Сашей звал. Не мог. Я папку-то хорошо помню.

— И я помню.

— Ну и будешь дядей звать... Нечего их наваживать. Старый?

— Старый, — сказал Витька, всерьез озабоченный новым «папкой».

— А у его, что же, родных-то никого не было, что ли? — спросил старик с печки.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были, поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

— Были, конечно. Никого если б не было родных-то, немного надиктуешь. Плохо человеку одному. Не приведи, господи!

...Мать Витькина громко засмеялась.

— Не знаю, — сказала она. — Я так не думаю.

— Уверяю вас! — тоже улыбаясь, воскликнул слегка заалевший Владимир Николаевич.

И дядя Николай тоже слегка заалел... Всем было хорошо, все слегка поразмякли.

— А не спеть ли нам?! — догадался дядя Николай. — А? Эх, Витьки нет, он бы нам счас на баяне подобрал какую-нибудь.

— Хорошо играет? — спросил Владимир Николаевич.

— Мой подарок, — не удержался, похвастал дядя Николай. — На день рождения ему отвалил — пускай учится.

— Люблю музыкальных детей, — сказал Владимир Николаевич.

— Так споем, что ли!

— Какую? — спросила Груша.

— Давай какую-нибудь. Ты у нас песельница.

— Ну, прямо!.. Нашел песельницу.

И вдруг Владимир Николаевич, прикрыв маленькие петушиные глаза, зачастил не шутя, козлом:

Небо, небо, небо, небо-о!..

Хотел-то он всерьез, но так это вышло смешно и нелепо, что Николай и Груша засмеялись. Тогда засмеялся и Владимир Николаич — будто он хотел пошутить.

— Давай, Груша! — попросил опять Николай. — Помнишь, про колечко как-то... Про любовь, про колечко. Ты часто пела...

Груша, справившись со смущением, вскинула голову, как-то простецки-смело глянула на «суженого», усмешливо улыбнулась и негромко, красиво запела:

Что стоишь, качаясь,
То-онкая рябина-а?
Го-оловой склоняясь
До самого тына ..

Брат Николай неожиданно хорошо, в лад поддержал:

...Го-оловой склоняясь
До самого-о тына.

Они, видно, певали раньше — славно у них вышло.

Там через дорогу... —

повела дальше Груша, —

За-арекой-ой широкой
Та-ак же о-одиноко
Дуб стоит высокий.

Владимир Николаич заблеял было:

Та-ак же одиноко-о...

Но — смолк. Не умел он. Стал слушать.

Брат с сестрой пели:

Как бы мне, рябине,
К ду-убу перебраться,
Я-а б тогда не стала
Гнуться и качаться-а!..
Ох, я-а б тогда не стала...

Тут вошел Витька.

Песня погибла. Мать что-то опять смутилась, вскочила из-за стола, улыбаясь, и какой-то извиняющийся тон появился.

— Сынок пришел! Поесть хочешь?

— Нет, — сказал Витька. — Я у Юрки поел...

— Господи!.. «У Юрки». Он и так едва концы с концами сводит, а он объедает ходит...

— Нам дед Наум сала дал.

— Витьк, ну-ка сыграй нам! — сказал дядя Коля. — А?

— Я уроки не выучил, — сказал Витька. И посмотрел на дядю Володю не очень любезно.

— Ну, сыграл бы... — попросила и мать.

— Хо!.. Говорю же: уроки не выучил...

— Что ж ты их до сих пор не выучил? — обиделся дядя Коля. — Ох, Витька, Витька... Ну, иди учи.

Матери неловко стало за столь открытую нелюбезность сына.

— Ну, иди, иди —учи,— тоже сказала она.

Витька ушел в горницу.

Дядя Володя поднялся...

— Ну, пора и честь знать, как говорят.

— Да посиди еще! — воскликнул Николай. — Чего ты? Еще успеешь. Куда торопиться-то?

— Посидите, — сказала и Груша.

— Да нет, пойду... А то темно станет. Включу счас телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Витька у себя в горнице похоже передразнил дядю Володю.

— Да нет, пойду... А то темно станет, хулиганов полно на улицах... Гусь-Хрустальный.

— Ну, приходите... Не забывайте, — слышалось из большой комнаты. Мать говорила.

— Ладно, ладно — приду, — опять изобразил Витька ненавистного ему гостя. — В воскресенье приду. Может, в субботу... Явлюсь, так сказать.

И стал дядя Володя являться. По субботам и воскресеньям.

Раз явился:

— Здравствуйте. Немного все же похолодало. Чувствуется. Лист уже пожелтел.

Два явился:

— Здравствуйте. Сегодня потеплей. Но все равно скоро — конец. Лист только до первого ветра: слетит.

Три явился:

— Слетел. Голенькие стоят. Пора...

Один раз мать с Витькой откровенно поговорили.

— Уроки выучил?

— Выучил.

— Ну-ка, сядь — поговорим. Как тебе дядя Володя-то?

Витька хотел увильнуть от ответа. Пожал плечами, как он делал, когда не хотел говорить прямо.

— Что? — спросила мать.

— Ничего...

— Не глянется?

Витька опять пожал плечами.

Мать кивнула головой, подумала... И вдруг засмеялась милым своим, ясным смехом.

— Ох, и но-ос!.. На семерых рос, одному достался. А, Витька?.. Вот так нос!

Витька моментально осмелел, затараторил:

— Да он этим своим носом всю мебель нам посшибает! Это же не нос, а форштевень!

— Руль, — коротко определила мать. — Но... Витька... дружок: нам не до жиру — быть бы живу. Так, сына. Дело наше... неважнецкое.

— Да что, с голоду, что ль, помираем?

Мать засмеялась.

— Да нет, что же?.. Нет. Немолодая уж я, сынок, — выбирать-то. Вот штука-то. Время мое ушло. Ушло времечко... — мать вздохнула. — Десять бы годков назад — этот бы дядя Володя... — и не стала досказывать. А стала говорить совсем другое — может, себя убеждала:

— Да он неплохой — так-то... Вон какой рассудительный. Не пьет.

— Не пьет, а по бутылочке всегда приносит.

— Да это ж... что ж? Разве это пьет? Так-то пьет — это не страшно...

— С бутылочки все и начинается, — стал тоже рассуждать Витька.

Мать опять засмеялась.

— Нет, у него тоже уж теперь — не начинается. Сам не молодой. Нет, так-то... зачем же зря человека хаять? Не надо. Не витязь, конечно, но...

— Какой уж там витязь — гусь!

— Не надо так! — строго велела мать. — Разговорился! Малой еще — так разговаривать. Ишь ты... Подрасти сперва, потом уж рассуждай. А то... больно языкастые нынче стали.

И опять пришел дядя Володя.

Витька увидел его раньше, в окно.

— Идет! — крикнул он.

— Кто?

— Ну, кто?.. Хрустальный!

— Витька! — сердито сказала мать. — Ну-ка, отойди оттуда, не торчи.

Витька отошел от окна.

— Играть, что ли?

— Играй, какую-нибудь... поновей.

— Какую? Может, марш?

— Да зачем же марш-то? Генерал, что ли, идет? Вот, какую-то недавно учил...

— «Венок Дуная»? Мы его еще не одолели. Давай «Смешное сердце»?

— Играй. Она грустная?

— Помоги-ка снять... Не так чтобы очень грустная, но за душу возьмет. Ручаюсь.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Витьке на колени.

— Там есть, например, такие слова: «Смешное сердце, не верь слепой надежде: любовь уходит...» Куда уж грустней — зареветь можно.

— Да уж...

Витька заиграл «Смешное сердце».

Вошел дядя Володя, аккуратненько отряхнул шляпу у порога и тогда только сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Владимир Николаич, — приветливо откликнулась мать.

Витька перестал было играть, чтоб поздороваться, но увидел, что дядя Володя не смотрит на него, отвернулся и продолжал играть.

— Дождик, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять.

Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, состоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит — переставит. За время, пока он сюда ходил, он осмелел, вошел во вкус единоличного говорения — когда слушают.

— Пора... Сегодня у нас... что? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

— Лист облетел? — спросил Витька.

— Весь. Отдельные листочки еще трепыхаются, но... скоро и эти слетят.

Дядя Володя прошел к столу, вынул из портфеля бутылку шампанского. Поставил на стол.

— Все играешь, Витя?

— Играет! — встряла мать. — Приходит из школы и начинает — надоело уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь; Витька даже приостановился играть, изумленно глянул на мать... и продолжал играть. Вообще Витьку удивляло, что мать, обычно такая живая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась.

— Хорошее дело, — похвалил дядя Володя. — В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты — в Красном уголке на баяне тренироваться.

— На баяне не тренируются, — сказал Витька. — Тренируются на турнике.

— А на баяне что же делают?

— Репетируют.

Дядя Володя снисходительно посмеялся... Посмотрел на мать, показал глазами на Витьку.

— Все знают.

— Ну, они нынче...

Витька тоже посмотрел на дядю Володю... И ничего не сказал. Продолжал играть «Смешное сердце».

— Садитесь, Владимир Николаич. Садитесь.

— Если талант есть — большое дело, — продолжал дядя Володя, сев за стол. — С талантом люди крепко живут.

— Наоборот, — опять не выдержал Витька. — Юрка говорит: талантливым всегда первым попадает.

— Витя!..

— Какой Юрка?

— Да мальчик тут один... по соседству, — пояснила мать. — Давайте, Владимир Николаич...

— С плохими товарищами не знайся, — сказал дядя Володя.

— Да он хороший мальчик... учится хорошо. На квартире здесь живет. Витя, ты, если сел играть, играй.

— Играю.

— Попадает, Виктор, не талантам, попадет... неслухам, грубиянам — этим попадает, верно. А талант... — это талант. Ну, и учиться, конечно, надо — само собой.

— Вот учиться-то... — мать строго посмотрела на Витьку. — Лень-матушка!.. Вперед нас, видно, родилась.

Витька поддал на баяне.

— Витька, смори маленько. В ушах, правда, звенит.

— Плохо с учебой, Виктор?

— Чего только не делаю: сама иной раз сяду с ним: «Учи! Тебе ведь надо-то, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы отец-то... Нас-то много они слушают!

— Отец-то пишет, Виктор?

— А чего ему писать? — отвечала мать. — Алименты свои плотит и довольный. А тут расти как знаешь.

— Алименты — это удовольствие ниже среднего, — заметил дядя Володя. — Двадцать пять?

— Двадцать пять.

— Стараться надо, Виктор. Маме одной трудно.

— Понимали бы они...

— Ты пришел из школы, сразу раз — за уроки. Уроки приготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Витька играл «Смешное сердце».

Дядя Володя открыл бутылочку шампанского.

— Как она у нас — пук! — засмеялся он, довольный.

— Надо наклонять, — встрял Витька, — тогда и «пук» не будет.

— Шампанское должно пу... стрелять, — авторитетно сказал дядя Володя. — Прошу вас, Агриппина Игнатьевна, — и дядя Володя опрокинул шампанское в большой рот.

— Х-у-у, — сказал он и поморгал маленькими глазами, — в нос дает.

Витька захохотал.

Мать с укоризной поглядела на него.

— Держите, Агриппина Игнатьевна.

Мать тоже выпила... И долго улыбалась, и вздрагивала.

— Стремиться надо, Витя, — продолжал дядя Володя, наливая еще два фужера.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Витька...»

— Говорить мало. Что говорить!

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя кивнул головой, приглашая Грушу опрокинуть фужерчик.

— Ху-у-у, — опять сказал он. — Все: пропустили по поводу воскресенья, и будет. — дядя Володя закурил. — Я ведь злоупотреблял, крепко злоупотреблял...

— Вы уже рассказывали. Счастливый человек — сократились... Взяли себя в руки.

— Бывало, утром на работу идти, а от тебя, как от циклона, — на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего — откроешь рот, он побрызгает, тогда уж идешь. Хочешь на счетах три положить — кладешь пять.

— Гляди-ка!

— Да. В голове — дымовая завеса, — обстоятельно рассказывал дядя Володя, полагая, что это и занимательно, и поучительно. — А у меня еще стол напротив окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли же комичные возникают: в ведомости, допустим, написано: «Такому-то на руки семьдесят пять рублей». А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?!» Хе-хе... И ведь начинаешь делить, вот что самое любопытное. Делить начинаешь невольно!

— До чего можно дойти! — сочувственно заметила мать. — Ай-яй!

— Гораздо дальше идут. У меня приятель был — тот все по ночам шанец искал...

— Что это?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал-искал, и показалось же ему, что кто-то позвал с улицы, шагнул с балкона — и все, не вернулся.

— Разбился?!

— Ну, с девятого этажа... Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй, вы что?!»

— Сердешный, — вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Витьку.

— Отдохни, Виктор. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как у нас главный говорит. Тоже бросил пить и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить. Давай — заполним.

Витька посмотрел на мать.

Мать улыбнулась.

— Ну, отдохни, сынок.

Витька с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромоздила баян на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учись, Виктор. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли с женским полом, а ты — раз — за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— Трояк.

— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е-два, Е-четыре, как сказал гроссмейстер». А ты не знаешь, где это написано. А надо бы знать. Двигай.

Витька походил пешкой.

— А зачем говорят-то: «Е-два, Е-четыре...»? — спросила мать, наблюдая за игрой.

— А — шутят, — пояснил дядя Володя. — Шутят так. А люди уже понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Виктор.

Витька походил фигурой.

— А вот пили-то, — поинтересовалась мать, — жена-то как же?

— Жена-то? — дядя Володя задумался над доской: Витька сделал неожиданно каверзный ход. — Реагировала-то?

— Да, реагировала-то?

— Отрицательно. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Не только из-за этого, но большинство из-за этого. Вот так, Витька! — дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен. — Из-за этого и горшок об горшок у нас получился.

— Как это? — не понял Витька.

— Горшок об горшок-то? — дядя Володя снисходительно посмеялся. — Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать тоже засмеялась.

— Еще рюмаху Владимир Николаич?

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения, и будет. Раньше не отказался бы. Я ведь злоупотреблял...

— Вы говорили уже. Не думаете сходиться-то? — вдруг спросила мать.

— С кем, с ней? Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Дело принципа: она мне параллельно с выпивкой таких... вещей наговорила... Я, по ее мнению, оказываюсь — «тоскливый дятел».

Мать и Витька засмеялась. Но мать тотчас спохватилась.

— Что же это она так? — сказала она якобы с осуждением той, которая так образно выразилась.

— Сильно умная! — в сердцах сказал дядя Володя. — Пускай теперь...

Пока дядя Володя волновался, Витька опять сделал удачный ход.

— Ну, Виктор!.. — изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Витьку за штанину — уступи, мол, Витька протестующе дрыгнул ногой — он вошел в азарт.

— Так, Витенька... — дядя Володя думал, сморщившись. — Ты так? А мы — вот так!

Теперь Витька задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивала мать.

— Проведую, — дядя Володя закурил. — Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет сейчас небось?

— Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У меня сейчас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой придешь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь. Хочу еще софу купить.

— Ходите, — сказал Витька.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка подкрашенный нос.

— Так, Витька... Ты так? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские... Раздвижные — превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу...

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку в Сибирь ездит, закажу ему, он привезет.

— А волчья хуже? — спросил Витька.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Витя.

Дождик перестал, за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Скоро зима, — вздохнула мать.

— Это уж — как положено. У вас батареи не за... Хотя у вас же печное! Нет, у меня паровое. С пятнадцатого затопят. Ну, пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Дядя Володя надел у порога плащ, шляпу, взял портфель...

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

— Виктор, а кубинский марш не умеешь?

— Нет, — сказал Витька.

— Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать. Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел.

Через две минуты он шел под окнами по тротуару, осторожно обшагивая отставшие доски, — серьезный, сутуловатый, положительный.

Мать и Витька проводили его взглядами... И долго молчали.

— Так это что же, — не скрывая изумления, заговорила мать, — он так и будет ходить теперь? Чего же ходить-то?

— Тоже ж... один кукует, — сказал Витька. — Вот и ходит. Гнать его в три шеи!

— А?

— Так и будет ходить. А чего ему?

Мать все никак не могла понять:

— Нет, так чего же тогда ходить? Нечего и ходить тогда.

Витька о чем-то вдруг задумался.

Дня через два они с Юркой решали одну хитроумную задачу. Волновались, спорили.

Тут же, в избе, у порожка, старик Наум налаживал улей.

— Если тут вот подпилить, он здесь наступит — она только вон где сработает. Она же не достанет его, — так рассуждал умный Юрка.

— Пошто не достанет?

— А рычаг-то вот где! Вот — нога наступила, а вот — рычаг, а вот аж где голова.

— Ну, а как?

— Надо рычаг ближе... И под тротуаром маленько подрыть...

— Кого эт там пилить-то собираетесь? — спросил старик.

— Кто собирается? — поспешно сказал Витька. — Никто не собирается.

— Пакостить чего-нибудь надумали?

— Одно на уме! — воскликнул Витька.

— Это у вас одно на уме: где бы напакостить.

— Дед, — вступил Юрка, — надо сперва доказать, потом уж говорить. Чего же зря-то говорить?

— Да ну его, — прошептал Витька. — Я понял: надо доску короче выбрать. Эти, другие, все маленько с виду подпортить, а эту нарочно сверху подновить — чтоб он на нее и наступил. Понял? Он наступит... Понял?

— А вдруг другой кто-нибудь пойдет и наступит?

Витька об этом не подумал.

— А знаешь как? Как ему выходить, я выскочу и незаметно чурбак вытащу. А до этого чурбачок будет подпирать, чтоб никто не провалился. У нас там ходят-то — в день три человека. Я это все там сделаю.

И опять было воскресенье. Опять приходил дядя Володя. Приносил бутылку шампанского... Опять играли с Витькой в шахматы, опять говорили с матерью о сервантах, коврах и... алкоголиках. Долго, нудно...

А теперь дядя Володя стоял у порога и обстоятельно, нудно прощался.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья, до свиданья, — говорила мать.

— Виктор, сейчас в моду входит летка-енка. Не умеешь?

— Не умею.

— Красивый танец.

— Все равно не умею.

— А вы, Агриппина Игнатьевна?.. Не умеете?

— Не умею.

— Вообще-то... это... я бы на вашем месте научился. Попробуйте.

— Кто, я, что ли? — удивилась мать.

— Да.

— Танцевать?.. Или на баяне?

— Нет, танцевать. Есть одно обстоятельство... Ну, ладно, потом. До свиданья.

— До свиданья.

— У меня тут родственники... У нас один диссертацию защищает... Ну, ладно, потом. До свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел.

Мать не знала, сердиться ей или смеяться.

— Так и не отелился. Мычал, мычал — и никак. Вот же смешной человек!

— Сейчас он у нас... захохочет, — тихонько сказал Витька, глядя в окно.

В окне показался дядя Володя — серьезный, даже несколько важный...

Вдруг дядя Володя делает руками — так, и его по шляпе хлопает доска...

— Хватить миндальничать! — сказал дядя Коля. Они разговаривали с матерью в большой комнате. А в маленькой горенке сидел грустный Витька и катал по столу бильярдный шар. — Дальше еще хуже будет. Испортим парня... Завтра поедет ко мне и поживет пока. До зимних каникул хотя бы. Не реви, не хуже делаю, не хуже. Наоборот, мои ребятишки ему там по школе помогут.

Мать Витькина плакала, вытирала слезы концом платка.

— Жалко, Коля... Сердце запеклось, ничего тебе и сказать-то путем не могу... Жалко.

— Да что, насовсем, что ли! — убеждал брат. — Да было бы хоть далеко!.. Двадцать верст — эка! Ну, приедешь когда, попроведуешь... До Нового года-то пускай поживет. Не даст он вам тут дело наладить, не даст. А наладить надо. И зря ты про мужика так думаешь, зря. Хороший мужик...

— Да больно уж он какой-то...

— Какой? А тебе что, красавца кудрявого...

— Да не красавца! У него же разговоров больше нету: пить бросил да мебель покупает.

— Ну и что, хорошее дело.

— Да что же — все об одном да об одном.

— Ну, рад, что бросил, вот и говорит про это. Потом, не знаю, конечно, но ему тоже, наверно, охота с лучшей стороны себя показать. Вот — мебель покупает. Бабам же нынче что — лишь бы не пил да деньги зря не мотал. Вот он и жмет на это. Его тоже понять надо. Мой тебе совет: не торопись с выводами. Подожди. А Витьку я заберу. И не переживай: хуже не будет. Будет только лучше.

— У тебя у самого там тесно...

— Ничего.

— Да Нюра бы не осердилась. Скажет — во-от, еще племянника привез. Своих мало!

— Ну и дура будет, если так скажет. Да и не скажет сроду — поймет. Давай, нечего думать. Испортим парня. А так — мы его счас оторвем от всяких его дружков да от улицы, он волей-неволей за книжки сядет. Пусть поживет в деревне, пусть... Давай, собирай его — прямо счас и поедем.

Чего тянуть-то? Да и мне надо сегодня же вернуться... Давай. Где он?

— Там.

Дядя Коля заглянул в горницу.

— Да где?

— Нету?! — испугалась мать. — Мать пресвятая богородица!.. Здесь был!

Дядя Коля подошел к окну, тронул створки — они распахнулись.

— Не пужайся — здесь он где-нибудь. В окно вылез.

Мать кинулась сразу к Юрке.

Витька был там. Юрка и Витька сидели на лавочке, дед лежал на печке, но не хворал, а так — погреться залез. Молчали. Быстро вошла встревоженная мать.

— Витька... Здравствуйте! Ох, Витька... — мать успокоилась, но еще не могла отойти от быстрой ходьбы. — Что же ты ушел, сынок? Там дядя Коля ждет...

Витька, Юрка и старик молчали.

— Пойдем домой, — матери стало неловко, потому что она почувствовала в их молчании суд себе.

— Что, Витька... в ссылку ссылают? — сказал старик.

— В какую ссылку?! — вспыхнула мать. — Что ты, дедушка, говоришь-то!

— Да я шутейно, — успокоил старик. — Так я... болтанул. В гости он поедет. Хорошее дело.

— Пойдем, Витя, — опять сказала мать.

Витька сидел. Молчал.

— Я не в осуждение говорю, — продолжал старик. — Кого осуждать? Такая теперь жизнь. Но вот раньше понимали: до семнадцати годов нельзя парня из дома трогать. У нас тада вся деревня на отхожий промысел ходила... И вот, кто поумней был — отцы-то, те до семнадцати лет сына в город не отпускали. Как ушел раньше, так все: отстал человек от дома. Потому что — не укрепился, не окреп дома, не пустил корешки. А как раньше время оторвался, так все: начинает его крутить по земле, как лист сухой. Он уж и от дома отстал, и от крестьянства... А потому до семнадцати, что надо полюбить первый раз там, где родился и возрос. Как полюбил на месте — дома, так тебе это и будет — родина. До самой твоей смерти. Тосковать по ей будешь...

— Чего ты, дедушка, мелешь лежишь! — осердилась мать. — «Полюбил», «не полюбил»... Чего попало! Пойдем, Витька.

Витька встал... Подал Юрке руку.

— Пока.

— До свиданья. Пиши.

— Ладно, Ты тоже пиши. До свиданья, деда.

— До свиданья, Витька. Не забывай нас.

— Господи, прямо как на войну провожают... — не могла скрыть удивления мать. — Или, правда, — на заработки куда. Он едет-то — двадцать верст отсюда! К дяде родному.

— Это хорошо, — опять сказал старик. — Чего же?

Потом, когда шли по улице, мать сказала:

— Тебе там хорошо будет, Вить.

Витька молчал.

— Неохота?

Витька молчал.

Мать тоже замолчала.

Зато дома мать выпряглась.

— Никуда он не поедет, — заявила она брату с порога. — Не пущу. Вот.

Дядя засмеялся.

— Ну, конечно, не надо: а то он там... потеряется. Заблудится. Волки его съедят... Витька, а ты-то чего? Тоже, как баба, елки зеленые! Чего ты? Мужик ты или не мужик?..

Ехали в деревню к дяде в легком коробке, сытая сильная лошадь бежала податливо. Коробок мягко качался на рессорах.

— Витька, почему ты не учишься, как все люди, — хорошо?

— Все, что ли, хорошо учатся! У нас в классе семь двоечников.

— А тебя разве самолюбие не заедает, что ты попал в эту семерку?

Витька промолчал на это.

— И все семь — мальчишки? Или и девчонки есть?

— Одна. Мы ее жучим, чтоб она исправлялась. Она бестолковая.

Дядя захохотал.

— Дак а себя-то... ха-ха-ха!.. Себя-то чего не жучите? О какие!.. А вы-то чем умнее — такие же двоечники, как она. А? Витьк?

— Она к нам не касается. Она же работать не пойдет.

— Во-он вы куда-а!.. — понял дядя. — Вот оно что. Та-ак. Ну, и кем, например, ты хочешь работать? Когда подрастешь мало-мало.

— Шофером.

Дядя даже сплюнул в огорчении.

— Дурак! Вот дурак-то! Это вас кто-нибудь подговаривает там? Или вы сами придумали — с работой-то?

— Сами.

— Вот долдоны-то! А учителя знают про ваш уговор?

— Нет. По восемь классов мы как-нибудь кончим...

— Тьфу! — расстроился дядя. — Хоть поворачивай и выдавай всю эту... шайку Ты думаешь, шофером — хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в шофера-то идет. Голова садовая! Ну, ничего, ничего!!. Я возьмусь за тебя. Шофером!.. Да это уж кого приперло: грамотешки нет — ну, в шофера. А так-то его бы черт туда затолкал, в шофера-то. А тебе... Ну, ничего, я тебя направлю на путь истинный. Ты у меня пятерочник будешь — на удивление всем.

А ехали лесом, воздух в лесу был зеленый. Тишина пугала. Витьке было интересно... И грустно.

Ох, то-о...—

запел вдруг дядя негромко, задумчиво —

...То не ве-ете-ер ве-етку клонит,
Ох, да не дубра-авушка-а шумит:
То-о мое, ох, мое сердечко сто-онет,
Как, ох, как осе-енни-ий лист дрожи-ит...

И замолчал. И задумался.

— Эх, Витька-а, — сказал дядя невесело, — махнулся б я с тобой годами. Эх, и махнулся бы! — не глядя! Я б — не то что учиться, я бы черту рога свернул. Знаю теперь, как их свернуть можно, только... Но нам, Витька, война дорогу переехала. Война, будь она проклята. Не война, так я б теперь высоко-о летал. Да-а... А ты учиться не хочешь. Глупыш ты такой.

— Мама же вон не воевала, а тоже не выучилась.

— Мама не воевала, зато с голоду пухла здесь... Мама лет с пятнадцати работать пошла. Чего ты на маму киваешь? Счас не то время. Счас ты бо-ольшого дурака сваляешь, если не выучишься. Большого, Витька. Попомни мое слово.

...Приехали в деревню затемно.

Распрягли во дворе лошадь, дали ей овса.

— Ну, пойдем знакомиться... Не робей, там все свои.

В большой прихожей избы сидела за столом одна только круглолицая, ясноглазая, чем-то отдаленно напоминающая Витькину мать девушка, учила уроки.

— Знакомьтесь, брат с сестрой, — сказал дядя Коля.

— Это Витя? — радостно спросила девушка.

— Витя. Собственной персоной, — дядя разделся, взял у Витьки чемодан. — Раздевайся, Витька, будь как дома. Где все-то? Мать...

— Телевизор у Баевых смотрят.

— А наш чего же?

— Опять сломался. Раздевайся, Витя! Давай, я тебе помогу. Ну?.. Меня Ольгой зовут... — Ольга помогла Витьке снять пальтишко. Была она рослая, красивая и очень какая-то простая и приветливая. Витьке она очень понравилась.

— Надо же: такие глаза, и парню достались! — засмеялась Ольга.

Глаза у Витьки, правда, девичьи: большие, синие. Витька смутился. Нахмурился.

— Ты сперва не глаза разглядывай, — строго сказал отец, — а давай-ка накорми нас. Потом уж глаза разглядывай. А потом сделаешь мне его отличником. Срок — три месяца.

В городке дела хоть медленно, но подвигались к завершению.

В одно воскресенье Владимир Николаич пригласил Грушу к себе домой.

Шли принаряженные по улицам городка.

— Меня тут... некоторые знают... — предупредил Владимир Николаич, — могут окликнуть или позвать... куда-нибудь.

— Куда позвать?

— В пивную. Не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше никого не знаю, оглоедов. Чужбинников.

Я сейчас опять на почете стал... Меня в приказах отмечают. Они злятся. Им же ведь все равно: уровень, не уровень — лезут!..

— А самого-то не тянет больше к ним?

— К ним?! Я их презираю всех до одного!

— Хорошо, — искренне похвалила Груша. — Это очень хорошо! Теперь жить да радоваться.

— Я и так пропустил сколько времени! Я бы уж теперь главным был.

— А теперь-то еще опасаются пока главным-то ставить?

— Я думаю, что уже не опасаются. Но дело в том, что у нас главным работает старичок... Он уже на пенсии вообще-то, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что — неудобно его трогать. Но думаю, что внутреннее решение они уже приняли: как только этот козел уйдет, я занимаю его кабинет.

Пошли через городской парк.

Там на одной из площадок соревновались городошники. И стояло много зрителей — смотрели.

Владимир Николаич и Груша остановились тоже, посмотрели...

— Делать нечего, — негромко сказал Владимир Николаич, трогаясь опять в путь.

— А у вас, Владимир Николаич, я как-то все не спрошу, родные-то здесь не живут?

— Здесь! — почему-то воскликнул Владимир Николаич. — Тут вот в чем дело: они все на известном уровне, а я — отстал, когда принялся злоупотреблять-то. Ну, и... наметилось такое охлаждение, — Владимир Николаич говорил об этом, не сожалея, не огорчаясь, а как бы даже злясь на этих, которые «на известном уровне». — Но они об этом еще крупно пожалеют. Я им не... это... не мальчик, понимаешь, которого можно сперва не допускать к себе, потом, видите ли, допустить. У меня ведь так: я молчу, молчу, потом ка-ак покажу зубы!.. Меня же вот в районе-то — все же боятся. Как выезжаю куда с ревизией... А дело в том, что меня иногда как сильного бухгалтера просят из других учреждений съездить обревизовать на местах. Как приезжаю, так сразу говорят: «Дятел прилетел!» Страх и уважение нагоняю. Меня же ничем не купишь. Сколько уж раз пытались: то барана подсунут, то намекнут: мол, шифоньер по заказу сделаем

или книжный шкаф... Фигу! А один раз поехал в промартель, тут вот, километров за сорок, ну, сижу в конторе. Приходят: «Владимир Николаич, мы тут валенки хорошие катаем... Может, скатать?» Что ж, давайте, говорю. Я заплачу по прейскуранту, все честь по чести. Это не возбраняется. Ладно. Через два дня приносят валенки. Так они что сделали: чтоб угодить мне, взяли да голенища-то несколько раз — вот так вот — изогнули, изогнули... Раза в три слой получился.

— Как бурки?

— Как бурки, только это не бурки, а нормальные валенки, но с голенищами такая вот история. Ладно. Я помалкиваю насчет голенищ. Сколько спрашиваю, стоит? Да ничего, мол, не надо. Кэ-эк я дал счетами по столу, как заорал: цена?! Полная стоимость по прейскуранту! И — развернуть голенища, как у всех трудящихся!.. Я вам покажу тут!..

Прохожие, некоторые, стали оглядываться на них — Владимир Николаич всерьез кричал.

— Потише, Владимир Николаич, — попросила Груша. — А то оглядываются.

— Да, да, — спохватился Владимир Николаич. — Это не очень интеллигентно. Горячность чертова...

И вот пришли они домой к Владимиру Николаичу.

Этакая уютненькая квартирка в пятиэтажном кирпичном ковчеге... Вся напрочь уставленная и увешанная предметами.

— Ну-те-с... вот здесь мы и обитаем! — оживленно сказал хозяин.

И стал вежливо, но несколько поспешно предлагать Груше: снять плащик шуршащий, болонью, сесть в креслице, полистать журнал с картинками — с журнального столика на гнутых ножках... Вообще, дома он сделался суетливым и чего-то все подхихикивал и смущался. И очень много говорил.

— Раздевайтесь. Вот так, собственно, и живем. Как находите? Садитесь. Я знаю, вы сейчас скажете: не чувствуется в доме женской руки, женского глаза. Что я на это скажу? Я скажу: я знаю! Не хотите? — журналишка... Есть любопытные картинки. Как находите квартирку?

— Хорошо, хорошо, Владимир Николаич, — успела сказать Груша.

— Нет, до хорошего тут еще... Нет, это еще не называется хорошо, — Владимир Николаич налаживал стол: появилась неизменная бутылка шампанского, лимоны в хрустальной вазочке, конфеты — тоже в хрустальной вазочке. — Хорошо здесь будет... при известных, так сказать, обстоятельствах.

— Холодильник-то как? В очереди стояли?

— В очереди. Мы вместе в очереди-то стояли, а когда разошлись, я сходил да очередь-то переписал на новый адрес — на себя. Она даже не знает — ждет, наверно, — Владимир Николаич посмеялся. — Ругает, наверно, советскую власть... Прошу! Сейчас мы еще музыку врубим... — Владимир Николаич потрусил в другую комнату и уже оттуда сообщил: «Мост Ватерлоо»!

И из той комнаты полилась грустная, человечнейшая мелодия.

Владимир Николаич вышел довольный.

— Как находите? — спросил.

— Хорошо, — сказала Груша. — Грустная музыка.

— Грустная, — согласился Владимир Николаич. — Иной раз включишь один, плакать охота...

Груша глянула на него... И что-то в лице ее дрогнуло — не то жалость, не то уважение за слезы, а может, — кто знает? — может, это любовь озарила на миг лицо женщины.

— Прошу! — опять сказал Владимир Николаич. Груша села за стол.

— Нет, жить можно! — воскликнул Владимир Николаич. И покраснел. Волновался, что ли. — Я так скажу, Агриппина Игнатьевна: жить можно. Только мы не умеем.

— Как же? Вы говорите, умеете.

— В практическом смысле — да, но я говорю о другом: душевно мы какие-то неактивные. У меня что-то сердце волнуется, Груша... А? — Владимир Николаич смело воткнулся своим активным взглядом в лицо женщины, в глаза ей. — Груша!

— А?

— Я волнуюсь, как... пионер. Честное слово.

Груша смутилась.

— Да чего же вы волнуетесь?

— А я не знаю. Я откуда знаю? — Владимир Николаич с подчеркнутым сожалением перевел взгляд на стол, налил в фужеры шампанского. — Выпьем на брудершафт?

— Как это? — не поняла Груша.

— А вот так вот берутся... Дайте руку. Вот так вот берут, просовывают, — Владимир Николаич показал как, — и выпивают. Вместе. М-м?

Груша покраснела.

— Господи!.. Да для чего же так-то?

— А вот — происходит... тесное знакомство. М-м?

— Да что-то я... это... Давайте уж прямо выпьем?

— Да нет, зачем же прямо? Все дело в том, что тут образуется кольцо.

— Да неловко ведь так-то.

— Да чего тут неловкого?.. Ну, давайте. Смелей! Музыка такая играет... даже жалко. Неужели у вас не волнуется сердце? Не волнуется?

— Да нет, волнуется... Господи, чего говорю-то?.. Зачем говорить-то об этом?

— Да об этом целые книги пишут! — взволнованно воскликнул Владимир Николаич. — Поэмы целые пишут.

Груша все никак не могла уразуметь, почему надо выпить таким заковыристым образом.

— Ну?.. — торопил Владимир Николаич. Он и правда волновался. Но жесты его были какие-то неуверенные, незавершенные. — Ну? А то шампанское выдыхается.

— Да давайте прямо выпьем, какого лешего мы будем кособочиться-то?

— Так образуется два кольца. Неужели непонятно? После этого переходят на «ты».

— Ну и перейдем на «ты»... без этих фокусов.

— Мы сломаем традицию. Традицию не надо ломать. Смелей!.. Просовывайте сюда вот руку... — Владимира Николаича даже слегка трясло. — Музыка такая играет!.. Мы ее потом еще разок заведем.

— Вот наказание-то! — воскликнула Груша. И засмеялась.

Витьку принялись подгонять в учебе сразу три отличницы: сестра Оля и две ее подружки, Лидок и Валя. Все девушки рослые и, как показалось Витьке, на редкость скучные. Особенно Витька невзлюбил Лидок. Лидок без конца сосала конфеты и поглаживала Витьку по голове. Витька стряхивал ее руку и огрызался. Девушки смеялись.

— Ну! — скомандовала Оля. — Повторим домашнее задание.

— Хоть уж в воскресенье-то... — попробовал было увильнуть Витька. Но Оля была непреклонна:

— Никаких воскресений! Ты у нас будешь... Циолковским.

— Нет, он у нас будет Жолио Кюри, — Лидок погладила Витьку по голове. — Верно, Витя?

— Да иди ты! — Витька так тряхнул головой, что у него шея хрустнула.

Девушки засмеялись.

— Не хочет. А кем же ты хочешь, Витя?

— Золотарем.

Лидок не знала такой профессии. Решила, что это что-то, связанное с золотом.

— Ну, Витя, это тяжело. Это где-то в Сибири — там холодно.

Витя, в свою очередь, посмеялся от души. И не стал объяснять невестам, кто есть золотарь.

Сели за стол.

— Ты таблицу умножения знаешь, конечно? — начала Лидок.

— Знаю, конечно.

— Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся.

Витька умножил скучное число на число еще более скучное, получил скучнейший результат.

— На.

— Пра-ально. Еще. Тренируйся больше.

— Ну и дура ты! — не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку.

— Витя, да ты что?! — изумилась сестра Оля. — Разве так можно?

— А чего она?..

— Чего она?

— «Тренируйся»... Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в футбол.

— А зачем же обзываться-то? Нехорошо это.

— А еще — городской! — вставила Валя.

— Они, городские-то, хуже наших, — заметила Лидок. — Получают там раннее развитие... и начинают, — она опять

принялась сосать конфетку. — Давай дальше. Умножь от это на это.

Витька стал умножать.

Лидок склонилась над ним сзади и следила.

— Не пра-льно, — сказала она. — Семью осемь — сколько?

— Пятьдесят шесть.

— Ну... А ты сколько пишешь?

— Шесть пишем... А!

— Ну, о-от.

Витька принялся снова вычислять.

Лидок стояла над ним.

— Та-ак, та-ак...

— Перестань сосать свои конфеты! — взорвался Витька.

Лидок толкнула ладошкой Витьку — носом к тетрадке.

— Умножай.

— Дура, — сказал Витька.

— Папа! — позвала сестра Оля.

Из горницы вышел дядя, строгий и озабоченный: он составлял какой-то отчет, на столе в горнице лежал ворох всяких ведомостей.

— Как же ему помогать? — пожаловалась Оля. — Он на нас говорит — «дуры».

— Зайди ко мне, — велел дядя Коля.

Витька без робости зашел к дяде в горницу.

— Вот что, дорогой племянничек, — заговорил дядя, стоя посреди горницы с бумажкой в руке, — если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

— Понял.

— Вот так. Иди извинись перед девками. Они целые невесты уж, а ты... Сопляк какой! С ним же занимаются, и он же начинает тут, понимаешь... Иди.

Витька вышел из горницы. Сел на свое место.

Девушки неодобрительно посматривали на него.

— Попало? — спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги... подумал, глядя на крупную Лидок... И написал размашисто, во весь лист: «*ФИФЫЧКА*». И показал одной Лидок.

Лидок тихонько ахнула, взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

«*ШИРМАЧ ГОРОДСКОЙ*» — было написано на листе.

Витька не понял, что это такое. Взял новый лист и написал: «*СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА*».

Лидок фыркнула, взяла лист и быстро написала: «*ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРОС*».

Витька долго думал, потом написал в ответ: «*СВЕЖА-СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ДУБ*».

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла было с ним в горницу.

— Ну давай умножать-то?! — воскликнул Витька. — Чего ты бегаешь-то туда-сюда?

Какой-то родственник Владимира Николаича защитил диссертацию. По этому случаю давался банкет в ресторане. Приглашены были и Владимир Николаич с Грушей.

Опять шли улицей городка. Опять было воскресенье; где-то из громкоговорителя рвалась железная музыка.

Шли под ручку. И были нарядны пуще прежнего.

— Я вот этого знаю, — негромко сказал Владимир Николаич. — Только не оглядывайся! Попозже оглянись.

Груша прошла несколько шагов и оглянулась.

— Ну? И что?

— Он раньше в Заготконторе работал... Мы однажды приехали с ним в командировку, он говорит: «У меня тут приятель в доме отдыха, пойдем к нему». Ну, пошли к приятелю... Выпили, конечно. И вот этот, который сейчас прошел-то, Струков его фамилия, берет гитару и начинает петь «Не шей ты мне матушка». Потом идет в прыгательный бассейн... А там какие-то соревнования по прыжкам были. Он идет с гитарой на самую вышку и прыгает солдатиком — и поет.

— Да он что?!

— И что характерно: даже когда летел, он умудрялся играть на гитаре. Потом вынырнул, вылил из гитары воду и все равно продолжал играть и петь.

— В воде-то? Как же?

— Ногами работал... Ну, конечно, сообщили на работу. Приходил ко мне: «Напиши, как свидетель, что я случайно сорвался».

— Ну, и ты что?

— Ничего. Что я, дурак, что ли? Он случайно зашел на вышку, случайно прыгнул, случайно плавал в бассейне и орал... Все случайно! Кто поверит? Не стал я ничего писать.

— Ну, выгнали? С работы-то?

— Наверно. Не знаю, не встречал его после. Наверно, выгнали. Таких спортсменов долго не держат.

— Вот дурак-то!

— Не дурак! Какой он дурак? Это так называемые духари: геройство свое надо показать. Я, если напивался, сразу под стол лез...

— Под стол?

— Не специально, конечно, лез, но... так получалось. Я очень спокойный по натуре.

В ресторане для банкета был отведен длинный стол у стены.

Приглашенные, некоторые, уже сидели за столом. Сидели чинно, прямо. Строго поглядывали на другие столики, где ужинали, выпивали, курили, разговаривали...

Играла музыка, низенький, толстый человек пел итальянскую песню.

— Гордо, но — с уважением, — учил второпях Владимир Николаич, пока они с Грушей шли через зал к банкетному столу. — Станут интересоваться, где работаешь, — фабрика тонкорунного волокна. Все. Кем — неважно. В поведении можно быть немного небрежнее. Вон та, в голубом платье... Да вон, вон!.. — зашипел Владимир Николаич, показывая глазами. — Возле самовара-то!

— Ну?

— Эту опасайся насчет детского воспитания: она в садике работает, какая-то там начальница, — загрызет...

— За что?

— Все, — Владимир Николаич широко заулыбался, полупоклонился всем и пошел здороваться с каждым отдельно.

Груша следовала за ним. На нее смотрели вопросительно, строговато. Женщина в голубом платье посмотрела даже подозрительно. Груша очень смущалась.

Наконец они сели на отведенное им место. Получилось — напротив женщины в голубом, а по бокам пожилые и не очень пожилые, серьезные люди, явно не завсегдатаи ресторанные, больше того, кажется, презирающие всех, кто в тот вечер оказался в ресторане.

Смотрели в зал, переговаривались. Делали замечания. Не одобряли они все это — весь этот шум, гам, бестолковые разговоры.

— А накурено-то! Неужели не проветривается?

— Дело же в том, что тут специально одурманивают себя. Зачем же проветривать?

— А вон та, молоденькая... Вон-он, хохочет... Заливается!

— С офицером-то?

— Да. Вы посмотрите, как хохочет! — будущая мать.

— Почему будущая? У них сейчас это рано...

— Это уж вы меня спросите! — воскликнула женщина в голубом. — Я как раз наблюдаю... результат этого хохота.

— А где наш диссертант-то? — спросил Владимир Николаич.

— За руководителем поехал.

— За генералом, так сказать?

— За каким генералом?

— Ну, за руководителем... Я имею в виду Чехова, — пояснил Владимир Николаич. И повернулся к Груше: — У него руководитель — какой-то известный профессор.

— А ты говоришь, генерал.

— Ну, генерал — в переносном смысле, — даже рассердился Владимир Николаич. Но говорил он негромко. — Я шучу так. Ты тоже пошути с кем-нибудь... Сострии чего-нибудь. Чего сидишь, как...

Груша, изумленная таким требованием, посмотрела на своего жениха... И ничего не сказала.

— Немножко будь оживленнее, — уже мягче сказал Владимир Николаич. — Не теряйся, я с тобой. Покритикуй алкоголиков, например.

Груша молчала.

А вокруг говорили. Подходили еще родственники и знакомые диссертанта, здоровались, садились и включались в разговор.

— Кузьма Егорыч, — потянулся через стол Владимир Николаич к пожилому, крепкому человеку, — не находишь, что он слишком близко к микрофону поет?

— Нахожу, — кивнул пожилой, крепкий. — По-моему, он его сейчас съест.

— Кого? — не поняли со стороны.

— Микрофон.

Ближайшие, кто расслышал, засмеялись.

— Сейчас вообще мода такая: в самый микрофон петь. Черт знает, что за мода.

— Ходит с микрофоном! Ходит и поет.

— Шаляпин без микрофона пел...

— Шаляпин! Шаляпин свечи гасил своим басом, — сказал пожилой, крепкий. Сказал так, как если бы он лично знавал Шаляпина и видел, как тот гасил своим басом свечи.

— А вот и диссертант наш! — сказали родные.

К столу пробирался мимо танцующих мужчина лет сорока, гладко бритый, в черном костюме. И с ним — пожилой, добрый, несколько усталый, очевидно, профессор.

Встали, захлопали в ладоши. Женщина в голубом окинула презрительным взглядом танцующих бездельников.

— Прошу садиться, — сказал диссертант.

— А фасонит-то! — тихо воскликнул Владимир Николаич. — Фасонит-то! А сам на трояк, наверно, с грехом пополам натянул. Фраер.

— Откуда ты такие слова знаешь? — удивилась Груша.

— Боже мой! — в свою очередь удивился Владимир Николаич. — Выпивать-то с кем попало приходилось. Нахватался, так сказать.

Захлопали бутылки шампанского.

— Салют! — весело сказал один курносый, в очках. — В честь свежеиспеченного кандидата.

— Товарищ профессор, ну, как он там? Здорово плавал?

Профессор вежливо улыбнулся.

— За здоровье нового кандидата! — зашумели.

Кандидат встал.

— За здоровье наших дам! — сказал он.

Это всем очень понравилось.

Выпили. Потянулись к закуске. Разговор не прекращался.

— Огурчики соленые или в маринаде?

— Саша, подай, пожалуйста, огурчики. Они соленые или в маринаде?

— В маринаде.

— А-а, тогда не надо, У меня сразу изжога будет.

— Тебе подать в маринаде? — спросил Владимир Николаич Грушу.

— Подай.

— Саша, подай-ка, пожалуйста, в маринаде. Что там за огурчики?..

— А танцуют ничего. А?

— Сергей... уже отметил. Слышите?! Сергей уже отметил: «Танцуют ничего».

Засмеялись.

— Подожди, он сам скоро пойдет. Да, Сергей?

— Можно. А что?

— Неисправимый человек, этот Сергей!

Владимир Николаич потыкал вилкой в огурчики, в салат... Потянулся поговорить с Кузьмой Егорычем. Но его как-то не замечали.

Поднялся курносый в очках.

— Позвольте?!

— Тише, товарищи!

— Дайте тост сказать! Двинь, Саша.

— Товарищи! За дам уже выпили... Это правильно. Но все-таки мы собрались здесь сегодня не из-за дам...

— Да, не из-за их красивых глаз.

— Да. Мы собрались... приветствовать нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто, нашего Славу! И позвольте мне тут сегодня скаламбурить: слава нашему Славе!

Посмеялись, но недружно.

Курносый посерьезнел.

— Мы надеемся, Слава, что ты нас... так сказать, не подведешь в своей дальнейшей деятельности.

Захлопали.

Курносый сел было... Но тут же вскочил.

— И позвольте, товарищи... Товарищи, и позвольте также приветствовать и поздравить, так сказать, руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал, и являлся организатором руководимой идеи! За вас, товарищ профессор!

Опять захлопали. Дружно захлопали.

Еще закусили. Но больше налегали на разговоры.

Кузьма Егорыч и человек с золотыми зубами наладили через стол разговор с укорами. А так как гремела музыка, то и они тоже говорили очень громко.

— Что не звонишь? — спросил Кузьма Егорыч.

— А?

— Не звонишь, мол, почему?!

— А ты?

— Я звонил! Тебя же никогда на месте нет.

— А я виноват, что меня нет на месте?

— Ну, так позвонил бы хоть! Я-то на месте.

— А я звонил вам, Кузьма Егорыч, — хотел влезть в разговор Владимир Николаич.

— А? — не расслышал Кузьма Егорыч.

— Я, говорю, звонил вам!

— Ну и что? А чего звонил-то?

— Да так. Хотел... это...

Но Кузьма Егорыч уже отвернулся.

— А где бываешь-то? В командировках, что ли? — опять стал допрашивать он человека с золотыми зубами.

— В командировках, — откликнулся тот. Но говорить ему не хотелось, он больше посматривал на танцующих.

— Ну, как? — спросил Владимир Николаич Грушу — Ничего?

— Ничего, — сказала Груша. — Долго тут будем?

— А что?

— Да ничего, просто спросила.

— Не нравится, что ли?

— Нравится.

— Я уж думал, тебя перевели куда! — кричал Кузьма Егорыч.

— Никуда меня не перевели.

— Думаю, повысили его, что ли?!

— Дожидайся, повысят! Скорей повесят.

— Ха-ха-ха-ха!..

— Ну, что, Таисья Григорьевна? — обратился Владимир Николаич к женщине в голубом. Но женщина в голубом постучала вилкой по графину и сказала всем:

— Товарищи, давайте предложим им нормальный, хороший вальс! Ну что они... честное слово, неприятно же смотреть!

— В чужой монастырь, Таисья Григорьевна, со своим уставом не ходят.

— Почему не ходят? Мы же в своей стране, верно же? Давайте попросим сыграть вальс.

— Не надо. Не наше дело: пусть с ума сходят.

— А вот это... очень неправильное суждение! В корне неправильное!

— Да хорошо танцуют, чего вы? — сказал человек с золотыми зубами. — Я был бы помоложе, пошел бы... подергался.

— Именно — подергался. Разве в этом смысл танца?

— А в чем?

— В кра-со-те, — отчеканила Таисья Григорьевна.

— А что такое красота? — все пытался тоже поговорить Владимир Николаич. — А, Таисья Григорьевна? Если вы находите, что, допустим, вот этот виноград...

— Нет, Алексей Павлыч, вы что, не согласны со мной?

— Согласен, согласен, Таисья Григорьевна, — сказал человек с золотыми зубами. — Конечно, в красоте. В чем же еще?

Владимир Николаич помрачнел.

— Пойдем домой? — предложила Груша.

— Подожди. Неловко. Поймут как позу.

— Саша, Саш!.. У тебя Хламов был? — разговаривали за столом.

— Был. Позавчера.

— Ну, как он?

— Он в порядке!

— Да? Устроился?

— Да.

— Довольный?

— Что ты!..

— Пойдем, Володя, — еще сказала Груша.

Владимир Николаич вместо ответа постучал вилкой по графину.

— Друзья! Минуточку, друзья!.. Давайте организуем летку-енку? В пику этим...

— Да что они вам?! — вконец рассердился человек с золотыми зубами. — Люди танцуют — нет, надо помешать.

Владимир Николаич сел.

Помолчал и сказал негромко:

— Ох, какие мы нервные! Ах ты, батюшки!..

Взял фужер с шампанским и выпил один.

— Володя, ты что это? — встревожилась Груша.

— Какие мы все... воспитанные, но слегка нервные! — не мог успокоиться Владимир Николаич. — Зубы даже из-за этого потеряли.

Никто не слышал его. Их с Грушей как будто даже и не было за столом — никто с ними не общался, никому не было до них дела.

— Какие мы все нервные! Да, Таисья Григорьевна?! — повысил голос Владимир Николаич, обращаясь к женщине в голубом. — Воспитанные, но слегка нервные. Точно?

Таисья Григорьевна внимательно посмотрела на него.

— Нервные, говорю, все!.. — Владимир Николаич насильственно посмеялся.

— Что, опять? — спросила Таисья Григорьевна.

— А вы только не смотрите, не смотрите на меня таким... крокодилом-то: я же не в детсадике. Верно? Что вы на меня так смотрите-то?

К Владимиру Николаичу повернулись, кто сидел ближе и слышал, как он заговорил.

Владимир Николаич встал.

— Пойдем! — велел Груше.

И они вышли из-за стола... И пошли...

За столом замолчали. Смотрели вслед им.

Пробрались через танцующих...

Надели в гардеробе плащи...

И вышли из ресторана.

— Что с тобой? — спросила Груша.

Владимир Николаич молчал.

— Зачем надо было так уходить?..

— Помолчи! — резко сказал Владимир Николаич. Но спохватился, что — резко... Взял Грушу под руку. — Не сердись.

— Чего ты на них так?

— В гробу я их всех видел! — зло и громко сказал Владимир Николаич. И еще добавил: — В белых тапочках!

Витька ходил по избе и учил наизусть.

...Вот и солнце встает,
Из-за пашен блестит,
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое...
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!

Витька передохнул и еще повторил:

Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!

Подошел к окну и засмотрелся на улицу.

По улице, поднимая пыль, шло стадо коров... Коровы мычали. Хлопали ворота, впуская кормилиц. А где ворота не открывались, там коровы сами пробовали рогами поддеть их. Мычали.

Вошла сестра Оля.

— Что не учишь? — спросила.

— Я выучил, — Витька был настроен грустно.

— Проверим, — сказала Оля. Взяла учебник... — Какое задавали?

— «Утро».

— Давай. С выражением.

Витька стал читать:

Звезды меркнут и гаснут.
 В огне облака,
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес...

— Здравствуй! — воскликнула Оля. — Поехал.

— Что?

— Куда заехал-то? «Дремлет чуткий камыш...»

— А-а!

Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье
 вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая...

— Ладно. Еще что?

— Составить описание вечера в деревне.

— Составил?

— Составил.

— Читай.

Витька прочитал:

— *«Вечер. Солнышко закатилось. Курицы залезли на длинные жердочки и заснули. Петух спел последний разок и тоже задремал. Ночью опять будет орать. Стало тихо. У нас в городе лучше»*.

— И все?

— Все.

Оля засмеялась.

— Вечером вместе напишем, Я сейчас в кино бегу. «Длинные жердочки», — Оля опять засмеялась. — На — письмо тебе от мамки.

Оля ушла, а Витька пристроился ближе к окну и стал читать письмо. Читал, и письмо слегка подрагивало в его руках...

Пришел дядя Коля с работы.

— Здорово, Витька. Что это?.. От мамки? Ну-ка, чего она там?

Дядя Коля стал читать... Нахмурился, помычал, покусал губу...

— Ну! — сказал он огорченно. — Так у нас ничего не выйдет: не успел отъехать, она уже... ночей не спит. Эдак она себе всю душу растравит и нам тут... Чего так-то уж?

Дядя Коля посмотрел на Витьку.

Витька пожал плечами. Промолчал.

— Ты, Витька, читать читай, а к сердцу всякие эти... слова не допускай. Она — женщина, а ты — мужик, должен быть крепче ее. Садись и напиши ей: ты, мол, мамка, не блажи там, у меня, мол, все в порядке, и душу мне не береди такими письмами. Я сам ей напишу. Мы ее сюда в гости позовем. Пусть возьмет с недельку за свой счет и приедет. Ладно, Витька?

Витька кивнул головой — ладно.

— Не расстраивайся, — сказал дядя Коля. И ушел в горницу.

Витька посидел немного у окна... И вышел из избы.

...И ушел он за деревню, на косогор... Сел и стал смотреть в степь.

Вечер был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый блеск делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось совсем грустно. Он думал о матери...

Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами — с дорогой, с дождиком, с печкой... Когда они шли в прошлом году из леса с грибами, она просила: «Матушка-дороженька, помоги нашим ноженькам — приведи нас скорей до-

мой». Или, если печка долго не разгорается, она выговаривает ей: «Ну, милая... ты уж сегодня совсем что-то... Чего раскапризничалась-то? Барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не всегда понимали друг друга. Витьке, правда, очень хотелось быть шофером... А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты, ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, такая теперь жизнь пошла — ученые-то вон как живут! Я осталась неученая, так хоть ты-то выучись. Нам с тобой надеяться не на кого». Этим ветеринаром, соседом, она все глаза протыкала Витьке. Когда он едет домой на своей машине, она всякий раз вздыхает и говорит: «Вот живет человек, Витька! Вот это — живет». Верно, что из-за этого Витька и выстегнул его свинье глаз. Левый. Два дня караулил ее у забора с рогаткой...

— Матушка-степь, помоги мне, пожалуйста, — попросил Витька.

А в чем помочь, он сам хорошо не знал. Он хотел бы быть сейчас дома. А как это сделать?

Он незаметно заснул.

...Разбудил его дядя Коля.

Когда Витька проснулся, дядя Коля стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Все сеялся нехолодный мелкий дождик. Было совсем темно.

— Замерз? — спросил дядя Коля.

— Не...

— Нет... — дядя Коля поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. — Ох, Витька, Витька... обормот ты мой милый... — он взял Витьку на руки и понес. Тут только увидел Витька, что рядом стоит конь. — Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя Коля сел впереди в седло.

— Ну, что? — спросил он, когда поехали.

— Ничего.

— Тоскуешь без мамки?

Витька промолчал.

— Что мне с вами делать? — вздохнул дядя Коля. — Охота помочь, и не знаю как. Вот же судьба, черт ее!.. Выпала. Стрел бы где-нибудь папу твово... родимого, я бы ему ска-

зал пару ласковых. Дурак. Себе жизнь загробил и другим... Дурак, — еще раз крепко сказал дядя Коля. — Нашел радость в жизни. Пьют же люди, но не так же, чтобы все за ее, гадину, отдавать. Все, самое дорогое...

Дядя Коля закурил и долго молчал.

Ехали шагом.

Дождик перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. По селу лаяли собаки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Близко где-то били палкой по чему-то мягкому, по перине, наверно, и приговаривали:

— Ты гляди, что делается — пыли-то! Пыли-то!

— Ничего, Витька... — заговорил дядя Коля. — Этот дядя Володя-то, он неплохой мужик. Пить хоть не будет. Не витязь, конечно... но уж... что теперь? Черт его бей — уж хоть такой: все хоть поможет вам. Все мужик в доме...

Витька представил почему-то, как дядя Володя танцует в их доме летку-енку. За него — сзади — держалась мать и тоже подпрыгивала. А за матерью подпрыгивали дед Наум, Юрка, разные молодые тети, подружки материны...

...Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворот дядя Коля соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку.

— Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси — дождь, наверно, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печку.

Дядя Коля пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда совсем затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул коня...

Мерин разохотился в беге, нес ровно, быстро. Витька сперва ждал, что он где-нибудь споткнется, потом успокоился. Дорогу конь находил сам.

...К рассвету Витька приехал домой.

Мать спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька соскочил с коня, набросил повод на штакетину, постучал в дверь.

— Кто там? — мать не на шутку испугалась.

— Я, — сказал Витька.

— Витя?!. — мать трясущимися руками долго отодвигала засов и все повторяла: — Господи, да что же это?.. Господи!.. Витенька, родной ты мой-то! — она обняла сына, прижала к себе. — Господи!.. Да ты как? А дядя Коля где?

— Я один.

— Оди-ин?! — от испуга мать даже запела. — Да ты что? Да как же? Да говори ты скорей, господи!.. Не случилось ли чего с вами дорогой-то?!

— Нет, — Витька прошел в комнату, дождался, когда мать включит свет. Огляделся — искал, видно, признаки присутствия в доме чужого человека.

Мать во все глаза смотрела на сына.

— Да что случилось-то, Витька?!

— Ничего, — Витька присел на краешек кровати, долго молчал. И мать молчала, смотрела на Витьку... Какой-то он был странный, повзрослевший, что ли.

— Мам... — голос у Витьки чуть дрогнул. — Ты... замуж-то не выходи. Не надо. Я теперь послушный буду. Учиться... ладно уж — хорошо буду. Мне только захотеть — я сумею... — Витька говорил негромко, с трудом. Смотрел куда-то в сторону.

Мать вспыхнула горячим румянцем, посмеялась — совсем некстати...

Заговорила торопливо, фальшиво как-то — она что-то вдруг растерялась.

— Да тебе кто сказал, что я замуж-то выхожу? Во!.. Ты откуда взял-то? Ты что?

— Пойду коня расседлаю, — сказал Витька.

Когда он вышел, мать скоро натянула платьишко, покружилась по комнате, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала отчего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет... так и пройдет теперь.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери... Неловко, бережно тронул ее по волосам — погладил.

— Не надо, мам.

— Я ничего, сынок. Я — так. Чаю хочешь?

— Я насовсем приехал...

— Ну и хорошо! Это хорошо, сынок. Я бы в субботу сама за тобой приехала. Плохо мне без тебя... Не могу.

...Когда Витька засыпал уже в своей маленькой горенке, в своей родной кровати, он слышал неясно: приехал дядя Коля. Обрывки разговора слышал.

— Да уж вижу, вижу — конь-то стоит. Отлегло от сердца... Чуток не рехнулся, ей-богу, — гудел дядя Коля. — Ладно бы свой... А тут — вдвойне...

— Утром... не рассвело хорошо, слышу: стук — воротца стукнули...

— Да, главное, пришел домой, разделся, лег уж — я-то! Ну, спит, думаю. И мои — тоже — не хватились. А потом вспомнил: а чего же конь-то не заржал? А он у меня всегда: как прихожу откуда ночью, потихоньку всегда заржет. Соскочил да в сарай — нет коня...

— Я-то думала: вы вместе ехали-то. Думаю, задержался где...

— Думали, думали, — сказал полусонный Витька. — Я думал, ты думал, он думал... Мы думали.

Потом, совсем уж сквозь сон, едва-едва — слышал:

— Да почему? Почему? Ты можешь толком мне объяснить?

— Не могу. Сама толком не знаю, не лежит душа, и все. Хоть ты что! Сама себя уговаривала, убеждала — не могу. Лучше век одна буду жить, только... Нет! Нет, нет и нет!

— Во! — удивился дядя Коля. — Это даже суметь надо — так опротиветь за короткий срок. Чем уж он так насолил-то?

— Да, наоборот, все хорошо. Ни одного грубого слова... Нет, все хорошо. Только — нет, и все тут.

— Ну, на нет и суда нет. Насильно мил не будешь, не зря говорят. Ладно... Я думал, у вас выйдет что-нибудь... Ладно...

Дальше Витька не слышал. Заснул.

Проснувшись, Витька маленько поперебирал свое хозяйство: бильярдные шары, подковы, покрышку футбольного мяча, лампочку от автомобильной фары, зеркальце автомобильное... Все было на месте.

В прихожей комнате, на столе, лежала записка:

«Витя! Я поехала на базар. Поешь молоко и хлеб. Все в шкафу, скоро приду».

Витька открыл шкаф... Но есть не хотелось... Он вышел из дому.

Пошел к Юрке.

Старик и Юрка были дома. Очень обрадовались, увидев Витьку.

— О!.. Кто к нам пришел-то!

— Витька?.. Эгей! — смешно обрадовался старик. — На побывку, что ли?

— Совсем, — сказал Витька.

— Совсем? — удивился Юрка.

— Совсем, — Витька тоже был очень рад. Но он радость свою никогда особо-то не показывал. — Чего делаете?

— Чего делаем? — переспросил старик. — Мы тут, брат Витька, с разных сторон жизнь окружаем: я — сзади, он — спереду. Я себе гроб вот строгаю, вроде того, что досвиданькаюсь с ей, с жизней-то, а Юрка в лоб ей метит — переделать норовит, — старик и правда строгал какие-то доски, но вид у него был вовсе не печальный. — Вот чем мы тут занимаемся, Витька.

Витька посмотрел на Юрку: правда ли, мол, что гроб-то? Юрка кивнул, что правда.

— Я уж тут убеждал, убеждал его — бесполезно, — сказал он.

— Нет, тут вы меня не убедите. В своем гробике буду лежать... Своими руками сделанный.

— Во дает! — сказал Витька.

— Я ее, каждую тесиночку-то, с лаской обделаю, аккуратно... Как жених в ем буду лежать!

— Да зачем?! — загорячился было Юрка. — Что за... дикость такая?

— Это не дикость. Какая дикость? У нас в деревне все старики так: кто мог, завсегда сам себе гроб делал. Что я, не знаю, какой мне гроб сделают? Тяп-ляп — и готово. Лежи потом... в хреновом гробу. Там сук вылезет, там трещина... На кой мне это надо? Я лучше сам... все тут по-людски сделаю.

— А что, заболел, что ли?

— Ничего подобного. С пенсии — опять заболею. А так — ни одно ребрушко еще не ноет. А гроб... Сделаю — пусть стоит, места-то не простоит. Вот так, ребятушки, так, орелики мои... Ничего тут удивительного нет: все помрем! Я уж, слава богу, пожил. Да ишо поживем! Пенсия вот скоро... масла опять купим в магазине... — старик искренне засмеялся. — По Юркиному учению — это масло. Потом хворать полезу на печку...

— Вот логика! — сказал Юрка, тоже улыбаясь. — Железная. А чего ты приехал, Вить?

— Да этот гусь-то... он больше не будет ходить. Мама не велела больше.

— Да?

— Да.

— Давайте чай пить, раз такое дело! — весело сказал старик. Отложил рубанок, стряхнул с рубахи и со штанов стружки. — Счас медку принесем, яблоков... Заварим чай с парами. Слыхали такой — чай с парами?

— Нет. А как это?

— А вот счас сделаем. Это меня один сибиряк научил... У их там холода страшенные, вот они и выдумали чай с парами. Подмети пока, Юрка, а я за медом схожу. Подмети, чтоб и мы в чистоте посиживали и чаек попивали. Будем чаек попивать и беседовать.

Старик вышел, а Юрка взял веник и стал подметать.

— Хорошо в деревне? — спросил он.

— Хорошо. Только скучно.

— Ну, это ты... не понимаешь. Разве там скучно? Это ты один там оказался, поэтому тебе показалось скучно. А так-то там не скучно.

— Может быть. Мне здесь больше нравится.

— Ну, конечно, — согласился Юрка. — Хорошо, что ты приехал.

— Я там скучал без вас, — признался и Витька.

— Мы тоже тебя тут вспоминали...

Вошел старик.

— Вот и медок. Счас... загуляем, запьем и ворота запрем. Не журись, ребяты, — не пропадем!

Непросто

говорить

о

Шукшине...

Фильмография В.М.Шукшина

«Из Лебяжего сообщают». 1960.

Дипломная работа В. Шукшина. Художественный руководитель М. Ромм. Сценарий и постановка В. Шукшина. Гл. оператор В. Владимиров. Гл. художник И. Новодережкин. *В ролях:* В. Шукшин (Ивлев), Л. Куравлев (Сеня), В. Макаров (секр. райкома) и др.

«Живет такой парень». Центр. киност. дет. и юнош. фильмов им. М.Горького. 1964.

Сценарий и постановка В. Шукшина. Гл. оператор В. Гинзбург. Художник-постановщик А. Вагичев. Композитор П. Чекалов. *В ролях*: Л. Куравлев (Пашка), Л. Александрова (Настя), Л. Буркова (Катя), Р. Григорьева (городская женщина), Н. Сазонова (тетка Анисья), А. Зуева (Марфа), Б. Ахмадуллина (журналистка), Н. Балакин (Кондрат), И. Рыжов (зав. нефтебазой), Е. Тетерин (учитель) и др.

«Ваш сын и брат». Центр. киностудия им. М.Горького. 1965.

Сценарий и постановка В. Шукшина. Гл. оператор В. Гинзбург. Художник-постановщик И. Бахметьев. Композитор П. Чекалов. *В ролях*: В. Санаев (отец), А. Филиппова

(мать), М. Грахова (Вера), А. Ванин (Игнат), Л.Куравлев (Степан), Л. Реутов (Максим), В.Шахов (Василий) и др.

«Странные люди». Центр. киност. им. М.Горького.1969.

Сценарий и постановка В. Шукшина. Гл. оператор В.Гинзбург. Гл. художник И. Бахметьев. Композитор К. Хачатурян. *В ролях:* С. Никоненко (Васька-чудик), Е. Евстигнеев (братка), Л. Федосеева (Лида), Е. Лебедев (Бронька), Л. Соколова (жена Броньки), В. Санаев (Матвей), Е. Санаева (дочь Матвея), Н. Сазонова (жена Матвея), Ю. Скоп (Колька), П. Крымов (учитель) и др.

«Печки-лавочки». Центр. киност. им. М.Горького. 1972.

Сценарий и постановка В. Шукшина. Оператор-постановщик А. Заболоцкий. Художник-постановщик И. Бахметьев. Композитор П.Чекалов. *В ролях:* Л. Федосеева (Нюра), В. Шукшин (Иван), В. Санаев (профессор), С. Любшин (сын профессора), И. Рыжов (проводник), Л.Соколова (проводница), Г. Бурков (вор) и др.

«Калина красная». Мосфильм. 1974.

Сценарий и постановка В. Шукшина. Оператор-постановщик А. Заболоцкий. Художник-постановщик И. Новодережкин. Композитор П. Чекалов. *В ролях:* Л. Федосеева (Люба), В. Шукшин (Егор), И. Рыжов (отец Любы), М. Скворцова (мать Любы), А. Ванин (Петр), М. Виноградова (Зоя), Е. Быстрова (мать Егора), Л. Дуров (официант), Н. Граббе (начальник колонии), Г. Бурков (Губошлеп) и др.

Фильмы, в которых снимался В.М. Шукшин

«Тихий Дон».
Фильм С.Герасимова. 1958 — *эпизодическая роль.*

«Два Федора»
Фильм М.Хуциева. 1959 — *Федор старший.*

«Золотой эшелон»
Фильм И.Гурина. 1959 — *Андрей Низовцев.*

«Простая история»
Фильм Б.Метальникова и Ю.Егорова. 1960 — *Иван Лыков.*

«Аленка»
Фильм Б.Барнета. 1962 — *Степан*

«Когда деревья были большими»
Фильм Л.Кулиджанова. 1962 — *председатель колхоза.*

«Мишка, Серега и я»
Фильм Ю.Победоносцева. 1962 — *Геннадий Иванович.*

«Мы, двое мужчин»
Фильм Ю.Лысенко. 1963 — *Горлов.*

«Какое оно, море?»
Фильм Э.Бочарова. 1966 — *Жора.*

«Комиссар»
Фильм А.Аскольдова. 1966 — *командир отряда.*

«Журналист»
Фильм С.Герасимова. 1967 — *Корпачев.*

«Три дня Виктора Чернышова»
Фильм М.Осипьяна. 1968 — *Кравченко*

«Мужской разговор»
Фильм И.Шатрова. 1968 — *отец Саши.*
«Любовь Яровая»
Фильм? 1970 — *Роман Кошкин*

«Освобождение»
Фильм Ю.Озерова. 1970 — *маршал Конев.*

«У озера»
Фильм С.Герасимова. 1971 — *Черных.*

«Если хочешь быть счастливым»
Фильм Н.Губенко. 1971 — *Федотов*

«Даурия»
Фильм В.Трегубовича. 1972 — *командир бронепоезда.*

«Печки-лавочки»
Фильм В.Шукшина. 1972 — *Иван Расторгуев.*

«Калина красная»
Фильм В.Шукшина. 1974 — *Егор Прокудин.*

«Прошу слова»
Фильм Г.Панфилова. 1975 — *Федя*

«Они сражались за Родину»
Фильм С.Бондарчука. 1975 — *Петр Лопахин.*

Награды

«Живет такой парень»:

— «Золотой лев Св. Марка» — гран-при на XVI международном кинофестивале детских и юношеских фильмов. Венеция. 1964;

— приз I всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде за лучшую кинокомедию.

«Калина красная»:

— Главная премия VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку (1974), «отмечающая самобытный, яркий талант писателя, режиссера и актера»;

— в ежегодном конкурсе журнала «Советский экран» В.М.Шукшин признан лучшим актером года;

— на международном смотре «Фестиваль—75» в Белграде назван в числе пяти лучших фильмов года;

— на «Форуме молодого кино» в рамках XXV международного кинофестиваля в Западном Берлине получил премию;

— получил премию польских кинематографистов «Варшавская сирена» за лучший иностранный фильм года на экранах Польши (1976);

— по итогам опрса зрителей польским журналом «Фильм» назван лучшим зарубежным фильмом на экранах стрнаы

вместе с фильмом Луиса Бунюэля «Скромное очарование буржуазии» (1976);

— по итогам опроса кинокритиков Кубы назван в числе 12 лучших фильмов года на экранах Кубы.

За участие в фильме «Они сражались за Родину»:

— по итогам ежегодного конкурса журнала «Советский экран» В.М.Шукшин назван лучшим актером года (1976);

— специальная премия жюри XIV международного кинофестиваля в Панаме (1976) за исполнение роли Лопахина.

«Два Федора»

«Золотой эшелон»

«Простая история»

«Аленка»



«Когда деревья были большими»

«Мишка, Серега и я»





«Мы, двое мужчин»

«Какое оно, море?»



«Комиссар»

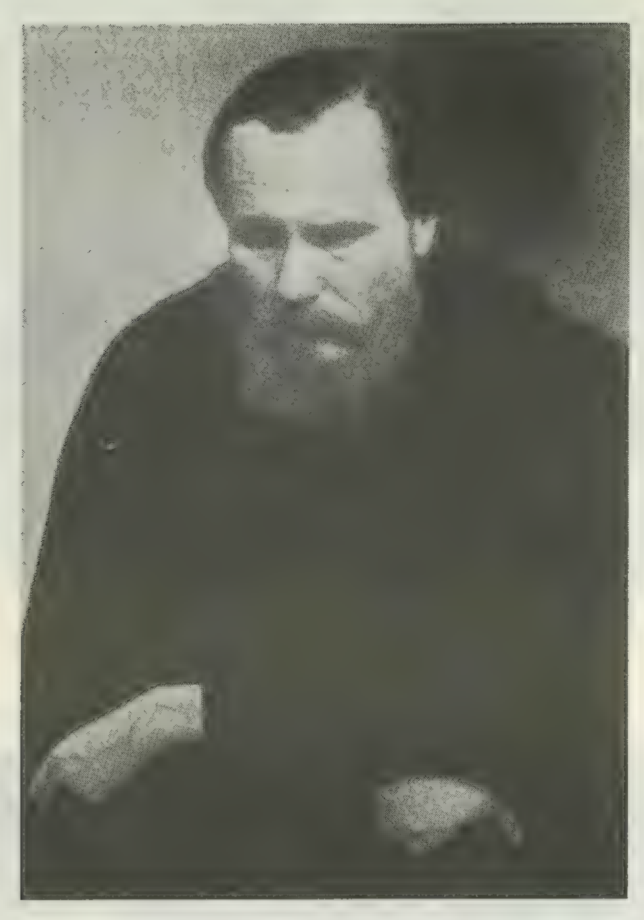
«Мужской разговор»



«Журналист»

«У озера»

На съемках фильма с С. А. Герасимовым



Проба на Достоевского

(без грима, только приклеена борода)

Из воспоминаний Марлена Хуциева

«Аллеи этой на Одесской студии сейчас нет. Не длинной, идущей влево от проходной, немного наискосок. Аллеей этой мы ходили, направляясь к небольшому одноэтажному зданию, именуемому громко «Производственный корпус».

На той аллее я и встретил однажды человека, незнакомого мне, он был не из студийных. Человека с слегка раскачивающейся походкой, одетого в темно-синюю гимнастерку и галифе, в сапогах — костюм совершенно немыслимый для жаркого одесского июля. Я сразу узнал его, хотя никогда не видел и фамилию его услышал дня за два до этого, и она ничего мне не говорила. И тем не менее я сразу узнал его. Здесь нет никакой мистики. Речь идет о студенте третьего курса режиссерского факультета, приехавшем на практику. Я начинал ставить фильм «Два Федора», мне нужен был исполнитель главной роли, сценарий был славный, но несколько, как казалось мне, сентиментальный, и нужен был настоящий солдат. Среди актеров, которых я знал, мне такой не виделся. И вот вгиковцы, его однокурсники, назвали мне фамилию, которую я никогда не слышал. Шукшин. Самого его ни разу не встречал — он поступил во ВГИК, когда я его окончил. И вот, встретив в Одессе, я сразу узнал его. Не обратить на него внимания нельзя было.

Мы поравнялись, прошли мимо, не сказав ни слова друг другу, — он был на практике у товарища и пробовался на одну из ролей, и до результата проб заговаривать с ним мне было неудобно. Но странно, потом, когда мы познакомились и я услышал его голос, он был совершенно таким, каким я ожидал, вернее, каким он и должен быть у такого

человека, с таким лицом, с таким обликом. Он, голос, был похож на него, он был его, был настоящий. Сейчас — похожего не знаю.

Некоторое время, проходя друг мимо друга, мы продолжали молчать, потом стали сдержанно кивать друг другу. Наконец, когда он не был утвержден в картине, я предложил ему прочесть сценарий, сказав, что если он согласится, никого другого снимать не буду. Он согласился. До сих пор не могу понять, что его привлекло тогда. Главная роль, моя ли откровенность, которой он поверил? Так или иначе, мы условились, и я уехал в Киев утверждать сценарий.

После обсуждения сценария в киевском Комитете дали поправки, было установлено, что я сделаю их прямо в режиссерском сценарии в короткий срок — две недели. Я остался в Киеве, засел в гостинице, целыми днями писал, резал, клеил. Однажды в дверь постучали, и в номер, к моему изумлению, вошел Шукшин. Вид у него был хмурый и одновременно смущенный. На мой вопрос, откуда он взялся вдруг, ответил, что приехал на съемки. Оказалось, что после моего отъезда из Одессы в группе, в которой он до этого пробовался, произошли какие-то неполадки с актерами, и его срочно утвердили на этот раз на главную роль. Он сообщил, что ему сказали, что мне, мол, сценарий утверждать не собираются, и я запущен не буду. Я высказал недоумение, кивнув на груду листов, и сообщил, что он попросту введен в заблуждение. Шукшин произнес короткое «ясно», подвигал желваками и... уехал в Москву.

Потом, когда я был запущен, его за эту решительную акцию не разрешали пробовать, потом... потом как-то, уж не помню сейчас как, все это улеглось — наверное, убедил экран, проба (провести которую в конце концов разрешили). Потом была работа, о которой, несмотря на то, что она протекала тяжело — я все время болел, — вспоминаю как о счастливом времени. Мы договорились сразу об общей позиции, и работа шла непринужденно, как дружеский разговор, в котором собеседники хорошо и легко понимают друг друга.

Я иногда замечал в его руках тонкую ученическую тетрадь, свернутую в трубку, я знал, что он пишет для себя, кажется, рассказы, его однокурсники говорили, что пишет неплохо, но я — не хочу прикидываться проницательным — не придавал этому особенного значения.

В длинные осенние вечера, когда в Одессе особенно уныло и неуютно, он приходил в мою комнатку в студийной гостинице. Незаметно, как-то не специально, он начинал рассказывать. Рассказов не помню — голова всегда забита предстоящей съемкой, мысли о которой вымывают из мозгов все, кроме нее. Это были не рассказы в собственном смысле этого слова, сюжетные истории, законченные вещи, нет, просто он рассказывал о своих родных местах и людях, которых знал. Помню его рассказ о старом своем деде, который подбадривал кулачных бойцов, а потом, не выдержав, сам ввязался в бой на кулачках и одолел противника. Рассказал так смачно, что мне, человеку совершенно не воинственному, отчаянно захотелось подраться.

Вернулись из экспедиции, и на монтажный стол легли горы несмонтированного материала, самый сложный материал пришелся как раз на конец картины. Эпизоды монтировались одновременно, в лихорадочном темпе, но один эпизод никак не подвигался — прощание Федора с мальчишкой на перроне. Для этого эпизода был снят крупный план Федора старшего, и план был очень длинный, так как предполагалось, что в монтаже он будет в нескольких местах. Но трещала мовиола, я снова и снова смотрел этот план, прикидывал, где он будет разрезан, делал отметки, размечал, но потом откладывал все и принимался за другие эпизоды. Монтажер недоумевала, когда же будет смонтирован этот эпизод, ведь дело движется к перезаписи. Я снова брался за сцену на перроне, в который раз смотрел в круглое окошко-лупу, тащил материал в просмотровый зал, на экран, не помню в который раз смотрел эпизод, и который раз смотрело на меня с экрана лицо солдата.

Может, все дело в том, что нет еще музыки? Ведь эшелон должен уходить под марш, а марш еще не записан. Произошла заминка — я не знал названия марша, слышал его в одном документальном фильме, напел мелодию дирижеру духового оркестра Одесского артиллерийского училища, он назвал марш — «Советский герой», но поскольку автором его был Хайт, произведения которого одно время не исполняли, то страницы с маршем в нотных книжках были просто-напросто заклеены. Ноты были извлечены, страницы подержали на пару, расклеили, грянул оркестр — дружно, с удовольствием. И под звуки этого замечательного марша, в

котором слилась и боевая окрыленность, и тот особый грустный оттенок, который всегда присущ русским военным маршам, под звуки его тронулся на экране эшелон, и который раз смотрело на меня лицо солдата, и снова я не могу оторвать от него глаз.

И тут я вдруг понимаю, почему никак не монтируется эпизод, — просто я не в состоянии разрезать этот план. Не могу. Таким он и остался в фильме, во всю длину плана, до последнего сантиметра..."

Из Из воспоминаний Юрия Соловьева

"Умер Шукшин, а съемки картины «Они сражались за родину» еще не закончились — и киногруппа искала дублера на те эпизоды, в которых Шукшин не успел досняться.

И вдруг меня вызывают на «Мосфильм». Доигрывать за Шукшина роль Лопахина. Так, как играл бы Шукшин.

Я растерялся. Конечно, актер для того и актер, чтобы играть не себя, а другого, может быть, даже совсем не похожего на него человека. Но... как продолжить и завершить работу большого художника? Я наотрез отказался. Мне вновь звонили из группы и вежливо, но настойчиво уговаривали приехать в Москву хотя бы «попробоваться». И на «Ленфильме» меня убеждали, что дело это святое, кому, как не мне, близко знавшему Шукшина, следует взяться за эту работу, что надо собрать силы и мужество — и соглашаться.

И я согласился. На «пробу».

Никогда у меня не было такой необычной работы.

«Мосфильм». Встретили меня радушно. Тогда я впервые почувствовал глубочайшее уважение к Шукшину со стороны киносъемочной группы, которое непроизвольно и незаслуженно переносилось теперь на меня.

— Он умер все-таки от сердечного приступа?

— От сердечной недостаточности. Это было для всех так неожиданно... Он ведь веселый был, неутомимый... Все так любили его...

— И ничего нельзя было сделать?

— Он умер ночью. Тайком... Мы только утром уже обнаружили. Ой, что было!

Вахтенный матрос из команды теплохода, где базировалась группа, рассказывал, что Василий Макарович спустился к нему перед утром, спросил, нет ли в судовой аптечке чего-нибудь от сердца. Был валидол. «Мне валидол уже не помогает», — грустно сказал ему Шукшин, но взял то, что было, вернулся в каюту и лег — успокоиться.

— Вы представляете? Кто б мог подумать, что у него так серьезно? Скрывал. Вот только кофе пил очень много — гнал свое слабое сердце. И много курил... Он умер сразу, даже таблетка не рассосалась под языком.

Ассистент режиссера повел меня в костюмерную. Там нас ждала костюмерша, старушка. Она сквозь очки оглядела меня каким-то ревнивым, придирчивым взглядом. Вздохнула и молча направилась в глубь костюмерной.

Костюм Шукшина—Лопахина помещался отдельно — на стенке. Его не отряхивали, не отмывали и бережно хранили в том виде, какой он имел «на натуре» в последний день съемок. Я натянул пропыленные брюки, обулся, влез в гимнастерку. Она до сих пор источала запах шукшинского пота — след колоссальной работы, которую может понять и до конца оценить только актер, сам провернувшийся через горнило военного фильма. Костюм был «живым».

Он был чуть великоват мне, и я в тайной надежде избавиться от гнетущего чувства ложной вины спросил:

— Может быть, мы подберем костюм по размеру?

— Нет. Все нормально, — ответил мне Виктор, ассистент режиссера. — Сергей Федорович просил костюм сохранить. Спиной ко мне повернитесь.

Две пары глаз изучали меня, мысленно подставляя фигуру Макарыча. Я повернулся. И сразу почувствовал, как они замерли. Стало быть, сзади сходство большое.

А костюмерша уже подошла, подала мне пилотку, планшет, расстегнула на вороте верхнюю пуговицу, поправила на груди медаль «За отвагу», чуть ослабила пояс.

—Так он носил.

И вдруг я заметил, что у суровой старушки руки дрожат от волнения. Я для нее был чужим и ненужным, она занималась не мной, а костюмом, как занималась им прежде, готовя к съемке Макарыча. И на лицо мое она не смотрела, боясь, что разрушит иллюзию.

— Брюки немного висят... — сказал я ассистенту.

— Это нормально. Василий Макарыч носил форму небрежно. То есть свободно. В характере... — он оглядел меня еще раз и пригласил: — Идемте в гримерную.

А в коридоре Виктор шел рядом со мной, забегая вперед, и шептал торопливо:

— Походка у него была чуть свободнее... Ноги — носками наружу, шагал чуть вразброс...

Да знаю я, знаю, уже двадцать лет знаю эту походку, еще с института!

— Вот посмотрите... — второй режиссер протянул мне какую-то фотографию — Узнаете?

На фотографии был Шукшин, снятый в профиль.

— Нет, это не он. Один инженер. Правда, похож?

— Копия!

— Вот эти письма получены нами за месяц, они отовсюду идут. Люди советуют и предлагают знакомых, похожих на Шукшина. Но нужен актер.

Пока ждал Бондарчука, вышел на площадку лестницы покурить. Услышал шаги. Кто-то подшаркивающей походкой, трудно дыша, поднимался сюда. Я шевельнулся — и сразу раздался глубокий сдавленный стон. Полная женщина стояла на лестнице, держась за перила, расширив глаза.

— Что с вами? — я кинулся к ней, подхватил ее под руку, забыв, что в одет в костюм Шукшина и покрашен.

Женщина молча вгляделась в меня, отстранилась и, вяло отмахиваясь, оглядываясь, осторожно нащупывая ступени, стала спускаться обратно. И только тут до меня докатило, что я своим видом уже начинаю вводить людей в заблуждение. Нет, нельзя гулять здесь в шукшинской одежде. Я загасил сигарету, и в этот момент мня позвали в кабинет.

Я оробел. Стало страшно входить в кабинет. В ушах еще слышался стон женщины. Хоть бы отвергли меня, забраковали походку, фигуру, лицо!

Но вот проклятая актерская сущность: как только я шагнул в кабинет, что-то во мне перестроилось. Что-то неуловимое и неподвластное разуму, воле, тайный инстинкт незаметно включил механизм поведения — тело сразу же выпрямилось. Руки полезли в карманы, в коленях появилась упругость, глаза почему-то прищурились...

Так и стоял я перед Бондарчуком, смело глядел на него, совсем не испытывая никакого волнения, которое как-то

само собой улеглось, и боковым, дополнительным зрением видел, что ассистент доволен. Радость удачи светилась в глазах режиссера, словно бы он возродил Шукшина.

— Будем готовиться к съемке.

— А материал покажут? Я ведь не знаю, как он играл...

— Это не нужно, — и Бондарчук, извинившись, ушел продолжать худсовет.

Я возвратился домой, в Ленинград. Выход был только один — готовиться к съемке. Но — как? Что готовить? Выучил текст для начала — его было все-таки много. Два эпизода. Вернее один эпизод целиком, другой кусок — вставка в отснятый на «натуре» эпизод — наивная попытка Лопахина соблазнить молодую хозяйку и, расположив к себе женщину, получить обед для товарищей. Что мне играть? Роль Лопахина? Шукшина? Или Лопахина в исполнении Шукшина (вспомнилось: «Он в нашем фильме просто необыкновенный!»)? Но почему Бондарчук решил не показывать мне пленку с Лопахиным? Ладно. В конце концов, может быть, это и неважно, как Шукшин играл свою роль, но важно другое, как он сыграл бы оставшиеся эпизоды? А этого никто знать не может.

Роль и сама по себе сложная, но исполнять ее, не отклоняясь от Шукшина, от его удивительной, неповторимой актерской манеры, отлично знакомой всем зрителям...Тут надо понять: речь идет не о качестве исполнения роли как таковой, а именно о шукшинской манере. Работа многоступенчатая: нужно сначала войти в индивидуальность самого Шукшина или хотя бы приблизиться к ней, а уж потом — через посредство ее — входить в характер того человека, которого он создавал...

Было отчего прийти в отчаяние. Как подступиться к этой работе? Прежде всего — успокоиться. Ведь постановщик, наверное, знал, что делает. Он сказал мне: получится. Значит, уверен. Необходимо сначала учесть, что есть общего у меня с Шукшиным. Он — сибиряк, и я — сибиряк. Даже во внешности есть что-то сходное: та же скуластость хотя бы. Правда, Шукшин был худощав, а я у себя вижу в зеркале щечки. Стало быть, надо худеть. Но это ли главное?

Я должен приблизиться к Шукшину. Сосредоточиться и вспомнить все, что знаю о нем. Жаль, мы все-таки редко

встречались. Я знаю его не по совместной работе, по институту. Помню его молодым и здоровым. Шукшин на четыре года был старше меня, но на два курса моложе.

В те уже давние годы, в начале пятидесятых, во всем ощущалась нехватка. Мало кто из студентов был одет «по моде», и тех, кто щеголял узкими брючками и башмаками на толстой подошве, мы, кто попроще, именовали «стилягами». Все остальные носили одежду случайную, сборную, многие до окончания института ходили в армейских залатанных сапогах, гимнастерках, и студент Вася Шукшин не составлял среди них исключения. К тому времени он уже имел непреклонные, твердые убеждения, которые самым решительным образом защищал. Иногда — грубовато.

Пожалуй, не вспомнить мне Васю тех лет расслабленным. Даже по вечерам, когда все отдыхали и как могли развлекались, он постоянно читал — и под студенческой койкой его, на газетке, всегда были книги. Случалось, что он засыпал раньше всех, живших в комнате, с книгой в руках, побежденный усталостью, и мы, забавляясь, разглядывали его. Он то улыбался, то хмурился, то бормотал неразборчиво, может быть, спорил, не соглашался, доказывал...

Степень талантливости определяла тогда отношение к человеку в нашей среде. Талант, одаренность, бездарность — были у нас ходовыми словами, воздух внутри института пропитан был суетными, ревнивыми мыслями: кто из студентов кого одареннее; в аудиториях, коридорах, буфете, на лестницах в гуле бесчисленных споров назойливо выделялось: «талант», «алант», «алан», мы не гнушались и гениальностью («Видел, старик, как он разбил воображаемую тарелку? Это гениально, старик!»). По институту гордо ходили несколько гениев. Вряд ли мне стоит их называть: их имена ничего не скажут. И я за свои двадцать лет работы в кино нигде и ни разу не встретил ни этих имен, ни их обладателей.

Вася Шукшин в их число не входил. Только, пожалуй, однажды он возбудил всеобщее любопытство. На режиссерском сдавали зачет по актерскому мастерству. Играли что-то из Шолохова. Вася отчаянно рубанул полным текстом такое, что полагалось из скромности утаить, и даже таким откровенным писателем, как Шолохов, было упрятано за мно-

готочием. Зрители ахнули и рассмеялись. Громче других хохотал Михаил Ильич Ромм. А в коридорах студенты ловили друг друга: «Ты слышал, старик? Вот это парень! Во выдал! Слыхал? Гениально, старик!» И только Вася не понял, что же такое особенно гениальное он сотворил. Вряд ли даже заметил, как у него сорвалось с языка, — настолько он был натуральным и самозабвенным в работе.

И все-таки нет, к числу гениальных и даже талантливых наша студенческая молва не относила его. Талант разглядел в нем учитель Михаил Ильич Ромм.

Доказывать свое право на творчество пришлось Шукшину непростительно долго. Закончив институт, он не имел ни жилья, ни работы по специальности. Однажды, приехав на съемки в Москву, я посетил наше памятное общежитие.

Заранее зная, что никого из знакомых там не встречу, робко вошел в коридор — и первым, кого я увидел, был... Вася Шукшин! Он шел навстречу мне по коридору, в тренировочном костюме и тапочках, с чайником в руке.

— Здоров! — удивленно, с характерной своей интонацией встретил Василий меня и, перекинув чайник в левую руку, сжал мне ладонь. — Ты-то как здесь?

— Я-то понятно. Зашел по пути. А ты-то что тут делаешь?

— Как что! Живу!

Пока пили чай, он рассказал, что вынужден временно жить в общежитии, в общем, на птичьих правах, переселяясь с койку на койку. С работой что-то не светит: самостоятельной постановки не доверяют. Ну, соответственно, и с жильем вопрос не решается. Спасибо вот комендантше — добрая женщина, не прогоняет пока, но это ж не вечно...

Потом я узнл, что он снимается. Потом появились в печати его рассказы. Рассказами он не удивил меня. Та простота, которой пленял он в игре на экране, здесь показалась мне элементарной. Проза Шукшина не произвела на меня «солидного впечатления». Но было приятно, что мой товарищ печатается. Я начал гордиться знакомством с ним.

Когда наконец — уже будучи известным актером, писателем — он поставил картину и запустился с другой, произошла еще одна встреча. Я проходил коридором студии имени М.Горького мимо табличек с названиями кинокартин, находившихся в производстве, разыскивая ту, на которую был вызван, как вдруг прочитал на одной из дверей:

«Режиссер-постановщик В.М.Шукшин». Ну как не зайти повидаться?

В крохотной комнатке, где кое-как разместились лишь стол и два стула, сидел, развалившись, знакомый актер, небрежно листал режиссерский сценарий и рассуждал, а Шукшин ходил в тесноте от окна до двери и обратно и мрачно курил. Кивнув, указал мне на стул. Актер поздоровался («Ты, старичок, извини, сейчас мы закончим, тут дело серьезное») и продолжал разлагольствовать. Суть его речи мне уловить было трудно: он что-то путано говорил о сценарии, который прочел накануне в сценарном отделе, не только прочел, но изучил, проработал, оставил пометки и для его же, Шукшина, пользы пришел «абсолютно по-дружески», чтобы отметить отдельные недостатки, предупредить, предостеречь от ошибок; сценарий, конечно, уже не исправить, но в постановке неплохо бы сделать серьезные коррективы, снять так-то и так-то... Хотя Вася и не пригласил его на картину, он на Макарыча не в обиде, и если бы тот пригласил его в картину, мог бы сыграть одну из ролей — от тут себе уже присмотрел — но, боже упаси, не из корыстных соображений, а из желания помочь Василию в постановке фильма, негоже бросаться единомышленниками и так далее, в том же духе... Он набивался и набивал себе цену. Глядел я на Шукшина, на его напряженно сжатые губы, глядел и гадал, насколько же хватит терпения у него (это с его-то характером!). Василий Макарыч мрачнел и мрачнел, потом вдруг толкнул дверь ногой и вышел. Мы ждали его возвращения, актер, продолжая болтать, рассказал мне не менее дюжины анекдотов, А Шукшин не появлялся. Мне ждать его было некогда: надо бежать в свою киногруппу.

Так и не удалось мне в тот раз поговорить с ним. Он не появился на киностудии ни на следующий день, ни на последующий. Когда я поинтересовался, где можно найти его, мне лаконично ответили: «На Алтае».

Вот так! Вышел из киностудии, мимоходом — домой, схватил чемодан и уехал. Возможно, этот актер оказался последним в цепи добровольных советчиков. Каплей, которая переполнила чашу терпения...

Теперь, перед съемкой, мне хотелось суммировать качества человека, сплавить их воедино, а из слагаемых сумма не

получалась. Пробовал ощутить Шукшина целиком — сразу, как образ, интуитивно, почувствовать его нервы, угадать тайные мысли, взгляд... Сколько я ни старался, все-таки что-то не выходило. Все было рядом, но не внутри. Все приблизительно. Только теперь осознал я всю разницу между собой и нашим Макарычем, а ведь, казалось бы, чем-то мы были похожи...

Трудное дело предстояло на съемках. Я не боялся позора. Боялся притворства.

Когда, облаченный в костюм Шукшина, я появился в гримерной, там — уже одетые, загримированные — меня ждали актеры: Бурков, Лапиков, Волков, Никулин, актерская молодежь. Шел чисто актерский, необязательный треп. Но при моем появлении все замолчали. Я поздоровался. Каждый поднялся, пожал мне руку. Сразу почувствовалось внимание — уважительное, но не назойливое. Понимая мою неуверенность и волнение, актеры продолжали свой разговор. Эти ребята успокаивали меня. Не обращаясь ко мне, делая вид, что ровным счетом ничего не случилось.

Начиналась обычная съемка, каких у меня было много. И все же еще раз сомнение взяло меня, когда я увидел камеру рядом с собою.

— Вадим Иванович, извините, не крупно ли? — выразил я опасение оператору Юсову. — Как бы несходство не вылезло...

Юсов вгляделся в меня и попросил ассистента двинуть камеру еще ближе ко мне.

Что они делают! Я представил свое лицо на экране во всю его площадь... И тут же сообразил, что экран-то широкий, пока разглядишь все лицо по частям, уже сменится план, внимание зрителя переключится, и он не успеет заметить подмены. Вот это — смелость художника! Нужно не прятать героя картины, а укрупнять его!

Не стану описывать съемки — скажу только, что результат, по мнению товарищей, оправдал все старания. Никто, ни один человек — кроме тех, кто имел хоть какое-то отношение к этой работе, — не обнаружил подмены.

Но сделано было только полдела. А кто озвучит всю роль? Голос Василия Шукшина уникален — и тембр, и интонация. — знаком он буквально каждому зрителю! Кто сможет его сымитировать? Нужен был сильный актер, имен-

но — драматический. Игорь Ефимов, актер Ленинградской студии киноактера, блистательно и сымитировал голос, и бережно донес интонации и глубину исполнения Шукшиным характера Петьки Лопахина..."

Из воспоминаний Сергея Герасимова

"Он говорил и не раз говорил, что, по-видимому, надо отказаться от кинематографа, что нельзя размениваться, что нужно сосредоточиться на одном, что литература — его главное призвание, что, вероятно, не следует ему дробиться между двумя такими крупными искусствами, как литература и кинематограф. Все так... Но, наверное, он не мог жить без кинематографа.

Как замечательно сыграл он маленькую роль журналиста-пропойцы в «Журналисте», не курьезно, а скорбно и глубоко, так что в эпизоде открылся человек с его трагедией, с его несостоявшейся жизнью.

В роли инженера Черных Шукшин поразил меня всепроникающим мастерством современного психологического анализа. Эту роль я считаю одной из лучших в картине «У озера».

Его интересовали люди, Шукшин хорошо понимал, чувствовал их, наверное, поэтому ему так удавалась актерская работа. С огромной ревностью относился Шукшин к облику и поведению своих героев на экране. Он искал в актерах не исполнителей, но соавторов, и чаще всего находил. Но все же наилучшим примером точного воплощения народного характера остается собственная работа Шукшина как актера. Цепь его удивительных актерских открытий блистательно завершил Егор Прокудин из «Калины красной».

Можно ли представить себе, скажем, Егора Прокудина вне зависимости пластики самого Шукшина? Может быть, он и подумывал о том, чтобы поручить эту роль кому-то другому, потому что разрываться между режиссурой и актерским трудом — дело не простое, что знают все, кто пробовал делать такие опыты. И Шукшину они были не просты, естественно; и его они изнуряли. Тем не менее он все-таки

шел на это с огромным интересом, с определенной потребностью даже. И не только потому, чтобы сыграть самому главную роль. И уж совсем не потому, чтобы завоевать дополнительную популярность. Не из тщеславия, разумеется, нет. А ради того, чтобы наиболее полно и точно выразить то, что его томило, что он хотел сказать, в частности, этой ечеловеческой натурой, судьбой, характером во всех его тонкостях и деталях.

Никто другой не сыграл бы в «Калине красной» удивительную сцену объяснения Егора Прокудина с родителями Любы. Там Егор на грани очень тонкого и острого розыгрыша и с нажитой за жизнь желчью — вступает в полемику со стариками, выпаливая свои претензии с невероятно смешным и трогательным пафосом. Так, как он, никто не смог бы сыграть — все выглядело бы для автора и режиссера неточным, приблизительным, и Шукшин наверняка кряхтел бы, кусал губы, а потом, вздохнув, сказал бы: «Ну, ладно, ладно, чего уж... Будем снимать...». Не добился бы он от другого исполнителя воплощения, адекватного тому, что уже звенело в ушах, что стояло перед глазами как нечто уже готовое. Поэтому он играл сам и играл всегда необыкновенно интересно и точно. Шукшин никогда не поступался точностью и тонкостью актерского исполнения. Не случайно же и сам он был актером высочайшего класса.

Он с жадностью относился к актерскому творчеству, видел в работе актера продолжение литературы — вот что было для него очень важно. Он пытался сохранить литературную скульптурность, если можно так странно выразиться, уже в процессе непосредственного пластического выражения ее в кинематографе. Сцена перепалки Егора с родителями Любы Байкаловой можно считать вершиной авторского режиссерского, актерского постижения самому себе поставленной задачи. В репликах Егора, в живости интонаций находят тончайшее выражение и вся сложность конкретной ситуации, и множество предпосылок судьбы Прокудина, и особенности его натуры, и накал его страстей. Попробуйте-ка разобраться, где здесь кончается литература и начинается режиссура, где кончается режиссура и начинается собственно актерское творчество. В том-то и дело, что перед нами — удивительная художественная целостность, созданная единством многогранного дарования, столько же литературного, сколько и кинематографического.

Это искусство было жизнью Шукшина, было страстью, сжигавшей его, когда, снимая картины по собственным сценариям, он хотел сделать все максимально точно, так, как видел все он сам. И поэтому он и играл в них сам. И поэтому играл со своей женой, со своими дочерьми. Не то чтобы ему хотелось «побаловаться семейным кинематографом» — с ними он мог сделать значительно больше, чем с кем бы то ни было иным. И это правда, и потому это получалось. И было оценено критикой, которая иногда даже не понимала, в чем тут дело, но видела результаты и изумлялась их точности и волшебству.

«Калина красная» — подлинный шедевр отечественного кинематографа. Но не меньшее, а в чем-то и более сильное впечатление произвела на меня картина «Печки-лавочки». Там есть вещи удивительные — по трогательной самоиронии чистейшего человека, который перебирая прожитую жизнь, может многому усмехнуться, но ничего не предает ради красного словца. Достаточно вспомнить, как герой Шукшина, проделав весь путь до «юга», входит в Черное море — ступает в сатиновых, едва не до колен трусах, вот он, мол, явился, и по-хозяйски проверяет, какое оно, море-то, надо, стало быть, в него войти, надо поглядеть. Это грандиозный кусок, вызывающий и смех, и слезы одновременно.

Как и его герой, Шукшин в чем-то оставался «наивным», то есть верящим в людей необыкновенно. Но видел он и все горькие стороны жизни и никогда не избегал показывать их, разглядывать, объяснять для себя, легонько усмехнувшись, как бы говоря: «Ну, так уж оно пока идет, куда уж тут деваться — все сразу не перестроишь, всех не переделаешь...»".

Из воспоминаний Александра Саранцева

"Шукшин поступил во ВГИК на год позже меня, двадцати пяти лет. Не знаю, как сейчас, а тогда на моем, операторском, факультете на каждое место претендовало 25 человек, на каждое из двадцати пяти. Но в действительности конкурс был еще жестче. Не знаю, как было у режиссеров, поэтому

опять пример с операторского факультета. Четыре места — республиканская квота. Три места — иностранцы. Из остальных восемнадцати мест не «блатных» — только четыре. Вот так-то. Но все это мы узнали уже потом, когда стали учиться.

Значительная часть студентов тогда была со школьной скамьи. Сплошь дети — кинематографистов, сотрудников кинематографической администрации, государственных служащих областного и более высокого престижного звена, корреспондентов-международников и тому подобных. А среди них, как инородные тела, великовозрастные мужики в военной форме без погон. Военную форму мы носили не ради форса, а потому, что ничего другого не имели. Это была и будничная, и кобеднишная наша одежда. К обедне, то есть. Так у нас в деревне раньше говорили. И мы с Шукшиным были такие же.

Однажды после партсобрания подошел к Шукшину, познакомились. Как он обрадовался, услышав, что я тоже с Алтая! Это же на самом деле редкость — встретить земляка во ВГИКе! Все равно что родного человека встретишь.

Потащил он меня сразу к себе в общежитие, это неподалеку от института. Никого из соседей не было, и мы весь вечер провели вдвоем. Прихватили из буфета какой-то еды, что можно было тогда купить в буфете да еще на студенческую стипендию. У Шукшина оказался медицинский, узкогорлый такой, флакончик со спиртом. Я еще удивился, откуда у него такая посуда. Он объяснил, что спирт ему в санчасти выдают для лечения язвы желудка, велят принимать по чайной ложке три раза в день. Ну, а мы то лекарство приняли за один вечер. Деревню вспоминали. «А помнишь, на сенокосе?» — «А помнишь, как сеяли в войну». Он вспомнит, я добавлю. Я вспомню, он добавит. Песни родные всласть с ним попели. Словом, тот вечер был для нас как, светлый праздник. Как подарок судьбы...

Первое впечатление? Непростой вопрос. Иногда называют Шукшина застенчивым, но это — бред собачий. Ходил он тихо, говорил негромко, больше молчал, вообще не любил высовываться, но по тем взглядам, что бросал он на окружающих, особенно если удавалось поймать эти взгляды, когда он не замечал, что за ним наблюдают, не оставляло сомнений, что он цену себе знает и людей видит насквозь.

Ходил он в военной форме, но в армейской, а не флотской. Из флотской, помню, были только тельняшка да бушлат, но он чаще носил не бушлат, а «московку» — короткое такое пальто с четырьмя карманами. Шапчонка неказистая, цигейковая, если не ошибаюсь. Никогда не носил галстук. Одно время, после ВГИКа, любил бурки, белые такие, войлочные, обшитые кожей, тогда на них большая мода была. Потом на съемках часто ходил в кирзовых сапогах, но это уже не от бедности, это была как бы позиция...

Характер его не отличался миролюбием. Если что не так, мог исчезнуть со съемки, улететь домой или, к примеру, в Одессу. Потом являлся притихший, но не виноватый. Словом, застенчивого, благостного Шукшина не было.

После окончания института я пошел работать в Центральную студию документальных фильмов, а Шукшин... Почти три года были, мягко выражаясь, периодом его вынужденного бездействия. На работу Шукшина не брали потому, что он не имел московской прописки, а не прописывали потому, что в Москве не работал. Заколдованный круг. Уже и книжка вышла «Сельские жители», уже заговорили о нем как о писателе, актере, а он все еще был бездомным. Ночевал, где придется: в общежитии ВГИКа, у близких знакомых. С его самолюбием, легко ранимым характером это — дикая мука. Не раз у меня ночевал. Мы с женой старались приветить его, как могли, и одновременно не показать жалости. Жалеть он себя не позволял.

Из того курса, который Михаил Александрович Ромм набрал в 1954 году, дипломные работы на «Мосфильме» снимали двое: Андрей Тарковский — полнометражный художественный фильм «Иваново детство» и Василий Шукшин — короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают» по заказу Центрального телевидения.

В фильме немало шукшинских находок. Вот, например, сцена у колодца. Ночью инструктор Ивлев возвращается с трактористом Сеней — Леней Куравлевым — из поездки. Останавливаются у колодца, Ивлев достает ведро воды, ставит на сруб, наклоняется, пьет через край, остальное медленно выливает на землю и произносит такую фразу:

— Вот так и любовь... Зачерпнешь полную бадью, отопьешь два-три глотка, а остальное — в грязь...

От Ивлева, пока секретарь райкома мотался по району, ушла жена с инженером.

Фильм «Из Лебяжьего сообщают» помог Шукшину выйти на большую дорогу. Случилось это так. Режиссерами моей дипломной работы были Ренита и Юрий Григорьевы. Они учились во ВГИКе у Герасимова, пришли сразу на второй курс. На квартире у Григорьевых часто собиралась творческая молодежь. Бывал там и я. Стал звать Василия. Цель моя была: познакомить Василия с людьми, которые помогли бы устроить его, наконец, на работу по специальности. Это, как я полагал, могли сделать Григорьевы, находившиеся в близких отношениях с Герасимовым, художественным руководителем киностудии имени Горького.

Василий долго упирался, но в конце концов мне удалось его уломать. Когда Григорьевы узнали, что он режиссер, уже три года без работы, без крыши над головой, то загорелись желанием помочь. Ренита сумела договориться с С.А.Герасимовым посмотреть дипломную работу Шукшина.

Герасимов прожил огромную жизнь в киноискусстве, был одним из самых влиятельных людей в кинематографе, за версту чувствовал талантливого человека. Вот почему встреча с Герасимовым для Шукшина — большая удача.

После просмотра фильма Сергей Аполлинариевич встал, прошелся задумчиво между стульев, затем повернулся к Шукшину:

— Ну что, старик... Прекрасно. Афористично. А эпизод у колодца — просто великолепен.

Герасимов пригласил Шукшина в качестве режиссера на студию «Мосфильм», включил в план. Через год появился фильм «Живет такой парень»...

Летом 1965 года Шукшин снимал в Манжероке фильм «Ваш сын и брат». В этом фильме и я снялся «в окружении», как у нас говорят, то есть вблизи главного героя.

Вполне возможно, что я оказался причастен и к названию фильма. Живя в Москве, я регулярно переписывался с родителями, братьями и сестрами. Письма писал на деревенский манер, этому еще у деда научился: сначала поклоны всем поименно, потом новости, затем пожелания, а подписывался всегда так: «Ваш сын и брат Александр».

Однажды рассказал об этом Василию. Он улыбнулся, ничего не ответил. Как-то уже на съемках в Манжероке села вся группа в автобус, чтобы ехать в гостиницу, Шукшин вошел последним, ему места не хватило. Кто-то хотел уступить ему свое, он лишь рукой махнул.

— Да ладно тебе! Сиди.

Устроившись на ступеньке у выхода, вдруг попросил:

— Сань... Расскажи, как ты письма родным пишешь.

— Я ж рассказывал.

— Еще расскажи.

Пришлось рассказать.

— А подписывался как?

— «Ваш сын и брат Александр».

Он улыбнулся и ничего не ответил. Но вот стали снимать сцену, как родные читают письмо от Степки, отправленного досиживать. И я услышал, что Степкино письмо оканчивалось: «Ваш сын и брат». А позже Василий и фильм так назвал, хотя первоначально назывался «Братья»..."

Из воспоминаний Нонны Мордюковой

"Есть Василий Шукшин ваш, сегодняшний. А есть мой, наш, тогдашний. Я хорошо помню его, начинающего, молоденького, холостого, вольного, ничейного и для всех. Студент, приглашенный студией Горького на переговоры для съемок в фильме «Простая история». Ему отводилась роль молодого возлюбленного Саши Потаповой.

Сидим ждем. Вдруг рывком на всю ширь открывается дверь, и через секунду на нас уже деловито смотрит Вася. Входит, закрывает дверь, подходит к столу, снимает крышку с графина, наливает стакан воды — пьет. Ставит стакан, чешет затылок и хмыкает, блеснув зубами. Глаза стыдливо сузились, красивые, втягивающие в себя. А тут еще и тембр голоса, с сипотцой, чарует.

— Значит, переговоры? Ну давайте переговаривать, — не убирая улыбку, говорит он.

Мы дружно засмеялись, а он, кинув на меня игривый взгляд, продолжает:

— Переговоры, переговоры! Ведь так? Тогда и давайте переговариваться.

— Договариваться, — едва сдерживая смех, поправил его режиссер.

— Наверное, можно, — говорит Вася. — Я вполне подходящ для этой роли. Летом свободен. А сейчас вовсю учебы.

— Да уж, что подходящ, разговору нет, — замечает режиссер. — В ближайшее время нам надо наладить все для экспедиции, а после экзаменов давай туда к нам, в деревню Лепешки.

Вася пожевал губами и встал. Был он в солдатской форме и в сапогах, которые еще долго потом не снимал. Ушел. Радость какая, думала я, какая радость — вот человек! Учится на режиссерском, сибиряк, красивый...

Мы жили общежитием, и я, не скрою, всегда безошибочно узнавала скрип Васиных сапог, всегда угадывала, в какую комнату он вошел. Захаживал он и к нам. Мы жили вдвоем со вторым режиссером Альперовой.

Как-то однажды сидим и при керосиновой лампе пьем чай. Васька, веселый, дует в блюдце и моргает мне — дело есть. Сердце в пятках. Какое же дело у него ко мне.

— Идем на волю, — кивнул на дверь.

«Свидание, что ли? — подумала я. — Но как это? Я же замужем. Ах, зачем я замужем?..»

Он выходит первый, садится на крылечко, показывает, куда мне сесть. Сажусь рядом. Достает из кармана папиросу, а из-за голенища трубочкой свернутую истрепанную тетрадь.

— Вот надумал писать книгу о Степане Разине.

Эта новость так меня обескуражила, что я почти не слышала плана будущей книги.

«Вася, Вася, и ты туда же, в графоманы...» Рухнуло мое тайное увлечение им. Ну куда его несет? Какой из него писатель?! Мне было жаль расставаться с созданным моей фантазией образом, и я решила простить Васю: ничего, это все по молодости. Это пройдет. Ой, господи, все хотят писать! И при чем тут Степан Разин? Кому это нужно?

Я молчала.

— Песня будет, и не одна. Знаешь вот эту?

Я ошалела от тембра его голоса. До чего же завлекательно, музыкально пел он своим сиповатым грудным голосом!

Я встала, потому что долго слушать его пение было невыносимо: меня снова потянуло к нему. И тогда, чтобы не задушить его в объятиях, я, скомкав свидание, ушла.

Легла на кровать, жду, куда направились кирзовые сапоги. Никуда. Я так и уснула, не дождавшись его ухода с крыльца.

Трудное для меня было время. Вася был со всеми одинаков, а я хотела, чтобы он почаще бывал со мной. И, не отрываясь, следила за каждым его жестом, ловила каждое слово. И, если уж быть до конца откровенной, мне не хотелось расставаться с ним никогда. Слава богу, роль у Васи была небольшая, и он недолго пробыл в экспедиции. Острый, болезненный для меня момент прошел благополучно.

Словом, обошлось. Я стала любить Васю только за его творчество. Эта любовь так и была со мной до последних дней его жизни.

Он отлично исполнил свою роль в «Простой истории», с шиком, с тончайшим знанием деревни, с безграничной любовью к простому русскому человеку. Под орех разделал, что называется!

Четыре раза мне посчастливилось работать с Шукшиным, но именно в последнем фильме, «Они сражались за Родину», произошло чудо. Сыграли мы хорошо! Одним дублем. Как сцепились — и пошло, не останавливаясь, очень натуральная сцена получилась. Я только все беспокоилась за Васю. Как он изменился... Какой-то стал узенький, болезненный.

А через несколько дней его не стало. Я узнала об этом в Болгарии. «Васьки нету, Васьки нету», — рыдали мы все навзрыд. Вот бывает такой тип людей: пусть не твой и не с тобой, но только лишь бы он жил, был, говорил, снимал, писал. Шукшин был редкого обаяния человек. Мало ли талантливых людей! Да не тепло от них, не сверкают они искорками, как он! В какой бы ни был экспедиции Вася, все свое свободное время он проводил с местными жителями. То деда какого-то подцепит и дружит с ним, лялякает, то бабку, то молодых колхозников. И все писал да писал, прилаживал накрепко свою литературу.

Эх, Вася, сгорел, как на костре!..”

Марк Донской представляет зрителям новый фильм «Живет такой парень» (журнал «Искусство кино» 1964, № 9)

“С Василием Шукшиным я встретился... в журнале «Новый мир», но не в редакции, не лично. А на страницах журнала. И сразу же появилось чувство радости — вот живет где-то неизвестный, незнакомый человек и заставляет восхищаться своим талантом. «Появился интересный молодой писатель», — говорил я друзьям, показывая заложенные страницы журнала.

Проходит немного времени, и я снова встречаюсь с ним. Но не на улице, не в доме, а на экране. Смотрю картину: «Мы, двое мужчин». Главную роль играет актер, неизвестный, очень хорошо играет, просто, искренне... Спрашиваю: «Кто?» — «Шукшин!». — «Тот писатель?» — «Тот! Да ведь он снимался уже в фильме «Два Федора»», — напоминают мне.

Что же это за человечина — и актер хороший, и писатель интересный?.. Какой же путь он выберет?

А выбрал он и то, и другое и... недавно закончил свою первую «пробу» в кинорежиссуре, снял картину «Живет такой парень». Первая же работа, как говорится, сразу привлекла внимание.

Дебют Василия Шукшина особый. Перед нами не просто талантливый человек, мыслящий, чувствующий. Это качества, обязательные для художника, — и мыслить, и чувствовать. Перед нами художник, который широко видит жизнь, глубоко, по-настоящему знает ее, и великолепно владеет профессией режиссера. Он так умеет перейти от смеха к грусти, что ты и сам порой не понимаешь, как же это — только что ты смеялся, и вот тебе уже грустно, а через минуту снова засмеешься... Вот в этой своеобразной игре, в переливах и есть, по-моему, одно из главнейших достоинств картины Шукшина. И наряду с этим серьезнейшие раздумья о человеке, о смысле человеческой жизни. Он заставляет тебя проникнуть в мир обыкновенного человека и умеет найти в этом мире необыкновенно простое, ясное, большое.

В картине интересно все: и главный герой, и другие персонажи. Но так точно найдено место для каждого, что невозможно представить себе ни героя без библиотекарши или Кати Лизуновой, ни их самих без героя.

О картине хочется сказать одним словом — хорошо! Очень хорош герой (а это немалая заслуга — найти такого точного актера), очень хорош сценарий (Шукшин сам писал его), хорош буквально каждый эпизод. Посмотрите, почитайте Шукшина, Я убежден, вы согласитесь со мной.

Есть писатель Шукшин. Есть актер Шукшин. Есть такой режиссер — Василий Шукшин... Есть! Доброго ему пути".

Из воспоминаний Нины Сазоновой

"Работать мне довелось с Василием Макаровичем не так уж много — всего-то две роли сыграла у него, но память прочно привязана к этим светлым дням.

В 1963 году мне прислали сценарий Василия Макаровича «Живет такой парень» и предложили подумать о роли тетки Анисьи. Долго раздумывать я не стала — небольшая по объему роль открывала широкие возможности для актерской фантазии, таила в себе множество нюансов, необходимых актеру, чтобы роль стала своей. На другой день после знакомства со сценарием я приехала на студию. Василий Макарович встретил меня радушно, наговорил много ласковых, теплых слов, но потом, как-то стесняясь, сказал, что роль эта мне не годится: «Вы, Нина Афанасьевна, уж очень молодо выглядите, мне-то двух старичков соединить надо. Кондрата Степановича играет Николай Балакин, а вы девчурка рядом с ним». Я отдала должное такту, галантности Василия Макаровича, но попросила выслушать меня. Помню, что говорила горячо, цитировала фразы из сценария. Поколебать решение режиссера мне удалось репликами Пашки Колокольникова и Кондрата Степановича:

— Ну как — она тебе глянется?

— Ничего, живая бабенка.

Я показала Василию Макаровичу эту «живую бабенку». Он заразительно смеялся, потом попросил разрешения еще подумать, но тем не менее на завтра назначил репетицию.

С Николаем Балакиным я до этого знакома не была, что помогло создать соответствующее замыслу самочувствие. Репетировали мы с удовольствием, входя в роли свои со все большей радостью и наслаждением. Как же Василий Мака-

рович слушал нас! Как он умел слушать актера! Его глаза теплели, когда чувствовал, что актеры поняли задуманное им и могут это передать. Ни единым словом не обмолвился он во время репетиции, только всем видом своим выражал удовлетворение, а потом, когда мы кончили диалог, коротко, категорично сказал: «Завтра снимаем!»

Сколько приходилось мне встречать и в театре, и в кино режиссеров, которые на репетиции безучастны к актеру. Как же трудно играть, включать воображение, когда нет отклика на то, что ты делаешь. На съемках режиссер должен концентрировать в себе зрителя и воодушевлять актера. Этим даром владел Василий Макарович. Он помог актерам многое открыть в себе, избавиться от ложных интонаций, обрести способность к искреннему чувству.

Никто не знает, чем наделен был больше Василий Макарович как творческая личность — писательским талантом, актерским или режиссерским. Да и следует ли разделять в нем это? Все было едино, все соединено было в редкостной органике. Актерский дар помогал ему играть не только свои роли, но, режиссируя, проигрывать с полной отдачей каждую роль вместе с ее исполнителем. Как писатель-сценарист он всегда думал о том, чтобы актеру было что играть, чтобы помимо диалога, всегда подчеркивающего у Василия Макаровича неповторимую индивидуальность персонажа, в кадре создавалась ситуация, усложняющая задачу актера, но и позволяющая ему передать всю правду жизни со всеми ее неожиданностями и парадоксами.

Хочу вернуться к сцене сватовства в фильме «Живет такой парень». Пашка Колокольников привез сватать своего старшего товарища Кондрата Степановича к вдовствующей Анисье, которая просила его, если случится, подыскать ей степенного пожилого человека. Преисполненный добрых намерений и пожаловал Пашка в дом Анисьи. Бесцеремонный, напористый, Павел хочет, чтобы все сотворилось немедленно. А уже немолодым жениху и невесте страшно неловко от напористости Пашки. Здесь и начинает в полную силу «играть» тончайше выписанный диалог...

Тетке Анисье дана такая фраза: «А вёдро-то какое стоит; у меня в огороде все так и прет, так и прет». Я произносила ее, чтобы отвлечь Пашку, как-то сбить его, заодно намекнуть на благополучие своего хозяйства и, наконец, выразить

самое важное, лежащее в глубине подтекста: истомилась здоровая, деловитая женщина от одиночества. Вот ведь как многозначно шукшинское слово!

Съемка этой сцены шла с завидной легкостью, с истинным вдохновением. Но вот мы с Н. Балакиным отыгрываем сценарный диалог, все, что было написано и отрепетировано. А камера продолжает работать, и Василий Макарович молчит, выжидательно-озорно наблюдая за нами. Николай Балакин, чтобы что-то делать, нерешительно протягивает руку к графину. У меня выскакивает фраза: «Водочку-то уважаете, Кондрат Степанович?» (за безразличием интонации прячу беспокойство Анисьи) — «Ага, — опрометчиво говорит Балакин, но тут же, спохватившись, отдергивает руку и поправляется: — нет, только по праздникам». — «Ну по праздникам-то ничего; давайте выпьем», — говорю я, успокоившись и подбадривая оробевшего жениха.

Василий Макарович был очень рад, просто счастлив. Отсмеявшись, сказал: «Текст-то вы какой ловкий смастерили. Спасибо. Я бы ни за что не додумался».

Похвала его всегда поддерживала, подталкивала к новым находкам. Удивительная у него была страсть к импровизации, собственной и своих товарищей. За свой текст, всегда продуманный, никогда не держался намертво. Если у актера текст «не ложится», Василий Макарович пойдет на все, лишь бы творческое самочувствие актера было хорошим.

К нам, актерам, прошедшим большую театральную школу, и к молодым, только начинавшим свой путь, Шукшин относился с неизменным доверием, и «работу» вел исподволь, избегая указаний, пространных толкований и всяческой навязчивости. Никогда не говорил актеру как играть, раскрывая, что он хотел бы от актера. Слова «я вижу», «мое видение» не употреблял. Вообще стертых слов, профессиональных терминов в его лексиконе не было. Работа с актерами шла все время, хотя ее никто не замечал и как работу не воспринимал. А результаты были отменные.

Многих поражала естественность игры Лени Куравлева в роли Пашки. Но пришел-то Куравлев на съемочную площадку «зажатым». Сейчас это даже трудно себе представить, настолько свободной кажется жизнь Куравлева в образе Колокольникова. Хорошо помню, как Василий Макарович, обняв Леню за плечи, что-то говорил ему тихо-тихо, о чем-то

просил, уговаривал, успокаивал. После таких бесед Куравлев преображался: застенчивый, скованный, он становился лихим, самонадеянным, но и бесконечно добрым Пашкой. Мне кажется, что Шукшин на много лет вперед «зарядил» Л. Куравлева творческой энергией. В лучших ролях этого актера часто проглядываются «шукшинское», расцвечивая образ множеством жизненных красок. Полагаю, то же самое происходит с каждым актером, кто хоть раз был осчастливлен встречей с Василием Макаровичем.

Иной раз он приходил на съемку усталый, хмурый. Но настроения своего актерам не показывал, никогда не срывал свою боль, раздражение на них. Правда, некоторым нерадивым членам съемочной группы в таких случаях от него доставалось — в гневе он был невоздержан, как это бывает иной раз с людьми тихими, даже стеснительными, но обладающими повышенной эмоциональностью.

У него я готова была играть даже самую маленькую роль, крохотный эпизод, реплику. С радостью приняла его предложение сыграть роль жены председателя колхоза в новелле «Думы», вошедшей в фильм «Странные люди». Об этой своей работе говорить не буду, но о Всеволоде Санаеве скажу: убеждена, что здесь он достиг вершин актерского мастерства. Драматургия и режиссура Василия Макаровича дали В.Санаеву такой простор действий, пищу для размышлений, что образ обрел редкую глубину. Вообще, эта новелла представляется мне кинематографическим шедевром, где истинно шукшинское выразилось, может быть, с наибольшей полнотой. В каждой фразе, в каждом слове здесь воистину судьба человеческая.

Снимали новеллу «Думы» ранней весной. Однажды что-то не ладилось с аппаратурой, Василий Макарович прилег на землю. Я подошла к нему, говорю, что простыть можно. А он отвечает, что с малолетства любит в небо смотреть и что, мол, лежа на спине, это всего удобнее, так как ничто, кроме ветвей и галок, неба не закрывает. Потом он предложил, вернее, попросил: «Споем что-нибудь, Нина Афанасьевна». Спели мы с ним одну песню, потом другую. А потом каждый вечер стали собираться в гостинице, в его номере, и пели: он первым голосом, я — вторым. Пел Василий Макарович самозабвенно, отрешившись от всего, растворясь в

песне, и только благодарно смотрел на меня, когда я, вторя ему, улавливала его интонацию и слегка подчеркивала ее. Уходить от него никогда не хотелось...

Последний наш разговор с Василием Макаровичем — мой телефонный звонок нему по поводу восхитившего меня «Материнского сердца». Говорю, что вещь просится на экран и что для себя лучшей роли я и представить не могу. Он подумал, потом сказал, что кое-что должен переписать и поправить и что обязательно мы с ним еще много и славно поработаем.

Не суждено было..."

Из воспоминаний Леонида Куравлева

«Летом 1960 года мне позвонила ассистент режиссера и пригласила приехать на «Мосфильм» в киногруппу. Вот тогда-то я впервые сказал Василию Макаровичу «здрасьте», войдя в его кабинет.

Фильм «Из Лебяжьего сообщают» был дипломной работой Шукшина (я тоже в этом году окончил ВГИК). В фильме я играл Сеню Громова — тракториста, мечущегося по всему району в горячую пору страды в поисках дефицитного коленчатого вала.

По сути, Сеня Громов — эскиз к будущей роли Пашки Колокольникова из фильма «Живет такой парень»: наивный, никогда не унывающий, сообразительный, добрый. Сене Громову я навек благодарен за то, что он познакомил меня с Василием Макаровичем Шукшиным.

Это был маленький фильм о большом зле — бюрократизме, который тормозит саму жизнь. Всего несколько слов было сказано по радио: «Из Лебяжьего сообщают, что план...» И т. д. и т. п. Словом, все в порядке. А Шукшин показал. что стоит за этим «все в порядке». Уже тогда он умел точно увидеть главное в характере явления, сделать срез, пусть с болью, но в самом точном месте. Я наблюдал его, вслушивался в то, что он говорит... Я только начинал «наполняться» им. Режиссер Шукшин учил меня правде, человек Шукшин учил меня оберегать ее трепетно. осторожно. как самое

хрупкое существо, как только что народившегося ребенка. Нечаянно сделаешь этому ребенку в одном месте больно, а он уже и весь нездоров.

А когда был написан «Живет такой парень», каким-то образом стало известно, что сценарий удался и главная роль в нем — очень и очень хорошая. Я знаю немало актеров, которые хотели сыграть Пашку Колокольникова. Но опять же он, Сеня Громов, «виноват» в том, что поиск исполнителя роли Пашки, в общем-то и не начинался, — задумывая картину, Василий Макарович уже имел в виду меня...

Мы очень много тогда репетировали, изобретали, фантазировали, шутили, смеялись, постоянно обыгрывали заикание Пашки — и упустили тот момент, когда нужно было идти в павильон и снимать кинопробу. Произошло то, что хорошо известно в театре и кинематографе: мы зарепетировали роль. Как говорят в спорте, я перевалил за пик формы и начал «снижаться». Один раз я даже сказал Шукшину:

— Я так устал от Пашки, что если б встретил его, то убил.

По этой причине, когда состоялись кинопробы, худсовет студии имени М.Горького во главе с С.А.Герасимовым нас, мягко выражаясь, не похвалил. Было сказано:

— Очень слабо, вяло и неинтересно.

Сергей Аполлинариевич спросил тогда Шукшина:

— Веришь этому актеру?

— Верю! — ответил Василий Макарович.

— Ну, тогда снимай. Только учти: по первой картине будут судить о тебе как о режиссере.

Так я попал на роль...

Потом уже, на обсуждении фильма, кто-то заметил , что режиссер очень хорошо использовал... мой природный недостаток — заикание... Я смеялся так, что чуть действительно не стал заикаться...

Шукшин и актеры были сотоварищами в работе, хотя всегда чувствовалось, что старшим в товариществе оставался Василий Макарович. Иногда, чтобы научить плавать, человека бросают в воду: выплывай, мол, сам, — но остаются рядом, чтоб при первой же неудаче сразу прийти на помощь. Иногда так делал Шукшин — нечто подобное я испытал.

Готовились к съемке сцены в сельской милиции в фильме «Ваш сын и брат». Бежавшего из лагеря Степана, кото-

рого играл я, арестовал милиционер; сюда же, в отделение, прибегала немая сестра Степана. Кстати, эта сестра — с ее обостренным чутьем, с поэтической душой — была для Василия Макаровича символом России.

Шукшин тогда сказал:

— Леня, репетировать не будем: вот как бог на душу положит, так и сыграй.

Начали сцену. Прибежала сестра, бросилась на шею брату, стараясь увести его из милиции, а милиционер невольно тоже вцеплялся в Степана; шла чисто физическая борьба за него. Конечно, я был на стороне родной крови, но она приносила мне невероятную боль — ведь я заставил ее страдать; к тому же, если бы я забылся, потерял контроль над собой, могло произойти непоправимое: Степан мог даже убить милиционера. Таков был накал сцены. Поэтому я невольно стал отдирать от себя не милиционера, а сестру.

Когда закончились съемки первого дубля, одна из ассистенток возмутилась: как можно так обращаться с родной сестрой да еще немой? Шукшин вспылил и выгнал ассистентку из павильона. Очевидно, сыграли мы по-шукшински, и Василий Макарович был не только внутренне готов к такому решению сцены, но и знал наперед, что играть надо именно так. Но, может быть, он в какой-то степени испытывал и меня как актера.

В этой картине я должен был исполнить песню «Прости мне, мать...». Василий Макарович хотел, чтобы в песне я дал почувствовать зрителям горький вкус неволи, который ярко выражался не только в тексте, но и в манере исполнения, очень своеобразной. Накануне съемок сцены «застолицы», как назвал ее Шукшин, он сказал:

— Сделай так, чтобы и я, и зритель тебе поверили.

Я всю ночь проворочался, думал: «Бог ты мой, как же сделать, чтобы поверили?» Многое мысленно перебрал я, пока наконец не всплыла в памяти застолица в очень тесной квартирке Шукшина в Свиблове. Василий Макарович сидел во главе стола, и было в позе его, в манере держаться что-то от Степана Разина, которого он так мечтал сыграть. И в самый разгар веселья, когда уже стоял громкий говор, перекрывая «гур-гур», как говорят в кино, Шукшин начал петь на высочайшей ноте. В этом почти фальцетном взвизге была стремительность летящей пули и одновременно требова-

ние помолчать, выраженное не словами, а запевом. Пел Василий Макарович очень оригинально: упирался кулаком в левое колено, голову клонил к левому плечу, а рот кривил вправо; волосы падали ему на лоб, и он кого-то бодал, кого-то сильного, с кем спорил, кому силился доказать свою правоту, — с ожесточением, даже со злостью. Чувствовалось, что это приносило ему радость. Вот такая странная была у него манера петь, и ее-то я и скопировал в фильме.

Работоспособность его была поразительна. Многим из нас необходимо нечто вроде кабинетного вакуума — особая обстановка, специальный настрой, — тогда приходит желание работать. А в Шукшине поражала настолько идеальная неприхотливость, что он уже «считался» предметом природы, как некий камень, который можно поднять, осмотреть со всех сторон, положить на место.

Мне рассказывали товарищи, что Василий Макарович, когда снимался у других режиссеров, в перерыве между съемками мог присесть где-нибудь в сторонке и писать. Я лично не замечал такого, зато видел другое.

Летом 1962 года мы снимались в фильме «Когда деревья были большими». Жили вместе на застекленной террасе небольшого домика, где стояли только две железные кровати с пружинными матрасами; даже стола не было. Садясь на кровать, человек утопал в пружинах, колени вздымались высоко вверх. Но как раз это Шукшина и устраивало: в таком не слишком удобном положении он писал, положив на колени книжку, а на нее — тетрадь в клетку.В эти минуты он ничего не слышал, никого не замечал. Писал и писал. И очень много читал.

На зорьке рыбачили. Василий Макарович смотрел на речку, изредка покашливая, молча... Вообще-то он молча слушал тишину, да и молчал как-то по-своему: весь уходил в себя, сосредоточивался, и взгляд у него в тот момент становился отсутствующим...

Вдруг — всплеск. Совершенно уверенный, что клюет именно у него, Шукшин восклицал:

— Вот она! — и смеялся, по-детски открыто и наивно.

Один большой писатель сказал, что наивность — художническая черта. Василию Шукшину была присуща эта «слабая» черта, и в ней выражалась его натура художника.

В начале 60-х годов Шукшин очень радовался, что его рассказы начали появляться в периодике, радовался как-то очень наивно и по-детски:

— Лень, знаешь, напечатали, — и, смущаясь, даже немного растерянно показывал журнал.

В подобные минуты он был необыкновенно обаятелен.

Наивно удивлялся и другому: почему в Москве чаще делают подземные переходы для людей, а не тоннели — для автомашин? Почему сновать вниз вверх должен человек, а не машина? На лице его в такие минуты было написано поистине страдальческое удивление — это его по-настоящему мучило.

В апреле 1974-го в Новороссийске стояли мы рядом с машиной, которая должна была нас везти, и шофер включил приемник: по «Маяку» передавали последние известия. Среди прочих новостей оказалась и такая: известному спортсмену исполнилось двадцать четыре года.

Шукшин удивился:

— Что, им больше передавать нечего?

Он говорил, что каких бы успехов ни достиг спортсмен, оповещать всю страну о его двадцать четвертом дне рождения не имеет смысла; что это может повести к зазнайству, нескромности и прочему; что есть еще очень и очень многое, о чем можно и нужно рассказывать людям. И т. д.

Наивность в нем поражала и тогда, когда он общался со своими дочерьми; правда, здесь была не только наивность, и об этом, наверно, тоже надо сказать.

Игра Василия Макаровича с Ольгой и Машей на меня всегда производила яркое впечатление. Он не опускался до них, а как бы поднимался до возраста детей, и вместе с ними смотрел на мир — наивно и открыто.

Но было и еще нечто, что отличало отношение к девочкам его, отца: он уже знал мир. И я себя ловил на том, что общение Шукшина с детьми рождало во мне чувство какой-то щемящей тоски. Долго я не понимал, отчего создается такое впечатление, пока в разговоре однажды не обмолвился:

— Дети-то тут при чем?

Оказалось, вот в чем дело: жизнь, считал Василий Макарович, иной раз лупцует мощно, мир бывает жесток, и впе-

реди порой ожидает такое, что все детские беды в сравнении с этим — пустяки.

Как передать словами ту нежность, с которой он относился к своим девочкам? Как описать его трогательную и непонятную на первый взгляд уважительность, предупредительность и ласковость по отношению к ним? Не зная, конечно, как судьба обойдется с дочерьми, Шукшин как бы заранее жалел их и извинялся за то, что дал им жизнь. Вместе с тем он звал к мудрому пониманию неизбежности не только хорошего, а и трудного, и плохого. Он как бы загодя оборонял своих девочек от ожесточения. Вот это явственно «читалось», когда он бывал с дочерьми.

Все приходит мне в голову одна и та же фраза: «Шукшин меня породил, и жаль, что он не успел меня убить». Что я имею в виду?

Василий Макарович всем актерам, с которыми работал, доверял.

Пусть извинят меня коллеги за такое сравнение, но в большинстве случаев для режиссеров актер, в том числе и я сам, — чемодан с наклейкой, а наклейка — его амплуа. А Шукшин срывал знакомые уже по многим фильмам ярлыки, ему важно было угадать, что же еще есть в закрытом для других «чемодане». Он умел угадывать потенциальные возможности актера, поручая ему роли, идущие вразрез с устоявшимся амплуа, умел угадывать то, что скрыто от других, умел подбирать к каждому свои ключи. Но вот как Василий Макарович это делал, не могу объяснить,— это даже не режиссерская, профессиональная, а человеческая тайна, которую он унес с собой...

В киноварианте трансформация ожидала и Ларьку Тимофеева. Хотя в романе он, можно сказать, совсем не выписан, в кинокартине и он изменился и стал одним из главных героев. Судя по тому, как замышлялась роль, она должна была быть очень сложной. Автор видел в Тимофееве человека, невероятно, до болезненности, преданного Разину.

Василий Макарович рассказывал два эпизода, которые должны быть в кинофильме (в романе их нет). Первый. Ларька начал подозревать одного из разинцев в недостаточной преданности Степану Тимофеевичу. Ларька заманивал его в лес, выпытывал, как тот относится к Разину, и, не

удовлетворившись ответами, избивал. Ларька давал понять, что это только цветочки, а ягодки будут впереди: если он не станет «человеком Разина» до мозга костей, его ждет смерть.

Ларька Тимофеев оказывался последним, исключая самого Разина, кого зритель видел бы на экране. И вторая сцена — прощание. Восстание разгромлено. Идет погоня, отряд постепенно тает. Все понимают, что главный, за кем охотятся, — Разин, да и сам он, конечно, это знает. В последний момент Ларька говорит ему:

— Мне люба жизнь, я хочу в ней еще погулять, попить вина, попаясничать. Я люблю баб, деньги! Ты, батя, прости меня... — они обнялись, и Ларька покидал Разина одного.

Такой могла стать драматическая роль Ларьки Тимофеева, которая убила бы Пашку Колокольникова.

Не довелось...

Весной 1973 года Василий Макарович позвонил:

— Лень, приезжай завтра на «Мосфильм» — покажу свою картину.

На следующий день я увидел только что законченную «Калину красную». Не буду говорить о том потрясении, какое я испытал, скажу лишь о двух-трех эпизодах. На экране Шукшин несколько раз разговаривает с березами. Как с реальным действующим лицом. На равных. Но что такое береза? Величайший символ русской земли. Поставь рядом с березами другого актера, который вот так же начнет с ними говорить, и я боюсь, это окажется фальшивым, будет шокировать зрителя. А вот Шукшин имеет право общаться с березами. Он говорит с ними — и я ему верю.

А еще вспомнилась одна его фраза. Дело было на Алтае, на Чуйском тракте, где мы снимали «Живет такой парень». Тогда в кадре требовалось солнце, а несколько дней подряд лили дожди. И Василий Макарович и все мы нервничали, все ждали, что погода наладится, а она не ладилась никак. И вот здесь — в какой-то раздумчивости, не конкретно мне, а как бы задавая вопрос самому себе, Шукшин вдруг сказал:

— Неужели моя земля меня подведет?..

В трудную минуту обратился он за помощью к родной земле, и она его не подвела — на редкость щедро вдруг стало светить алтайское солнце.

Но тогда я мало знал Шукшина, и слова его показались мне выспренними. Только много позже я понял, что он имел на них право: Василий Макарович был сыном родной земли — плоть от плоти ее..."

Из воспоминаний Валерия Гинзбурга

"Мы познакомились на съемках фильма «Когда деревья были большими». В то время те, кто не были близко связаны с Василием Шукшиным, видели в нем лишь актера, внезапно ярко и неповторимо вошедшего в кинематограф. Я не знал в то время, что он окончил режиссерский факультет ВГИКа. А рассказы писателя Василия Шукшина, опубликованные в журналах «Новый мир» и «Октябрь», никак не связывались с именем актера Шукшина. Так уж это было!

Я впервые увидел Шукшина на съемочной площадке. Слегка раскачиваясь, он прошел к сидящему в стороне и репетировавшему с актерами постановщику фильма Льву Кулиджанову. Было жарко, все были легко, по-летнему одеты, поэтому полувоенный костюм — пиджак поверх какой-то гимнастерки, брюки, заправленные в сапоги, кепка выглядели на Шукшине как «игровые», хотя и очень естественно подходившими к облику «нашего» председателя колхоза. Я тихо сказал художнику по костюмам, что мне очень нравится, как одели актера. На это получил ответ: «Мы его еще не одевали. Он так приехал».

Во время съемок я приглядывался к удивительно органичному, но, как мне в то время казалось, малообщительному актеру. Его поведение возбуждало любопытство. Каждую свободную минуту, когда он не был занят в кадре, Шукшин отходил немного в сторону и, привалившись к перилам парома или просто присев тут же на землю, вынимал тетрадь и начинал что-то писать...

Мы мало общались в то лето с Шукшиным. Наше общение ограничивалось тогда приветствиями да короткими деловыми репликами во время съемки, поэтому весьма неожиданным показалось мне предложение Василия Макаровича

снимать с ним его первую самостоятельную картину «Живет такой парень».

К тому времени я уже знал всё опубликованное Шукшиным в журналах, поэтому написанный по мотивам его рассказов сценарий не произвел на меня неожиданного впечатления, хотя характеры персонажей стали более полными, да и сама проза сохранила удивительную неповторимость. Мне захотелось высказать Василию Макаровичу соображения по поводу сценария, его драматургии, стилистики, будущего изобразительного решения, но Шукшин хотя и застенчиво, но в то же время с какой-то, как мне тогда показалось, нетерпеливой неприязнью попросил отложить этот разговор: «Сначала съездим на Чуйский тракт, в деревню, посмотришь людей, Катунь, а потом поговорим!» Думая об этом впоследствии, я был бесконечно благодарен Шукшину за то, что сначала он познакомил меня с прототипами своих героев, открыл мне неповторимую красоту Алтая, влюбил меня в то, что было ему самому бесконечно дорого. И постепенно с меня слетали привычные представления, возникали новые образы. Потрясенный мощью и красотой Катуни, я предложил, чтобы река вошла в картину изобразительным лейтмотивом, как бы продолжая живую стремительность Чуйского тракта. Шукшин сразу же согласился. Вообще он всегда легко и даже с какой-то радостью трансформировал отдельные сцены, прислушиваясь к предложениям актеров, художника, оператора или когда сталкивался с неожиданно возникшими ситуациями, жизненными явлениями, глубоко возмущавшими или радовавшими его. Выразительная натура, новые места действия неизменно возбуждали желание Шукшина поправить, переписать ту или иную сцену или написать новую.

Так возникла не существовавшая в сценарии сцена «строительства моста». Шукшин до боли был возмущен, увидев, как в одной деревне строили мост и похаживающий бригадир-мужчина командовал работающими женщинами. Введя в сцену главного героя — Пашку Колокольникова, — Шукшин эту драматическую сцену сделал ироничной.

Случайная встреча с цыганами, перегонявшими скот, превратилась в историю, когда наши герои застревали на маши-

не в бесконечном живом потоке баранов, — эпизод, на который всегда живо реагирует зрительный зал.

Шукшинская режиссура всегда была живой, активной, динамичной, она никогда не копировала шукшинские сценарии. В процессе работы не только его ближайшие сотрудники, но и среда, и состояние погоды, и, казалось бы, случайные, не относящиеся к делу разговоры становились участниками постановки.

Во время съемок картины произошел курьезный случай. Вечером в гостинице мы вспомнили одного нашего знакомого, и я рассказал, как он, пытаясь завести знакомство с женщиной, сначала начинает заигрывать с ребенком и вроде между прочим спрашивает имя его мамы. Шукшин долго смеялся, а затем ушел к себе в номер. Через некоторое время он попросил нас с артистом Куравлевым зайти к нему и, достав очередную толстую тетрадь, прочитал сцену, которую нам завтра предстояло снимать. Так две сценарные строчки: «Вечером, по деревенской улице, Пашка Колокольников шел к Кате Лизуновой» превратились в полный юмора забавный эпизод, неизменно вызывающий смех зрителей, эпизод, возникший из случайного разговора.

Удивительные россыпи народного юмора делали героев Шукшина умнее, мудрее, а смех всегда был пронизан грустью, раздумьем. Может быть, поэтому так огорчился Василий Макарович, когда фильм был признан лучшим по разделу комедийных на Всесоюзном кинофестивале в 1964 году. Он говорил: «Мы же не комедию делали!»

Шукшин никогда не употреблял слов «мои произведения», «мое творчество» и т.д. Он очень боялся громких слов не только в прозе, но и в жизни, боялся их обесценить...

Получив предложение сниматься в картине «Какое оно, море?», уехал в экспедицию в Судак. Туда же «выписал» маленьких племянника и племянницу, детей сестры. Выросший в трудное военное время, Шукшин болезненно переживал, что дети растут, зная о море только по книжкам, он сам хотел его показать. Его трогательная любовь к детям всегда вызывала в людях улыбку и восхищение. Наверное, оттого такой успех сопутствовал Шукшину в фильмах «Два

Федора», «Мужской разговор», «Мы , двое мужчин», «Какое оно море?», где его партнерами были дети.

Летом 1964 года приехавший из Крыма ассистент оператора передал мне просьбу Василия Макаровича: «Если свободен, хорошо бы приехать в Судак, подумать и поработать над новым сценарием». Как только я приехал, Шукшин буквально с ходу начал рассказывать, но больше читать различные заготовки к сценарию и новые рассказы. Все это бывало по вечерам, а днем Шукшин снимался в картине.

В один из вечеров, достав очередную толстую тетрадь, он предложил послушать его новые рассказы. Не помню, сколько их тогда было, помню лишь, что снова был заворожен шукшинской прозой, но все же перед расставанием спросил: «А что будет со сценарием?» Василий Макарович промолчал. Через несколько дней, в продолжение которых он откровенно избегал не только разговоров, но и встреч, Шукшин спросил, помню ли я рассказы «Степка», «Змеиный яд», «Игнаха приехал». Я ответил: «Конечно, помню», не подозревая в тот момент, что эти рассказы послужат основой для сценария «Ваш сын и брат» (кстати, это название появится лишь незадолго до окончания съемок фильма).

Я никогда не воспринимал шукшинские сценарии как экранизацию его рассказов. Они всегда были оригинальны, впитывали много дополнительного, побочного материала.

Сценарий писался легко. Шукшин был оживлен, часто пел, что было признаком хорошего настроения. В один свободный от съемок день вместе с Лидией Федосеевой, будущей женой Василия Макаровича, мы поехали гулять в Новый Свет. Было солнце, море. Было весело. Шукшин был счастлив. Лето заканчивалось преддверием новой работы.

И вот картина запущена. Скоро предстоят съемки.

Сценарий начинался теми же словами, что и рассказ «Степка»: «И пришла весна — добрая и бестолковая, как недозрелая девка. В переулках на селе — грязь по колена. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья...» В картине «Живет такой парень» мы много внимания уделили среде, в которой жили наши герои, натуре, и все же у меня осталось ощущение, что передать в изобразительном строе всего очарования, достоверности и сочности шукшинской прозы нам не удалось. Мне очень хотелось в новой картине постараться найти адекватное решение.

Вступительные титры к фильму должны были начинаться с кадров ледохода. Вместе с ассистентом мы выехали на Алтай, но Катунь была покрыта льдом, и в деревнях было полно снега. Возвращаясь в Москву, мы договорились, что нам сообщат, как только начнется таяние. Через несколько дней пришла телеграмма (совершенно по Ильфу и Петрову): «Лед тронулся!». Мы тут же вылетели, оставив в Москве огорченного Василия Макаровича, который заканчивал режиссерский сценарий. Я твердо решил, что кроме кадров ледохода обязательно сниму жанровые деревенские сцены, животных, пробуждающуюся природу — приметы весны. Шукшин совершенно по-детски радовался, увидев на экране бранящихся деревенских женщин, греющуюся на солнце кошку вместе с петухом, играющих детей, дерущихся собаку с поросенком и многое другое. Не сговариваясь, мы поняли — вступление в картину, ее интонация нащупаны.

Шукшин с особым удовольствием собирал потом пролог фильма. Он бережно сохранил все кадры, вплоть до чирикающих воробьев на голых ветках. Лирический настрой, всегда присутствующий в прозе Шукшина-писателя, удалось передать в зрительном воплощении.

Рассказывая об этой картине, не могу не вспомнить о работе Василия Макаровича с актрисой Театра мимики и жеста Мартой Граховой. Вообще работа Шукшина с актерами неизменно вызывала восхищение — никогда не навязывая интонации, жеста, он кропотливо доводил исполнителя до такого эмоционального состояния, что просто диву даешься! С Мартой Граховой было сложнее — работать надо было через мимического переводчика, и актриса из-за этого видела Василия Макаровича, что называется, краем глаза. Но буквально на второй день работы переводчик присутствовал постольку-поскольку. Шукшин был так эмоционально заряжен, его нервное напряжение было настолько сильным, что актриса, не слыша слов режиссера, целиком подпадала под его темперамент, под его боль, под его радость.

Я уже говорил, что Шукшин необыкновенно легко шел на трансформацию отдельных сцен. Так случилось с одной из финальных сцен в картине. Предстояло снимать массовую сцену, где все персонажи наделены были репликами. Во время установки операторского крана возникла идея — снять всю сцену на крупных планах единой панорамой. К

сожалению, выстроенная сцена начисто не укладывалась в написанную, текст разваливался, Шукшин увидел мое огорчение, и я, нервничая, объяснил, что из задуманного ничего не получается. Мы посадили Василия Макаровича на кран, провезли, показав мизансцену, а я шел рядом и показывал места, где «концы с концами не сходятся». Шукшин слез с крана и, бросив на ходу: «Так и будем снимать, ставь пока свет!», ушел на высокий берег Катуни, и опять, в который раз, из кармана была извлечена тетрадь, и через двадцать минут сцена была с блеском переписана...

Шукшин предложил мне снимать следующую его картину, основой которой должны были стать его рассказы «Чудик», «Миль пардон, мадам!» и «Вянет, пропадает». Картина называлась «Странные люди». Я искренне огорчился, что рассказ «Думы», который произвел на меня совершенно оглушительное впечатление, не вошел в сценарий. Я долго, как мог, эмоционально и сбивчиво уговаривал Василия Макаровича найти ему место. Шукшин хмуро молчал, вставляя иногда свое постоянное «Оставь!». Исчерпав запас убеждений, я уехал, условившись вернуться дня через три-четыре. Конечно, я не мог столько выдержать и через день поехал к нему домой, придумывая новые, как мне казалось, убедительные доводы в пользу «Дум». Василий Макарович выглядел усталым, вид был нездоровый, и я как-то сразу сник. Шукшин начал разговор сам: «Я долго думал. Ты был прав. Садись прочитай, я переписал!»

Я всеми силами старался скрыть свою радость, понимая, что в данный момент она, мягко говоря, неуместна. «Думы», «мои Думы» превратились в поразительную по силе философскую историю. Рассказ оброс новыми персонажами, поднял большущий пласт проблем, вызывал глубокие размышления. Он естественно завершал всю картину.

Мы начинали съемки в отличном настроении. Вскоре пришло известие — у Василия Макаровича родилась вторая дочь. Он ходил счастливый. Все наперебой придумывали имя. Хорошая погода, дружная группа — все обещало плодотворную работу.

Однажды в свободный от съемок день мы с Василием Макаровичем гуляли по Владимиру и зашли в магазин грам-

пластинок. Продавался большой комплект с записями Шаляпина. Шукшин тут же его купил. В гостинице мы раздобыли проигрыватель, и Шукшин, забрав его, ушел к себе в номер. Вскоре у меня раздался телефонный звонок, Василий Макарович очень торопливым, взволнованным голосом попросил спуститься к нему. Я никогда не видел такого Шукшина. Чем-то взбудораженный, он резко расхаживал по комнате, покрасневшие глаза и постоянные вздрагивающие скулы выдавали его волнение. «Послушай!» — сказал он изменившимся голосом и включил проигрыватель.

Зазвучала песня в исполнении Федора Шаляпина — «Жили двенадцать разбойников, жил атаман Кудеяр, много разбойники пролили крови честных христиан!..» Шукшин сидел потрясенный. Он весь был во власти песни.

После того как пластинка кончилась, Василий Макарович снова нервно заходил по комнате. Я не помню сейчас точных слов, которые он буквально выкрикивал, но смысл был таков: «Вот, это настоящее искусство! А мы занимаемся черт-те чем! Хоть бы раз приблизиться к подобному!..» — и дальше в том же духе. Разговоры в тот момент были бессмысленны, и я ушел к себе в номер. Ночью снова раздался звонок — Шукшин попросил разрешения прийти и поговорить. Сначала он долго и сбивчиво убеждал меня, что мы делаем не то и не так. Потом, достав из кармана тетрадь, начал читать заново написанную вторую часть заключительной новеллы. Я сидел потрясенный. Вот они, «Думы»!.. Дают себя знать.

Мне все же думается, что нашей картине «Странные люди» «повезло» меньше других. Во-первых, сценарий претерпел в период съемки большие изменения. Главным образом это коснулось первой новеллы и было связано с продолжительной болезнью (тяжелое воспаление легких) Василия Макаровича и необходимостью завершать работу в Крыму, в Ялте. Второй причиной было то обстоятельство, что когда фильм был закончен, нашлось много «доброжелателей» и среди коллег, и среди принимающей редактуры, приложивших большое старание к тому, чтобы многие мысли автора были сглажены и приглажены...”

Из воспоминаний Павла Чекалова

“Познакомил нас на просмотре рабочего материала кинокартины «Люди и звери» Сергей Герасимов. Он предложил Шукшину, готовившемуся снимать первую свою полнометражную ленту «Живет такой парень»:

— Василий, ты композитора ищешь? А что если тебе с моим попробовать? (я был автором музыки обсуждавшегося фильма)

Поначалу все у нас шло не то, чтобы гладко... Шукшин буквально изумил меня несколько странной задачей. Вот что Василий Макарович выбрал в качестве «сквозной» музыкальной темы для фильма. Он напел: «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов...» Ну каково было мне, получившему консерваторское образование, привыкшему к определенному академизму в музыке, сделать центральной мелодией фильма какую-то замусоленную песенку. Все это показалось и странным и... страшным. Один текст чего стоит!

— Вот и прекрасно, вот и освободите ее от всякой шелухи, — Шукшин заметно разволновался.— К чистоте грязь всегда пристает. А песню — народ складывает.

То, что представлялось мне спорным, в итоге оказалось одной из находок для кинокартины. Материал оказался настолько благодатным, мелодия стала музыкальным стержнем экранного повествования и лирической темой Пашки Колокольникова.

Василий пригласил меня и на следующий фильм — «Ваш сын и брат». Василий Макарович выбрал для будущей киноленты мелодию старинной песни «Чтой-то звон».

А потом был фильм «Печки-лавочки». И вот настала пора писать музыку к картине, но Василий просил меня не торопиться. Он ждал поездки съемочной группы на Алтай.

— Там познакомлю тебя с одним человеком, — говорил Шукшин. — Есть у него, думаю, интересный материал для нашего фильма.

А познакомил меня с Федором Тележецких — музыкантом-самоучкой, ходившим по селам, игравшим на свадьбах, народных гуляниях. Местные жители рассказывали: многие

песни Федя сочинял сразу. Экспромтом. А что касается музыкальной импровизации — оставалось только удивляться его неистощимой выдумке, чутью мелодии! После прослушивания Феди, которое Василий Макарович организовал прямо на съемочной площадке, мне стали понятны истоки прирожденной музыкальности самого Шукшина. Василий с детства буквально купался в тех песнях, которые звучали на его родине. Из сыгранного Федей-балалаечником меня очень поразила мелодия, по звучанию отдаленно напоминавшая «Славное море, священный Байкал». На Шукшина она также производила сильное впечатление.

— Вот из этой музыки, Паша, сделай что надо, особенно финал фильма, — посоветовал он. — Мелодия должна быть задумчивая, будто Ивана Расторгуева слушает сама земля, будто он разговаривает с ней.

Далее было самое трудное — написать музыку, отличающуюся простотой языка и вместе с тем наполненную сложными раздумьями. Я решил построить ее на нескольких интонациях, навеянных услышанным от сельского мужика. В этом смысле помощь Шукшина трудно переоценить.

Не пренебрегал Василий и моими советами. Перед съемками кинокартины мы вместе «дали добро» актеру, который не только блестяще сыграл в двух шукшинских фильмах, но и стал одним из лучших в сегодняшнем российском кинематографе. Кинокартина была еще в проекте, когда на студии имени Горького Шукшин попросил меня посмотреть одного актера: «Хочу, чтобы ты высказал мнение о его игре». Претендент на роль «Конструктора» уже ждал нас. И вот он бойко изъясняется на уголовном лексиконе. Демонстрирует особую манеру вести себя. Потом все строго по сценарию. Знакомится с Иваном и Нюрой. Наблюдая за игрой актера, я не мог отделаться от впечатления, что есть в его показе «конструктора» нечто обаятельное, мягкое...

— Какой-то у него вор получается интеллигентный, — заметил я, когда мы вышли посовещаться.

— Отлично! Так он и должен смотреться

Лжеконструктора, вора сыграл в «Печках-лавочках» артист Георгий Бурков.

Для Шукшина-режиссера все компоненты, из которых слагается фильм, были одинаково важны. Поверхностный

подход к работе над кинопроизведениями ему был чужд. Он избегал соблазнов: этот эпизод «вытяну» на игре актера, а следующий — на музыке или операторской съемке.

Музыка, песни — выразители души народной — были в каждом шукшинском фильме. И потому каждый фильм Василия Макаровича начинался своеобразным запевом, который вел зрителей к постижению содержания его кинокартин. И была у Шукшина любимая мелодия: вальс из «Калины красной», о котором он говорил мне: «В нем — моя родина. Судьба».

Как композитора и человека, много лет проработавшего рядом с Василием Макаровичем, меня можно спросить о том, какое место определял он в своих картинах музыке? Мне кажется, что без нее нет и самого Шукшина. Я не преувеличиваю. Песням, мелодии он отводил огромную роль в эмоциональном воздействии на зрителя. Он предельно точно и бережно относился к музыке, к ее подбору для картины. Из каждой своей поездки по стране обязательно привозил интересные песни, частушки. Приходил ко мне и говорил: «Ты послушай вот это. Каково. А?» Он, как завзятый фольклорист, собирал и хранил народные мелодии.

Шукшин, бывало, целые части монтировал под готовую музыку, то есть чем-то и поступался, а этого в кино почти не бывает... По правде, я до сих пор считаю его своим соавтором и в новых своих работах — ведь на всю жизнь привил он мне в музыке любовь к народной тематике..."

Из воспоминаний Всеволода Санаева

"Наверное, люди, которые его знали ближе, встретились с ним раньше, воспринимали его по-другому, чем я. Я же его узнал, когда он уже был зрелым художником, известным актером, когда он уже писал рассказы, крупные прозаические вещи — «Любавины», например. Мы, актеры, всегда относимся с осторожностью к людям, которые как-то сразу и вдруг ярко заявляют о себе, о своем таланте. А я — особенно. Потому, наверное, что у меня самого творческий процесс, процесс постижения, открытия нового происходит всегда сложно. Я всегда отношусь мучительно самокритич-

но к каждой своей работе. Когда же человек вдруг заявляет о себе, что он очень талантлив или даже гениален (а в нашей среде такое услышать — отнюдь не редкость), то одни воспринимают это снисходительно (что ж, в творчестве, в нашей профессии самоутверждение необходимо!), другие — с юмором. Я же всегда воспринимаю такие заявления с раздражением, не могу смотреть равнодушно на людей, которые занимаются бахвальством: вот, мол, они все могут, все им доступно, а в том, что они пока еще не раскрылись, не утвердились, виноват кто-то другой — режиссер ли, который «не видит их», недостаточность ли драматургического материала или другие какое-то «объективные» причины и условия. Мне это кажется нескромностью, признаком творческой недееспособности.

Но, пожалуй, никто не может сказать такое о Василии Шукшине. Он даже самые свои талантливые вещи всегда делал, как бы подшучивая над собой. Ну, пишу, мол, от нечего делать. Снимаюсь, потому что есть сейчас такая возможность. Буду снимать фильм сам, потому что, думаю, как режиссер смогу выразить на экране то, что не выразил в собственном сценарии. Вот так он и относился к себе, к своему творчеству. А за этим стояли — требовательность, взыскательность, серьезность.

Все это я узнал позднее. Наше же знакомство началось с моей ошибки, которую я не могу себе простить.

Однажды он позвонил мне:

— Всеволод Васильевич, я хочу поставить картину. Не могли бы вы принять участие в съемках?

Я спросил, кто написал сценарий.

— Я.

— А режиссером будете тоже вы?

— Тоже я.

И вот тут-то я засомневался: не много ли он хочет? И так ли уж много отпущено ему природой, чтобы был он сразу и жнец, и швец, и на дуде игрец? Да, актер он талантливый: это он доказал в фильме «Два Федора». Но зачем же он начинает теперь писать еще и сценарии, да еще и сам ставить их?! И мне показалось, что Шукшин переоценивает себя. Тогда-то я и сослался на то, что занят, вроде бы не смогу принять участие в его картине.

— Ну, что ж, очень жаль, — ответил он. — А мне бы так хотелось.

— Ну, как-нибудь в другой раз!

И вот вышел фильм «Живет такой парень». Не скрою, смотрел я ее с пристрастием. Но она мне очень понравилась. По-моему, великолепный фильм! И такое меня охватило чувство, что я решил написать ему письмо, покаяться, так как мне стало обидно, что я не снялся у него. Но сказал я ему об этом не в письме, а позже, при личной встрече. Тогда и завязались наши дружеские отношения с Шукшиным.

Потом он задумал снимать новую картину — «Ваш сын и брат». Вновь мне позвонил, предложил встретиться. Мы встретились. Он стал мне рассказывать о замысле фильма, об особенностях сценария, об образе Ермолая Воеводина, в котором он хотел бы меня видеть. Это был типично его, шукшинский, герой, простой и сложный одновременно; характер, словно впитавший в себя народную мудрость и словно пронизанный беспокойной мучительной болью за то, что не все так гладко и складно получается в его жизни, в его семье, как следовало бы, как бы хотелось.

Но раскрывает Ермолай свои горькие думы не легко и не всем. Ермолай — крепкий, немногословный старик, хотя и насмешливый, даже щедрый на острое словцо, которое для него — словно защитная броня. «Вечным тружеником, добрым и честным человеком» назвал его Шукшин. Мне кажется, что в Ермолая он вложил многие свои мысли, раздумья.

Разговаривая тогда, Шукшин все поглядывал на мои руки. Что его могло в них так заинтересовать? Быть может, нелепая наколка, мальчишеская глупость?

— Да нет, — пояснил он. — Я вот все смотрю: у Ермолая руки кряжистые, огрубевшие. Он человек, все время связанный с землей, с тяжелой физической работой. У таких с годами кожа дубеет. А вот у вас руки такие, какие у Ермолая быть не могли».

Я сказал, что все это имеет большое значение для образа, но мне кажется, что если сущность Ермолая будет мною понята правильно, если удастся найти характерные черты этого человека, который так мучается, переживает, что дети уходят от него в город, что некому передать свою любовь к земле, если мы найдем все эти краски, то на руки никто из

зрителей не будет обращать внимания, ведь для зрителей важен психологический процесс, который происходит в Ермолае. Так мы с ним тогда и порешили.

Я об этом говорю потому, что потом, на съемках, не раз убеждался, как важна для Шукшина правда не только характера в целом, но и правдивость, жизненная точность, достоверность каждой детали. Размышляя о его методе, убеждаюсь, что главное было для него — правда жизни. И так — во всем, все время.

Это касается и его героев. Он делал предметом своего художественного исследования людей, хорошо ему известных, не прикрашивая их, а словно вырывая из самой жизни, приближая их к нам со всеми их «странностями» и «чудинками». Своих героев он любил, но не старался их идеализировать. Как я понимаю, его очень волновали обычные люди, которых зачастую и героями-то назвать трудно. Жизнь давала ему немало примеров героических характеров. И он видел их, восхищался ими, как и все мы. Но для него все в таких героях было ясно, понятно. Интересовало же другое — люди, не проявившие себя ни в чем героическом, но в которых сидела душевная неуспокоенность.

Помню, сделали мы первый грим, подобрали бороду, усы, нашли одежду. Смотрю, он улыбается. У него были такие хитрые глаза, монгольские, с прищуром. Руки потирает, довольный.

— По-моему, Всеволод Васильевич, получается, а?

— Да не знаю еще, Вася. Попробуем, как все это получится на пленке.

Сделали пробу.

— Ну вот, видите, — говорит он, — я не зря вам предлагал сниматься. Мне кажется, Ермолай у нас «в кармане».

Так и сказал: в кармане...

И начал снимать. Ну. Что можно сказать о том, как все это происходило? За плечами у меня к тому времени уже почти шестьдесят фильмов было, много было и режиссеров, естественно — разных. И взаимоотношения у меня с ними складывались тоже по-разному. И многие из них позабылись, так, ровно бы их никогда и не было в моей жизни. А вот ту первую свою картину с Шукшиным, буквально каждый съемочный день, я помню до сих пор. До удивления

просто и легко с ним работалось. Каждый день нес в себе творчество. Шукшин так доверял актеру, что у того появлялись как бы неограниченные возможности для самовыявления. Он же только следил за тем, чтобы актер «не сбивался с образа». Но эти редкие замечания были так точны, словно он сам сидел у тебя внутри и, не подавая виду, только что проиграл всю твою роль.

И что бы актер ни предлагал, Шукшин никогда не говорил: нет, не годится! Он говорил: а что, давайте, попробуем! И отходил как-то в стороночку, словно стремился затеряться на съемочной площадке, не помешать актерскому эксперименту взглядом со стороны. А потом вновь появлялся, и: «Ну, что ж, можно, можно и так... Даже интереснее...» Я не знаю, может быть, с другими актерами он работал и по-другому. Я же пишу о том, что видел, испытал сам. Мы никогда, ни разу не разошлись с ним, с его задумкой. Может, оттого и работалось нам так удивительно легко.

Бывает так: и сценарий хороший, и режиссер опытный, но актер на роль выбран неверно — и все идет насмарку, фильм получается серым. Вот тогда-то и возникает конфликт между нашей профессией и режиссерской. Как бы режиссер ни старался, ни бился, если актер выл выбран на роль неправильно, раскрыть ее, как правило, в процессе съемок почти никогда не удается. Тогда-то и начинаются поиски компромиссных решений, а в результате — невольно меняется, не на пользу картине, и замысел сценариста и режиссера. У Шукшина в его фильмах — он сделал их пять, в трех из них я играл и потому могу говорить с уверенностью — я ни разу не видел, чтобы актеры были «не те», неправильно выбранные. У него всегда было точное виденье, абсолютный «слух» на актера для своей картины.

Однажды, перед самым отъездом на съемки фильма «Они сражались за Родину», мы встретились с Шукшиным в Центральном доме актера, и он повел разговор о своем замысле картины о Степане Разине. Он еще раз подтвердил тогда свое желание дать мне в ней замечательную роль представителя казачьей вольницы — Стыря, старика, который имел особое влияние на Разина.

Он рассказывал о том, какой видел всю картину в целом, как хотелось ему сыграть Степана Разина. И я спросил: не будет ли ему тяжело играть и одновременно снимать такое широкое, эпическое по размаху полотно?

— Я думаю — осилю, — сказал он. — Подготовлюсь, отдохну. Надо отдохнуть! Что-то я стал уставать. Надо бы привести себя в порядок. Но только — после съемок шолоховского романа. Тут я никак не мог отказаться от роли Лопахина — очень люблю и Шолохова и Бондарчука. Поэтому и согласился, отложив свои планы».

Это был наш последний разговор.

Он очень любил жизнь И отдавал себя искусству капля за каплей. Возвращаясь к истокам народной жизни, он сам вошел в нее. И вслед за Леонидом Леоновым он мог бы сказать: «Жизнь — самый щедрый художник, но летит она очень быстро. Человек не успевает порой осмыслить всего великого, происходящего в ней. Есть очень много настоящих героев; но они не понимают своего подвига. В человеке всегда больше материала, чем он способен вынести на поверхность. Для выявления этого и существуют художники... Наше дело — обнаружить и добраться до вещей, которых люди сами не замечают. Человек смотрит, художник видит... Мы ходим по шедеврам, они у нас под ногами. Нужно уметь разглядеть их...»

Таким был и Василий Шукшин. Он жил так насыщенно, напряженно, что сумел ярко прожить не одну, а три жизни художника..."

Из воспоминаний Алексея Ванина

«Расскажу об одном эпизоде, имевшим место на съемках фильма «Они сражались за Родину».

Поздно вечером, после поездки в Вешенское, мы пошли с Шукшиным на берег Дона. Сидим, слушаем музыку по транзистору, неторопливо беседуем. И вдруг Василия как прорвало: «Знаешь, Леша, впервые я встретился с настоящим писателем. А каков писатель! Вон сколько ему лет, а он, как орел степной, сильный, величавый! И "Поднятая

целина", и "Тихий Дон" — какой все это монолит. И будто приросли к нему, плоть от плоти его... Вот как закончу здесь, сниму я своего "Степана" и надо писать что-то большое, настоящее...»

Вот после его слов я часто думаю: «Кто Шукшин — писатель? Актер?..» Хотя я его, конечно, знаю больше как актера. Великолепного. Ну возьмите хотя бы «Калину красную». Когда картина вышла на экран, многих она поразила. И не только темой. Меня на встречах со зрителем не раз спрашивали о фильме, просили рассказать о том, как шли съемки. Задавали порой даже совершенно невероятные вопросы, например: «А уж не сидел ли Шукшин в самом деле?» В этом простодушном вопросе заключено, как я теперь думаю, абсолютное доверие зрителя и преклонение, если хотите, перед талантом Шукшина — настолько точно и органично проник он в душу своего героя Егора Прокудина, сумел воедино слить человеческое и актерское бытие.

Подружились мы на съемках фильма «Золотой эшелон». Ставил его режиссер Илья Гурин. Василий играл роль партизана. Работа выдалась нелегкой — много трюков, перестрелок, погонь. Уставали страшно! Как-то в перерыве мы высыпали во двор студии, а Шукшин уже сидел там и что-то записывал. Я тут же, недалеко, устроился. Он писал, писал, а потом взглянул на меня так открыто, по-свойски и спросил: «А ты, парень, откуда родом?» Я ему ответил в шутку: «Откуда родом? Из России, конечно». Но он не обиделся и говорит: «Ну это ясно, все мы россияне, а конкретно-то?» — «С Алтая я», — говорю.

Шукшин обрадовался, подбежал: «Слушай, так мы ж земляки». И пошел у нас тогда разговор о родных местах, о Сибири. Так мы стали друзьями, потянулись друг к другу.

Открытость, душевная откровенность, как мне кажется, были свойственны Шукшину. Если он сразу поверил в человека, в актера, он и дальше относился к нему с теплотой. Шукшин прекрасно работал с актерами, творчески. Как тонко понимал он нашу натуру! Знал, когда нашему брату нужно дать отдохнуть, давал время подумать. Теперь я понимаю, что это исходило не только от режиссерской прак-

тики, что тоже немаловажно. Тут сказывается еще и любовь к человеку, привитая в семье с малолетства.

Вспоминаю о съемках фмльма «Ваш сын и брат». Меня он пригласил на роль старшего из братьев. Прочитал я сценарий, чувствую — знакомая ситуация. Так Василию и заявляю: «Вась, а ведь это я вроде сам все тебе рассказывал?» Шукшин прищурился и мне в ответ: «Твое, Леша, дело прочитать сценарий и решить, сыграешь роль или нет...»

Стал я пробоваться. Вдруг началось для меня непонятное. Все пробы, пробы... Конца и края не видно. Устал, скажу честно, нервничал, даже похудел. Решил пойти к Шукшину и все выяснить: «Ты мне скажи сразу — подхожу я на роль или нет. Если нет, то и дело с концом». А он мне тихо-тихо: «Пойми, с тобой вопрос почти решенный. Но мне нужно и других актеров искать. Вот здесь мне твоя помощь требуется как партнера, понимаешь?»

Вот такие слова ох как необходимы порой актеру даже в подготовительном периоде.

Я повторяю, Шукшин — «актерский» режиссер. Он, поверив в тебя, легко принимает твое видение и концепцию образа. Умеет уважительно относиться к предложениям актера. На площадке можно было экспериментировать много. Шукшин не стеснял никого.

Но если Василий не верил в человека, тогда с ним было трудно найти контакт, почти невозможно. И ершистым я его видел много раз. Особенно он нервничал, когда чувствовал высокомерие, апломб, лесть, не обязательно по отношению к себе. Общаться с такими людьми он не умел и не желал.

Мне же всегда легко работалось с Василием Макаровичем и свободно. Мы с ним, как бы это поточнее сказать, были настроены на одну волну. И опыт житейский мне помогал сниматься в шукшинских фильмах. Я сам прошел войну, знал коллективизацию, деревню. Да и картин еще до встречи с Шукшиным у меня было достаточно. Для меня встреча с Шукшиным-режиссером была идеальным явлением. Может, я хватил через край, но вот так кажется. Бывает, приходишь в павильон и не знаешь, что надо тебе играть. Да и режиссер не часто способен дать вразумительный ответ. С Шукшиным такого никогда не было.

Из воспоминаний Евгения Лебедева

"— Вот тебе рассказ... Прочти!

— Это что? Литературный сценарий?

— Нет... Я же тебе говорю — рассказ. Рассказ Шукшина.

Кинооператор Валерий Гинзбург дал мне прочитать рассказ, напечатанный на пишущей машинке в несколько страниц, с заглавием «Миль пардон, мадам!».

Прочитав рассказ, я познакомился с Шукшиным.

Москва. Киностудия Горького. Меня проводили в съемочную группу и оставили в комнате одного. Я подумал: какой окажется наша первая встреча?

Обычно режиссер вежливо говорит «садитесь», помещается напротив и внимательно рассматривает тебя. Зачастую от твоего положения в кино зависит тон, каким говорит режиссер, и «глаз», каким он смотрит. Тон и «глаз» могут быть многозначительными, что называется, с подтекстом, когда нет свободного общения и ты чувствуешь себя как бы выставленным для обозрения, для оценки.

Естественно следует разговор о сценарии, о будущем фильме и о том, как актер понимает свою роль. Иной раз интонация такова, словно режиссер хочет спросить: постигает ли артист то, что написано, не извратит ли?..

С Шукшиным все было по-другому.

Он стремительно вошел в комнату, захлопнув за собой дверь, и остался стоять на пороге. Не приглашая и меня присесть, он сразу спросил:

— Ну как?

Вопрос меня озадачил: что значит — «ну как?»

— Прочитал? — нетерпеливо добавил Шукшин, сразу переходя на «ты».

— Прочитал...

— Ну, как вот чувствуешь?

Я стал рассказывать, как понял «Миль пардон, мадам!», он напряженно слушал.

Казалось, Шукшин заново оценивал то, что сам написал. Я кончил говорить — и услышал:

— Ну что же — будем сниматься.

— А проба-то будет?

— А-а-а, какая проба? Зачем проба? Мне не надо — я знаю, — последовал быстрый ответ. — Вот так вот — все. Я поговорил — больше ничего не надо Пойти оденься.

Этим он расположил меня к себе сразу. Скованность мою как рукой сняло.

И было еще одно, что удивило: Шукшин был застенчив. Такого режиссера я видел впервые. Я спросил:

— Как одеться?

— А как сам думаешь?

— Вот думаю: свитер нужен грубый — такой, как у меня...

Свитер он одобрил. Позже, уже перед съемкой, примеряли мне и шапку, и фуражку — все не годилось.

— Знаешь, надо шляпу Броньке, как у туристов, — сказал Шукшин.

И тут я вспомнил, что когда был на гастролях в ГДР, купил нейлоновую шляпу; я ее успел износить, она изрядно помялась, но годилась для рыбалки — вот почему я и захватил ее с собой.

— У меня вот шляпа есть...

Так меня и снимали...

Известно, что Шукшин не смотрел на сценарий своего будущего фильма как на нечто окончательное, не подлежащее изменениям в процессе съемки. Наоборот, создавая фильм, автор многое менял в первоначальном варианте, и толчком к импровизации зачастую могло служить что-то случайное, заранее сценарием не предусмотренное.

Расскажу о том, как однажды не состоялась импровизация. В «Странных людях» есть эпизод: Бронька Пупков собирается на охоту. Эпизод снимали, и вдруг, когда я надевал свитер, раздался непредусмотренный сценарием выстрел за кадром; невольно испугавшись, я протянул «ииииии!..» — и в этот момент кто-то крикнул «стоп!». Что тут сделалось с Шукшиным!

— Кто сказал «стоп!»!? — закричал он. — Кто сказал?!

— Я... — отозвался кто-то.

— Какое имел право сказать «стоп».Испортил весь кадр! Я бы это обыграл! Выстрел вошел бы в кусок!

Он еще долго чертыхался и не мог успокоиться, потому что перед его глазами стояло: какой вышла бы сцена, если бы не раздалось злополучного «стоп!». Куда бы вывела актера импровизация? Такой непредвиденной оказалась реакция на отступление от сценария.

Там же, под Владимиром, заметил я интересную деталь: окружение мое на съемочной площадке было не из актеров.

Василий Макарович снимал будущего актера, будущего режиссера, шофера, молодого писателя. Каких-то людей из Сибири, «подлинного» старика в валенках и с клюкой из ближней деревни. Был там и поэт из Москвы — худенький блондин; все рассказывал, какой он хороший охотник. Один раз даже медвежьим мясом угощал —говорил, сам убил медведя. Медвежатину все ели, но смеялись: никто не верил, что худенький блондин — охотник. Как-то надо было в кадре подстрелить утку. Стреляли, стреляли, а попасть не могли. Блондин просил: «Дайте, я выстрелю!» Опять все смеялись и ружья не давали. Шукшин услышал, подошел и спросил, почему москвичу не дают выстрелить, ему объяснили, но он все же сказал: «Дайте ему ружье». Ружье дали, блондин навскидку, почти не целясь, выстрелил и убил летящую утку — тогда все рты разинули...

Шукшин был великолепным и благодарным зрителем. Он будто вновь переживал все то, что сам написал. Там монолог Броньки снимали большими кусками — по сто пятьдесят, по сто семьдесят метров, поэтому я чувствовал себя свободно, как на сцене. Я долго готовился — думал, учил текст, — и эпизод сразу, что называется, пошел. Сняли.

Я взглянул на Василия Макаровича — у него по лицу текут слезы. Было всего два дубля. «Давай послушаем..» — сказал Шукшин. Включили фонограмму — и опять у него в глазах стояли слезы. Забыть это нельзя...

Я не помню Шукшина без дела. Не помню, чтобы он просто так стоял или сидел в компании и говорил обо всем и ни о чем. Лидия Николаевна как-то рассказывала мне, как Шукшин писал: «Я мыла пол в маленькой квартирке, где мы жили, Вася работал на кухне. Когда очередь дошла до пола в кухне, я сказала: "Вася, подними ноги". Он поднял ноги, сидел и писал. Я вымыла пол, убралась и тогда на него посмотрела: Вася все пишет, пишет, пишет, а ноги все так же вытянуты — он забыл их опустить».

— Слушай, говорил Шукшин незадолго до смерти, — вот еще что: нам надо сделать с тобой фильм.

— Какой?

— Мы его втроем сделаем: я, ты и Лида. Это — тайга, там, в избушке, живет охотник. Приезжает муж с женой, начинается роман, ревность... Понимаешь? Потом он его убивает.

Мне предназначалась роль охотника, но кто кого должен был убить — забыл. Жаль, что не состоялось..."

Из воспоминаний Сергея Никоненко

"В 1968 году, в начале лета, Шукшин позвонил мне:

— Приезжай на студию, дело есть.

— Приеду. Когда?

— Прямо сейчас.

Прикатил на студию.

— Время есть? — спрашивает Василий Макарович.

— Время есть.

— Читай сценарий, — Шукшин дал мне сценарий фильма «Странные люди» и вышел.

Читаю — не верю, неужто он мне Чудика предлагает?

В голос пробую реплики... Волнуюсь, аж дрожу. А волнуюсь больше оттого, что на пробах завалить все смогу, от этого же самого волнения. И тут уж тебя никто и ничто не спасет. «Экран покажет», — говорят в кино. Успокаиваю сам себя, но успокоиться в одиночку не удается — роль, в старину б сказали, «бенефисная». Дочитал, попил воды...

— Чего скажешь? — придя, спросил Василий Макарович.

— Чудик? Мечтать можно...

— Ну, и утвержден.

Сказал, как отрубил.

— А пробы?.. — кисло заикнулся я, как об экзекуции.

— Характер пробовать будем. А играть эту роль тебе.

Как гору снял с моих плеч таким доверием. Словно крылья приставил.

— Не поленись, — говорит, — прикинь костюмчик. Сам выбери.

Я не поленился... Пошел в костюмерную, оделся. Что-то беру покороче, что-то подлиннее, ботинки стрепанные, шляпу нейлоновую, фотоаппарат через плечо повесил. Показываюсь Шукшину. Василий Макарович посмотрел, раскатился смехом и сказал:

— Вот тебе и проба. Молодец! Точно оделся.

Снимали фильм в деревеньке неподалеку от Владимира. Работалось легко, всяк свое дело знал и старался делать его

как можно лучше, без паники и без надрывов. И даже люди со стороны или, как в кино называют, «с улицы», любопытствующие, очень легко переступали черту, разделяющую жизнь и искусство, когда их просили посниматься в массовке. Совсем невидимая была эта черта, насколько все было узнаваемым, родным, кровным.

Пока кинематографические службы готовятся к работе, режиссер сидит в сторонке, на бревнышках, вроде бы как и не у дел. Увидел меня, подмигнул, поманил рукой.

— Сергунь, видишь женщины сидят у крыльца? Попробуй, разговори их. Может, споют они нам, а мы их запишем. Для дела сгодится.

Пошел... Сам про себя думаю: «Зачем эти хитрости, к чему издалека подъезжать? Попросить их — они и споют...»

Подошел, поздоровался, как положено. Для начала попросил водички попить. Принесли квасу. Ядреного. С хреном. Попил. Сел. Про речку спрашиваю, про лес, про субботу, про баню...

Живые, отзывчивые, разговорчивые. В свою очередь интересуются нашей работой и что у нас за кино будет. Я им сценарий рассказываю — они переживают или смеются, и не понарошку, а взаправду, переспрашивают, когда путаются, на свою родню перекладывают, уже на людей реальных, выверяют по правде суровой, по жизни.

Я и сам не заметил, как женщины уже давно разговаривали не со мной, а с героем, которого я играю, с моим Чудиком. Вон, оказывается, где проходило золотое сечение режиссерского замысла Шукшина — в живом общении моего героя с реальными людьми. Так он работал со мной. К другим он находил иные «ключи» и «отмычки». И здесь, пожалуй, можно определить соль шукшинского режиссерского метода — и состояла она в том, чтобы пробуждать в каждом работнике коллектива инициативу. А без доверия и какого-то особого расположения съемочной группы к режиссеру этого не происходит. И актеры, и гримеры, и шоферы шли к Василию Макаровичу с идеями и предложениями, советами и просьбами, будучи абсолютно уверенными, что их душевный порыв никогда не будет опошлен, высмеян, но всегда будет выслушан самым внимательным образом, даже записан в рабочем сценарии, и если произойдет отказ, то он никогда не потушит искру творческого поиска.

Память перебирает счастливые встречи с ним, беседы при ясной луне... Сколько добра им посеяно! Светлая душа..."

Из воспоминаний Юрия Скопа

"В самую пору съемок «Калины красной» группа жила под Владимиром, в деревне, что ладно и домовито разлеглась за глазами, то есть чуток в стороне от натертой до маревца шоссейки, зовущей дивиться на древности Суздаля.

Сидели на старой и сохлой плоскодонке, что врылась одним концом в берег, и курили. А окрест было покойно и хорошо. Близкий и дальний разлив пространства манил неизвестностью, дымка вечерняя застила маленько ясность, но также и дополняла краски. Век бы не уходили отсюда...

—...и сколько еще умных книг не прочитано? — Шукшин раздул ноздри и шумно втянул воздух. Встал и прошел по подмостью до конца. — Сколько радости недополучили люди оттого, что не готовы еще понимать большое, серьезное искусство? Сколько дряни, халтуры и пустозвонства обрушено было в разное время на ихние головы? Эх бы-ы, подразобраться-то. В деревне такая нужда нынче особенно. Это понятно. И это отрадно. Грустно только, знаешь, чего? Что за этим «разумным и вечным» надо подыматься и уходить с земли отцов и дедов. Понял?..

Не знаю, существует ли такое в кинотерминологии — режиссерский слух? Его я для себя так бы расшифровал: умение слышать не себя, режиссера, в актере, а, наоборот, актера в себе, режиссере, значит...

У Макарыча абсолютный режиссерский слух. Он всегда знает, чего хочет. К тому же не противник принять встречный совет. Актер для Шукшина прежде всего человек, личность. И за предел этого он не любитель ходить... Считает — ни к чему...

На «Странных людях» был такой эпизод. Снималась массовка — проводы сельского гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом...

День выдался на деревне — самое то... С утра дождичком перекинуло, а на полдень — по-свежему — солнце. Человек сто, а может, и поболе вышло на расставанье. С песней... Живет в народе такая — «Последний нонешний денечек...». Мотор! Пошли... Головная актерская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тое...Будто они и не люди деревенские. Позабыли, оказалось песню-то...Дубль... Другой... Макарыч яриться начал. Занервничал. Третий! Пленка горит, а в результате — чепуха сплошная. Вот тогда-то и влетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и — как рявкнет:

— Вы што?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали? Детей! Да как же это можно забыть? Вы што?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы...

И — начал:

— «Последний нонешний денечек...» — зычно, разливно, с грустцой и азартом бесшабашным за всю массовку вложился в голос. Откуда что берется?.. И — вздохнула деревня, прониклась песней...

Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины толковали: вот уж спели так спели! Ах...

И еще к теме о режиссерском слухе. Макарыч замечательно просто умел ладить с абсолютно непрофессиональными, в смысле актерства, людьми. В тех же «Странных людях» то на первом, то на втором плане живут у него обыкновенные сельские жители. К примеру, есть в фильме такой момент: старуха ругается через банное окошко на молодую хозяйку:

— Некудышные совсем молодые пошли! Мужик скоре вернется, а она все ишшо не сготовила баньку!..

Надо было видеть, как разошлась та «актриса». Причем разошлась до «мотора», камера была еще не готова к съемкам. Макарыч аж задохнулся от хохота, обнял бабусю:

— Погоди, ну погоди, мать! Перегоришь раньше-то... — еле унял. А все оттого, что понятное задавал людям, родное им. Непосильного не выдумывал. Тут его глаза надо видеть или представлять: глубокие, прогретые добротой и вниманием к себе. В них так и написано: не робей — помогу. Сей секунд поддержку получишь. Мы же единомышленники...

За вокзалом, в отемневшей к ночи Вологде, пустом зале шел кинофильм. Слоилась, упираясь в экран, исходящая от

проектора голубая речка, и до боли, до слез ненужно погромыхивали с экрана такие родные, выстраданные за столько времени голоса Чудика, Броньки, Матвея.

Вася Белов, писатель, большой товарищ Макарыча, надавил ему на коленку, одобряюще заокал:

— Да ничего, хорошо!.. Четы ты? Брось!

— Зал-то пустой, елкина мать!

— Ну, это... Ну и что?..

... Шукшин, уже дома, кинул рукой сверху вниз:

— Нет, это неудача. Да, да... Не-у-да-ча. Только почему?

Когда Макарыч покусывал губу и похаживал по кухоньке, рассказывал мне про все это, про просмотр такой «Странных людей», да и чего та уж — сам видел, как выходили из зала, не досмотрев, недопоняв чего-то, а если что и выносили с собой, так это — в большинстве — песенку «Миленький ты мой, возьми меня с собой», попытался успокоить его навсегда вошедшими в меня словами друга моего по этому фильму, Захарыча. Там он говорил мне, Кольке:

— И хорошо! И — славно! А вся-то жизнь в искусстве — мука. Про какую радость — тут — тоже зря говорят. Нет тут радости. И нет покоя. Вот помрешь — лежи в могиле и радуйся. Радость — это лень и спокойствие..."

Из воспоминаний Анатолия Заболоцкого

"Картина «Печки-лавочки» пошла в работу внезапно, никаких сроков на отработку замысла не было. Обстоятельства производства складывались горящие — съемки без подготовки, в спешке. Сюжет фильма предполагалось развернуть на документальной фоне окружающей жизни. В приказе — фильм запускается широкоэкранным. И сколько ни обивали мы порогов, обычный экран снимать не позволили. Для проката выгоднее единица «широкоэкранная». Такая же съемка практически не позволяет проводить хроникальные съемки, а звуковая документальная съемка вообще технически невозможна (вес синхронной камеры — 43 килограмма). Мы много теряем.

Вскоре мы уехали на Алтай утверждать натуру. Остановились мы, выбрав деревню Шульгин Лог, рядом находилась паромная

переправа через Катунь, послужившая съемочной площадкой. Когда декорация была построена, сложно оказалось собирать участников массовых сцен из многолюдных Сростков, автобус привозил их с большим опозданием. «Почему не Сростки место действия? Не хочу мозолить глаза землячкам. Пересуды. Не будь того, в Сростках бы и снимали», — объяснял Шукшин.

Однажды перед съемкой повстречали мы Федю Телелецкого, он развлекал застигнутых на пароме; невольными слушателями концерта оказались и мы. Федя сидел на скамейке возле будки паромщика, где потом его и сняли для фильма. С нами он увязался к Чуйскому тракту, а потом ездил до позднего вечера, исполнив по дороге все, что вспомнил, и поведав свою судьбу.

Вечером обсуждали увиденное за день. Макарыч сожалел и радовался одновременно. Все, что сегодня Федя успел рассказать, напеть, наплести, — богаче художеством всякого фильма, от которого вздрагивает Дом кино. Вопрос — как подать? Вскоре пришло такое решение: снять нечто вроде сольного концерта — «Федя на черном бархате» — снять синхронной камерой, чтобы он пропел частушки «под титры» к фильму. «Надписи все одно никто не читает, — рассуждал Василий Макарович, — время идет впустую, пусть попутно Федю послушают». Так и сняли. Когда проходила съемка, все, кто слушал, плакали. И мне глаза застилали слезы, благо камера статична, и я заслонял окуляр ладонью.

Федя незаметно прижился у нас. Паспорта у него не было, вообще никаких документов и ничего, кроме телогрейки и балалайки. Получать деньги за съемку Федя отказывался. «Дайте мне яловые сапоги, телогрейку и штаны теплые». На заработанные деньги ему купили еще две пары брюк и рубах несколько. Радостный, он облачился во все это. Его спросили: «А жарко, Федя?» — «А что делать? У меня складов нету. А уберечь до холодов охота!». Когда группа, закончив работу, покидала Алтай, многие расписались на его балалайке. Федя обреченно прощался: «Возьмите, — говорили его глаза.

“Титры к «Печкам-лавочкам» с поющим Федей задавали тон фильму, оставляли впечатление; однако после просмотра первый зампред Госкино тоном, не терпящим возражений, заявил: «Сморщенного старика, самодеятельного, выбросить из фильма полностью». Вскоре исчезли и три коробки «золотого»

сольного концерта Феди. Сколько сил было потрачено на поиски коробок, но след их так и не обнаружился. Остался один из урезанных вариантов надписей с Федей, в итоге отвергнутых Госкино.

Перед завершением съемок остались ночевать в Сростках для прикидок съемок финала. Обговорено было — финал снять на Бикете.

— Эх, люблю это место. Для меня здесь пуп земли», — слышал не раз от него.

Шукшин метался — чем закончить фильм? Хотелось привязать любимый с детства Бикет. Вот тут уж я похвастаюсь. Я предложил Макарычу для эпической панорамы сидеть на земле в черной рубахе, а я, снимая широкоугольной оптикой, отъезжал бы от него. Горизонт за спиной выгнется. Иван в темной рубахе потеряется на земле, а камера медленно уйдет на круговой обзор далей. На бугре Макарыч обсуждал предложенное:

— Ладно, красиво! Ну, сижу на земле. Курю? Что я еще могу делать? Набросятся — пропаганда курения... А оно мне подспорье — где бессилен, закуриваю... В сапогах! При галстуке? Сам себе надоешь! А если сижу на теплой земле, босой, и весело скажу: «Все, ребята, конец!» — и я буду прав. Скоро конец... Всему конец... Прямо в глазок тебе еще последний раз подмигну, подтекст проглянет, а если нет, критики его сыщут. Ты еще увидишь, что такое критики! Что они понапишут!

Проходили дни, съемки откладывались. Макарыч мял финал сомнениями. Надо бы его заявить в начале фильма, сделать зрителю знакомым это место. Сняли танец плотогона Бори Маркова с рюмкой на лбу. Добротно поставленная и снятая сцена выполняла свое назначение, но была изъята как увлекающая зрителей к алкоголизму.

Наступил час, и первая сборка всей картины показана худсовету. Реакция сдержанная. Потом Макарыч разглядывал список-картотеку пронумерованных замечаний: «Убрать Федю напрочь», «Переснять титры», «Финал заменить» и еще, и еще. Больше месяца проводил озвучивание, шлифовал текст. Выравнивал сюжетный бег картины. В очередной раз показывая редсовету студии переделанный материал, мы

записали обсуждение на диктофон. У него дома прослушали пленку. От тут же набросал на бумаге «критический» перечень эпизодов — по выступлениям редакторов две трети материала подлежало исключению. До конца года возился Шукшин с поправками.

Шукшин держался, особенно ради заключительной реплики. А во время сдачи фильма садился за микшерский пульт и зажимал звук на этом месте, и мы, заранее сговорившись, погромче кашляли, чтобы не услышали принимающие картину (таких моментов по ходу просмотра фильма было несколько!). И слова эти остались; однако к началу тиражирования фильма их убрали: после сдачи еще девять месяцев фильм подвергался «урезкам». Шукшин торговался, отстоял-таки финальную реплику, выбросив взамен фольклорные перлы Ивана Расторгуева. Все эти переделки изрядно искалечили фильм.

Весело? А тут еще событие — картину без него показали в Алтайском крайкоме, и первый секретарь, недовольный фильмом, звонил председателю Госкино, просил фильм на Алтае не демонстрировать. А следом пошли разгромные статьи в прессе. Статьями незамедлительно воспользовались на студии и в Госкино. И пошла резня ее...

Для «городского блока», например, был снят эпизод, рожденный днем текущим. На Большой Пироговке, точнее на Девичьем поле, устанавливали памятник Льву Толстому скульптора Портянко. А в глубине сквера еще стоял старый, изваянный из красного гранита С.Д.Меркуловым в 1927 году. Лев Николаевич — в рост, с руками за поясом, в неизменной своей толстовке. Фигура нового памятника была близка к завершению. На огороженной наспех площадке рядом с глыбой сидящего Толстого стояла отдельно на земле равновеликая белая голова, которую камнетесы переводили в гранит. Шукшин снял такой эпизод: Иван с женой проходят мимо старого памятника и видят, что делают второй того же писателя. Спрашивает жену, что бы это значило? «Гляди-ка, два памятника подряд?!» Затем залетает за изгородь спросить и видит две головы, подбегает — она его росту равна. Зачарованный, он спрашивает камнетеса: «Почему голова-то отдельно?» Его посылают куда подальше. Нюра тащит его из ограды... Эпизод получился веселый, нес информацию о памятнике и точно определял время, затронутое в фильме, — лето 1971.

Смыта со всем не вошедшим материалом и эта законченная новелла.

Последняя капля: даже родной дядя Шукшина, случившийся проездом, председатель колхоза на Алтае, обиделся: «Нет у нас таких механизаторов, как твой Иван Расторгуев. Жизнь ушла вперед! Все изображаешь вчерашний день?» — говорил он, поедая сосиски, тут же рассказывая, что едет из Польши, что вот перед поездкой наставляли, как вилки-ложки держать, не «чавкать», а чем там чавкать, ни разу супом не накормили: «В плошке жижицы дадут»... Макарыч покатывался: «Ну чем же ты отличен, дядя, от моего Ивана?»

В одночасье решив поехать в Тимониху к Белову, Шукшин позвал меня с собой. Больше недели прожили мы вместе в заснеженной Тимонихе. Я видел, что тут Шукшин полностью раскован и счастлив. Белов убеждал Шукшина бросить кино и заняться чисто литературой, а перед отъездом предложил: «Выбирай любой дом, я тебе куплю его. Хочешь, сам выберу?» — «Покупай уж тогда всю деревню, коль так щедр», — посмеивался Шукшин. Тогда я позавидовал Макарычу — есть у него друг. Шукшин «зарядился» в Тимонихе. Планы набрасывал один заманчивее другого.

«Печки-лавочки» тихо прошли в Доме кино, еще незаметнее — на экранах. Шукшин этот фильм ценил, считал некоторые сцены в нем для себя достижением.

Однажды я просмотрел «Печки-лавочки» в Казахстане. Реплики — «Все, ребята, конец!» — там не было вовсе. Стал смотреть в Сибири — там не было и других реплик. К ужасу своему узнал, что во всех областных конторах кинопроката существуют еще и свои редакторские ножницы. А кто дает указание? Конкретно не докопаешься.

А впереди была «Калина красная».

Генеральный директор «Мосфильма» предложил Шукшину снять напечатанную в журнале «Наш современник» киноповесть «Калина красная» в экспериментальном объединении, которым руководил Григорий Чухрай. Шукшин предложением Сизова загорелся. На две недели спрятавшись в Болшево, сдал в экспериментальное объединение литературный сценарий. Начались, однако, затяжные обсуждения сценария с худруком

и главным редактором. Чухрай предлагал изменить биографию главного героя, иначе, выходит, преступник становится положительным героем фильма. Обсуждения продолжались, Шукшин шел на кое-какие уступки, возникали новые возражения. Сроки стали поджимать, Шукшин нервничал.

Уже зима склонялась к весне, и как ни заманчиво было работать в экспериментальном объединении (заработок создателей начислялся от количества зрителей), понимая, что идет игра, Шукшин обратился к худруку 1-го не экспериментального объединения Бондарчуку, и в очень короткий срок «Калина красная» была запущена в производство...

Нервы, изведенные на хлопоты, дали себя знать. В очередной раз ложится он в клинику Василенко «подлатать», по его словам, желудок. Там он начинал режиссерский сценарий, раскладывая сценарные события на окрестности Белозерска, высмотренные еще на выборе разинской натуры.

Первый день съемок в экспедиции торопили. Были еще грязные дороги. Шоферы не хотят съезжать с асфальта — кому охота грязь потом отмывать? Цвела верба, зеленели бугорки. Егор Прокудин пахал землю, останавливался у березовой заросли и затевал разговор с березами. За спиной слышу комментарий мосфильмовских ассистентов: «Феллини снимает "Амаркорд" и "Рим", а Шукшин березы гладит. Явился для укрепления "Мосфильма"». Слышит это и Макарыч и, не отвечая, разговаривает с березами — оппоненты только помогают ему собраться.

Разгорающаяся весна оживила умирающий вид деревень по берегам озера Лось-Казацкий. Оживляла и нас. Основная съемочная группа скоро притерлась к торопливой работе Шукшина и до конца участливо помогала обогнать производственный план. Почти ежедневно уходил я от Шукшина далеко за полночь. Обговаривали съемки, судили снятый материал, переходили к разинским и текущим проблемам, слушали «вражье» радио. В семь утра подъем. Выезд на съемку в 8 часов 30 минут. Опять кофе. По окончании съемки ехали утверждать завтрашние планы, присматривали новые места. Плотно наедались в ресторане. Пару часов воли. Вечером фантазировали, как приспособить натуру к тексту. В случившиеся выходные дни вместе с Макарычем, без групы, снимали городские жанровые хроники.

Остановок в съемках Шукшин себе не позволял: нет исполнителя эпизодической роли — он переделывает эпизод для тех, кто под рукой, берет людей из массовки. Придирчиво отбирает обитателей из «Малины», типажно организовывая компанию. Загодя уговорил сняться писателя Артура Макарова — «Бульдю» изобразить. Не удалось осуществить все задуманные съемки по «Малине»: когда собрался материал, видно стало, что несет его на две серии. Пришлось сокращаться.

Разнообразие натуры обогащало замысел, подсказывало Шукшину выход из неурядиц постановочного и организационного характера, а иногда просто заманивало в фильм, как это было с торчащей из воды колокольней у переправы через Шексну. Чтобы выразить ужас и крик этого зрелища, Шукшин переносит часть сцены в катер на подводных крыльях: проплывая мимо колокольни, Егор спрашивает соседа: «А ты мог бы купить такую вещицу?», показывая в окно. Недоумевающий сосед спрашивает: «Чего купить?» Егор жестом указывает ему на катер и колокольню, дескать, и то, и то... Вечером, вспоминая и открытые ветрам фрески Дионисия в Ферапонтове, и торчащую из подпертой плотиной Шексны колокольню, Шукшин рассуждал: «Возможно ли подобное в Польше или Эстонии, у народов малых земель?» В дни тех съемок пробуждалось историческое чувствование... «Я рублю икону от имени Разина. Вот где кощунство. Разин хоть и был разбойником, но должен быть верующим. Надо сходиться с историками»...

На роль матери Егора ждали Веру Марецкую — в Москве она дала согласие, прочитав сценарий. Собирались Марецкую снять в живом интерьере избы одинокой старушки Ефимьи Ефимовны Быстровой. Пришло время снимать сцену, но Вера Петровна не приехала, сославшись на нездоровье. Мы загоревали. Где в начале лета свободную актрису хорошую найдешь? Возникло предложение: снять в этой роли владелицу найденного интерьера. Оставшись после съемок в деревне, мы пили чай у бабушки, звали всю правду о себе рассказать, — похлопочем, вдруг и пенсию повысят (она получала пенсию 17 рублей). Ефимья Ефимовна с надеждой улыбалась — природный артистизм был в ней. Как она говорила! «Я молодая красивая была — ну, красавица. Это сейчас устарела, одна на краю живу. Сморщилась». Уговорили мы

Шукшина с Ипполитом Новодережкиным провести экспериментальную съемку с бабушкой. И получилось ведь!

Финальную сцену на пароме (месть брата Любы убийцам Егора) готовили долго. В Белозерск приезжал не однажды на иноземной машине каскадер Корзун. Приезжал, примерялся, уезжал. Настал день съемки. Сколько надежд — перешибить Голливуд. Задумывалась сцена так: на узкой насыпи причала стоит такси, в машине — манекены бандитов. Паром с людьми на середине реки. Появляется на бешеной скорости самосвал, ударяет такси, а сам повисает на припароме-причале.

Наслышаны о съемке не только в Белозерске и Кириллове. В назначенный день народу собралось видимо-невидимо. Спасателей одних два катера, прибыл заместитель начальника по техбезопасности «Мосфильма». Зрители заполнили паром. Корзун отдает последние указания. Смотрит на него вологодский люд, как на Гагарина. Изготовились. Взвилась ракета в небо. Включились камеры. Корзун мчится, но на подходе к такси скорость угасла, и он, клюнув машину, укатил ее в воду. Множество шоферов замучили советами, предлагали услуги. Корзун просит дубль. Готовимся повторить, хоть и прогнали положенную норму пленки. Повторяем. Каскадера заклинило, он ударяет такси слабее даже, чем в первый раз. Эффекта катастрофы ни на глаз, ни на пленке нет. Съемка оставила ощущение провала. Шукшин добивается в верхах организации повторения съемки.

Берется провести этот трюк таксист из Череповца, он же гонщик-любитель. Он предлагает снять дверь в кабине самосвала со стороны водителя, чтобы выпрыгнуть из нее до удара в такси на мешки с соломой, положенные у насыпи. Скорость до удара — 40 километров. И вот снова ракета. Камера пошла. Летит машина, чую по пылище за ней и панораме — скорость большая. Радуюсь. Вижу, выпал водитель (это вырежется)... А дальше — самосвал стремительно начинает цеплять ограничительные бетонные столбики и, не дойдя до такси, подпрыгнув вверх, падает в воду рядом с паромом, обдав всех водой. Камеру залило. Крики ужаса. И вдруг — тишина. Такси с муляжами на месте. Самосвал чуть виден из воды. Уже несут к «Скорой помощи» трюкача, ноги поломал — гнал, чтобы оправдать доверие, на 80 км/ч,

проскочил мешки, прыгал уже на насыпь. Голова цела — слава Богу, заставили каску надеть...

Разошлись люди... Зрелища опять не получилось. Сняли мы, по-горячему, Лешу Ванина (исполнитель роли брата), выныривающего из кабины затонувшего самосвала, и это был самый убедительный кадр из всего материала катасрофы. В суетной горячке работы Шукшин и все мы прикидывали возможности монтажа сцены, и только после возвращения в гостиницу постепенно осознали весь ужас, который ожидал нас, не попадись на пути самосвала столбики. Скорости самосвала хватило бы бросить такси к нам на паром и изувечить находящихся там людей. Провидение спасло нас от чудовищной катастрофы. Настроение было не съемочное.

Используя летнее затишье, Шукшин без паузы приступил к павильонным съемкам, которые были завершены за два месяца двадцать два дня — вместо четырех месяцев с половиной.

Сцены в квартире Байкаловых были проиграны Шукшиным в воображении и на бумаге еще в Белозерске. Там и решил он пристроить свой любимый анекдот на сельскую тему в разговор Егора Прокудина с отцом Любы. Макарыч любил повторять эту байку, она поднимала ему настроение. Вот ее схема. На окраине деревни, у развилки дорог, — рукодельные щиты-лозунги, обязательства: дадим государства масла столько-то центнеров, хлеба столько-то пудов, шерсти столько-то тонн, яиц и т. д. У лозунгов неподвижно стоит босой мужик, а сапоги, связанные веревочкой, у него на плече. Он молча читает весь перечень обязательств и вдруг говорит вслух: «Вот жмут! Вот жмут?!» На плечо ему опускается рука, и он видит уполномоченного, который наступательно спрашивает: «Кто это жмет?» Мужик от неожиданности оробел на мгновение и ответил: «Сапоги жмут!» — «Сволочь, ведь ты же босой!». Мужик уже победно и без паузы: «Вот от того и босой, что жмут!» Ну, как не порадоваться за мужика, выпутавшегося из такой передряги.

«Бордельеро» снималось в конце работы над картиной. На ходу автор сокращал сцены «Застолья» и даже количество участников. С ходу отсняв кадры с участием гостей, на крупном плане он произносил: «Граждане, что же мы живем, как пауки в банке. Вы же знаете, как легко помирают. Давайте дружить». Снимали всего два дубля. Он напрягся, как струна,

во втором — уговорились, что эти слова он произнесет, упершись взглядом в стекло объектива. Когда сцену смонтировали, взгляд этот будоражил всех, кто смотрел этот эпизод. В фильме, к сожалению, он не остался — заставили убрать.

Начались просмотры, один за другим. На «Мосфильме» резко против нее выступали некоторые режиссеры, редколлегия Госкино предложила поправки, которые можно было сделать, только отсняв фильм заново... И вот посмотрели фильм на дачах, и слышно стало — кому-то понравился. Сделав сравнительно немного купюр, Шукшин сдал картину, сам того не ожидая. Вырезал, правда, из текста матери слова о пенсии («Поживи-ка ты сам на 17 рублях пенсии!»), еще какие-то «мелочи».

Вот еще вспомнилось. В подготовительном периоде задумывал исполнить песню народную «Калина красная», планируя, что споют ее Люба и Егор. Но в музыкальной редакции студии сообщили, что песня эта обработана композитором Фельцманом и нужно ему платить авторские как композитору. Шукшин отказался от песни, и прямо в кадре сказал: «Не выпелась песня... да вот сегодня в газете пишут, что «Ямщик, не гони лошадей» тоже уже имеет автора и композитора. Пора, видно, и Лихачева объявить автором «Слова о полку Игореве». Глядишь, днями появятся свежие авторы и у песен разинских времен».

«Калина красная» вырывалась на экран без рекламы особенно ярко в глубинках России. На Украине, в Кемерово ее запрещали, а всякий запрет у нас — лучшая реклама. прокат фильма расширился, картину не показывали по телевизору (только через десять лет) по причине приносимой прибыли кинопрокату.

Мне рассказывал работник Казахстана: в городе Аркалык заключенные строили кинотеатр «Октябрь» и, чтобы успеть к юбилею, поставили условие начальству: показать строителям два раза подряд «Калину красную», и обе стороны слово сдержали. Какой же это был просмотр! «Вот надо где было лица снимать», — советовал мне прокатчик.

Шукшин этого уже не узнал..."

Из воспоминаний Ивана Рыжова

"Познакомились мы с Шукшиным еще на съемках фильма «Мы, двое мужчин» в начале 60-х годов. Я жил в гостинице в двухместном номере один, и однажды администратор попросила поселить ко мне молодого актера. Я согласился. Зашел человек в гимнастерке, сапогах и с обшарпанным чемоданчиком. Мы представились, и он предложил:

— Давай на «ты».

— Давай.

— Ты знаешь, Иван, — сразу сказал он. — Я рано встаю.

— Так что?

— Да нет! Я очень рано встаю!

— Ну...

— Я в четыре встаю. Но я тихо, тебе не помешаю, ты не волнуйся. Понимаешь, я немножко пишу...

На другой день он пришел в одиннадцать вечера, и я про себя усмехнулся: как же, встанет!

Но ровно в четыре послышались шаги, плеск в ванной, а затем Шукшин пристроился на постели с бумагой. Работал до десяти утра. И так, к великому моему изумлению, продолжалось все два месяца съемок... Одна стопка тетрадей, чистых, уменьшалась, другая, исписанных, — росла.

Однажды, когда его увезли на съемки, я не удержался и решил посмотреть, что он пишет. Взял наугад одну из тетрадей. В ней был рассказ о глухонемой. Рассказ мне понравился, и я разом перечитал все. Когда Шукшин вернулся, я не выдержал и признался. Он очень обиделся, объяснил, что работы еще не отделаны, и стал после этого запирать тетради в чемодан. Все-таки через несколько дней он поинтересовался, как мне показались его рассказы. Я растерялся. Слишком уж все написанное Шукшиным не было похоже на привычное чтение. В его произведениях были вещи, о которых не было тогда принято говорить, и мне на первых порах показалось, что в том, как он их описывает, есть какая-то «аморальность». Все это я высказал Шукшину. Мой ответ вызвал в нем прямо-таки бурю. «Нет здесь никакой аморальности! Правда все это! Правда не может быть аморальной!» — от негодования он бегал по комнате, выкрикивая мне все это. Я тогда заметил, что если он сильно рас-

страивался — начинал бегать по комнате. Как ни странно, после этого случая Шукшин меня зауважал. Он понял, что я буду ему говорить правду.

Когда Шукшин показал мне свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают», я честно сказал ему, что, на мой взгляд, там получилось, а что нет. Он тогда только осваивал профессию режиссера и некоторые мои замечания принял чуть ли не радостно, сокрушенно заявив, что «никто ведь правды не говорит». Кстати сказать, дебют Шукшина вызвал тогда весьма отрицательные оценки. Но сам Василий остался картиной доволен, хотя относился к своему творчеству всю свою жизнь весьма критически. По-видимому, в той картине у него получилось что-то важное для него самого. О чрезвычайной строгости к себе можно судить по количеству рассказов, опубликованных при его жизни.

Помню, как он из Белозерска разговаривал с редактором журнала «Сибирские огни» по поводу посланных туда рассказов. Видно, предлагали ему слово какое-то заменить. Он нахмурился, но согласился. Потом, гляжу, нахмурился еще больше, занервничал.

— А это не убирайте. Тогда совсем не надо печатать. Я рассказ из-за этой фразы писал.

Он никогда не пытался держаться за вещи, для него непринципиальные, но уж если что-то было для него важным, ни на какие уговоры не поддавался.

Когда на съемках «Калины красной» я узнал, что он и тут умудряется писать, я спросил, когда он все успевает.

— А ночи-то белые. Я — на подоконник и пишу.

Эта внутренняя собранность, сконцентрированность делали его внешне неприступным. Сам он не стремился к лишним контактам, потому и праздные люди не липли к нему. Когда же кто-то становился особенно назойлив, Шукшин мог и оборвать.

Мне всегда было интересно с ним работать. Он очень щадил нас и никогда не приглашал на пробы двух актеров сразу. Может быть, это происходило не столько от точного знания своего замысла, сколько от нежелания обидеть человека. Как режиссер Шукшин очень бережно относился к актерам,

которые у него снимались. Ценил и умел сохранить в исполнителях рабочее состояние.

Помню, после нашей с ним репетиции сложной сцены знакомства старика Байкалова с Егором Прокудиным заботливо спросил: «Репетируешь ты хорошо, а сыграть так можешь?» И продолжил: «Ты пойди за декорацию. Посиди один. Не потеряй это состояние». Он попросил оператора поскорее начать съемку, и мы два дубля подряд проиграли эту сложную сцену. Первоначально в сценарии этот кусок был другим. Там Егор и старик говорили о курении, Егор предлагал Байкалову «Памир», а тот курил свой самосад. Я человек некурящий и почувствовал, что весь этот диалог у меня не получается. Шукшин здесь же, на съемочной площадке, переписал текст роли, уже рассчитывая на меня.

Помню такой случай. Съемки были недалеко от города, нас возили на автобусе, потом я приноровился ходить пешком. Однажды днем Шукшин подошел и спросил:

— Можно я пойду с тобой?

— Можно, — удивился я.

Вечером он зашел за мной и сказал:

— Ну, пошли.

И мы пошли.

Я хотел, чтобы он заговорил, а он молчал.

Когда мы пришли, он сказал:

— Ну, пришли.

На другой день Лидия Николаевна спросила, о чем таком мы разговаривали по дороге: у Василия Макаровича, мол, было прекрасное настроение и он говорил: «Как хорошо ходить с Иваном».

Я так и ответил, что когда мы пошли, он сказал: «Ну, пошли», а когда пришли, он сказал: «Ну, пришли».

У меня сложилось впечатление, что они очень схожи с Василием Ивановичем Беловым и что им очень хорошо было вместе. Один раз мне довелось видеть их парой. Они сидели и молчали. Я долго ерзал, испытывал неловкость, все посматривал на них. Потом спросил:

— Чего молчите-то, мужики? Может, мешаю я, скажите.

— Зачем мешаешь? Нет. Молчим вот — и хорошо.

Как-то навестил я Шукшина в больнице, — вспоминал Рыжов, — и попросил он меня рассказать какой-нибудь из

ряда вон выходящий случай. Я вспомнил, как в детстве заболел тифом и мать, накрыв меня тулупом, шептала:

— Господи, прибери его!

А я — маленький и больной, но сообразил — шептал про себя:

— Не прибирай меня, господи, не надо!

Что это: материнская жалость или жестокость? Мы не решили тогда. Прошло много времени, и однажды ни с того ни с сего Василий Макарович спросил:

— А ты у матери узнал, почему она тогда так говорила?

Прошло еще время, я уже забыл о том случае, как вдруг Шукшин, будто мы и не прекращали разговора, сказал:

— Я думаю, все-таки жалость это..

Потом я понял его и предупредил всех: не рассказывайте ему о своих бедах, не надо, он будет ходить и помнить, и переживать, будто это его несчастье.

Ему почему-то всегда казалось, что актеры не согласятся у него играть. Когда зашла речь о съемках «Степан Разин», он сознался, что очень хотел бы пригласить на одну из ролей Михаила Ульянова, но боится, что тот откажет. Я при нем набрал номер телефона и объяснил Михаилу Александровичу, кто хочет с ним поговорить. Шукшин взял трубку, мялся, заикался, робел. И потом долго ходил по комнате и всплескивал руками, удивляясь, что получил согласие.

Своими удавшимися работами он считал лишь «Печки-лавочки» и «Калину красную». Остальные — подготовкой к этим двум лентам. Небывалый успех «Калины красной» у зрителей ошеломил Шукшина. Временами он казался мне счастливым. В кинотеатре «Мир» был устроен просмотр нашей картины для работников дипломатического корпуса. Перед началом сеанса зрители приветствовали нашу делегацию. На демонстрации фильма из съемочной группы остался только я один. А потом, как на грех, собрался выходить в ту же дверь, через которую выпускали публику. Никогда в жизни мне не довелось испытывать таких бурных восторгов. Меня хлопали по плечу, целовали, чуть не рвали на мне рубашку, которая вся оказалась в губной помаде. Слава богу, что там не было Шукшина, трудно себе представить, чтобы они с ним сделали!..”

Из воспоминаний Марии Скворцовой

“У Василия Макаровича я снималась один только раз, в фильме «Калина красная».

Очень нравилось мне работать с ним. Я чувствовала внутри какой-то небывалый подъем, какое-то ликование, восхищение жизнью, что ли. Теперь я понимаю, что это шло от самого Шукшина, оттого, что он был рядом и уже фактом своего существования окрашивал все вокруг. При нем нельзя было хитрить, лениться, идти на сделки со своей совестью — все становилось явным и постыдным, даже если он ничего не сказал, просто посмотрел.

Василий Макарович, мне кажется, всегда тяготился тем, что ему приходилось быть в центре внимания, что многие вольно или невольно подчеркивали его положение. Мне запомнилось, как он отказывался, чтобы его первым со съемок отвозили домой — в машине было много пожилых, уставших за день людей, он помнил о них, ощущал их усталость. Кто-нибудь посчитает, что это мелочь и что я стремлюсь приукрасить, как это нередко делается в воспоминаниях. Для кого-то мелочь, несущественно, для кого-то это не закон жизни — а Шукшин в этом весь, и подобные вещи говорят мне о человеке во много раз больше, чем пространные рассуждения о доброте и чуткости.

Я сильно волновалась на съемках, боялась расстроить Василия Макаровича, дать повод разочароваться в моей работе. И однажды от напряжения перепутала текст. А дни были трудные, Шукшин много нервничал. Да и снимали мы на очень дорогой пленке. А я ее испортила! Вот тогда-то — единственный раз — Василий Макарович не удержался и сказал, тихо так, с досадой:

— Ну, Марья Савельевна! Неужели вы не могли запомнить три слова?

Стыдно мне было, и когда на другой день я проходила мимо его комнаты, то вздрогнула, увидев в открытую дверь Шукшина. Он окликнул меня и вышел в коридор. И неожиданно обнял и поцеловал:

— Марья Савельевна, простите, что я не сдержался вчера. Простите, пожалуйста.

Так все внутри у меня сжалось и заныло. Какое-то материнское горячее чувство шевельнулось к этому человеку..."

Из воспоминаний Ипполита Новодережкина

"Существуют два понятия — правда жизни и правда искусства. Существуют они давно и давно признаны, и исповедуются. Шукшина от других художников — не только в кино, в любом творчестве — отличает особое отношение к этому тезису. «Правда — она одна!» — был убежден Василий Макарович...

За время работы в кино мне приходилось иметь дело с разными режиссерами. Большинство из них были уверены в себе, твердо знали, что и как надо делать, что где должно стоять и как выглядеть. Шукшин удивил меня своим «не знаю»... Он действительно не знал, что и как будет, он мучился, искал и меня приглашал к этому. Решение должно быть выношено, выстрадано. Как правда.

Состояние страдания, поиска правды, которую он должен донести, было для Шукшина постоянным и единственным. Каждый новый фильм становился событием не просто для Шукшина-художника, но одновременно и для Шукшина-человека, для него не существовало разграничения между жизнью и творчеством...

Снимали «Калину красную». У нас был уже найден «домик Любы», когда мы вновь попали в деревушку Садовую, и там Шукшин замер вдруг в одном из двориков.

— Только тихо, и ради бога ни к чему здесь не прикасайтесь. Здесь будут жить Байкаловы...

Я представляю, как захотелось бы иному автору что-то добавить, изменить: поленницу, например, в другое место перенести, забор перекрасить. Шукшин менял не в увиденном, не в жизни, а в себе, в сценарии.

Мне запомнилось, как мы выбирали место, где должен умирать Егор Прокудин. Казалось, все как надо: и природа величественная, и дали необъятные, можно показать перспективу, опрокинувшееся небо — как это обычно бывает.

А Шукшин двигал желваками, хмурился и молчал. И когда уже почти все решили, он вдруг взорвался:

— Да почему же именно так?! Почему он не может умереть по-человечески, вот здесь хотя бы, в пыли, не подчиняясь никаким законам?!

Вот так и умер Прокудин — на этом маленьком поле, которое вспахал и над которым кружились чайки. Когда его пашут теперь — вспоминают Шукшина.

Не говорю уже о рискованности того, что в роли матери Егора он снял не актрису, что документальный эпизод отважился вмонтировать в игровые. По его задумке вся картина должна была равняться по этим кадрам, дотягиваться до их обнаженной, не приукрашенной правды..."

Из воспоминаний Нины Веселовой

"Через шесть лет после смерти Шукшина я в составе группы журналистов приехал в Белозерский район на места съемок «Калины красной». Хотелось заснять любительской камерой людей, говоривших с Шукшиным, записать на магнитофон их воспоминания.

— Опять «Калину красную» ставить будут! — разнеслось по округе.

Местные жители привели нас на поле — ничем не приметное, перепаханное под зиму. Озеро рядом, над ним чайки мельтешат.

И когда идут орловские доярки на ферму, нет-нет да и подумают о Любе Байкаловой — ведь «работала» она на их ферме.

— Вот это автобусная ихняя, они строили, — показали нам будку. — Это ихняя память осталась.

Вокруг тимонинского сельского клуба, оказывается, соорудили для фильма веранду — получилась «Чайная», куда Люба приводит Егора для разговора.

— Я еще морсу им налаживала, сколько клюквы-то издержала!

Смеялись женщины, и в их воспоминаниях было столько детской радости: и они оказались нужны и помогали делать кино!

— Обедали, за клубом, под яблонями. Василий-то Макарович дал мне порцию, я тут вместе с имя пообедала. Потом он обратно ко мне в дом зашел. Увидел у меня карточку — три сестры: Вера, Надя и Любовь. Они у меня эту карточку забрали, и потом была она в кино... Они тут у меня и жили. И дом мой сфотографировали для кино — даже вишни цвели в тот момент, дак дом что молоком обдернут был!

— Сколько народу было, когда «Калину красную» объявили! Полнехонек клуб был!

Быть может, только «Калина»... Нет, не только по ней знают Шукшина в белозерских деревнях.

— Я дак помню его в кино «У озера», потом «Чулочки-лавочки»... Ой, «Печки-лавочки»! Как она из чулок деньги-то вынимала, евонная жена... «Два Федора». А вчера вот — шел Бондарчук, и Шукшин вышел.

— «Они сражались за Родину».

— Да! А еще, кажись, говорили, что он будет «Разина»-то ставить. А вот у него смерть-то и подошла. Жалко его!

— Жалко. Он такой простой был. Вот придет ко мне и сидит, сидит, сидит...

— Какой-то он... Вот не видал никого, а разговаривает, как век свой здесь жил.

— Хорошим людям долгой жизни нету...”

Диалог Андрея Михалкова-Кончаловского и Константина Феоктистова на страницах «Литературной газеты»

Феоктистов: А как вы — режиссер — воспринимаете Шукшина... Я нахожусь под впечатлением его последней картины «Калина красная» — по-моему, она ему очень удалась.

Кончаловский: Что говорить, Шукшин — один из лучших наших режиссеров. Прекрасный, талантливый, очень правдивый, большой, серьезный художник, огромного таланта актер и писатель — тут двух мнений быть не может. Страшная потеря, что его уже нет, и слава богу, что он был... Вы видели только его последнюю картину?

Феоктистов: Еще «Печки-лавочки». Обе мне понравились. Художник задумал и создал фильм о себе и других. Я ощущаю его воздействие... Шукшин души коснулся...

Кончаловский: А почему, как вы считаете? Вот почему вам понравились два последних фильма Шукшина?

Феоктистов: В них, быть может, не все одинаково удалось, но есть превосходные «куски жизни», очень живые и правдоподобные. И когда я смотрел эти фильмы, то думал, что через 50—100 лет о нашей жизни люди смогут составить впечатление не по некоторым парадным фильмам, а по таким, как две последние картины Шукшина..."

Из воспоминаний Алексея Баталова

"О том, что «Калина красная» выдающаяся или, во всяком случае, исключительная по силе и глубине картина, уже было много сказано.

Отпетый вор Василия Шукшина — это не только мастерское исполнение, точнее даже не столько исполнение, сколько обнаженная человеческая страсть. В этом актерском создании прежде всего удивительны и неповторимы не приемы игры, а та внутренняя убежденность, нравственная сила, которая стоит за каждым словом и движением артиста.

И это не только сила глубоко выписанной им роли или сюжета фильма и даже не убежденность, проистекающая из судьбы героя, ведь по здравому рассуждению Егор куда примитивнее своего экранного изображения, поступки его куда сумбурнее, чем та железная закономерность, которую они приобретают благодаря исполнению Шукшина.

Сквозь роль, возможно, сам о том не думая, Василий Шукшин обращается к нам, зрителям. И как актер, и как человек, перечувствовавший все за своих героев. И если есть в этом фильме так называемая актерская удача, чудо открытия живого современного человека, то оно, конечно, началось задолго до съемок первого эпизода, пожалуй, и до первой записи рассказа.

И в ранних, менее значительных, работах Шукшин как исполнитель всегда опирался не столько на ударные места роли, сколько на свою человеческую откровенность.

Именно в творчестве он предстает наиболее открытым и не считает нужным скрывать ни своих пороков, ни своих привязанностей, ни своего отношения ко всему, что совершается вокруг. Только истинному художнику под силу столь изнурительный и честный путь.

Сегодня, после выхода «Калины красной», Шукшин окончательно стал в тот наиболее близкий моей душе ряд актеров, которые всякий ход роли, каждое, самое не свойственное самому себе действие открывают ключами собственной жизни.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышит почва и судьба.

Эту фразу Бориса Пастернака я связываю вообще с актером и с Шукшиным, в частности, не только потому, что не помню ничего, что было бы лучше и короче сказано о человеке и его творении, но и в силу глубочайшего своего убеждения в том, что исполнитель может подняться до высоты подлинного авторства и поэтического откровения.

Порою и виртуозная техника, и произведение, лежащее в основе исполнения, менее говорят уму и сердцу зрителя или слушателя, чем то, что исходит от самого артиста. На какое-то время он действительно становится полноправным властителем дум и сердец, самостоятельным художником...

Вот эта в конечном счете данная всякому исполнителю возможность не просто «изобразить», не только верно взять ноту, но наполнить ее своим ощущением, вынести на подмостки или на полотно экрана свои мысли, чувства, убеждения превращает ремесло в искусство, а исполнителя в художника, в творца, само существование которого немыслимо без внутреннего движения, без открытий, без траты самого себя, без дыхания реального времени..."

Из воспоминаний Алексея Каплера

“Жаль, не было тогда со мной магнитофона — записать надо бы от слова до слова весь разговор в нашем купе.

При посадке в Симферополе в вагон шумно ввалилась ватага возвращавшихся в Москву студентов. Долговязая пара, в ярко-голубых тренировочных костюмах, втиснулась в наше купе, держа за ручки небольшую бельевую корзину. В ней лежало нечто курносое, с глазами цвета маминого и папиного тренировочных костюмов и улыбалось во весь беззубый рот — отдыхать, так всей семьей!

До нашествия студентов в нашем купе занято ьыло два места — на одном их верхних устроился я, на другом — нижнем — угрюмый товарищ в роговых очках, который сразу уткнулся в журнал. Теперь у нас образовался полный комплект и даже с перевыполнением на жителя корзинки.

Между тем в наше купе набился народ. Видимо, папа и мама были чем-то вроде духовного центра студенческой компании. Они продолжали разговор, начатый, видимо, еще по дороге на вокзал. Речь шла о только что тогда вышедшем на экран фильме «Калина красная», ребята все были, как видно, отчаянными болельщиками кино, и я стал прислушиваться к разговору — он меня заинтересовал.

Но тут неожиданно прозвучал снизу голос соседа:

— Безобразный фильм. Рецидивиста воспели.

Сказал — как отрезал. Как истину в последней инстанции.

На миг в купе повисла недоуменная тишина. Затем одна из девушек произнесла:

— Это прекрасная, прекрасная, чудесная картина!

А парень, которого называли не по имени, а «Мурашковский», глядя в окно, добавил:

— Для тех, кто способен ее понять.

Сосед воинственно поднял голову.

— Оценил ваш сарказм, товарищ... Фильм для интеллектуальной элиты. Куда нам, непосвященным, рядовым...

— Какая элита? — свесила сверху голову мама. — Народ валом валит.

А кто-то из-за двери сказал охрипшим голосом:

— Я в очереди в кинотеатр три часа отстоял. И еще пойду, между прочим.

— Ну, хорошо, хорошо... — сосед ввязывался в спор уже всерьез и даже отложил журнал. — Примем ваш критерий — посещаемость. Хорошо, ну а как вы полагаете — если выпустить на экраны порнографию? Сколько вам тогда придется отстоять в очереди, юный товарищ?

— Ну при чем тут порнография? — свесилась с верхней полки мама. У нее был низкий голос и говорила она с этакой сердитой энергией. — При чем тут порнография? — еще резче повторила мама. — Мы говорим о чистейшей картине. А то, что герой фильма бывший вор...

— Позвольте, позвольте, этого мало, что вор, рецидивист, но — главное — как относится к нему автор? Ведь с глубочайшей симпатией! Вы согласны, что автор картины ему симпатизирует?

— Да, да! Мы согласны! Симпатизирует! И мы тоже симпатизируем, больше — мы любим его! — кричала, вскочив на рюкзак рыжая девчушка, — но любим не вора, а человека, у которого хватило душевной силы порвать с прошлым...

— Это человек, — кричал Мурашковский, — который казнит себя...

— Который ищет смысл жизни, ищет правду, — басила сверху мама. — Какая разница, кем он был раньше?

— Разница! Разница! Сколько в нашей стране совершается героических дел каждый день, сколько настоящих героев — пожалуйста, бери, пиши о них пьесы, киносценарии, стихи, наконец. Пожалуйста. Но нет, им обязательно подай с гнильцой, им подай закоренелого преступника. А молодежь? Воспитание молодежи? На каком примере ее воспитывать? На примере вора, да? На примере блатного. Да?

— Вот вам бы Чапаева подать сразу гладенького, по уставу, на все пуговицы!

— То гражданская война!

— А то жизнь, правда, доброта...

— А я бы лично эту картину запретил.

— Какое счастье, что это не от вас зависело.

Перепалка оказалась лишь вежливым обменом любезностями по сравнению с тем взрывом, что последовал за какой-то пренебрежительной репликой соседа о самом Шукшине. Что тут поднялось!

Оказывается, пока критики вели бесконечные споры о творчестве Шукшина. Пока одни посылали ему упреки в

воспевании деревенщины и консерватизма, в нелюбви к городу и прочих смертных грехах, а другие критики отбивали эти упреки и восхищались художнической щедростью Шукшина, пока писались и публиковались все эти суждения, в это самое время в библиотеках молодежь до дыр зачитывала сборники его рассказов, зрители смотрели его фильмы, и из всего взятого вместе — из прозы, фильмов, облика самого Шукшина и его поразительного артистического дарования — составилось представление об этой яркой, совершенно своеобразной личности.

Эта личность была признана, этого Шукшина полюбили и в обиду не дают.

Вот что произошло..."

В июльском номере журнала «Советский экран» за 1974 г. была опубликована подборка зрительских отзывов на фильм «Калина красная», которая заняла самое внушительное место в почте последнего месяца. Вот отрывки из них:

"Вот уже больше двух недель идет в нашем городе фильм «Калина красная». Лично я целую неделю ходила под впечатлением от этого фильма, его содержания и особенно потрясающей игры Василия Шукшина. На какие большие размышления наводит этот фильм? Как он не похож на остальные фильмы! Как тонко он показал, что нужно находить человечность даже в «отверженных» людях. Молодежь с восторгом отзывается об этом поучительном фильме..."

"В фильме больше вымысла, чем правдоподобия. Единственное, что естественно в картине, — это образ рецидивиста Прокудина (ну и фамилия!). Глазки маленькие, узкие, хитрые, злобно бегающие, губы тонкие, злые, алчные, ноги и руки, как жерди, худые, грудь впалая, фигура неуклюжая, походка волчья, голова стриженая. Колючая — лучше не придумаешь! За что могла полюбить Люба такого плюгавенького мужичка? Не любовь заставила ее удержать Егора в деревне. Ей жаль было своей мечты, надежды..."

"Главная тема «Калины красной» Доброта с большой буквы. Фильм архиталантлив. Настоящий самородок этот Василий Макарович..."

"«Калина красная» — поистине что-то бесподобное. Хочется еще и еще раз переживать, смеяться, грустить за всех героев этого талантливого фильма..."

"Бесподобна игра самого Шукшина, Лидии Федосеевой, Ивана Рыжова..."

"Какое воспитательное значение, особенно для молодежи, имеет этот фильм? Несмотря на то, что он сделан хорошо, оставляет очень неприятный осадок, не хочешь думать о нем, а думаешь.."

Из воспоминаний Ирины Сергиевской

"Мне выпало счастье быть редактором фильма «Калина красная», принесшего Василию Макаровичу Шукшину настоящую славу, и по окончании «Калины» остаться в числе людей, которых он собрал вокруг себя, приступая к осуществлению главного, как я понимаю, кинематографического замысла его жизни — фильме о Степане Разине.

К нам на «Мосфильм» в Первое творческое объединение Василий Макарович перешел в конце 1972 года.

Разговаривать доверительно, «беседовать» (Шукшин употреблял именно это слово) со мной, его новым редактором, Василий Макарович стал не сразу. Приглядывался, что за человек, как работаю. Сдержанность, настороженность определяли его отношение довольно долго. Лишь после после возвращения из Белозерска, где снималась натура сказал между прочим, что хочет подарить мне свою книгу. Я поняла, что в его глазах выдержала некое испытание...

Творческая лаборатория Шукшина-кинематографиста крайне интересна. Одержимо стремясь к правде, Шукшин отважился на эксперимент: он снял в роли Куделихи — матери Егора — крестьянку деревни Садовая.

Ясно, что старый неграмотный человек не в состоянии был выучить текст сценария. По счастью, в поле зрения Шукшина попала именно Ефимия Ефимовна Быстрова, чья судьба в главном повторяла судьбу Куделихи (припоминаю,

с каким радостным удивлением Василий Макарович рассказывал нам об этом, вводя в курс уже созревшего решения, когда я на три дня приехала в экспедицию). Ефимию Ефимовну снимали в ее избе. Камера включалась в тот момент, когда увлеченная воспоминаниями, женщина не обращала на нее никакого внимания. Вопросы, задаваемые по ходу эпизода Лидией Федосеевой— Любой Байкаловой, были заранее продуманы и направляли рассказ в нужное русло («Ну, бабушка, а про сынов-то теперь расскажи» и т.п.). Остальное довершил монтаж и досъемки реакции Егора.

Ефимия Ефимовна охотно, искренне поведала свою жизнь, без актерского «нажима», желания разжалобить.

Тихое робкое горе одинокой старой женщины, родившей сына и брошенной им, достоинство настоящей матери, смело запечатленные кинокамерой, наносят последний удар по развороненной душе героя фильма. И миллионы зрителей, глядя на экран, поверили, что прожженный рецидивист после такой встречи разрыдался, катался по земле: «Тварь я последняя, тварь подколодная...» Эта сцена — важнейший поворотный момент картины.

Уже в Москве, когда работа над фильмом завершилась, Василий Макарович признался: «Боялся я, могло ведь и не получиться. А теперь думаю, как бы нам, остальным актерам, дотянуться до такого уровня правды».

Рискнул он включить в ткань своего фильма и пронзительный эпизод документальной ленты кинофонда МВД, в котором подлинный заключенный поет песню «Ты жива, еще моя старушка», что не было предусмотрено сценарием. Шукшин просмотрел из этого фонда огромное количество кинопленки, вглядываясь в лица, проникаясь атмосферой, мало ему знакомой. Кстати, первая сцена «Калины», где Шукшин—Прокудин повторяет «бом-бом»в хоре, исполняющем «Вечерний звон», снята в настоящей исправительно-трудовой олонии под Москвуой. В зрительном зал не массовка, а «зеки».

После одного из благополучных худсоветов Шукшин шел грустный, даже подавленный. «В чем дело?» Василий Макарович ответил: «Меня хвалили, а мне стыдно глаза поднять». Он стеснялся пустословия. Бездумных комплиментов. Тре-

бовательно ожидал от людей ответной работы души и ума. В суждениях искал мысли.

Премьера «Калины красной» в московском Доме кино. Прекрасная речь А.Я.Каплера, представлявшего фильм. Реакция зала во время просмотра: добрый, дружный смех, заглушавший последующие афористические реплики героев фильма; тишина, когда тысяча человек, охваченная одним переживанием, на мгновение задерживает дыхание...

Шукшин в последнем ряду поднимающихся ступеньками кресел, за микшером. Он сверху видит одновременно и зрителей, и экран. После надписи «конец фильма» зал в каком-то общем, объединившем всех движении разворачивается к Шукшину. Миг молчания и... шквал овации, овации долгой, благодарной, щедрой. Перед Шукшиным лица, глаза людей, которые его поняли.

Через несколько минут в фойе сияющий счастьем, каким я никогда его не видела, обнял нас, помогавших ему делать картину, и, потирая характерным жестом руки, сказал: «Вот теперь только и начинается, после этого можно работать...”

Из интервью В.М.Шукшина корреспонденту «Советского экрана»

“Случай, о котором рассказывается в «Калине красной», сложный. Мне жаль этого человека, жаль до боли, до содрогания за эту судьбу. Сложились обстоятельства — личные, общественные — иначе, Егор мог бы стать совершенно незаурядным человеком. Сколько дано ему от рождения! Какой это гордый и сильный характер, какой крепкий. Надежный человек! Даже будучи вором, он сохранил в себе многое. И так хочется помочь Егору, полюбить его. Но как? Как сделать это, не нарушив правды характера, правды жизни?.. Что могло растопить это сердце? Встречное добро. Встречное движение души человеческой.

Короче говоря, я хотел сказать об ответственности человека перед землей, которая его взрастила. За все, что происходит сейчас на земле, придется отвечать всем нам, ныне живущим. И за хорошее, и за плохое. За ложь, за бессовест-

ность, за паразитический образ жизни, за трусость и измену — за все придется платить. Платить сполна. Еще и об этом «Калина красная»..."

Из воспоминаний Глеба Панфилова

"Мой второй фильм «Начало» только что вышел на экран. Было немало людей, которые считали, что картина не состоялась. И вдруг меня включили в делегацию для поездки с картиной в Париж. Перед отъездом я зашел в Союз кинематографистов получить последние напутствия. Там и увидел я Шукшина.

Я знал что Шукшин был тогда в подготовительном периоде, на пороге съемок главной, как он полагал, картины свой жизни «Степан Разин». От отпустил бороду — ведь должен был сам играть Разина. Вот так мы познакомились, точнее, были представлены друг другу.

Это был ноябрь 1970 года. Шукшин в бороде Степана Разина, в кепочке массового пошива и в плаще неизвестного происхождения едет в парижский киноцентр на премьеру своей картины «Странные люди» и моего «Начала». Едем мы вместе.

Помню, перед демонстрацией нас угощали каким-то замечательным, сверхмарочным шампанским — из подвалов времени. Вкуса не помню — так волновался. А Вася и вовсе не пил. Он вообще в то время дал зарок не пить ни капли, и слово свое сдержал. Потом рассказывал, что однажды пошел со своей маленькой дочкой гулять. Встретил приятеля, зашли на минуту отметить встречу. Дочку оставили на улице. И забыли. А когда вышел из кафе, дочки не оказалось. В ужасе он обегал весь район. Что пережил — не рассказывал, но, по-видимому, это так его потрясло, что он поклялся никогда больше не пить, что и выполнил. Мне кажется, что он вообще выполнял все, что задумывал, все, что зависело от него, **лично** от него, от силы **его** воли, **его** характера. Но, конечно, ничего не мог сделать, когда ему мешали, когда за него решали.

Демонстрационный зал был небольшой, всего на 300 человек, но с очень строгим, взыскательным зрителем, о ко-

тором может мечтать любой режиссер. Картина моя вроде бы понравилась. Люди подходили, что-то очень дельное говорили, поздравляли. Вася стоял задумчивый, тихий, но ко мне не подошел, и настроение у меня резко испортилось; мне было абсолютно ясно: фильм ему не понравился (мне говорили, что моя первая картина «В огне брода нет» Шукшину не поглянулась). И это сразу омрачило всю радость премьеры. Для меня, в кино начинающего, очень важно было признание Шукшина.

Утром я проснулся от тихого стука в дверь. На пороге Вася. Улыбается, руки за спиной держит. И вдруг протягивает мне книгу своих рассказов.

— За что?

— За «Начало». Спасибо тебе. Просто именины сердца... Всю ночь о нем думал.

Я был вдвойне потрясен, потому что всю ночь Вася мучился после презентаций в дорогих ресторанах, где кормили всяческой экзотической кухней, которая ему была вредна. Мы даже подумали, что у него холера началась — лицо желтое, ни пятнышка жизни.

На следующий день нас повезли в недорогой ресторан, где собирается молодежь, студенты, веселый, хипповый, суматошный народ. Такая типичная парижская забегаловка. Нам было там легко и весело. Так легко и весело, что мы сначала не поняли, чего от нас хочет старик-гардеробщик. Наконец поняли по запаху — что-то горит. Горел Васин плащ. Хозяева тут же предложили Васе взамен дорогую дубленку, а мы искренне завидовали и горевали, что не наши пальтишки горят. А он — ни за что. Что я, нищий, говорит, воротник подверну и буду ходить. Так и проходил весь Париж в плаще с прогоревшим воротником.

Париж ему понравился. Но как только мы прилетели обратно в Москву, уже на стоянке такси он стал совсем другим. В Париже был доброжелательным букой, а здесь сразу стал раскованным, хулиганистым и смешливым. Что-то запел, замурлыкал себе под нос. Нервничал, шутил. На родину человек вернулся, и стало ему от этого хорошо. А Париж ему понравился. Очень! Он купил там свою голубую мечту — карманные часы, но знаю, что в Москве тут же кому-то их подарил. А еще пистолет-пугач, который стрелял совсем,

как настоящий. Очень радовался покупке: «шарахнешь... а он живой».

После поездки мы пропали друг для друга, обменявшись предварительно обоюдно искренними заверениями — не пропадать, не исчезать, не забывать...

В семьдесят четвертом году он приехал ко мне в Ленинград на съемки фильма «Прошу слова». Я знал от Николая Губенко, что съемки у Сергея Федоровича Бондарчука заканчиаются, и я мог наконец реализовать свою давнюю мечту — снять Шукшина в роли, как мне казалось, ему очень близкой — драматурга Феди.

Я написал ему письмо. Точно помню, что, когда писал, у меня было ощущение, что пишу очень близкому человеку, пишу другу. Мы в общем-то совсем мало в жизни виделись, а у меня в тот момент было четкое ощущение, что пишу ему уже не в первый раз и что это продолжение разговора, который тянется уже много лет и никогда не кончится.

Итак, в сентябре семьдесят четвертого года Василий Макарович приехал в Ленинград. Мы должны были снимать сцену у художницы — первую встречу драматурга Феди с Елизаветой Уваровой. Когда он вошел в павильон, у меня было физическое ощущение, что он не идет, а парит, почти не касаясь пола. Потом я узнал, что примерно то же самое почувствовали и все остальные — такой он был высохший, худой. Глаза красные, с неестественным блеском — верный признак бессонных ночей; за сутки он выпивал банку растворимого кофе.

Приехав, не отдыхая, он прочитал свою сцену. Я очень волновался, понравится ли ему, но по лицу, по коротким фразам сразу понял, что понравилась, и он готов сниматься. Сцена начинается с того, что Федя целует Уваровой руку. Я предложил Шукшину, полагая, что для него это неорганично, выбросить это, заменив простым рукопожатием. Но Шукшин сказал, что он это сделает, только с одной поправкой: он поцелует Уваровой руку, а потом потрясет ее, как это наверняка и должен был сделать драматург Федя.

В тот день мы так ничего и не сняли — долго и подробно репетировали. Я люблю выверять перед съемкой каждое слово, каждую интонацию, чтобы потом снимать по воз-

можности сразу одним куском и без дублей, во всяком случае, с минимумом дублей. Вася говорил, что никогда в жизни никто с ним столько не репетировал.

На следующий день он был и вовсе измученный — ездил к дочке в Зеленогорск, не спал всю ночь, но на съемки пришел подтянутый, собранный и строгий. И мы начали. Первая половина сцены получилась сразу, вторая никак не получалась. Надо было переснимать, но на Васю, который только что в кадре был молодым, ярким, сейчас даже страшно было смотреть. Я предложил ему отдохнуть. Он не согласился и сказал, что готов сниматься дальше. И стоило мне сказать «мотор», как снова перед нами сидел молодой, переполненный энергией человек, вот такой, каким увидели его на экране. Это был дух необычайной силы, нерв, который включался властью его воли, его характера, и казалось, ничто не может его сломить, казалось, что вот такая его усталость и есть гарантия его жизни.

Мы сняли все, что задумали, но главная сцена была впереди — разговор в кабинете Уваровой. Договорились, что он вернется через две недели. В конце сентября я получил от него телеграмму, что приедет 9 октября. 2 октября Шукшина не стало.

У меня была редкая возможность оставить в картине его последнюю недоигранную роль, где он, как никогда, был близок к себе, был самим собой, где он играл не драматурга Федю, а был писателем Василием Шукшиным. Такой близости образа к исполнителю, пожалуй, не было у меня ни в одной картине. Быть может, я подсознательно, сам того не ведая, писал не для Шукшина, а о Шукшине, и он мне очень помог приблизить, соединить в одном лице драматурга Федю и писателя Шукшина. Но как же теперь, когда его нет, снять эту главную сцену? И мы решили... Инна Чурикова провела эту сцену одна, но так, чтобы в каждой реплике Уваровой зритель ощущал, что это разговор, это дуэт не с кем-нибудь, а именно с Шукшиным, но для этого Инна Чурикова должна была сыграть за двоих. Да, вот так был придуман разговор по телефону, а голос Шукшина...Конечно, голос Шукшина невозможно заменить и подменить. И все-таки что-то удалось благодаря прекрасному актеру Игорю Ефимову..."

Из воспоминаний Сергея Бондарчука

"Василий Макарович Шукшин запомнился мне с первого его появления на киноэкране. Это было в 1959 году, когда демонстрировался фильм Марлена Хуциева «Два Федора». Его лицо выделялось среди привычных лиц экранных героев. Оно поражало необыкновенной подлинностью. Словно это был вовсе не актер, а человек, которого встретили на улице и пригласили сниматься. В Шукшине не было ничего актерского — наработанных приемов игры, совершенной дикции и пластики, которые обычно выдают профессионала. Меня, в ту пору уже достаточно опытного актера, Шукшин заинтересовал. Посмотрев «Два Федора», я сразу же подумал об итальянских неореалистах. Шукшин своей предельной натуральностью вызвал в моей памяти образ безработного из фильма «Похитители велосипедов», которого играл профессионал-рабочий.

Не меньшее впечатление произвела на меня первая картина Шукшина-режиссера «Живет такой парень», хотя принадлежит она не к тому роду в киноискусстве, который мне более всего близок. По художническим пристрастиям мы с Василием Шукшиным были абсолютно непохожи. Он склонялся больше к бытописательству. А меня уже в то время привлекал кинематограф масштабный. Но наше несходство не помешало мне оценить умную и добрую картину, с которой Шукшин вошел в режиссуру.

Кто-то писал, что Шукшин, дескать, пришел поступать во ВГКИК темным парнем, а институт сделал из него человека. Неправда все это. Он пришел туда Василием Шукшиным, и всю свою жизнь был самим собой. В какие бы условия ни ставила его судьба, Шукшин оставался Шукшиным. Он мог бы вообще нигде не учиться и представлять собой то, что представлял. Он сам без труда прошел бы всю положенную программу, прочитал бы рекомендованные книги, но в его человеческой сути это мало что изменило бы. Его коренной чертой было первородство, которое необычайно редко встречается. Большинство людей приспосабливается к различным обстоятельствам и теряют при этом что-то важное, может быть, лучшее в себе... К счастью, с Шукшиным этого не произошло, да и не могло произойти.

Василий Шукшин был одним из ярких представителей авторского кинематографа, причем его писательскому дару не уступали ни режиссерский, ни актерский. В фильмах Шукшина основой был хороший литературный сценарий, который он писал, рассчитывая на свою режиссуру и на себя как актера. У Шукшина все три элемента кинематографа были на равной высоте. Это большая редкость в искусстве.

С Шукшиным-актером мне довелось встретиться, когда снимался фильм «Они сражались за Родину». Первое время я чувствовал его настороженность. Он будто ждал моих режиссерских указаний — что и как играть. Я же не собирался ему ничего диктовать. Верил ему, как и Вячеславу Тихонову, и Георгию Буркову, и другим актерам, которых пригласил сниматься. Со временем он стал держаться раскованней и увлекся работой.

Шукшину нравилась роль Петра Лопахина, бывшего шахтера, а потом солдата-бронебойщика. А Лопахин, он казалось, был списан вот с такого же, как Василий, народного самородка, упрямого, ершистого, с речью, пересыпанной то шуткой, то ядреным словцом. Василий Макарович очень любил эту роль, играл со вкусом, с настроением, с той беспредельной самоотдачей, за которой авторская работа как бы и не чувствовалась: роль, как говорится, катилась сама... Но особенно он загорелся после того, как группа встретилась с Михаилом Шолоховым. И хотя писатель был, как всегда, немногословен, беседа с ним произвела на всех неизгладимое впечатление. Особенно запомнилась одна его фраза: «Писать правду трудно, но еще труднее истину найти...» Шукшин потом говорил, что личное знакомство с Шолоховым изменило его представление не только о писательском труде, но и об искусстве, и о жизни.

Шолохов как-то сразу почувствовал в Шукшине близкую себе душу. Он знал его рассказы, видел фильмы. Шукшин народный талант был, очевидно, особенно близок ему. И вот, провожая гостей и выйдя на грустно-теплым взглядом на Шукшине и вдруг сказал: «Вы только не умирайте, ребята».

Я не знаю, почему он так сказал. С каким кругом мыслей были связаны у него в тот момент эти слова. Или почувствовал он то напряжение, предельное напряжение, в каком находился Шукшин? Может, чутким писательским сердцем, уловил

он, как натянулась нервная струна, как напряглось все, натянулось на обрыв, в другой душе, шукшинской?..

Шолоховские диалоги легко ложатся в разговорную речь. Шукшин же с самого начала принялся в них что-то менять применительно к себе, к своей индивидуальности. Переставляя во фразе какое-нибудь слово, он делал ее как бы своей собственной. Это пошло на пользу фильму, как и непосредственность поведения Шукшина перед камерой. Шукшин предупредил меня, что играя Лопахина, будет предельно раскрепощен. Вначале я с некоторой осторожностью приглядывался к тому, как его герой сморкался, матерился и т.д. В нашем кинематографе такое не принято, хотя еще в период работы над картиной «Война и мир» я понял, что иной раз трудно обойтись без некоторых выражений или заменить их адекватными. Я решил, что раскованность Шукшина правомерна в нашей картине, отвечает ее духу и стилю, и ввел ее во всей группе.

Во время съемок Шукшин влиял на меня как яркая личность, сильный характер.

Играл Шукшин с полной психологической отдачей, с предельным эмоциональным напряжением. Для него не было «проходных» эпизодов, все его в той или иной степени волновали. Всегда первым приходил смотреть отснятый материал и обстоятельно изучал все дубли.

Он вообще очень остро воспринимал все связанное с его работой. Я понял это еще тогда, когда он ставил «Калину красную». Однажды мы смотрели материал его картины, и я в качестве одобрения сказал ему: «Это — искусство». Но Шукшина до крайности обидело слово «искусство», потому что оно звучало для него как «уход от жизни», а этого он терпеть не мог, всегда и во всем добиваясь подлинности. Тогда он даже заплакал от обиды и сказал мне: «Как ты можешь это говорить?..»

«Калина красная» была первой работой Василия Шукшина на нашей студии — он за нее переживал вдвойне. Помню один из первых просмотров фильма. Это было в Госплане СССР. Так случилось, что до самой последней минуты мы не знали, будем показывать фильм или нет. Все были очень напряжены, особенно Шукшин. Просмотр все-та-

ки состоялся. Когда фильм окончился, зрители аплодировали и на глазах у многих были слезы, Шукшин все повторял мне: «Ты видишь, им понравилось!» Он ликовал.

Радоваться и удивляться он умел многому. Даже, казалось бы, обычным вещам. Где бы мы ни были, он в любом городе и селе находил книжный магазин и приносил оттуда груду книг. Шукшин был самый образованный человек в нашей съемочной группе, но ему всегда казалось, что он мало знает. И новая книга порой изумляла его.

Однажды он прочитал статью одного из маститых наших литераторов, который упрекнул Шукшина-писателя в том, что работой актера он, мол, «унижает» свой писательский дар. Шукшин был сильно расстроен. Он не понимал, чем актерская профессия хуже писательской и как она может унизить... Шукшин не мог отказаться ни от режиссуры, ни от актерской работы. Эта тройственность его интересов, влечений мучила Шукшина, разрывала, но была тем не менее неизбежна. До последних своих дней он говорил, что надо с чем-то расстаться. Либо с литературой, либо с кинематографом. Скорее всего, думалось ему, с кинематографом. Но не мог бы он этого сделать. Проживи он еще много лет, Шукшин все равно терзался бы, но продолжал бы и писать книги, и снимать фильмы, и играть в них. Все его способности были распределены таким образом, что он черпал силы в одной области, чтобы в другой их потратить. Его душевное неистовство никогда бы не оставило его в покое.

Шукшин больше любил слушать, чем говорить сам, стараясь все приобщить к своему духовному миру. Он был необычайно наделен энергией творца и до последних дней своих оставался неутомимым тружеником. На съемках фильма «Они сражались за Родину» он не переставал думать о собственной будущей картине, подыскивал для нее натуру, обдумывал режиссерский сценарий. Тогда же он успел сняться в фильме Глеба Панфилова «Прошу слова». Заканчивал пьесу, опубликованную позже в журнале «Наш современник». И многое еще хотел сделать.

Шукшин был легко ранимый человек. Чувствовалось, как много рубцов осталось на его сердце. Все обиды за че-

ловеческие несовершенства он брал на себя. Рассказ «Кляуза», самый страшный его рассказ, был непридуманным. Шукшин поведал в нем о действительном случае, когда ему в больничной одежде и тапочках пришлось уйти из больницы декабрьским вечером с диагнозом острой пневмонии. Когда рассказ был опубликован в одном из сентябрьских номеров «Литературной газеты», Шукшин получил письмо от врачей этой больницы, которые писали, что он, «оболгав» их персонал, тем самым опорочил всех работников медицины. Шукшин растерялся. Он не знал, что делать. И мы не знали, как ему помочь. Это был период отчаяния, который он не мог вынести. И в неуемной своей радости, когда ему сопутствовал успех, и в горе — во всем он не укладывался в привычную норму.

Василий Шукшин был явлением необычайным и неповторимым..."

Из воспоминаний Георгия Буркова

"Почти все время, пока создавалась картина «Они сражались за Родину», я был рядом с Шукшиным. Да, он оставил нам прекрасные образы в фильмах «У озера», «Печки-лавочки», «Калина красная». Уже в них была очевидна уникальность его актерского дарования. Но в своем последнем фильме, я уверен, Шукшин поднялся на новый, качественно иной уровень.

Это уже нельзя объяснить простым родством душ Петра Лопахина и Василия Шукшина. Актер настолько проник, врезался в человеческий материал этого образа, что было непонятно даже, где кончается кинематограф и где начинается жизнь. Актер играл так же дерзко, отчаянно, выкладываясь до дна, как и жил. Я глядел на него и порою начинал сомневаться, а нужна ли здесь эта мера откровенности? Мне казалось, что Шукшин скользил по краю пропасти — один неверный шаг, и все пойдет прахом. Камера укрупняла его глаза, и была в них видна режущая боль русского человека, не умеющего отступать. Страдания мужчины, который принял на себя ответственность за судьбу Родины и не может пережить поражения.

Шукшин никогда не боялся резких, контрастных красок — ни перед камерой, ни позади нее, ни за письменным столом. Но эту роль отличает невиданная прежде смелость рисунка, отвага художника, сознающего и силу свою, и ответственность перед людьми...

Социально мудрый художник непременно учитывает зрительскую реакцию. Таким социально мудрым художником был, по-моему, Василий Шукшин. Более всего потрясало меня в искусстве Шукшина умение предчувствовать. Предчувствовать то, что наука откроет в человеке, может быть, лишь через сто лет. Ведь сила искусства древних зодчих, к примеру, в том, что они строили по законам физики, которые еще не были открыты. Вот, по-моему, идеал для художника..."

Из воспоминаний Юрия Никулина

"Когда Бондарчук предложил мне роль солдата Некрасова в фильме «Они сражались за Родину», я внимательно перечитал роман Михаила Шолохова. Потом долго думал: соглашаться или нет?

— И вы, и я воевали, — сказал мне Сергей Федорович. — Принять участие в этой картине — наш солдатский долг.

Хотя до моих игровых сцен было далеко, я исправно ходил на все репетиции. Мне хотелось посмотреть, как работает с актерами Бондарчук. Он проводил репетиции за столом в большой кают-компании. Работал с актерами долго.

Особенно меня поражал на этих репетициях Василий Шукшин. Он подбирался к каждой фразе со всех сторон, долго искал различные интонации, пробовал говорить слово по много раз то с одной интонацией, то с другой, искал свои, шукшинские, паузы. Шукшин произносил свои фразы удивительно легко. На первый взгляд он говорил так, как и в жизни, — не повышая голоса, но в то же время в нем чувствовалась внутренняя сила, необузданность характера бронебойщика Лопахина.

Я завидовал Шукшину. У меня с текстом возникало много трудностей. В фильме есть одна большая сцена, где Не-

красов рассказывает о своей окопной болезни. Меня пугало обилие текста. До этого все мои роли в кино не отличались многословием, а тут целый монолог.

Я решил просто выучить текст, крупными буквами написал на картонных листах слова роли и развесил эти листы по стенам каюты. Проснусь утром и лежа читаю. Потом сделаю зарядку и опять повторяю слова. И так почти целый день. На третий день, когда мы обедали в столовой, Шукшин спросил меня:

— Ты чего там все бормочешь у себя?

— Да роль учу, — и рассказал о картонных листах.

Василий Шукшин внимательно выслушал, чуть вскинул брови, улыбнулся краешком рта:

— Чудик ты, чудик. Разве так учат? Ты прочитай про себя несколько раз, а потом представь все зрительно. Будто это с тобой было, с тобой произошло. И текст сам ляжет, запомнится и поймется. А ты зубришь его, как немецкие слова в школе... Чудик!

Попробовал я учить текст по совету Василия Макаровича. И дело пошло быстрее, хотя на это ушла еще неделя.

Наблюдая за Шукшиным, я стал смотреть на него как бы через объектив скрытой камеры. Я с интересом смотрел, как он репетирует, разговаривает, как держится с людьми. Внешне все очень просто. Я бы даже сказал, что Шукшин был излишне скромен. Большей частью я видел его молчаливым, о чем-то сосредоточенно думающим. Чувствовалось, что в мыслях своих он где-то далеко. В обычной жизни он говорил скупо, старательно подыскивая слова, часто сбиваясь, несколько отрывочно и скороговоркой, вставляя массу междометий и комкая концы фраз. Не все порой становилось понятным при разговоре с ним, но я удивлялся глубине его мыслей, метким замечаниям при оценке какого-либо события или человека. Он удивительно умел слушать собеседника. Поэтому, наверное, раскрывались перед ним люди до конца, делились самым сокровенным.

К нему тянулись люди. Бывало к нашему теплоходу причаливали лодки или баржи, выходили оттуда рыбаки, грузчики и, теребя загрубевшими руками свои шапки, обращались к вахтенному матросу:

— Слышали мы, тут Шукшин есть. Повидать бы его нам.

Выходил Василий Макарович.

— Здравствуйте, — говорил, — ну что вам?

— Да мы тут рядом, уха у нас. Поговорить бы немного...

Поздно ночью возвращался в свою каюту.

— Ну, как встреча? — спрашивал я.

— Да вот, посидели... — неопределенно отвечал он. Потом улыбаясь добавлял: — Занятные люди. Занятные.

Василий Макарович любил природу. Он мог остановиться в степи или на берегу Дона, набрать полную грудь воздуха и сказать:

— Господи, красотища-то какая... Запах какой! Ну, что может быть лучше русской природы?

Потом сорвет какую-нибудь травинку, понюхает ее и скажет, как она называется. Память у него была необычайная.

Как-то на репетиции, заметив, что я сижу и по привычке трясу ногой, он сказал мне:

— А знаешь, недавно я у Даля вычитал: когда ногой трясешь, это раньше называлось — черта нянчить.

На корабле отмечали чей-то день рождения. Позвали Шукшина.

— Я лучше писаниной займусь, — сказал он, извиняясь — Да и не пью я...

А мы долго сидели за столом, потом вышли ночью на палубу. Смотрим, в окошке каюты Шукшина горит свет. Подкрались мы и, не сговариваясь, запели хором: «Выплывают расписные Стеньки Разина челны...». Глянул из окошка Василий Макарович, засмеялся:

— Не спите, черти...

Василий Макарович любил Шолохова. Нередко на репетициях он восклицал:

— Ну надо же, как фразу-то написал, а? Так точно и хлестко! Да-а-а.

Когда мы ехали в станицу Вешенскую, я видел, как волновался Шукшин. Приехали поздно вечером, переночевали в гостинице. Утром зашли в книжный магазин и купили книги Шолохова, чтобы он подписал их нам на память. Так с книгами под мышкой и вошли к нему в кабинет.

Встретил нас Шолохов радушно. Я первый раз видел его. Думал, он высокий, а он оказался небольшого роста. Креп-

кое рукопожатие, взгляд умных живых глаз. Говорил Шолохов спокойно, неторопливо. Мы попросили автографы.

— Нет-нет, что вы! — замахал он руками. — Таким хорошим людям и вот так, наспех, что-то написать... Ни за что! Я вот обдумаю, а потом каждому напишу хорошие слова. Книги не оставляйте. Сам пришлю.

Потом в большой комнате сидели за длинным столом. Шел оживленный разговор, в основном, конечно, о фильме: как снимать, как играть, какие будут пожелания.

Михаил Александрович говорил, что писать и ставить фильмы о войне трудно. Вспомнил он, как в начале тридцатых годов ездил в Берлин и там попал на премьеру картины по роману Ремарка «На западном фронте без перемен». Картина шла вшикарном кинотеатре. На премьеру собралась вся знать Берлина. Мужчины в смокингах, дамы с бриллиантами. Начался фильм с того, что в окопе спиной к зрителям лежит солдат, который поднимает ногу и издает непристойный звук. Вначале это вызвало в зале шепот недоумения, а когда солдат звук повторил, то все зааплодировали.

— Я к чему это рассказываю, — сказал Михаил Александрович. — Это вроде бы не для нашей картины, но правду солдатской жизни вы обязаны передать. Пусть все достоверно будет. Может быть, где-то и крепкое словцо прозвучит, это неплохо. Солдатскую жизнь не надо приукрашивать. Хорошо бы показать, как все было на самом деле. Ведь второй год войны был для нашей армии тяжелый, тяжелый...

Около трех часов мы провели за беседой. Слушали мы Шолохова с интересом. Говорил он образно, убедительно.

— Какая большая мудрость лежит за каждым его слогом, — говорил мне после встречи взволнованный Шукшин. — Нет, интересный он дядька. О, какой интересный! Ты не представляешь, что мне дала эта встреча с ним. Я всю жизнь по-новому переосмыслил. Много суеты у нас, много пустоты. А Шолохов — это серьезно. Это на всю жизнь.

В самый разгар съемок Шукшин несколько раз летал в Москву. Там начинался подготовительный период фильма «Степан Разин». Много лет Шукшин вынашивал идею поставить на экране Степана Разина.

— Я ведь почему еще к Бондарчуку пошел, — говорил мне Василий Макарович. — Мне обязательно надо вникнуть во все детали массовых съемок. Мне это очень важно.

А у Бондарчука было чему поучиться. Организацию сложных массовых съемок он проводил на высшем уровне. Конечно, сказывался опыт работы над «Войной и миром» и «Ватерлоо».

Часто часов до трех ночи в каюте Василия Макаровича горел свет. Шукшин писал. Слышно было, как он вставал, ходил по каюте, что-то напевая без слов. Пел тихо. Мелодия была какая-то грустная, незнакомая. А утром вставал бодрый и подтянутый. Будил его обычно Георгий Бурков, с которым они очень дружили. С утра — крепкий кофе. Три ложки растворимого на стакан.

В дни зарплаты Шукшин ехал на автобусе в станицу Клетская. Там быстро, деловито покупал в магазинах какие-то простые вещи. сапоги, куртки и отсылал по почте в деревню — своим. Деньги для него ничего не значили.

Есть деньги, я их трачу сразу, — говорил он мне.

Меньше он всего думал о своем благополучии.

Как-то во время съемок Шукшин нерешительно, стесняясь, попросил меня:

— Ты это, девчушек моих в Москве в цирк как-нибудь устрой. Я знаю, с билетами трудно. Они давно не были. Мне б билеты только. Никакой там не пропуск или что, ты это не думай. Ну, когда сможешь... Это уж как приедем отсюда.

Просьбу Василия Макаровича я выполнил, пригласил его девочек в цирк. Но не с отцом вместе. Отца уже не было Они сидели в первом ряду, смотрели представление, смеялись, щебетали от удовольствия ."



«Освобождение»

«Даурия»

(на съемках фильма с Л. Федосеевой
и режиссером В. Тругобовичем)



«Если хочешь быть счастливым»

(на съемках фильма с актрисой Ж. Болотовой и режиссером Н. Губенко)

«Прошу слова»



(проба) *«Печки-лавочки»*

«Калина красная»

На съемках фильма *«Они сражались за Родину»*

Публицистика

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФИЛЬМУ «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

Я хотел сделать фильм о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру. Мне думается, это самое дорогое наше богатство — людское. Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке. Образованность, воспитанность, начитанность — это дела наживные, как говорят. Я представляю себе общество, где все грамотны, все очень много знают и все изнурительно учтивы. Это хорошо. Но общество, где все добры друг к другу, — это прекрасно. Еще более прекрасно, наверно, когда все и добры и образованны, но это — впереди.

Так серьезно я думал, когда мы приступали к работе над фильмом. А теперь, когда работа над ним закончена, я в полном недоумении, ибо выяснилось, что мы сняли комедию.

О комедии я не думал ни тогда, когда писал сценарий, ни тогда, когда обсуждались сцены с оператором, художником, композитором. Во всех случаях мы хотели бы быть правдивыми и серьезными. Все — от актеров до реквизиторов и пиротехника. Работа ладилась, я был уверен, что получится серьезный фильм.

Нам хотелось насытить его правдой о жизни. И хотелось, чтоб она, правда, легко понималась. И чтоб навела на какие-то размышления.

Я очень серьезно понимаю комедию. Дай нам бог, побольше получить их от мастеров этого дела. Но в комедии, как я ее понимаю, кто-то должен быть смешон. Герой,

прежде всего. Зло смешон или по-доброму, но смешон. Герой нашего фильма не смешон. Это добрый, отзывчивый парень, умный, думающий, но несколько стихийного образа жизни. Он не продумывает заранее, наперед свои поступки, но так складывается в его жизни, что все, что он имеет, знает и успел узнать, он готов отдать людям.

И еще: он не лишен юмора и всегда готов выкинуть какую-нибудь веселую штуку — тоже от доброго сердца, потому что смех людям необходим. И все равно он не комедийный персонаж. И тем дороже нам эта неподдельная веселость, что работа его трудна и опасна. Он шофер с Чуйского тракта, а кто хоть раз проехался по этому тракту, тот знает, что это такое. Один курносый лихач с круглыми глазами, накачивая камеру, рассказывал:

— Еду раз из Огундая, и повело же меня в сон! Так спать захотел, сил нету. И уснул. Уснул-то, наверно, на секунду и вижу сон: как будто повис одним колесом над обрывом. Проснулся — правда, повис. Тогда не испугался, а вечером, дома, жутко стало...

А зимой, бывает, заметет Симинский перевал — по шесть, по восемь часов пластаются на семи километрах, пробивают путь себе и тем, кто следом поедет. И красота вокруг тогда им не в красоту, матерят долю шоферскую... Одна отрада — хороший мотор.

А тракт чудовищно красив. Но он диктует людям суровые законы. Их немного, и они неумолимы: «Помоги товарищу в беде, ибо с тобой может случиться то же самое», «Не ловчи за счет другого», «Не трепись — делай», «Помяни добрым словом хорошего человека».

Только в той степени, в какой человек отвечает этим требованиям, он свой на тракте или чужой — и уж тогда ему плохо. Это понятно, это легко доказать. Нам хотелось вместе с этим незаметно подвести зрителя к мысли, что Пашка вообще в жизни «свой». И еще нам хотелось, чтобы неустанный Пашкин поиск женщины-идеала родил бы вдруг такую мысль в голове зрителя: «А ведь не только женщину-жену ищет он, даже не столько женщину, сколько всем существом тянется к прекрасному, силится душой своей — тонкой и поэтичной — обнаружить в жизни гармонию».

И еще нам хотелось, чтобы за полтора часа нашего фильма зритель не накопил в себе заряд ядовитой тоски на неде-

лю. Не все, конечно, хорошо в жизни, но все-таки унывать не надо. Не все хорошо и в Пашке, но это еще не самый главный рассказ о нем. Это еще не история, это предыстория, а сама история впереди, ибо сам Пашка не унывает, живет и помаленьку учится. И надо ему помогать в этом, а не печалиться, что в жизни еще ах как много недостатков. Не единственное, что надо делать — печалиться. Конечно, немало дурного, конечно, надо его искоренять, но за нас это никто не сделает.

Один упрек, который иногда предъявляется нашему фильму, беспокоит и, признаюсь, злит меня: говорят, что герой наш примитивен. Не знаю... Я заметил вот что: люди настоящие — самые «простые» (ненавижу это слово!) и высококультурные — во многом схожи. И те и другие не любят, например, болтать попусту, когда дело требует мысли или решительного поступка. Схожи они и в обратном: когда надо, найдут точное хлесткое слово — вообще мастерски владеют родным языком. Схожи они в том, что природе их противно ханжество и демагогия, они просты, в сущности, как проста сама красота и правда. Ни тем, ни другим нет надобности выдумывать себе личину, они не притворяются, душа их открыта всем ветрам: когда больно, им больно, когда радостно, они тоже этого не скрывают. Я не отстаиваю тут право на бескультурье. Но есть культура и есть культурность. Такая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным. Тут надо быть осторожным. А то так скоро все тети в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не в дело суют вам «спасибо» и «пожалуйста» и без конца говорят о Большом театре, тоже станут культурными.

Пашка Колокольников не поражает, конечно, интеллектом. Но мы ведь и снимали фильм не о молодом докторе искусствоведческих наук. Мы снимали фильм о шофере второго класса с Чуйского тракта, что на Алтае. Я понимаю, что дело тут не в докторе и не в шофере — в человеке. Вот об этом мы и пеклись — о человеке. И изо всех сил старались, чтобы был он живой, не «киношный». Очень хочется, чтобы зритель наш, заплатив за билет пятьдесят копеек, уходил из кинотеатра не с определенным количеством решенных проблем, насильственно втиснутых ему в голову, а уносил радость от общения с живым человеком.

Что касается вопросов и тех самых «проблем», которые мы «ставили» перед собой, то в фильме, по-моему, все ясно.

О ФИЛЬМЕ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»

Марлен Хуциев работает медленно и трудно. Достоинство это или недостаток? Не знаю. Знаю, что в кинематографе работать медленно удается немногим. Это сложно, требует от режиссера громадного напряжения и стойкости. Знаю также, что это особенность Хуциева не погубила фильма его, задумчивого, светлого, доброго и честного. У меня нет намерения писать рецензию (да и не умею я), просто охота поделиться своими впечатлениями и кое-какими мыслями в связи с фильмом Хуциева. Как *зритель.*

Фильм, кстати, получился похожим на самого режиссера: тихий, чуть глуховатый ровный голос... Говорит, а потом вдруг замолкнет и долго смотрит куда-то в сторону — то ли думает, то ли вспоминает. Забыл, что ли, тебя? Нет, повернулся, продолжает беседовать о том же. За большими, наверно, сильными очками — огромные, немного усталые добрые глаза.

...Я ушел с фильма настроенный крепко подумать о людях, о своей жизни, о жизни вообще. Об искусстве. Такое было ощущение, как будто хорошим летним вечером поговорил на берегу реки с умным стариком. И вот он ушел, а ты сидишь и думаешь. А река течет себе и зоря уж гаснет, а тут охватило нетерпеливое желание до чего-то все-таки додуматься. Люблю такое настроение, берегу его, редко оно случается — все дела, заботы, все некогда, торопимся.

Есть другого рода фильмы. Я там сижу, вцепившись в стул, и страшно волнуюсь. Потом выйдешь — и с головой в собственные дела: пройдет завтра сценарий на редколлегии или вынесут ногами вперед?

Есть фильмы, с которых уходишь измученным.* Достоевский тоже мучает, но не так. Больно и неприятно ошарашили меня некоторые сцены в фильме «Председатель». Избиение подвешенных коров... Трехколенный смоленый бич свистит в коровнике. Жестокое лицо председателя, перепуганные бабы — грубо, немилосердно, истерично. А бич свистит: раз — по коровам, раз — по зрителю, по нервам. Действует? Во имя чего? Правды. Было так? — что коров подвешивали. Было. Было хуже — они дохли. Но не облегчили ли себе задачу авторы, пользуясь таким страшным приемом (это, кстати, манера фильма). Это — не ниже пояса? Есть горе некрикливое, тихое, почти невыносимое — то пострашней. Убей бог, кажется мне, что авторы делали фильм, и все. Как-то не чувствую я их сострадания (оно неминуемо), их горьких раздумий над судьбами и делами тех самых людей, о которых они рассказывают. Возможно, я чего-то не понял. Дважды смотрел картину и оба раза уходил измочаленным и пустым. Думал о фильме, об авторах, об актерах (Лапиков меня потряс) — о чем угодно, только не о тех людях, которых только что видел. Ульянов работает великолепно. Зрители выходят и говорят: «Ульянов-то! Да-а, дал». Но при чем же здесь Ульянов? Спасибо ему за превосходнейшую игру, но чудесный дар его должен был вызвать совсем другие мысли. С «Чапаева» уходили и говорили о Чапаеве.

Речь ведь идет о народе, о тяжком испытании, какое выпало ему на долю в ту нелегкую годину. Даже когда пашут на коровах: опять кишки выматывают, опять правда и опять: «Как сделано!» Если уж совсем правда, так вот какая: пахали и помалкивали. Вроде так и надо. Как-то не смотрели на себя со стороны. А здесь видят себя, сознают ненормальность такой жизни, с надрывом предъявляют счет: «Му-у — вот мы кто». Плакали в те годы (я помню, какие годы — послевоенные), жаловались на судьбу, материли ее совсем не по-женски, но знали, это — трудно, что поделаешь. Всем трудно. Повторяю: это страшней, но тогда, наверно, не было бы той «динамичности» фильма, какая есть теперь, а это авторов не устраивало.

Трудно и мне сейчас: фильм захватывает зрителя, а я — налетел. Я не налетел. Все, что связано с тем временем в деревне, мне до боли дорого. И благодарю я авторов за то, что они взялись за это великое дело — рассказать правду тех лет (сам я, честно говоря, струсил бы), но что-то тут не то. И по-

нять толком не могу — что не то? Ну, не то, например, что после 53-го года все стало хорошо. Вывод-то какой? — было плохо, стало хорошо? Это же не так. И после 53-го года было плохо. И сейчас не все хорошо. А в фильме ушли от такого продолжения, закруглились. Успокоились. И опять одолевает подозрение, что авторам совершенно все равно — как там вообще-то, в деревне? Все уже сделано. Хороший председатель — и все? Не верю, чтоб авторы так думали.

Далеко, однако, ушел я от темы. Но так легче рассуждать — «предметнее».

Фильм Хуциева.

Он длинен. Великий охотник «усекновений» наш многоуважаемый Марк Донской чуть не со слезами на глазах просил Хуциева при обсуждении фильма: «Марлен, дай мне ножницы, я тебе вырежу из фильма восемьсот метров!» Я думаю, тогда бы это был фильм не Хуциева. И походил бы он на такого Хуциева, который великолепно умеет, например, говорить с трибуны. Настоящий Хуциев совершенно не способен на это — говорить с трибуны.

Вот длинный проход влюбленного героя. Длинный-длинный! Пустая ночная улица, мигающие семафоры, шаги. Все. Еще стихи. Почему не скучно? Ведь — любовь. Первая. Сильная. А тут — длиннейший проход. Попытаюсь разобраться. Сам с собой, по крайней мере. Сколько раз решалась эта тема — любовь! Авторы всегда понимают свою особую ответственность перед читателем, зрителем, слушателем, когда дело доходило до любви. Судей-то тут сколько! Вечная, вечно новая тема. Хуциев решает ее неожиданно просто: семафоры, улица, шаги. На это надо отважиться. Скажут: да ведь все уж подготовлено, была капель, была бессонница... А тут видим, просто идет влюбленный человек. Ну да, конечно. Но я хочу видеть, как идет влюбленный человек, как он несет свою любовь. И автор тоже. Собственно, потому и хочется мне этого, что автор велел. Он идет рядом со своим героем как верный друг, все понимает и помалкивает. И оттого, что автор любит его, мне радостно за них обоих. И оттого, что их чувство настоящее, они не боятся долго идти молча. Сколько требовалось метров на проход! Режиссер чутьем художника точно отмерил — ни больше ни меньше.

Простота и смелость решения здесь родились от искреннего, неподдельного отношения автора к своим героям — он их любит, своих парней, страстно хочет, чтоб все у них уст-

роилось хорошо. Иначе могло быть: «пробег», не «проход» — где-нибудь в березовой роще с деревьями по переднему плану кр. — «он», кр. — «она». Ср. — «он» и «она» бегут, он догоняет ее. Кр. — смех. Зрителя били бы по башке этими «кр.» и «ср.» (крупный и средний план. — *Прим. ред.*): знай: это — любовь! Любовь! Любовь! Не будь дураком, не прозевай ответственного момента. Как в другом случае били поддых и говорили: «Если ты, идиот, не понимаешь, что это — драма народная, что человек оттого и жесток, что хочет добра людям, — вставай и уходи с нашего фильма».

Мне сцена ночного прохода больше всего нравится в фильме. Тут даже и стихов не надо бы, пожалуй. Но это слабость Хуциева — стихи... О стихах, кстати.

Есть в фильме вечер поэзии. В том виде, как он сейчас, раздражает. Звучат откуда-то голоса поэтов, видно, как внимательно слушают люди и герои фильма... А поэтов нет. Голоса. У зрителя, наверно, возникает желание крикнуть с досадой: «Да доведи ты маленько камеру, дай же посмотреть, кто стихи-то читает!» Я в материале видел поэтов — это было хорошо. Я подумал тогда с гордостью: рабочие парни — наши герои — а поди отличи их от студентов, служащих, вообще «культурных» людей. По разным обстоятельствам режиссер вынужден был убрать поэтов. Может быть, есть возможность вернуть их! Хорошо бы! Это увеличит объем фильма, сроднит разные слои нашего общества, ибо ведь и там, на сцене, есть такие же молодые люди, и они тоже ищут свое точное место в жизни, как и герои наши. Там, на сцене, есть и представители старшего поколения, голоса которых звучат уверенно, ясно и недвусмысленно: вы не должны забыть святое дело отцов ваших, больше того: вы должны довести его до конца. Это прямо в духе героев — это идея фильма. Ищите, но найдите.

Если разбирать сцены, нужно говорить долго, хоть, в общем-то, так легче. Вот сцена с продовольственной карточкой, найденной в книге. Когда-то — она была так нужна! — ее потеряли. Теперь нашли. Можно улыбнуться, но нужно и задуматься. Мысль той сцены, «голос» ее горестно и сильно звучит в сцене вечеринки. И, наконец, в сцене с отцом, погибшим на войне, он торжественно и взволнованно требует: «Вы не должны забывать!» Тут вот я вплотную думаю о народе, и оттого, что фильм развивается внешне спокойно, просто, естественно, не бьет по нервам, не кружит голову,

мысль успевает вырасти в гордую веру в наш народ и дело его: подвиг его, бессмертный в веках, будет источником бодрости и надежды не одному поколению Родины.

Рядом с подобными сценами соседствуют такие, где радостно удивляет чувство молодой неподкупной совести, глубокой человечности и чистоты. Сцена первого «грехопадения» героя... Раздолье ханжам и демагогам. А в этом много больше порядочности, нежели в той, какую уныло и безрадостно долгие годы влачат закаленные бойцы кухонных дрязг и тихие мастера шипения на все, что не создано по образу и подобию их. Счастливо найденный первый снег; глубокий след от ног... Запах снега просто чувствуется. Белизна его и свежесть подчеркивает душевную чистоту героя.

Пора сказать об операторе фильма М.Пилихиной. Это ее рук дело — и снег девственной белизны, без которого, пожалуй, некий микроб нечистоплотности и проник бы в сцену (представляю себе: грязное небо, слякоть — тоскливо сделалось бы), и пустая ночная улица, такая гулкая, чистая, мокрая, такая необычно просторная, и водоворот первомайской демонстрации, живой, нестандартный, и двор московский с землей, утоптанной под турником и со следами дневного детского мира, и дома московские. В фильме все живет.

Нигде не нажимая, не кривляясь, не думая о том, как это «прозвучит» в ЦДЛ и в Доме кино, просто и серьезно рассказали они нам о трех рабочих парнях, чья судьба под их руками стала вдруг такой значительной, нужной, дорогой. Я заметил: во время просмотра фильма в зале стоит полная тишина. Меня это озадачило. В следующий раз я сел поближе к экрану и вместо того, чтобы смотреть вперед стал часто оглядываться назад (интересно когда идет фильм — в темноте, — глаза зрителей видны). Оглядываюсь... Все в порядке. Есть два рода тишины: когда спят в зрительном зале (если не храпят) и когда внимательно, очень внимательно смотрят. И думают.

Есть еще один образ в фильме, о котором хочется сказать особо, — Москва.

Мы знаем, какой обычно показывают Москву в наших фильмах (это совсем не упрек, ибо есть что показать). Здесь Москва несколько иная (в большей части фильма) — не центральная, а поближе к рабочим кварталам. И это как-то очень точно соответствует настроению фильма, замыслу его и героям — рабочим парням. Иное решение трудно предста-

вить. И когда появляется Красная площадь, неожиданно, как надпись на экране, возникает вдруг мысль: «А вот чья она по праву, Красная площадь-то, — рабочих кварталов».

Большой фильм получился. Доброго ему знакомства со зрителем.

КАК НАМ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ДЕЛО

Вопросы редакции журнала «Советский Экран»:

Что такое в вашем понимании «современный актер»?

В чем, по-вашему, заключается стилистика актерской игры сегодня?

Каковы ваши основные принципы работы с актерами?

Редакция просила, по возможности, не приводить их, я прошу редакцию, по возможности, оставить их. Мне так легче.

Заметьте: самое рискованное в профессии актера — это когда он начинает рассказывать о себе, о своей работе. Иногда это ужасно. Начиная с «моей Лизы» и «моего такого-то» и кончая: «А вот был на съемках такой анекдотический случай...» Не менее ужасно, что это слушают, смеются, хлопают. Может быть, потому и «был такой случай», что хлопают. Если спросить столяра, как он работает, он усмехнется и скажет: «Работаем. Как?..» Исключая трепачей, у которых все не как у обыкновенных людей.

Труд — это очень простое понятие, как правда. Правда бывает смешной, но, как правило, это всегда серьезно и — правда. Почему-то у нас так повелось, что актер должен так рассказывать о своей работе, чтоб было смешно. Тут воистину «чем хуже, тем лучше» И еще я заметил: когда один актер рассказывает о себе, другой, товарищ его, старается, если можно, не присутствовать при этом — неловко. Неловко обоим (я имею в виду публичные выступления). И зато, какое наслаждение, когда актеры остаются одни, друг с другом, — наслаждение их слушать. Это умные, остроумные,

много видавшие люди. И никакого кокетства, ужимок, пошлых рассказов типа «а вот был такой случай...». Все как есть: и что деньжат маловато, и устал зверски, или, напротив, озверел без работы. Обыкновенные хорошие люди. Но... видно, силен дьявол-искуситель. Стоит такому обыкновенному хорошему человеку очутиться перед публикой, он хочет казаться немножко необыкновенным (грешат этим и режиссеры, и писатели тоже. Я сам такой, оттого-то и стыдно). Зачем? Даже самый необыкновенный человек интересен именно тем, что он — обыкновенен. Любая маленькая житейская подробность огромного Льва Толстого страсть как интересна. Но попытайтесь представить того же Льва Толстого рассказывающего о замысле идейных соображений, о том, как он собирал, изучал материал, людей, что он хотел сказать, наконец, «воссоздавая» прекрасный, тревожный мир «Войны и мира», — не выйдет. Невозможно представить. Меня, когда я узнал, потрясло, и почему-то гордость взяла за великого русского писателя, что он забыл содержание «Воскресения».* Да еще как спокойно признался в этом!

Мы, конечно, не Львы Толстые, но хоть бы уж меньше болтали тогда на всяких встречах, как мы волнуемся, переживаем, не спим ночей, теряем аппетит, как у нас «долго не получалось», а потом, наконец «получилось»... Хорошо, что получилось. Бывает, не получается.

Что сделано, то сделано, и поменьше бы этой очень нескромной «творческой лаборатории» напоказ. Мы и так слишком много знаем друг про друга.

Это — за упокой.

Теперь — за здравие. Мне очень нравится русская актерская школа, если можно так сказать. Это честная, прямая игра, не бессмысленная и не бессовестная. Думаю, что и до Станиславского существовало понятие, что на сцене надо быть правдивым. Это вообще в натуре русского художника. Стыдно, например, «выделывать ногами кренделя», когда народу плохо.

Калики перехожие довольно искусно выстраивали сюжеты своих «божественных» песен и сказаний. Но в них легко угадывается цель — разжалобить. Если представить исполнителя этих песен и сказаний, то он, конечно, немножко притворялся в убогонького, но все равно довольно прямо и открыто просил: дай мне хлеба или денюжку. Это не та сте-

пень лицедейства, когда хотят сказать одно, а в душе таят другое. Врут, да еще красиво.

Мне нравятся актеры смелые в гражданском смысле этого слова, мужественные, правдивые. Склонен думать, что нас миновала соблазнительная опасность играть красиво, звонко и пусто. Но она нас крепко задела боком. Нельзя иногда не думать: «Как же ты, милый, влюблен в себя! Плевать тебе, что парень, которого ты играешь, — он не такой в жизни, их, таких-то, вообще нету. Режиссер закрыл на это глаза, а ты рад стараться! Тебе лишь бы показать, какой ты хороший актер. Обаятельный». О, эти «обаяшки», «душки»!.. Враг номер один в искусстве актера. Враг номер два — несамостоятельность. Враг номер три — положительно плохой актер.

Мой собственный опыт кинорежиссера небольшой, но я много видел, как работают другие, и поэтому позволю тут себе «выщелкнуться» кое с какими выводами. Мне будет удобнее проследить путь актера в фильме — от кинопроб, допустим. А по ходу дела порассуждать.

Первый и основной вывод: актера надо беречь. Мы его не бережем. За редким исключением. Об этом много говорили, справедливо говорили. И еще надо говорить — бить и бить в тот колокол, который сзывает людей по тревоге. Недавно мне довелось быть на студии «Мосфильм» в качестве актера. Меня, как это всегда бывает, одели, загримировали и провели в павильон за два часа до съемки. Все в порядке. Я уж начал дыскивать место за декорацией, где бы скоротать время и не мешать осветителям. Как вдруг подходит ко мне какая-то милая женщина и говорит: «Тут еще не скоро, пойдемте пока, отдохните». И повела меня по коридорам... И привела... в своеобразную такую маленькую опрятную гостиницу с холлом, открыла одну комнатку и сказала: «Отдыхайте». Я даже растерялся. Даже, грешным делом, подумал: «Наверно, она решила, что я какой-нибудь народный». Потом сообразил, что это чушь: раз уже она, эта гостиница, есть такая, так она есть для всех. В комнатке диван, столик, шкаф с зеркалом... Чисто, тихо. Я не так чтобы очень уж устал, но все-таки снял сапоги и прилег на мягкий диван. Ах, славно!.. Полежал так, и меня начало одолевать нехорошее сомнение: «А сыграю ли я так, как они тут обо мне заботятся? Возьму вдруг да сыграю средненько, они разочаруются. А мы-то, подумают, хлопотали вокруг него».

Это была кинопроба, и как раз неудачная. Но все равно ту комнатку вспоминаю с удовольствием.

Кинопроба — циничное дело. Я больше зарекся пробоваться. Но у меня есть другой кусок хлеба, не в этом дело. Придет время, я сам буду проводить кинопробы — как режиссер. По-моему, мы делаем большую, горькую ошибку предлагая актерам сыграть кусок из фильма. Актер прочитал сценарий, думал о нем. Думал о своей роли, по-своему как-то примерился к ней — в целом. А кусочек предложили сделать маленький, и он туда постарался втолкать, что он напридумывал обо всей роли: он ставит на карту все. Получается плохо. Иначе быть не может. Помню, мы проводили кинопробы по фильму «Живет такой парень». Пробовался Куравлев. Сыграл. Сыграл плохо... Мы стыдились смотреть в глаза друг другу. Я недоумевал: ведь до этого мы так хорошо поняли вместе, как надо играть Пашку Колокольникова, Леня импровизационно проигрывал отдельные моменты, у меня душа радовалась. И вот — на тебе!.. И вдруг я подумал: ведь вот его когда надо было снимать-то (если уж непременно надо снимать) — когда мы говорили с ним, когда он «выдрючивался» в кабинете. Я кое-как успокоил актера, но я знаю, какое это успокоение: эта та самая бессонная кошмарная ночь, о которой потом говорят легко и весело. Это — нелегко и совсем не весело. Я не понимал тогда, что сам толкнул актера на неудачу. Простое человеческое дело: мы с актером поняли друг друга, ему нравится роль, мы вместе радовались, а потом я сказал: «Ну, это все так, теперь покажи, как это будет на самом деле». И он — перестарался. И не мог он иначе! Мы забыли, что у нас впереди — почти год работы. Не забыли другое: все так делают, и мы так. И опять же худсовет: он требует, чтобы ему показали кинопробы, и он тоже решает: годится тот или иной актер на такую-то роль или не годится. На мое счастье, я хорошо знал Куравлева, его возможности, смог доказать, что он сделает хорошо.

А есть хуже — фотопробы. Сидит перед актером ассистент режиссера или второй режиссер и говорит: «Ну-ка, а теперь вот из этой сцены, когда она ушла от него. Помните?» — «Помню», — говорит актер и вдруг начинает смотреть на ассистента таким взглядом, что хоть в пору запить. В этот момент его снимает фотограф.

Но вот пройдены «законные» кинопробы, актер утвержден на роль. Но все-таки это не то состояние, не то идеальное состояние души, когда можно смело начинать большое дело. Он помнит, сердцем помнит, что совсем недавно в него не очень-то верили. И радости у него большой нет оттого что он «переиграл» соперников — это товарищи его, друзья.

Вернемся, однако, к вопросу: «Что есть современный актер и какова стилистика его игры?»

Да в том и есть, по-моему, современный актер со своей стилистикой, чту это человек из жизни сегодняшней, честный, и ему вовсе не все равно, что он играет. В том смысле не все равно, в каком стыдно выйти из павильона киностудии на улицу, а там, на улице, совсем другая жизнь. Надо бы как-то помнить, что, переступая порог павильона, никто не имеет никакого права полагать, что тут можно делать все что угодно, кино! Павильон — это продолжение жизни (красиво сказано, черт возьми! Пардон). А уж для актера то это должно бы стать кровным законом его работы — он первый «ответчик» перед зрителем.

Люблю актеров читающих. Тут еще можно говорить — «думающих», «ищущих», «недовольных собой»... Но это все вмещает в себя актер читающий. Михаил Ильич Ромм, мой учитель, на первом курсе составил нам список литературы, которую надо за какой-то срок прочесть обязательно. Кто не прочитывал всего, он с тем отказывался разговаривать. Немножко жестоко, но — спасибо ему!

«Каковы Ваши основные принципы работы с актером?»

Тут опять вспомнился свой, тоже не очень большой актерский опыт. Однажды на кинопробах (на кинопробах!) я по ходу дела, во время съемки заменил одно заученное слово другим, своим, какое первое — похожее — влетело в голову. Я просто забыл то, заученное, слово. «Стоп! — сказал режиссер. — Вася, это непрофессионально надо знать текст». У меня возникла досада на режиссера, которую я, естественно, скрыл. Но она появилась. «Лев Толстой нашелся! — думал я с горечью. — Только и света в окне, что ваш текст!»

Свобода! Ну и бог с тобой, что у тебя вылетело другое слово, лишь бы я видел, что ты — живешь «незаученным» чувством. Не надо пугать актера этим жупелом: профессионально — непрофессионально. Пусть будет талантливо. Я не видел картины А.Кончаловского, но слышал самые восторженные отзывы об этой работе. Он снимал не актеров, а вы-

шло здорово. Вот тебе и профессионально!.. Профессионально — это, наверно, то, что есть правда о человеке. Здесь «любые средства хороши». Побольше импровизаций! Когда мы с любимым моим актером Всеволодом Васильевичем Санаевым беседовали на предмет возможного его участия в фильме «Ваш сын и брат», мы старались «вскрыть», «обнаружить» характер старика Воеводина. Я «выкладывался», мучительно соображая на ходу, как умнее, убедительнее рассказать ему про этого мудрого русского старика, который доживает жизнь, но еще крепок, голова его свежа, и жизнь он прошел и знает вдоль и поперек. И вдруг он мне говорит:

— А знаешь, какие у него ногти?

— Где?.. Какие ногти?

— На ногах. Толстые, крепкие, широкие... И загнуты, потому что он их никогда не стриг. И слегка темные.

Он знал таких стариков. Это — современный актер.

Он не соврет, если скажет не как в сценарии. А стилистика... Я, честно говоря, не совсем понимаю, что такое стилистика. Наверное, это манера игры, этакий — более или менее широкий — набор средств, какими располагает актер. Никто не думает о стилистике, когда снимается фильм, просто хотят, чтоб была — правда. Стилистика актера — это его характер, натура, она складывалась когда-то давно, когда он еще «под стол пешком ходил». Стилистика — это что он знает о людях, что сберег доброго, умного в сердце, прожив жизнь (актерская жизнь нелегка, и, когда говорят об этом, это не для красного слова. Но этому — это я тоже заметил — не верят).

Все дело (ну, не все — много) в том, чтобы предельно высвобождать актера от ужасающей ответственности в нервный, очень напряженный момент съемки. Звучит парадоксально: тут-то, кажется и надо бы предельно собраться, соорганизоваться и т.п. Но он собран, давно собран, десятки раз повторил текст, ходил бубнил его себе под нос... Он устал от напряжения, измучился. А тут еще эти самые последние проклятые минуты перед съемкой: все возбуждены, голоса повышены, подбегают гримеры, костюмеры — поправить волосок на голове, одернуть рубашку... Нет, тут надо что-то придумывать. В этом болезненном перенапряжении гибнет радость творчества, куда-то девается необходимая свобода, которая делает и взгляд осмысленным, и интонацию живой и точной. Случается при просмотре материала видеть одного и того же актера *до* команды «стоп!» —

когда он играл — и *после* той команды, но когда оператор почему-либо не выключил камеру: с актера схлынуло напряжение, его уже не снимают — это другой человек, с живыми глазами, веселый, или, напротив, огорченный, но уже неподдельно. Такая досада берет! Как добиваться, чтобы и в момент съемки он был таким же? Опытные актеры умеют владеть собой, но не всегда приходится иметь дело с опытными. Тут, видно, и режиссер должен быть опытным. Я видел (отчасти испытал на себе), как С.А.Герасимов снимает это «перегрузочное» напряжение с актеров, и пытался понять, почему это ему удается. Пока что (к сожалению, мало приходилось наблюдать его во время работы) понял одно: ничего на площадке сверхъестественного не происходит. Меня поначалу даже удивило: работает такой большой мастер, тут, казалось бы, должно все кипеть, гореть, сгорать во славу советского кинематографа. Нет, все спокойно, люди занимаются своим делом, к режиссеру не лезут то и дело: «А как вот это? А как вот то?» Он сидит, негромко, что-то напевает, думает. Что-то захотелось еще сказать актеру. Встает, подходит к нему: «Знаешь, мы пропустили один момент. Он ведь...» Доверительно. «Или как думаешь?» — «Да нет, в общем-то, так же». — «Оно правильно. Правильно, брат». До этого все было сказано, рассказано, прочитано. Сейчас — съемка. Негромко: «Мотор! Начали». А то ведь бывает, так рявкнут «мотор» и так хлопнут перед носом хлопушкой, что после этого секунду-две-три приходишь в себя и бессмысленно наблюдаешь, как еще оседает в воздухе меловая пыль, которая осыпается с хлопушки. Может, по молодости и Герасимов шумел, гремел и клокотал на съемках, но вот с большим опытом пришло нечто весьма мудрое — спокойствие. Сражения выигрываются спокойным, трезвым умом, расчетом. Горячих героев награждают орденами, славят, но дело решает спокойный, мудрый, опытный. Как ни странно, я совсем мало видел, как работает (на производстве) мой учитель М.И.Ромм. Но однажды я был у него на съемках и слышал такой знакомый, родной, спокойный голос: «Без нервов! Без нервов, братцы!»

Вот штука-то: без нервов, но все — с живым, трепетным нервом живого искусства. А может, просто без «показухи»? Еще — это я тоже заметил — много режиссеров играют в режиссеров. Во имя самоутверждения, что ли.

Ну, вот... не знаю, ответил ли я на вопросы. Должно быть, нет, ибо не все еще сам додумал, не все испробовал в работе. Кроме того, на такой вопрос: «Каковы Ваши основные принципы работы с актером?» — я просто не в состоянии ответить — у меня нет никаких особенных принципов. Был бы хороший, умный человек — я с ним договорюсь, как нам лучше сделать дело. Под конец охота только еще сказать: почаще надо прямо смотреть в глаза друг другу — а не врем ли мы?

«НЕ ДЕЛО РЕЖИССЕРУ ТОЛМАЧИТЬ» СВОЙ ФИЛЬМ...»

Не дело режиссеру «толмачить» свой фильм, когда он уже сделан. Поздно. Я знаю, любой режиссер, присутствуя «инкогнито» на просмотре своего фильма в кинотеатре, корчится и страдает. Он знает его наизусть, он «проиграл» с актерами все роли, каждый план (с дублями вместе) видел раз пятьсот... Он все знает и ничего сделать не может, ждешь, что тут засмеются, а тут молчат. Думаешь, что вот в этом месте будет тихо, а кругом, шевелятся, скрипят стульями, кашляют...

Режиссер театра, пережив премьеру, может что-то исправить в спектакле, драматург может спорить с режиссером и как-то повлиять на судьбу своего произведения, даже сценарист может, в конце концов, сказать, что его сценарий испортил режиссер. Что может кинорежиссер? Ничего.

Но если он ничего не может уже исправить в своем фильме (я не имею в виду здесь неудачный или удачный фильм: даже в самой удачной картине каждый режиссер, спустя время, найдет, что исправить, будь у него такая возможность), если ему не на кого «валить», то остается ему одна возможность: высказаться по поводу своего фильма. А если он его сделал именно таким, то, стало быть, он как-то определенно думает о жизни и о том, как, по его мнению, следует ее отображать в искусстве. Это я и хочу сделать — высказаться. Меня вынудили к этому два критика: Л.Крячко и

В.Орлов. Но не хотелось бы только спорить с ними. Защищаться. Я знаю, как они думают, и хочу, чтоб они знали, как я думаю. Вот и все... Зритель нас рассудит.

Оговорюсь: Л.Крячко в своей статье не касается фильма «Ваш сын и брат», но она не согласна с концепцией рассказа «Степка», а он — как часть — вошел в литературную основу фильма. А основа тоже моя...

...Надо делать фильмы интересно. Великое дело — любопытство человеческое. У меня на родине, в предгорье Алтая, страшно много змей. Во время покоса, когда крестьяне выезжали в гористую местность и жили там иногда по месяцу (в 30-е годы), змеи донимали людей и животных. Их находили везде: в сапоге, который забыли занести в балаган (шалаш), в навильнике сена, который мужик поднял, чтобы бросить на стог, — вдруг упала оттуда на голову. В народе издавна бытовало поверье: убил змею — сорок грехов долой с тебя. На ребятишек моего поколения эти «сорок грехов» слабо действовали. Тогда какая-то русская умная голова додумалась, и стали говорить так: «Вот у змей ног вроде бы нету?» — «Нету». — «Есть. Поймай ее, кинь в огонь — увидишь ножки. Ма-ленъ-кие». И мы охотились за змеями, умели их брать и бросали в огонь. И правда, когда она прыгала в огне, что-то такое было у нее на брюхе, что-то маленькое, и много. С каким азартом жгли мы их и кричали: «Вон, вон они, ножки!»

Если разбудить в зрителе любопытство, заставить волноваться, переживать, сочувствовать хорошему человеку, ненавидеть паразита и прохиндея, радоваться умному и справедливому, он выйдет из кинотеатра и не потребует: «Кому я должен подражать?» Только надо, чтобы он сам верил. А чтобы верил, мы должны открыть ему правду. Это не мальчишки, которые «ножки» у змей видели, — художественную правду, правду искусства.

Теперь о своем фильме (еще оговорюсь; другие фильмы, какие разбирает В. Орлов в статье «Стрела в полете» в «Литературной газете» от 10/III — 66 г., я не видел, поэтому говорю только о своем). Степан явно не «проходит» в положительные. Л.Крячко вообще боится, что он ей «саданет под сердце финский нож». У В.Орлова он «не выдерживает самого простого анализа...» Как и другие. Вообще мне показалось, что он скоро судит. «В семью Воеводиных вернулся из заключения сын. Праздник, и снова — долгая остановка.

Пьющие. Сидящие. Поющие. Пляшущие. Говорящие вразнобой». И все. Трети фильма как век не было. Четыре с половиной газетные строчки. Я понимаю, можно одно слово сказать: «плохо». Но и то как-то легче.

Что я хотел?.. Вот сейчас начнется тягомотина: что я хотел сказать своим Степаном в рассказе и фильме. Ничего не хотел. Я люблю его. Он, конечно, дурак, что не досидел три месяца и сбежал. Не сбежал снова воровать и грабить. Пришел открыто в свою деревню, чтобы вдохнуть запах родной земли, повидать отца с матерью. Я такого дурака люблю. Могуч и властен зов Родины, откликнулась русская душа на этот зов — и он пошел. Не надо бояться, что он «пырнет ножом» и, «кривя рот, поет блатные песенки...». Вот сказал: не надо бояться, а как докажешь? Ведь сидел? Сидел. Но все равно бояться не надо. Я хотел показать это — что не надо бояться — в том, как он пришел, как встретился с отцом, как рад видеть родных, как хотел устроить им праздник, как сам пляшет, как уберег от того, чтоб тут не сломать этот праздник, и как больно ему, что все равно это не праздник вышел... Не сумел я, что ли? Это горько. И все-таки подмывает возразить. Да какой же он блатной, вы что?! Он с пятнадцати лет работает, и в колонии работал, и всю жизнь будет работать. А где это видно? А в том, как он... Нет, если не видно, то и не видно, черт с ней. Странно только, я думал, это видно.

Ну ладно, Степан Степаном. А весь фильм? Еще ведь шесть частей, еще — отец, Игнаха, Максим, Васька, Вера, мать...

Отец... В.Орлов совсем не обратил на него внимания. А он для меня самый дорогой старик. Один он остался, семьи, по существу, нету — сыновей нету. Это драма, но она не кричит. Ему больно, что сыновья уходят от земли, где вырос он сам, где жили его отец и дед... А что сделаешь? Да еще уходят так легко, как старший Игнатий.

Вообще грустно, когда деревня остается пустая, когда не слышно...

(Статья не закончена)

НАМ БЫ ПРО ДУШУ НЕ ЗАБЫТЬ

Мы с некоторым волнением предлагаем вашему вниманию нашу последнюю работу — «Печки-лавочки». С волнением вполне понятным, потому что приехали к вам снимать новую картину. Это накладывает на нас дополнительную ответственность. По последней работе вы будете судить, что мы в состоянии сделать. Я потом расскажу о новом фильме, о чем он, почему в вашем городе. А сейчас два слова о том, что вы пришли посмотреть.

Фильм мы снимали год назад, вернее, сдали год назад. Он немного задержался с выходом, но, тем не менее, вышел на экраны, идет по стране, идет, как нам кажется, неплохо. Мы этому очень рады. Хотелось бы, чтобы и вы сегодня его приняли хорошо. Но это от нас теперь уже не зависит, что сделано — то сделано.

О чем фильм, я не буду рассказывать, вы это увидите. Я только хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что стремились мы исследовать не сюжет фильма, не историю о том, как поехали Иван и Нюра на курорт, к югу, к морю теплому, а исследовали, если так можно сказать, внутренний сюжет; внутреннюю биографию. Меня в данном случае, как автора сценария и режиссера-постановщика, заботило больше не то, как они ехали, не повествовательная часть этого дела, а то состояние души, в котором наш русский человек, крестьянин ныне пребывает и живет. На мой вз яд, это душа хорошая, добрая, может быть, немножко недоверчивая, но это вполне объяснимо. Страна большая. Он не выезжал, положим, так часто на курорт. Собственно, это впервые. Ну и все понятно, с каким он недоверием встречает новых людей.

И все же при всем при том, что в нем живо недоверие к новым людям, это человек большой доброты, доброты, что очень важно, очевидно, сегодня, в наше бурное время, в наше такое машинизированное время. Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть. Нам бы с нашими большими скоростями не забыть, что мы люди, что мы должны быть... Мы один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну так и будь ты повнимательнее друг к другу, подобрее. Вот. А то, в общем говоря — я субъективное мнение

свое высказываю, — с машинами, со скоростями немножко про это дело забывается. Какие-то возникают новые проблемы, новые дела...

Дел всегда у человека будет много. Но вот как-то за всем за этим вдруг да выскочит невнимательность, вдруг да забудем что-то. Неосторожным словом можем, например, обидеть, оскорбить походя, и не заметить этого — все вроде дела, дела... Словом, фильм больше вот про это. Лично я старался рассказывать про душу что ли, а не про внешнюю биографию, внешние события. Они что? Они с нами происходят каждый день. А сами с собой мы остаемся пореже. Но, тем не менее, надо, наверное, оставаться. Вот.

В фильме участвовали: героиня фильма — Лидия Николаевна Федосеева. Именитых мало — Санаев, народный артист. Затем мне нравится в этой картине работа, актерская работа Буркова Георгия, который занят и в новом нашем фильме, приедет сюда скоро. Снимались «Печки-лавочки» на Алтае, это моя родина, снимались в Москве и снимались в Ялте. Ялту уж как-то киногруппы не минуют...

Теперь два слова скажу о новой работе. Сразу хочу ориентировать любопытных и тех, кто заинтересуется. Где можно прочитать? Это четвертый номер журнала «Наш современник», который редактирует ваш земляк Сергей Васильевич Викулов. Там напечатана вот эта киноповесть «Калина красная»...

«Печки-лавочки» по жанру ближе к комедии, по крайней мере, юмор мы не старались выкинуть. Юмор облегчает отношения со зрителем. И вообще, смех — это доброе дело.

Сейчас у нас картина будет поближе к драме. Она — об уголовнике. Уголовник... Ну, какого плана уголовник? Не из любви к делу, а по какому-то, так сказать, стечению обстоятельств житейских. Положим, сорок седьмые годы, послевоенные годы. Кто повзрослее, тот помнит эти голодные годы... Большие семьи. Я не знаю, как у вас это было, у нас, в Сибири, это было страшно. Люди расходились из деревень, попадали на большие дороги. И на больших дорогах ожидало все этих людей, особенно молодых, несмышленых, незрелые души.

И как часто тоже бывает — зло более организовано на земле. И люди недобрые, к нашему стыду живущие, иногда случаются более внимательными. Они подбирают таких вот неопытных людей и обращают их в свою веру или приобща-

ют к своему делу. В данном случае получилось так, что приобщили его к воровскому делу. А человечек хороший был. Душа у него была добрая. Но, тем не менее, ему наладили такую вот жизнь... И пошли, значит, тюрьмы, пошли колонии...

И вот ему уже, в общем, сорок лет, а просвета никакого в жизни нет. Но душа-то у него восстает против этого образа жизни. Он не склонен быть жестким человеком. А ремесло его предполагает жесткость, жестокость даже. Отсюда противоречие в его жизни. И вот, собственно, на этом этапе мы и застаем нашего героя — когда он последний раз выходит из заключения. И опять перед ним целый мир, целая жизнь...

И вот на его пути случилась любовь. Ну как любовь?

Любовь есть любовь, она случается со всяким. Но если человеку любовь несут добрые опять же люди, люди, которые поверили ему... То ему, естественно, хочется поближе быть к этим людям. Вот. Стало быть, одолевает в нем, в этом человеке, то обстоятельство, что он не паразит и не сын паразита. Он сын трудовых людей. И в нем кипит, течет кровь тружеников, не одного поколения тружеников. Это мучает его, а он ведет образ жизни паразитический. Попытка выйти из этого круга, из этого очерченного судьбой круга, из преступного мира и окончилась трагедией — его убили свои люди.

Я не хочу сказать, что это типичный выход из положения в данной ситуации. Но надо, очевидно, говорить уж об этом в полный голос. Мы должны с этим разговором — не прятать его, — а выходить как раз к молодым людям же, к молодым. Гораздо, наверное, человечнее и благороднее предупредить и рассказать, как это кончается, чем до поры до времени скрывать и пускать, в общем-то, на волю случая.

Вот наша группа, образно выражаясь, с благоволения нашего руководства и вышла на такой разговор. Когда не просто, так сказать, заблудилась овечка или там выломала витрину и в силу нелепых обстоятельств попала в тюрьму, вышла из тюрьмы, и все стало в порядке. Ничего не благополучно! Это страшно! Это судьбы ломаются. И об этом надо сказать в полный голос и со всей предельной правдой. Потому что правда в данном случае спасает от иносказаний или от каких-то инотолкований. Нужна забота о людях же, причем забота в том смысле, что борьба за человека никогда не кончается. Не наступает никогда, не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать в с е г д а можно. До

самого последнего момента можно сделать. Все равно, как врачи относятся к больному, так, наверное, художники, и в целом все творчество, к человеческой душе, к человеческой жизни обязаны и должны относиться.

В «Калине красной» добро несут те же простые люди, крестьяне, жители деревень.

Почему мы будем снимать здесь, в Белозерске? Мы были у вас в городе года четыре назад, искали натуру для фильма «Степан Разин». Фильм не состоялся. Но городок ваш запал нам в душу — красивый, просторный, люди добрые, нет в нем такой нервности... И когда пришла пора снимать вот этот теперешний фильм, мы вспомнили Белозерск.

Но в городе событий у нас немного, больше в деревнях вокруг Белозерска. Вот Орлово, например, Садовая... Места ваши прекрасные, озерные, русские. В них есть что-то грустное, задумчивое. Вот это нам и хотелось бы перенести в нашу новую работу, в новый фильм «Калина красная».

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАВДОЙ

Беседа с кинокритиком

— Как вы относитесь к проблеме «актерского» и «режиссерского» кинематографа? К какому из них причислили бы себя?

— Мне это деление не кажется ни удачным, ни современным. Гораздо явственнее в нынешнем кино прослеживается тенденция создавать авторские фильмы. Важна личность автора, человека, задумавшего и создавшего фильм. Чаще всего личность эта — режиссер. Он находит сценариста, вовлекает его в свой замысел, он сводит воедино еще много профессий, подчиняет их единому направлению, он, только он все это — энергию и способности многих людей — может обратить цельностью. И вот удивительный закон: чем крупнее автор-режиссер, чем он самобытнее, тем больше

выигрывают сопутствующие ему профессии. Заметили вы, что с хорошим режиссером работают хороший оператор, хороший художник, композитор, декоратор... Это так. Кто в ком умер, кто кого породил?.. Вопрос и претензии снимаются как раз отчетливым авторством режиссера.

Тенденции «авторского» фильма, безусловно, будут расти, ибо такие фильмы поощряются зрителем. Это явно свидетельствует о том, что кино все больше становится искусством, в котором есть возможность такого авторского «откровения». Тут и впрямь возможности необозримые.

В этой связи изживает себя практика подыскивания сценария по принципу «абы снять», когда режиссер приходит в сценарный отдел студии и просит: дайте что-нибудь. Если так случилось, то, значит, дела режиссера плохи — ему нечего сказать людям. К счастью, таких режиссеров мало. Недаром в сценарных отделах накапливаются папки с посредственными сценариями, а в воздухе стоит крик: нужен хороший сценарий. Даже сами редакторы уже осознают определенную тщету своих усилий по накоплению сценариев без адреса.

Следовательно, растет — и слава богу! — стремление не просто снять очередной фильм, но серьезно поговорить в нем о проблемах, которые ставит жизнь, как их в данном случае понимает автор фильма. Фильм, сделанный умелыми руками, но без души, как раз вызывает досаду: жаль того, что автора — неповторимого — там нет. Умением снять фильм никого уже не удивишь. Удивляет (а значит, обращает на себя внимание) неожиданный ход мысли, новый взгляд и какой-то свой вывод. Блистательная форма, если за ней ничего нет, столь же блистательно мстит за себя.

— Каково ваше мнение о пластической культуре наших фильмов и наших актеров, в частности?»

— Мне думается, это большой разговор и включает в себя множество аспектов. Нужно говорить не только об актере, хотя, по-видимому, к нему как будто все сходится. Надо говорить о пластическом состоянии искусства как таковом.

Пластическая культура в органичности, в естественности. Чем ближе пластика актера к естественному состоянию человека и чем меньше она обеспокоена, например, соображениями моды, обаяния, тем больше говорит она мне о культуре актера, о его чуткости, уме, если хотите.

Вот, скажем, мы восхищались и восхищаемся пластикой Габена, он создал свой стиль поведения на экране, глубоко своеобразный, одному ему присущий. Эта странная неподвижность лица, величавая скупость жестов, движений, тяжелая походка — все покоряет. Конечно, это отработано годами, проверено опытом, но это и человеческое содержание, всякий раз интересное: он не исчерпывает себя. Долгое время я думал, что Габен «не очень француз». Каково же было мое удивление, даже почему-то радость, когда я, будучи во Франции (хоть короткое время, однако достаточное, чтобы заметить), увидел людей, похожих манерой держаться на Габена. Оборот тут не должен смущать — конечно же, это Габен похож на них, но начали-то мы с неповторимой актерской пластики, а она, исследуй ее внимательно, уведет в толщу народную, куда-то к французскому крестьянину.

Потому же, наверное, в свое время так были любимы герои нашего неповторимого Бориса Андреева. К счастью, герой Андреева — могучий Илья Муромец — мудрел с годами; в его нынешних пожилых героях прорывается такая умная, русская душевность (в Ерошке, например), что ни о каком «списании» речи не может быть, наоборот, ему бы к его огромности да еще бы такую же сценарную литературу!.. Но... иные времена — иные песни.

В кино пришли новые актеры, с иной актерской пластикой. Широкую популярность приобрели прибалтийские актеры. Их пластическая, несколько намеренная сдержанность, вероятно, вобрала в себя в какой-то момент стремление современного человека более скупо выражать свои мысли и чувства — надоела трескотня. В «Мертвом сезоне» всех поразил Банионис — кажется, он вообще не играет. Вспомните Кадочникова в «Подвиге разведчика». Тот и мило картавил, и лихо изображал предприимчивого бизнесмена, был тем, был другим и, наконец, жестоким мстителем — какая широкая актерская амплитуда!

Банионис во всех ипостасях человечески един, целен. Это не значит, что Банионис как актер лучше Кадочникова. Просто тогда наше представление о степени достоверности поведения человека на экране было иным — менее требовательным. Некая искусственность нас не оскорбляла. Пластика во все времена воспринимается не абстрактно, а в зависимости от нашего ощущения правды. То, что я сказал о

Кадочникове, полностью относится к драматургическим построениям — прежде всего зашатались под временем они. Кадочников-то как раз помнится. Я много мог бы назвать хороших актеров, если речь зашла об актерах. Скажем, Юри Ярвет, нервный, смелый актер, резко ушел от сценической традиции в решении Лира, ленинградец Евгений Лебедев — неукротимый, сильный актер, готовый в поисках правды истязать себя, всегда удивительно новая Фаина Раневская. Ушедшие от нас Николай Симонов — сама заговорившая умная душа, Серго Закариадзе — до боли ясный, светлый грузин, бесконечно дорогой мне, русскому человеку, покойный Шакен Айманов — это все личности. И смотрите, сколько глубинно-народного несут создаваемые ими образы. Пластика их актерских творений есть выражение особенности (та или другая) народов, их породивших. И чтобы уж сказать все, скажу то, что вы никак не ждете: мне не очень нравится Смоктуновский.

Случилось, на мой взгляд, вот что: мы очень стосковались по интеллектуальному актеру, все не было его и не было... И вот все заволновались — пришел! Все, конечно, к нему. И правда, легкость необыкновенная, демократичность, свобода. Но почему-то меня не оставляет мысль, что это лишь старание быть таким. Что-то важное ускользает — эта его легкость, какой-то текучий жест, неопределенная повадка. Или он еще не весь тут, или происходит какая-то подмена. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое субъективное мнение.

Вообще, если говорить в целом о манере поведения наших актеров на экране, исключая очень хороших и очень плохих исполнителей, а беря, так сказать, середину, то на ней лежит печать какой-то хлопотливости, суетности. Настоящее движение чувств и мыслей подменяется лишним жестом, пристальным взглядом, интонационным нажимом.

Отчего это происходит? Главная причина — низкий уровень литературы для кино. Это даже не причина, это беда.

Но и все же, если об актерах... Отчего они пережимают, переигрывают? От стремления быть ярче на экране. Известно еще, что сроки работы режиссера с актером в кино очень сжаты, скомканы, актер часто предоставлен самому себе. И уж когда он дорывается до камеры, то стремится выложиться весь, на полную катушку. Иной вариант: в тоске по большой роли актер устал — устал ждать, потихоньку растратил

веру в себя, скопился в душе страх, страшно начинать. Но начинать надо, и начинают в таких случаях тоже почему-то с перебором. Да мало ли!.. Режиссер не помог. Критик похвалил за перебор — тоже бывает. Сам обманулся — спутал крикливость с темпераментом. Много причин. И все же я опять о том, с чего начал, — о кинолитературе. Она у нас не разнообразна, излишне назидательна, внутренне пуста, она не поднялась еще на тот жизненно правдивый уровень, который отразил бы великую сложность нынешнего человека.

В фильмах наших мало нечаянного, нежданного** — герой то и дело попадает в ситуации, которых зритель ждет. Мы мало заботимся о внутреннем состоянии образа, характера. Губит зрелищная природа кино. То, что кино — зрелище, сидит в нас гвоздем. Невольно происходит насилие над сокровенной жизнью персонажа в угоду жесту, взгляду, повороту, крупному плану. Сумма приемов угнетает и подавляет. А ведь, в конечном счете, услышан тот, кто сказал то, что хотел сказать искренне и серьезно, как и следует говорить.

— Каким бы хотелось видеть актера? Что нужно для этого делать?

— Я часто думаю об этом. Как сделать, чтобы разрушить заданность? Чтобы не было так — ходит, ходит, потом подходит к отметке и говорит что ему положено... Как наладить некинематографическое поведение в кинематографе? Здесь традиция давит и досадная зависимость от техники...

И оператору надо найти точку съемки, и актеру выйти на крупный план, и взгляд обязательно на партнера... Поломать бы эту тоскливую норму поведения — и по ту, и по эту сторону камеры. Но это легко сказать. Тут только так: техника гнетет нас, и техника же когда-нибудь и раскрепостит. Но вот еще одно соображение, пожалуй, тоже не лишенное риска: не очень ли много в последнее время появилось у нас актеров обаятельных? Только поймите правильно. Обаяние человеческое ни у кого не вызывает протеста. У меня тоже. Но не стали ли мы сдавать правдивые позиции в искусстве? Не обесцениваем ли мы тем самым того же актера, саму его профессию? Эту опасность я почуял особенно в телевизионных фильмах. То ли потому, что телевизионщики должны быстро работать, то ли потому что у телефильмов короткий

век, телевизионщики, как правило, избирают проторенный, наезженный путь, подбирают апробированных обаятельных актеров, лишь бы все прошло гладко.

— Что же напугало в таком актере?

— Да вот обаяние и напугало. Обаяние снимает сразу много проблем и потому опасно. Разговор со зрителем в результате выходит облегченный. Пугает та стена, которая сразу в этом случае образуется между актером, демонстрирующим свое обаяние, и зрителем. Зритель перестает верить в происходящее и сидит, наблюдает не свою жизнь, не ту, какую он знает, а некую другую, где живут чрезвычайно красивые, обаятельные люди, и живут они легко и красиво. Одни смотрят с улыбкой, другие злятся. Серьезный разговор исключен. Воздействие только такое — занять на полтора часа. Еще чувствую потребность сказать: поймите правильно. Не само обаяние актеров губительно, а губительно то, что обаяние их вышло вперед и заслонило все остальное. Значит, подменена задача. Это ведь и актеров сбивает, потому что главенствующим становится не принцип правдивой игры, а нечто иное. Тут уж найдутся другие мастера: обаятельных много, талантливых куда меньше.

— Из всего вышесказанного следует, что вы отдаете актеру предпочтительную роль в строении фильма?

— Я, конечно, полагаюсь на актера. В конце концов, все зрелищное искусство для меня — свободное проявление союза с актером. На мой взгляд, внимание к актеру, опора на него в работе — прямая дорога к зрителю. Глубочайшим образом верю в это.

В качестве примера могу привести эпизод из фильма «Странные люди», вторую его новеллу, когда я полностью доверил свою судьбу и судьбу фильма актеру Евгению Лебедеву, оставив его наедине со зрителями на целые двадцать пять минут, две с половиной части. Актер все время почти на крупном плане, и ничто не отвлекает зрителя от него.

Признаюсь, это решение доверить почти всю новеллу одному актеру пришло не сразу. Поначалу был замысел как-то проиллюстрировать рассказ Броньки Пупкова. Была мысль

показать бункер Гитлера. И населить его карликами, Все карлики, кроме Гитлера. И поэтому для него бункер тесен и низок, и в потолке вырублены специальные канавы. Гитлер, как Гулливер среди лилипутов, он всесилен, он может стрелять из пальцев. Было еще много других «костылей».

Но потом я понял, что это идет от недоверия к актеру, к тому, что он один сумеет удержать зрителя в напряжении и рассказать ему все о своем горе, о его тоске, о его жалкости и величии. И тогда я решил довериться актеру. И если фильм в целом и не удался, если меня за что-то и упрекала критика, то самый метод для меня непреложен и ничто все равно не отвратит меня от такого пути в искусстве. Я отнюдь не утверждаю, что это единственно возможный путь. Кино обладает величайшими и многогранными возможностями изобразительности, и можно пользоваться ими, кому как угодно.

Но вот я вспоминаю американскую картину «Двенадцать рассерженных мужчин». Поразительная вещь! Режиссер здесь не прибегает абсолютно ни к какому «достраиванию», доигрыванию, он полностью полагается на актера. Для такой простоты, поверьте, нужно немалое мужество. А результат: сидишь в кинозале не просто как зритель, но как участник, как тринадцатый.

— Как писатель, сценарист предусматриваете ли вы, когда пишите, возможность свободных решений для актера, оператора? Возможность непринужденного, импровизированного общения на съемочной площадке?

— Свободное решение заранее не предусмотришь, на то оно и свободное. Возможность для импровизации тоже не оставишь, в сценарии будет пропуск, неясность — вещь немыслимая. Сценарий — это законченная повесть, позиционно совершенно ясная. И все же импровизация не только возможна, но, по-моему, необходима. А что в искусстве не импровизация? Сидишь за столом и пишешь сценарий — это одна импровизация, снимаешь фильм — другая импровизация. Правомернее встает вопрос отбора... Или может быть так: сценарий — это начало работы над фильмом, съемка и монтаж — завершение. Путь вон какой! Редко кто не импровизирует. Мои сценарии так непохожи на фильмы, по ним снятые, что, когда один сценарий решили опубли-

ковать после выхода фильма, я должен был сделать запись по фильму, — так не сходилось одно с другим.

Я вспоминаю знаменитый кадр Урусевского с кружащимися березами в момент гибели героя. Очень красиво! Но оператор стремится усилить то, что и без того сильно своей трагической простотой — смерть. Что может быть окончательнее и страшнее?

Наверно, можно подумать, что вот человек рассуждает о том, чего он не может в искусстве, чем он не владеет. Но я, наверно, и не стремился бы этим овладеть. Мне близки слова Толстого, который говорил: если хочешь что-то сказать, скажи прямо. Мне и в литературе не нравится изящно самоцельный образ, настораживает красивость.

*— Но вам не кажется, что как раз ленты поэтического ряда, не всегда получающие признание у зрителей, во многом движут кинематограф? Из такого, скажем, фильма, как «Цвет граната», во многом странного, недоговоренного, ребусного, может вырасти в будущем немало прекрасных лент, развивающих его стилистику, его поэтическое видение мира?****

— Возможно. Хотя я лично вижу в искусстве не эксперимент, а возможность насущного разговора, прежде всего.

— Какому же кинематографу, на ваш взгляд, принадлежит будущее? Какой изобразительной манере?

— Наше время чрезмерно насыщено информацией и перемещениями. У современного человека неделя времени нагружена до предела, а свободная когда еще выдастся.**** Проза в связи с этим явно претерпевает изменения. А кино без литературы не живет... Как охватить этот людской муравейник, как подтащить его к рассказу? Мне так и кажется, что читатель вот-вот бросит книгу, потому, что он спешит. Хотя, наверное, нет в мире другого такого читающего народа, как наш. Читают повсюду — в троллейбусе, в очереди, даже на эскалаторе. Бешеные ритмы! Время таких вечеров у камина безвозвратно прошло. Теперь не дойдешь с пудовыми описаниями, их некогда будет прочитать. Надо сокращаться.

И еще: мы жалуемся на обилие информации, она гнетет нас... Но она же и позволяет, очевидно, быть собраннее в

наших повествованиях. Надо серьезно учитывать, что нынешний зритель (читатель) во многом — в быту, в производственных усложненных процессах, в житейской атмосфере больших человеческих скоплений — осведомлен не хуже автора, а может быть, лучше: художнику остается его извечная мучительно трудная задача — исследование души человеческой. Вы спрашиваете, какому кинематографу принадлежит будущее? О далеком времени не берусь говорить, а в ближайшем будущем, думаю, он будет тяготеть к манере, в которой сделан, например, грузинский фильм «Жил певчий дрозд». Прекрасный фильм! Какой-то и грустный, и светлый вместе. Повесть о несостоявшейся судьбе, в которой никто не повинен, кроме, может быть, собственной доброты парня. Вот к вопросу об умении вести рассказ насыщенно: и характер, и душа, и судьба, а рассказано за полтора часа. Еще, я думаю, будущий фильм будет стремиться укрупнять и уплотнять время. Уже и теперь эта тенденция сильно заявляет о себе. «Девять дней...», «Три дня...». Да и в фильме, о котором я только что говорил, это несколько дней жизни. Внутренний сюжет, по которому он сделан, требует подробности, какая немыслима на большом отрезке времени. Заметьте, однако, что подробность здесь не деталь быта, а малоуловимое движение души героя, а если быт, тем не менее, возникает как подробность, то цель его служебная, попутная, вторичная.

Я мечтаю поставить фильм (не знаю, каким он будет, игровым или документальным) об одном дне в моем родном селе. Этот день — 9 мая. У меня на родине в этот день своим, самостоятельным способом поминаются те, кто погиб на войне. Человек из сельсовета встает на стул или табуретку и читает фамилии. Это что-то около трехсот человек. И вот, пока читают эти фамилии, люди, которые знали погибших, родственники стоят и вспоминают. Кто-то тихо плачет, кто-то грустно молчит. Подсмотреть глаза этих людей, не тревожа их, ничем их не смущая, не обрушивая попутно лавину ретроспекций... Разве что, может быть, параллельно монтируя, показать класс в школе, где учитель вызывает детей с теми же фамилиями — внуков погибших...

Мне кажется, здесь не просто естественная, подсмотренная жизнь, не просто поток жизни, — в конце концов, уловить его не так уж сложно, — здесь есть возможность выразить соб-

ственную авторскую позицию, а это самое главное. Какими бы изобразительными средствами, какими бы манерами ты ни пользовался, целью остается это — позиция художника.

— И, наконец, последний вопрос, весьма важный. Как вы расцениваете состояние национального киноискусства сегодня?

— Мы уже говорили об этом в той или иной степени. Сейчас отдельные республиканские студии не просто вырвались вперед по сравнению даже со столичными, но в чем-то задают тон, составляя как бы грани целого. Мы упоминали уже о прибалтийской актерской школе, в основе которой, безусловно, богатые традиции театрального мастерства. А какая великолепная режиссура у грузин — Иоселиани, Абуладзе, в том числе и создатели отличных короткометражек! Я бы мог еще назвать киргизские ленты — их документальное кино сегодня признано во всем мире, — туркменские, узбекские картины, Всего не перечислишь. Думается мне, что судьба советского экрана сегодня во многом решается на бывших «окраинах», ныне переживающих хорошую пору.

О КУРАВЛЁВЕ

О Куравлеве я могу говорить долго и много. Я очень люблю этого человека. Но так как надо объяснить какие-то профессиональные качества, постараюсь это сделать покороче. Вот в чем особенность этого актера. Я с ним познакомился, когда сам пребывал в качестве актера, и он был моим партнером. Я жил с ним вместе и имел возможность наблюдать его. Я поразился его способности много читать. Это всегда привлекает в человеке. Человек становится сразу много интереснее. А затем мне чрезвычайно понравилось, что он человек наблюдательный. Вот, все мы именуемся художниками, но зритель, читатель нас различает и довольно строго. И тут нам иногда кажется несправедливо, иногда справедливо, но зритель или читатель имеет право на этот суд. И он бесспорен, этот суд. И почему же в таком случае одних он

выбирает для себя интересными, на других ему неинтересно смотреть. Мне кажется, что я тоже знаю про это. Вот, в частности, о Куравлеве говоря. Поскольку экран очень ведь объективен, он отдает то, что принимает, и чем интереснее человек выступает в качестве актера, изображает то или иное, показывает того или иного человека, чем он интереснее, тем интереснее вообще на него смотреть. Эти вещи незримо тоже присутствуют у зрителя, т.е. он чувствует это.

Можно делать все правильно, но будет неинтересно. Можно делать то же самое, показать тот же характер и привносить то, чего объяснить нельзя. Невозможно. Просто человек интереснее, умнее, у него глаза другие. В эти глаза интересно смотреть, его слушать интересно, в каком бы качестве он ни выступал: то ли отрицательный персонаж, то ли положительный, добрый — это неважно. Мы иногда об этом забываем. Мы, актеры, поскольку я сейчас тоже пребываю в качестве актера. Этот репортаж ведется с места съемок фильма «Они сражались за Родину».

Так вот, говоря уже как о коллеге, говорю, что привносить нечто человеческое, интересное, подслушанное, наблюденное, вычитанное — всегда необходимо. Это не мешает ничуть тому характеру, который показывается, играется, а прибавляется очень многое. Вот тут-то и начинается суд зрительский. Один интересен, другой нет, а задачу выполняют они одну и ту же. Вот еще одна особенность Куравлева. Хочу еще одну черту подчеркнуть — юмор этого человека. Это добрый и веселый человек. Нам нужны такие люди в жизни, на экране, в книгах — везде. Как бы ни была сложна жизнь, как бы ни была она трудной порой, при встрече с добрым человеком заражаешься от него верой, необходимой силой для преодоления трудностей. Это необходимо нам в жизни. Это трудно воспитать, это рождается вместе с человеком. А важно потом не потерять это, сохранить в силе и нести это чувство людям, оно очень нужно.

Хотя много о нем мог я говорить, но нам иногда надо еще и дело делать. Я вот думаю, что с Куравлевым мы еще встретимся. Я затеваю фильм о Степане Разине, теперь близко к делу уже, разговоры, по-моему, кончились. Я предложу ему там одну очень ответственную роль, в высшей степени жестокого человека, в высшей степени жестокий человек... Жестокий в силу обстоятельств, в силу времени, в силу —

просто характер такой. Весьма жестокий, но доброй воли. Вот мне думается, нам будет интересно с ним, что называется, преодолеть его доброту. Ее не надо преодолевать: играть жестокого — это значит надо играть где-то в чем-то доброго — было это давно известно. А просто то вот человеческое качество Куравлева, на которое я очень надеюсь: его начитанность, наблюдательность, его величайшая способность подметить в человеке... Говоря об актере Куравлеве, я старался находить добрые слова, и на душе у меня хорошо, потому что я не ищу эти слова, они находятся сами, говорю вольно и правду говорю.

И теперь мне бы хотелось вот какой совет Леониду сделать. Вот, как ни странно, — парадокс от меня услышит и покоробится, я ему советую как можно немножечко поменьше сниматься, это странно и... для вас, слушателей. Но вот какая штука, важно еще беречь себя, беречь себя для каких-то ударных, главных дел, они всегда известны самому художнику, что есть главное, а что есть — без чего можно прожить. Это я говорю о большом актере, реалистическом актере, кому есть что сказать, кому есть что сообщить людям очень важное, и это будет... глубоко, а не между прочим, и вот, стало быть, чуть-чуть выбирать себе работу покрупней, поинтересней. Те, которые и душе праздник делают, собственной душе праздник. Я понимаю, там иные соображения есть, всегда есть, я говорю это, и сам не безгрешен, я сам иногда выполняю работу, которую можно было не выполнять, но вот уж коли мы включились в эти дела, в искусство, которое скоротечно, и жизнь наша короткая, поэтому хочется много успеть, но когда шагаешь подальше в жизнь собственную, понимаешь, что успевал тогда, когда не торопился и когда делал глубоко и крепко. Вот мои слова хорошие и советы, если они будут приняты, наверное, будут поняты, по крайней мере и Леонид на меня не обидится, мы с ним хорошие друзья и понимаем друг друга. Я думаю, что мы с ним еще встретимся на съемочной площадке, и это будет для меня лично, для меня хорошее время. Ну, надеюсь, что для него тоже, удачи ему и удачи, здоровья и побольше той коренной, главной работы в жизни.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Думаю, мне стоит говорить только о фильме, а кинаповесть оставить в покое, потому что путь от литературы в кино— путь необратимый. Неважно, случилась тут потеря или обнаружены новые ценности, — нельзя от фильма вернуться к литературе и получить то же самое, что было сперва. Пусть попробует самый что ни на есть опытный и талантливый литератор записать фильмы Чаплина и пусть это будет так же смешно и умно, как смешны и умны фильмы, — не будет так. Это разные вещи, как и разные средства. Литература богаче в средствах, но только как литература; кино — особый вид искусства и потому требует своего суда. Что касается моего случая, то, насколько мне известно, киноповесть в свое время не вызвала никаких споров, споры вызвал фильм — есть смысл на нем и остановиться.

Меня, конечно, встревожила оценка фильма К.Ваншенкиным и В.Барановым, но не убила. Я остановился, подумал — не нашел, что здесь следует приходить в отчаяние. Допустим, упрек в сентиментальности и мелодраматизме. Я не имею права сказать, что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чем сокровенном у другого. Тут ничего обидного нет, можно жить вполне мирно, и я сейчас очень осторожно выбираю слова, чтобы не показалось, что я обиделся или, что хочу обидеть за «несправедливое» истолкование моей работы. Но все же мысленно я адресовался к другим людям. Я думал так, и думал, что это-то и составит другую сторону жизни характера героя, скрытую.

Если герой гладит березки и ласково говорит с ними, то он всегда делает это *через думу,* никогда бы он не подошел только приласкать березку. Как крестьянин, мужик, он — трезвого ума человек, просто и реально понимает мир вокруг, но его в эти дни очень влечет побыть одному, подумать. А думая, он поглаживает березку (он и правда их любит), ему при этом как-то спокойнее, он и поглаживает, и говорит всякие необязательные слова, но это для того, чтобы — подумать. Есть особенность у людей, и по-разному мы

думаем: лишь тогда хорошо и глубоко думают, когда что-то делают или говорят. Но говорят-то вовсе не про то, что можно объяснить какой-нибудь потребностью, потребность же тут — подумать. Но и к чему попало человек не подойдет, а подойдет, где ему привычно, понятно... Где как раз не надо ни на что другое отвлекаться мыслью, кроме как решать что-то главное, что теперь тревожит. Но оттого, что выбор этого «отвлекающего» дела есть шаг бессознательный, «врожденный», опять же ясен становится сам человек (это уж мне надо, автору) — к чему подошел, что сделал невзначай, какие слова сказал, пока думал. Увидел березку: подошел, погладил, сказал, какая она красивая стоит — маленько один побыл, вдумался... Такая уж привычка, но привычка человека изначально доброго, чья душа не хочет войны с окружающим миром, а когда не так, то душа — скорбит. Но надо же и скорбь понять, и надо понять, как обрести покой.

Я и думал, что зритель поймет, что березки — это так к «слову», увидит же он, зритель, как важно решить Егору, куда теперь ступить, где приклонить голову, ведь это не просто, это мучительно. Может, оттого и березки-то, что с ними не так страшно. А страшно это — и это-то и дико — уверовать, что отныне до конца дней, одна стезя — пахать и сеять, для Егора, быть может, страшней тюрьмы, потому что — непривычно.

Ну, с березками — так.

Теперь истерика после сцены с матерью — мелодрама? Тут не знаю, что и говорить. Разве мелодрама? А как же, неужели не кричат и не плачут даже сильные, когда только криком и можно что-нибудь сделать, иначе сердце лопнет.

Как только принимаюсь работать — писать рассказ, снимать фильм, — тотчас предо мной являются две трудности: жизнь человека внешняя (поступок, слова, жесты) и жизнь души человека (потаенная дума его, боль, надежда); то и другое вполне конкретно, реально, но трудно все собрать вместе, обнаружить тут логику, да еще и «прийти к выводу». Я пока не сдаюсь, но изворачиваюсь. Меня больше интересует «история души», и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует. Иногда применительно к моим работам читаю: «бытописатель». Да что вы! У меня в рассказе порой непонятно: зимой это происходит или летом. Я не к тому, что

я — кто-то другой, а не бытописатель (я, кстати, не знаю, кто я), но не бытописатель же, это же тоже надо, за-ради правды дела, оставить в покое. И кстати, не думаю, что бытописатель — это ругательство. Где есть правда, там она и нужна. Но есть она и в душах наших, и там она порой недоступна.

Егор Прокудин, несомненно, человек сильный. Мне нравятся сильные люди, я и в киноповести не без удовлетворения написал, что в минуту наивысшей боли он только стиснул зубы и проклинает себя, что не может — не умеет — заплакать: может, легче бы стало. Когда я стал день за днем разматывать жизнь этого человека, то понял, что в литературной части рассказа о нем я сфальшивил, отбоярился общим представлением, но еще не показал всей правды его души. Я не думаю, что потом показал всю эту правду, но что ушел от штампа, которым обозначают сильного человека, — я думаю.

Как всякий одаренный человек, Егор самолюбив, все эти двадцать лет он не забывал матери, но явиться к ней вот так вот — стриженному, нищему, — это выше его сил. Он все откладывал, что когда-нибудь, может быть, он явится, но только не так. Там, где он родился и рос, там тюрьма — последнее дело, позор и крайняя степень падения. Что угодно, только не тюрьма. И принести с собой, что он — из тюрьмы, — нет, только не это. А что же? Как же? Как-нибудь. «Завязать», замести следы — и тогда явиться. Лучше обмануть, чем принести такой позор и горе. Ну а деньги? Неужели не мог ни разу послать матери, сам их разбрасывал... Не мог. Как раз особенность такого характера: ходить по краю. Но это же дико! Дико. Вся жизнь пошла дико, вбок, вся жизнь — загул. Маленькие справедливые нормы В.Баранова тут ни при чем. Вся драма жизни Прокудина, я думаю, в том и состоит, что он не хочет маленьких норм. Он, наголодавшись, настрадавшись в детстве, думал, что деньги — это и есть праздник души, но он же и понял, что это не так. А как — он не знает и так и не узнал. Но он требовал в жизни много — праздника, мира, покоя, за это кладут целые жизни. И это еще не все, но очень дорого, потому что обнаружить согласие свое с миром — это редкость, это или нормальная глупость, или большая мудрость. Мудрости Егору недостало, а глупцом он не хотел быть. И думаю, что когда он увидел мать, то в эту-то минуту понял: не найти ему в жизни этого праздника — покоя, никак теперь не замолить

свой грех перед матерью — вечно будет убивать совесть... Скажу еще более странное: полагаю, что он своей смерти искал сам. У меня просто не хватило смелости сделать это недвусмысленно, я оставлял за собой право на нелепый случай, на злую мстительность отпетых людей... Я предугадывал недовольство таким финалом и обставлял его всякими возможностями как-нибудь это потом «объяснить». Объяснять тут нечего: дальше — в силу собственных законов данной конкретной души — жизнь теряет смысл. Впредь надо быть смелее. Наша художественная догадка тоже чего-нибудь стоит.

Говорю так, а понимаю: это ведь, в сущности, третье осмысление жизни и характера Егора Прокудина, два было — в повести и в фильме. Теперь, по третьему кругу, я свободнее и смелее, но позиция моя крайне уязвима: я должен защищаться и объяснять. Я допускаю, что этого могло не быть, будь я недвусмысленней, точнее и глубже в фильме, например. Остается выразить сожаление, что так вышло. Но мне хочется возыметь мужество и сказать: я с волнением и внимательно следил за ходом мыслей тех, кто нашел фильм произведением искусства. Я должен перешагнуть через стыд и неловкость и сказать, что мне это крайне дорого и важно. Тогда это другая мера отсчета и весь отсчет — в другую сторону. Под конец, вовсе обнажаясь, скажу, что сам я редко испытываю желание много и подробно говорить о чем-то прочитанном теперь или увиденном — нет желания, и все, и потому вправе был ждать — и ждал — и к себе такого же отношения. И то, что разговор этот случился, и случился он доброжелательный, участливый, — я за это благодарен.

ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ...

Беседа с корреспондентом газеты «Правда»

I

Наша съемочная группа только что вернулась из недельной поездки по Краснодарскому краю. В Москве — на студии и дома — нас ждали кипы писем. Эти встречи и эти

письма тревожат душу, выдвигают самые неожиданные вопросы, корректируют в твоем сознании то, что казалось незыблемым. А в чем-то, наоборот, утверждают, рассеивают сомнения.

Автору всегда трудно объяснять свое сочинение. Вроде сказал там все, что собирался сказать. Но раз возникает такая необходимость, давайте попробуем. Ведь на многое хотелось бы ответить и другим, и самому себе. Начну с того, о чем — против ожидания — спрашивают редко.

Правдоподобно ли, чтобы молодая деревенская женщина — натура чистая и цельная — полюбила (к тому же поначалу заочно) рецидивиста-вора и чтобы ее родители и близкие безоговорочно просто распахнули ему навстречу и двери, и души?

Это меня подспудно беспокоило. Ведь сама ситуация-то в картине взята крайне условная, как любят говорить рецензенты — надуманная. В самом деле: в крестьянском доме (да и только ли в крестьянском?) так просто человека с улицы и ночевать-то не оставят. А тут не с улицы — из тюрьмы! И смотрите: люди естественно приняли невероятно условную ситуацию. Ни у кого не возникло даже тени сомнения насчет правомерности доверия к такому человеку, как Егор Прокудин. Вот какова сила предрасположения нашего народа к добру, к тому, чтобы открыть свое сердце всякому, кто нуждается в теплоте этого сердца. Я не мог не знать с самого детства этого качества советского человека, но здесь оно вновь прозвучало для меня как самое дорогое открытие. Насколько же откровенно и доверительно можно разговаривать в искусстве вот с такими людьми. А мы подчас сомневаемся: поверят ли, поймут ли...

В среде кинематографистов не утихают споры о том, какие темы, средства выразительности современнее, доходчивее, новее. И вот какие неожиданные ответы дает нам жизнь. Есть — если вы помните — в нашей картине очень важный для смысла эпизод встречи Егора со старушкой матерью. Мы понимали, как необходимо здесь добиться, чтобы потрясение, испытываемое Егором Прокудиным, передалось бы и зрителю. Решили уговорить сняться в крошечной сценке кого-нибудь из очень больших актрис и позвонили В.П.Марецкой. Вера Петровна дала согласие, но, к сожалению, вскоре заболела. А производство, как обычно, диктовало свои сроки. Вот тогда и дерзнули попробовать

отыскать реальную судьбу, сходную с той, которая нам была нужна. Война, к сожалению, оставила нам много подобных судеб... Мы засняли документальную беседу именно с такой матерью, у которой война отняла всех сыновей. Разумеется, кое-что было дополнено поздними досъемками, монтажом, но, повторяю, в принципе — это хроникальные кадры. И как удивительно: все, буквально все почувствовали неподдельность. Зритель безошибочно ощутил подлинность, мгновенно почувствовал, что здесь — сама жизнь, не «подредактированная» актерским опытом.

Смотрите, что тут могло произойти и произошло. Любая, даже очень хорошая исполнительница в этом по сути своей «чувствительном» эпизоде жаловалась бы — за героиню — на ее одинокое, нелегкое житье. Пусть даже не осознанно, в самой неконтролируемой интонации, но пыталась бы вызвать во что бы то ни стало человеческое сострадание. Боюсь, что и я как режиссер добивался бы именно этого. Между тем простая русская женщина-мать органически не способна ныть: любую невзгоду она переносит с достоинством — это вновь щемяще точно подтвердил экран. Надеюсь, мои рассуждения не будут восприняты как скрытый призыв: долой, мол, актерский труд! Напротив, я этот труд уважаю, сам занимаюсь им; а актеров, признаюсь, очень люблю. Просто рассказываю об одном уроке мастерства, преподанном зрителями. Думаю вслух о том, что путь постижения искусством правды жизни всегда нехоженый путь.

Почему погибает Егор Прокудин? Это вопрос задают чаще всего. Он, мол, уже осознал: надо было, чтобы он женился и стал честным тружеником.

У меня так много ответов, и общих и частных. Если бы знать, какой из них — единственный... С одной стороны, понимаю: смерть человека — настолько сильнодействующее средство воздействия на чувства людей, что использовать ее в искусстве следует очень осторожно. Но тут же вспоминаю, допустим, книгу юности. Мартин Иден, человек огромной воли, много испытавший, и вдруг, когда уже столько сделано, выбрасывается в иллюминатор. И как много таких примеров в мировом, отечественном и советском искусстве.

Видимо, тут есть еще вот что. Если толковать роман (или фильм), идя по стопам сюжета, произведение искусства невольно сведется к схеме. Скажем, он ее разлюбил, она

бросилась под поезд: есть же в романе слои более существенные, глубокие, глубинные, в них — суть. Я не сравниваю. Просто ищу ответы.

Протест против смерти Егора Прокудина — чисто эмоциональное возражение людей, отдавших непутевому парню свои симпатии. Однако ведь есть более высокий суд — суд разума. А разум обязан анализировать, на то он и разум.

Меня спрашивают, как это случилось, что я, деревенский парень, вдруг все бросил и уехал в Москву в Литературный институт (правда, туда меня, понятное дело, не приняли — за душой не было ни одной написанной строки: поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую М.И.Ромма).

Сама потребность взяться за перо лежит, думается, в душе растревоженной. Трудно найти другую побудительную причину, чем ту, что заставляет человека, знающего что-то, поделиться своими знаниями с другими людьми.

По всей вероятности, так же случилось и со мной, когда я еще писал повесть — задолго до фильма. Владела мысль не о тех, кто уже свернул с дороги. В конце концов, это люди взрослые, захотят — найдут средство вернуться к жизни. Моя озабоченность и тревога — о юных душах, о тех, кто может оказаться на опасном пути.

Перед нами— человек умный, от природы добрый и даже, если хотите, талантливый. Когда в его юной жизни случилась первая серьезная трудность, он свернул с дороги, чтобы, пусть даже бессознательно, обойти эту трудность. Так начался путь компромисса с совестью, предательства — предательства матери, общества, самого себя. Жизнь искривилась, потекла по законам ложным, неестественным. Разве не самое интересное и не самое поучительное обнаружить, вскрыть законы, по которым строилась (и разрушалась) эта неудавшаяся жизнь? Вызывает недоумение, когда иные критики требуют показа в пьесе «благополучной» жизни: не противоречит ли это самому слову —драма?.. В постижении сложности — и внутреннего мира человека, и его взаимодействия с окружающей действительностью — обретается опыт и разум человечества. Не случайно искусство во все века пристально рассматривало смятение души и — обязательно — поиски выхода из этих смятений, этих сомнений. В избранном нами случае только развернутая картина драмы одной жизни — с ее началом и концом — может потря-

сти, убедить. Вся судьба Егора погибла — в этом все дело, и неважно, умирает ли он физически. Другой крах страшнее — нравственный, духовный. Необходимо было довести судьбу до конца. До самого конца.

И дело не в одном авторском намерении. К гибели вела вся логика и судьбы и характера. Если хотите, он сам неосознанно (а может, и осознанно) ищет смерти. Вспомните, как незащищенно он идет на драку с бывшим мужем Любы и как, ничем себя не обезопасив (не может же он считать надежной защитой гаечный ключ), шагает по пашне навстречу тем, чьи законы знает слишком хорошо. Ведь стоило ему только сказать два слова парнишке, который работал с ним на тракторе, и все было бы в порядке. Но он не сказал. Почему?

Посещение матери, как мне кажется, вывело его мятущуюся душу на вершину понимания. Он увидел, услышал, узнал, что никогда не замолить ему величайшего из человеческих грехов — греха перед матерью, что никогда уже его больная совесть не заживет. Это понимание кажется мне наиболее поучительной минутой его судьбы. Но именно с этой минуты в него и вселяется некое безразличие ко всему, что может отнять у него проклятую им же самим собственную жизнь.

То же обстоятельство, что убивают его мстительные нелюди, а не что-нибудь другое, может быть, мой авторский просчет, ибо у смерти появляется и другой, поверхностный смысл. «Что же, — возмущенно спрашивают некоторые, — у таких людей нет другого выхода?!» Как нет? Мы же сами видели непоказную доброжелательность многих и многих славных людей, протянувших ему бескорыстно руку помощи. Это ведь он не сумел воспользоваться, застраховать себя от трагической случайности.

А что касается его бывших «дружков», то здесь мне и не хотелось бы сглаживания углов. Это поистине какие-то выродки со своей, извините за выражение, «философией». Не случайно главарь говорит: «Он человеком и не был. Он был мужик. А их на Руси много». Видите, убивают не просто «перековавшегося» вора, убивают убежденного противника, врага, открыто противопоставившего их «принципам» мораль трудового человека.

Впрочем, у меня есть письмо от человека из тюрьмы. Так вот он утверждает, что «честные воры» на меня обиделись.

Мы, сообщает он, убиваем не тех, кто выходит из «игры», а только таких, кто не соблюдает определенные правила. При этом слово «вор» мой корреспондент пишет с большой буквы... Видите, тоже собственные представления о нравственных ценностях.

...Как было бы славно, если бы фильм, книга или спектакль единовременно решали ту или иную проблему. Тогда составили бы реестр проблем, раздали бы его писателям, режиссерам, артистам и в намеченный срок покончили бы со всеми отклонениями от человеческой нормы, от нашей морали. Увы, искусству это не под силу...

Что собираюсь делать дальше?

Ясное дело, работать. Искать какую-то новую ступеньку. Пока конкретно про ту ступеньку знаю мало. Догадываюсь: надо порвать с собственными пристрастиями. Моя деревня, моя деревня... Как любит наш брат описывать переживания горожанина, приехавшего погостить в родное село. Как трогают нас коромысла, ухваты, запах сушеных грибов. Насколько, дескать, здесь все чище, несуетнее... Ну а дальше что? Пора бы нам по-серьезнее обращаться к действительным проблемам жизни деревни, раз уж мы так ее любим. И в книгах своих, и в кино я говорил лишь о тех, кого знаю, к кому привязан. Делился, как умел, своими воспоминаниями, своими привязанностями. Теперь надо выходить на дорогу более широких размышлений, требуется новая сила и смелость, требуется мужество открывать новую глубину и сложность жизни. Надеюсь и верую: она впереди, моя картина (а может быть, книга), где удастся глубже постичь суть мира, времени, в котором живу. Все мысли — об этой будущей работе.

Сейчас снимаюсь в фильме С.Бондарчука по роману М.Шолохова «Они сражались за Родину».

Продолжаю заниматься темой, которой отдал уже не один год жизни: Степаном Разиным. Это будет и книга, и, надеюсь, кинокартина.

Со жгучим интересом жду спектаклей по моей первой пьесе. Премьеру комедии «Энергичные люди» должны показать в Москве — Театр имени Вл. Маяковского, в Ленинграде — Большой драматический театр имени М.Горького. «Энергичные люди» — о тех, кто пытается в нашем обществе «процветать» за счет общества, об «энтузиастах» собст-

венного кармана. Вообще к театру меня влечет. Охота понять, в чем его живая сила, феноменальная стойкость. Если мой первый опыт пройдет удачно (имею в виду «Энергичных людей»), обязательно найду силы и время поработать для театра. Но это все — из области мечтаний. Самое же реальное — это стопка чистой белой бумаги. Хожу вокруг нее, прикидываю. А не засесть ли навсегда за письменный стол? Вот сейчас только взял в издательстве «Советская Россия» собственный сборник рассказов под названием «Беседы при ясной луне». Может быть, это и есть главное?

II

— Вы говорите, что со жгучим интересом ждете премьеры «Энергичных людей», что очень хотите писать для театра. Почему? Какие театральные впечатления «залегли» в вас настолько, что потянуло в театр?

Мне это самому странно, но, кажется, это так: в театре сейчас дела лучше, чем, скажем, в кинематографе. Это поистине странно. Ведь кино по природе своей более демократично, более подвижно, гибко, располагает средствами, которые способны воссоздать почти безусловную правду жизни... И вот на тебе. Буксуем. Выкидываем отработанные истории, пользуем схему, удовлетворяемся исполнением желанных норм жизни, почти отказались от исследований. Нас губит заданность. Правда, в театр меня потянуло не оттого, что я в связи с высказанным захотел уйти из кино, нет, хочу поближе быть к театру. Ведь мне казалось, что он доживает дни, что его чрезмерная условность все же убьет его, а он живет и живет.

— Мне приходилось слышать, что вы замкнулись в кругу любимых героев?

В этом вопросе, к сожалению, есть уже и ответ (иначе вы не спросили бы так): да, так — несколько замкнулся, сам чувствую. Надо выходить на дорогу, которая побольше, нужна, как видно, новая сила и смелость, нужна и мудрость — открывать новую глубину и сложность жизни. Это так. Больше тут ничего не скажешь. Осталось сделать это.

— Какие процессы современного искусства (или литературы) кажутся вам существенными? Точнее, какие тенденции консервативны и какие перспективны?

Наиболее современными в искусстве и литературе мне представляются вечные усилия художников, которые отдаются исследованию души человеческой. Это всегда благородно, всегда трудно. Подделка тут почти невозможна, ибо работа, имитирующая исследование, скоро обнаруживает себя тем, что становится не нужна людям. Не подделать же, например, грусть, тревогу и чистоту есенинского стиха, можно только на короткое время нажить нравственный капитал художника, но еще при жизни на стол лягут векселя, которые не оплатить. Иными словами, в художнике и обретает все существенное и перспективное.

— Какие актеры (или актерские работы) последнего времени лично вам интересны?

Признаюсь, очень люблю актеров, могу много и много говорить о них. Очень понравились последние работы в театре Чуриковой и Любшина. На их примере, мне кажется, можно было бы построить радостную «контртеорию», что не только театр щедр на приданое своим актерам, которые уходят (на время или навсегда) в кино, но что и кино обогащает своих актеров (Чурикову и Любшина надо все же рассматривать как киноактеров, хоть у них и есть опыт театральный), но теорию строить, очевидно, не нужно, а обратить внимание на особенность их игры следует. Особенность тут в том, что манера их игры — кинематографическая (негромкий голос, скупость и точность жестов, вообще стремление строить образ «внутренними» средствами). Они играют так, словно их снимают средним (поясным) планом, и все доходит (вот тоже «секрет» театра: ничто ценное не пропадает, лучше зал замрет и услышит актера, если на сцене происходит нечто дорогое).

Но это, пожалуй, особый разговор, про актеров... Одно скажу: отдельно артиста от человека нету, это всегда вместе: насколько глубок, интересен человек, настолько он интересный артист. Вообще, видно, с художниками так и бывает.

— О Михаиле Ильиче Ромме. Вы хотели сказать о нем еще что-то? О его месте в вашей жизни.

Я вот думаю: чем он привлекал к себе? Тем, наверное, что мысль его работала постоянно, как-то не мог я—и не могу — представить его... на рыбалке, например, или в очереди. Понимаю, что везде можно мыслить, но у меня в памяти он живет размышляющий, рассуждающий. Вслух размышляет, для всех, или слушает, смотрит — тоже размышляет. В жизни — с возрастом — начинаешь понимать силу человека, постоянно думающего. Это огромная сила, покоряющая. Все гибнет: молодость, обаяние, страсти — все стареет и разрушается. Мысль не гибнет, и прекрасен человек, который несет ее через жизнь.

Михаил Ромм никогда не хотел казаться не тем, что он есть, — это большое мужество. Он часто бывал даже беспомощен. Я помню, двадцать лет назад, в пору, когда я поступил учиться во ВГИК, один тридцатилетний, которому он отказал в праве учиться в его мастерской, стал преследовать его, стал караулить на лестничной площадке — как видно, требовал принять... Словом, принялся портить ему жизнь по всем правилам мелкого негодяя и вымогателя. Случилось так, что мы, студенты-первокурсники, пришли как-то к Михаилу Ильичу домой и в то же время туда пришел этот, с железным характером. Самое-то простое: пожалуйся нам тогда Михаил Ильич, что вот не дает человек покоя, мы бы этого, с железным характером, спустили с лестницы. Но он лично не сказал нам, поговорил с тем человеком и вернулся, только в глазах грусть. Позже мы узнали, скольких нервов стоил нашему учителю тот настырный человек. А когда мы заахали: «Да что же вы, да сказали бы нам, мы бы!..» — Михаил Ильич усмехнулся (он как-то очень человечно усмехнулся, про себя) и утихомирил нас. «Ишь, какие, — сказал он, — сами-то поступили... Ведь и ему хотелось быть режиссером. Но он нережиссер, нет — слишком нахален, — но и тут же заметил нам на будущее: — Но имейте в виду: наша профессия довольно нахальная. Жестокая профессия, — подумал и сказал еще негромко, главное: — Но — человечнейшая профессия». Он по-особенному умел говорить главное: негромко, как бы между прочим. И потому, может быть, это, сказанное тихо, искренне, входило в душу, ос-

тавалось в памяти. Не потому, конечно, что это ах какой ораторский прием, — было что сказать.

Я говорю о личности.

По каким внутренним законам образуется она? Что так особенно дорого в человеке? Ум? Но много умных, с которыми тяжело, я не знаю почему, но тяжело, неловко. Много умных, с которыми хорошо бы не говорить, а прочитать их статьи, и дело с концом. И вот есть люди — с ними интересно. И с искусством их интересно же. Ум, но это само собой, но еще интересно. Я опять о том же: о ценности личности в искусстве. Боюсь надоесть с этим, но что делать? Мне охота высказаться в этом плане не до конца, пусть хоть повтором, хоть как, но хочу обратить на это внимание.

III

— Чем дальше, тем больше понимаешь, сколь часто наш кинематограф пользуется уже отработанным материалом. Если уж сложилось, что печка справа, так мы десятилетиями показываем ее справа. Непонятно, кому мы не доверяем — себе или зрителю? Мне стало в последнее время скучно писать подробно, потому что именно зритель (и читатель) как бы благословляет пропускать какие-то вещи, на отсутствие которых сердится критика.

Меня вообще больше интересует реакция непрофессионального зрителя. Живые люди — страшные критики, потому что каждый из них пропускает искусство через собственный, всегда уникальный жизненный опыт, и в столкновении с этим реальным жизненным опытом обнажаются стереотипы мышления художника. Критиков не боюсь — у них свои штампы; боюсь непосредственного зрителя, который больше знает жизнь, острее чувствует и подлинность, и фальшь.

— Время от времени возникают и снова уходят куда-то на нет споры о сюжете.

Этот вопрос встал сейчас передо мной как один из нерешенных (я имею в виду внутренне мной не решенных) вопросов. Считаю, что отвел бы от себя много упреков и по «Калине красной», если бы в фильме не работал сюжет в чистом виде. Сюжет всегда несет в себе заданность, он сам — резко определенная мысль, и ты из него уже не вы-

прыгнешь. Сюжет нехорош и опасен тем, что он ограничивает широту осмысления жизни. Я не имею здесь в виду шедевры литературы; убежден, что такой сюжет, как в «Ревизоре», рождается раз в сто лет.

С одной стороны, сюжет очень удобная штука, ты как бы забронирован от всяких случайностей, в любую минуту — за письменным столом или у кинокамеры — ты знаешь, что делать с героями, с их взаимоотношениями.

Поначалу, когда начинал писать, я искренне думал, что дело как раз в сюжете. Придумаю — и пошло. Одно время даже наслаждался тем, что владею сюжетом, научился отдалять концовку, спокойно зная, что ловко сведу концы с концами. И на каком-то этапе заскучал от этого своего умения. Теперь бессознательный на первых порах протест против сюжета превратился для меня в не преодоленные еще мною проблемы мастерства.

Сюжет — запрограммированное неизбежное нравоучение. Это раз. Он не разведка жизни, он идет по следам жизни или, что еще хуже, по дорогам литературных представлений о жизни. Появилась, скажем, холера, и пиши любую историю на фоне этого события. Я привожу примитивный пример, чтобы обнажить свою мысль.

Несюжетное повествование более гибко, более смело, в нем нет заданности, готовой предопределенности.

— Вот я думаю: в чем просчет спектакля Театра имени Вл. Маяковского «Характеры»? Не поверили в силу рассказа как такового. Объединили разные новеллы сюжетом, то есть испытанной, традиционной формой. В результате отдельный рассказ стреляет, а в целом все распадается. Значит, надо искать какой-то совсем неиспытанный путь. Другой пример, прямо противоположный, — фильм «Странные люди», где я потерпел неудачу по другой причине. Не придумал, как будут сосуществовать новеллы на экране. Зрительский опыт настроен на полуторачасовой рассказ. Зритель не понимает, куда девались те герои и откуда взялись новые. Пока он привыкал, проходила треть новеллы, а середина — «проскакивала». Как достичь в таких случаях художественной логики, цельности?

— Зло очень часто проистекает от незнания. Знание — это скорость. Скорость вообще надежное дело.

— У Караченцова в спектакле «Тиль» темперамент в глотке. Это жаль. *Тише было бы громче.*

— Настоящая литература рассчитана на неодноразовое прочтение.

— По неосторожности, необдуманно я рассказал в печати о том, что Михаил Ильич Ромм дал мне в свое время список книг, которые советовал мне прочесть. Теперь получаю письма: дескать, пришлите, Василий Макарович, мне список литературы, хочу усовершенствоваться. Нет, *это недоброе дело* — давать советы людям, которых ты не знаешь. Мой-то учитель Ромм меня знал! В жизни все многообразнее, богаче — списков не наготовишься. На всякую человеческую судьбу, на каждый характер — свои средства. Что значит «брать пример»? От себя, что ли, отказаться?

— Все родители хотят вырастить хороших людей. Но вот что получается. Отец говорит сыну правильные, хорошие слова. Потом сын выходит на улицу — там свои примеры. И как это ни горько, надо отважиться признать, что те слова, те авторитеты, которые за стенами дома, подчас оказываются сильнее. Нельзя делать вид, что тех авторитетов нет, надо понять, в чем они оказываются сильнее. А вот на это как раз родителям иногда мужества и не хватает.

Искусство частенько попадает в положение таких родителей. И зрители вместе с нами привыкают делать вид, что каких-то вещей вовсе и не существует. И начинают просто-таки требовать переснять финал «Калины красной» (это я для примера). Привыкли к нашим стандартным кинематографическим блюдам: был человек плохим — стал хорошим. Как просто!

— Еще о сюжете.

Сюжетов у меня сейчас целый блокнот, но как-то стало неинтересно. Интересна работа, которая сопротивляется.

Свести бы людей в такой ситуации, где бы они решали вопросы бытия, правды. Рассуждать, размышлять, передавать человеческое волнение.

Размышлением не научился владеть. Традиция — такая упорная штука.

— Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика, человека, не посаженного на науку поведения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а следовательно, крайне естествен. Но у него всегда разумная душа.

Рассказывая о таком человеке, я выговариваю такие обстоятельства, где мой герой мог бы вольнее всего поступать согласно порывам своей души.

«ПЕРЕД МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИЕЙ»

Беседа с корреспондентом журнала «Искусство кино»

— *Зачем писателю стремиться к экрану?*

— Скажите, кто из писателей откажется выступить со своей программой перед многомиллионной аудиторией? Какой писатель откажется войти в самый тесный контакт с публикой, которая тут же, не сходя с места, дает ему доказательства своего одобрения, понимания, сочувствия (или недоумения, непонимания), заставит его взглянуть на себя самого со стороны такими требовательными, испытующими глазами, какими отроду не приходилось ему смотреть на себя? Какой художник откажет себе в искушении предстать перед таким судом, чтобы познать самого себя?

Я впервые понял силу ответных реакций зрителей, когда поставил фильм «Живет такой парень».

Конечно, режиссер как художник принадлежит другому искусству, нежели писатель, а в силу этого обладает и иными возможностями. Но его творческий метод, его взгляд на мир может и должен совпадать с взглядом и методом писателя, которого он экранизирует. Если понимают режиссера — понимают и писателя. Вынося свой рассказ на экран, я проверяю правильность своего метода в искусстве.

Однако метод методом, а ведь в кинематографе есть своя система условностей. Я где-то слышал такое утверждение.

совершенный перевод стихотворения с одного языка на другой практически невозможен; каждая удача является счастливым исключением, только подчеркивающим правило. Ну а экранизация? Тоже перевод с одного языка на другой. То, что представляется удачным в литературе, для кинематографа зачастую не годится.

Это можно заметить уже по тому, как ведет себя писатель в кинематографе и режиссер в литературном соавторстве. Писатель в кинематографе, если он еще малоопытен в качестве кинематографического автора, отстаивает каждое свое слово. Он справедливо считает, что слово лучше всего говорит о его писательской индивидуальности. Он борется за слово-ремарку забывая, что авторская речь в кино — вспомогательное средство. Он наделяет речью своих героев, но в фильме речь зазвучит, перед зрителем появится актер. Писатель подчас не понимает, что одно и то же слово, то самое, которое он отстоял в нелегкой борьбе с режиссером, трижды будет звучать с разным значением, если его произнесут три разных актера. Это понимает режиссер. Зато режиссер часто не чувствует, что слово — образ. Такого режиссера всегда подстерегает опасность схематично определить явление, только назвать событие или предмет. Поэтому сценарий, написанный таким режиссером, лишен плоти. Это скорее руководство к действию, нежели собственно художественное произведение.

Литература, по-моему, прекрасна тем, что позволяет художнику без околичностей заявить о своих чувствах. Прямое выражение авторских чувств звучит в литературном произведении откровением в силу интимности самого процесса чтения. Иное дело — театр, кино. Попробуйте вложить авторский самокомментарий в уста героя. Герой станет чтецом. Даже в проникновенном актерском исполнении прямая авторская речь может показаться декларацией, а декларативность и психологизм плохо уживаются вместе...

Мне надо делать кино. А в кино нужен... как бы это сказать... «шлейф событий». Не подумайте только, что я говорю о «закрученном сюжете», о калейдоскопе происшествий. События-то могут быть самые заурядные, ничем особенно не примечательные, но они должны постоянно сопутствовать главной мысли, работать на нее все полтора часа экранного времени. Я изменил этому принципу в «Странных лю-

дях» — и фильм не получился, развалился на куски... Вот постойте-ка...

(Он выходит в соседнюю комнату и приносит несколько листков, исписанных его размашистым почерком).

— Я написал тут кое-что о «Странных людях». Если хотите — посмотрите:

"Фильм «Странные люди» не принес мне удовлетворения. Я бы всерьез, не сгоряча назвал бы его неудачей, если бы это уже не сделали другие. Разговор со зрителем не состоялся. Фильм плохо смотрели, даже уходили. Так работать нельзя. Это расточительство.

Теперь я, пожалуй, разберусь, что случилось с фильмом. Кажется, я в состоянии это сделать.

Я пошел от писательского сборника. В литературе мне больше интересен сборник писателя. С моей точки зрения, можно быть автором одного рассказа, одной повести, одного романа. Но быть автором сборника — это значит быть писателем или не быть им. Я думал, что в кино тоже так. Но в кино иначе. Опыт зрительских встреч с фильмом новеллистического построения равен нулю. Мое предупреждение в титрах, что это «три рассказа», не сработало. Его пропустили, скользнули глазом — и забыли. Зритель настроился на определенную историю, на определенных людей. Но едва он привык к героям первой новеллы, приготовился вникнуть во все происходящее с ними, новелла кончилась. Это было неожиданностью. Так возникло раздражение. Пока он собрался с чувствами для нового знакомства — прошла добрая половина второй новеллы.

Зрители не получили разбега для знакомства с героями. В литературе такой разбег гораздо меньше, а кинематографисту надо дать место для такого разбега. В этом отношении «Роковой выстрел» пострадал больше всего. Зрители не смогли взять разбег и не поняли героя — поняли только то, что мне, режиссеру, вовсе не дорого, — внешний рисунок образа. Про характер-притчу догадались немногие.

Я сидел в зрительном зале и казнился. Я, как никогда, остро почувствовал, что зрительский опыт — великая штука. Я пренебрег им — и разговора со зрителем не получилось. Я хотел сказать в этом фильме, что душа человеческая мечется и тоскует, если она не возликовала никогда, не вскрикнула в

восторге, толкнув нас на подвиг, если не жила она никогда полной жизнью, не любила, не горела. Не вышло".

— Но ведь «Живет такой парень» и «Ваш сын и брат» тоже были, в сущности, фильмами новеллистического построения? Только там все новеллы были нанизаны на единый стержень.

— В том-то и дело. Почему я не сделал всех этих «Странных людей» жителями одной деревни? Чего, казалось бы, проще: поселить их на одной улице с председателем Матвеем Рязанцевым, ну, что ли, под его крылом... Может быть, тут и появился бы необходимый мне «шлейф событий»? Ведь не случайно же возник Чуйский тракт, по которому ехал от села к селу от встречи к встрече Пашка Колокольников?! И не случайно трое героев моих рассказов, абсолютно не связанных между собой — Степан, Игнат, Максим, — стали в кино родными братьями. Живи Чудик, Бронька, Матвей Рязанцев в одной деревне — может быть, они как-то объяснили бы друг друга, помогли понять все, что осталось за кадром, — главную мысль, во имя которой были написаны рассказы «Чудик» и «Миль пардон, мадам»...

— Наверное, из литературной новеллы прямо и непосредственно кинематографическую не сделаешь. Нельзя же в экранной новелле подвести черту под всем повествованием так, как это сделано в рассказе «Чудик». «...Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномеханником на селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом».

— Это еще не самая большая потеря. Главная опасность экранизации в том, что в силу огромной образной насыщенности кинематографа все поведение такого персонажа, как Чудик, будет восприниматься зрителями скорее со знаком минус, чем со знаком плюс. При буквальном переносе на экран Чудик превратится в чудака уже не с большой, а с маленькой буквы. И чем эмоциональнее, выразительнее окажется актер, тем очевиднее будет искажение образа. Это я понимал. Потому Чудик и «освободился» на экране от всех своих чудачеств и уступил центральное место в новелле своему брату. Это произошло не по прихоти кинорежиссера, а

по законам того искусства, в которое, как в новую жизнь, перешли литературные герои. Литературный Чудик оказался в кинематографе попросту невозможен. Как невозможен и Бронька Пупков. В «Странных людях» я потерял их. Из всех трех литературных персонажей, чьи характеры мне хотелось показать в этом фильме, наиболее удался Матвей Рязанцев, герой рассказа «Думы». Образ этот стал удачей фильма не только потому, что особенности артистического дарования В.Санаева не расходятся со смыслом и интонацией самого повествования, но и потому, что образ Матвея Рязанцева одинаково органичен и для экрана и не нуждается ни в каком особом кинематографическом переосмыслении.

«Странности» Чудика или Броньки передаются в литературе через ситуацию, для оценки которой очень важно незримое, но руководящее читателем отношение рассказчика. «Странность» же Матвея Рязанцева, которая заключается в близкой почти всякому человеку тревоге о будущем детей, в осмыслении пройденного жизненного пути, не нуждается ни в каком опосредовании, чтобы стать понятной читателю или зрителю.

Кинематографу нужны истинно кинематографические характеры, то есть такие, для восприятия и понимания которых не было бы нужды в особом авторском посредничестве. На экране герой сам о себе заявляет и сам себя исследует. Ни Чудик, ни Бронька непонятны, если за спиной у них не стоит автор. Но ведь мог же я наделить этим авторским отношением к ним, ну, скажем, того же Матвея Рязанцева... А что — он мужик умный... Знаете, я сказал это, а у самого прямо руки зачесались, все это поставить. Там, в рассказах, есть ведь за что зацепиться. Помните, председатель вызывает Броньку, грозит принять меры. А Бронька бормочет, не глядя ему в глаза: «Да ладно... Да брось ты... Подумаешь!..» У нас в сценарии была даже такая сцена вначале. Потом мы от нее отказались. Скучно, ни к чему вроде. А представьте себе, как соединились бы сюжетно линии героев, будь на месте этого безликого председателя другой — Матвей Рязанцев! Как живой водой все бы сбрызнуло...

— Понятно, Матвей какой-то частицей своего существования поймет Броньку, непризнанного актера, свободно переходящего от реальности к фантазии, от сказки к яви. Он-то

поймет, что это никакой не враль, не трепач, а лицедей. И нам даст понять. И сама фигура Матвея осветилась бы по-новому...

— Нет, Броньке эти переделки не помогли бы. А если бы и помогли, то в малой степени.

— *Почему?*

— Сейчас попробую объяснить. Вот меня упрекали в том, что Евгений Лебедев в «Роковом выстреле» изображает не момент артистического вдохновения, а клиническую картину навязчивой идеи. Грязный, обросший, залитый слезами, задыхающийся Лебедев—Пупков, изгиляющийся над самим собой, вносит совершенно иные акценты в образ знакомого читателям героя. Критики высказывали предположение, что режиссер Шукшин не управился по-хозяйски с актерским азартом Лебедева. Кстати, воспользуюсь случаем и скажу два слова о Лебедеве. Это — большой, умный художник. То обстоятельство, что его кинематографическая судьба неровная, не цельная, говорит о том, что он крупнее наших схем. Мы не знаем, что с ним делать, куда его девать. Не поддельна народность его дарования, которую мы еще не умеем в полной мере раскрыть.

Но давайте вернемся к монологу Броньки. Обратимся не к экрану — к литературному монологу. Обратите внимание, какие определения были привлечены в рассказе «Миль пардон, мадам!» для того, чтобы обрисовать состояние Броньки. И, следовательно, каков был, если можно так выразиться, арсенал Бронькиных выразительных средств. Вот рассказ:

«...Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...»... «Бронька кричит, держит руку так, как если бы он стрелял... — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!!» Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: "Я стрелил..." — Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: "Я промахнулся"».

Согласитесь, что все это с абсолютной точностью передано в фильме Лебедевым — и свистящий шепот, и мучительный визг, и неровность речи, и душераздирающий крик, и зубовный скрежет. А в результате — «клиническая картина навязчивого состояния». В чем тут дело? Не в интерпретации Лебедева, навязанной режиссером, но в самой природе кинематографического зрелища, многократно усиливающей насыщенные краски литературного образа.

В своем рассказе я могу написать, к примеру, такую фразу: «На него было неприятно смотреть». Читатель, каким бы богатым воображением он ни обладал, воспримет ее умозрительно. Я могу пойти дальше — указать на неряшливую одежду, немытое лицо или, допустим, засохшую слюну на подбородке — все это может восприниматься читателем очень остро, но в то же время как бы отстраненно. В кинематографе же появление персонажа, одетого и загримированного в точном соответствии с литературным текстом, вызовет мгновенную отрицательную реакцию. Недаром некрасивых литературных героинь в кино играют привлекательные чем-то актрисы.

Я могу написать, что человек сбивался с невнятного шепота на хрип, мотал головой, заливался слезами, но если мне предстоит экранизировать написанное, то я не должен забывать, что на экране мой персонаж обретет плоть. И болезненные гримасы, размазанные слезы, перекошенный рот будут воздействовать на зрителя со всей силой реальности.

Все это для меня очень важно именно сейчас, когда я всерьез подумываю об одном герое, которого хватит не на один — на три фильма, потому что он — человек огромной судьбы.

— Степан Разин?

— Да. Разин — герой, чья личная судьба не принадлежит ни ему, ни историкам, ни художникам: она — достояние народа. Сколь способен любить Разин — столь сильна любовь народа, породившего его; сколь ненавистны Разину страх и рабство — столь же изначально прокляты они и народом.

Что сделало Разина народным героем? Редкая, изумительная, почти невероятная способность к полному самоотречению. Таких героев в истории человечества немного. Способный к самоотречению, он идет на смерть без страха и — живет в благодарной памяти людской, в песне, в легенде.

Но вот эта самая легенда будет стоять между мной и зрителем. Для меня-то Степан Разин — человек из плоти и крови. Не могу я изображать его стилизованным былинным добрым молодцом. А показать его таким, каким я его вижу, каким написан он в романе, — задача неимоверно трудная. Ведь придется нарушить сложившиеся представления, «разбить мечту» о легендарном герое. Как показать в Степане не только открытое, всем понятное, но и подспудное, подчас пугающее? И не только показать, но и объяснить? Вы читали роман? Убедил вас мой герой?

— Читала. По-моему, Степан, каким вы его написали, не из тех героев, которых принимаешь на веру. И мне нравится, что он обрисован как сложнейшая, противоречивейшая фигура. В его противоречиях — коллизии времени. Но для понимания всего этого читателю очень важно авторское посредничество, о котором вы говорили. Чем восполнит экран отсутствие автора — посредника? В романе образ Степана Разина создается чисто литературными приемами — сколько там внутренних монологов, авторских отступлений. Потерять их — значит, по-моему, потерять и размах эпопеи, и образ героя. Но вся эта принятая в литературе система опосредований для кинематографии, пожалуй, не годится.

Разве что закадровый авторский комментарий, закадровые монологи — «старое испытанное» средство...

— Нет, только не это. В кинематографе авторский голос сегодня утрачивает свою выразительность. Некоторые мысли — я говорю о больших, глобальных идеях — нельзя сводить к словесному изложению. Внутренний монолог кинопероя подразумевает не закадровый голос, а определенный ряд зрительных представлений. В этом смысле какой-нибудь сто раз цитированный на экране ледоход говорит мне неизмеримо больше о чувствах героя, чем самый взволнованный и проникновенный актерский голос, звучащий за кадром.

Я убедился в этом, когда сделал свой последний фильм. Пожалуй, самое нелепое в «Странных людях» — это авторские комментарии. Мне-то казалось, что они могут связать разрозненные части повествования, нечто прояснить для зрителя. Я тешил себя этой иллюзией авторского присутствия — даже сам читал текст за кадром. Теперь же с особен-

ной остротой понимаю, что не может быть прямого альянса с литературой на съемочной площадке. Кино — это кино. И если когда-нибудь мне придется экранизировать роман о Степане Разине, я буду жестко соблюдать требования экрана.

Конечно, кинематографу тоже доступно изобретение внутренней жизни человека, хотя порой к этому приходится идти чрезвычайно сложным, ассоциативным путем. Я бы сказал, что литература в этом отношении... ну, демократичнее, что ли... Слово — универсальный посредник между читателем и художником. И, кроме того, на протяжении многих веков литература выработала свои приемы, свою систему условностей. В кинематографе все сложнее. В поисках кинематографической выразительности, в потоке зрительных ассоциаций можно потерять самого героя, а с ним и понимание, и сочувствие зрителя.

А что может быть страшнее зрительского равнодушия, непонимания, а то и недоумения перед произведением, которое ты, автор, считаешь для себя программным.

Да будь ты трижды современный и даже забегай с «вопросами» вперед — все равно ты должен быть интересен и понятен. Вывернись наизнанку завяжись узлом, но не кричи в пустом зале. Добрые, искренние, человечные слова тоже должны греметь. Гремят же на площадях в мире слова недобрые, фальшивые. Пусть и добро вооружается! Келейные разговоры о красоте, истине только обессиливают человечество перед ликом громогласного, организованного зла. Если же кто сказал слова добрые и правдивые и его не услышали — значит, он не сказал их.

Есть еще одно препятствие, нередко встающее между режиссером и зрителем. Не знаю даже, как «это» назвать. Сказать «натурализм»? Пожалуй, неточно. Ну да не в термине дело. А суть вот в чем. Когда я, к примеру, писал роман о Разине, я очень четко понимал: чтобы осилить такую тему, надо всерьез и до конца сознавать, что человек, принявший в сердце народную боль, поднимает карающую руку от имени народа. Да, Степан Разин был жесток. Но с кем? Если человек силен, то он всегда с кем-то жесток, а с кем-то нет. Во имя чего он жесток? Если во имя власти своей — тогда он, сильный, вызывает страх и омерзение. Тогда он — исторический карлик, сам способный скулить перед лицом смерти: она сильнее, она разит его. Степан не может быть

так жесток. И надо ли считать, спустя столько веков, сколько нанес он ударов и не было ли, на наш взгляд, лишних?

Но если с абсолютной точностью воспроизвести на экране все описанные в романе сцены пыток и казней, то можно вызвать у зрителя что-то вроде шока, который помешает воспринимать и оценивать происходящее так, как только хотелось бы автору. Писатель может не ставить себе никаких ограничений — в литературном произведении, где слово играет эстетическую роль, самые жестокие сцены воспринимаются как художественная картина. К тому же восприятие этих сцен проходит при активном посредничестве писателя, который может впрямую обратиться к читателю, настроить его на определенное отношение ко всем происходящим событиям, ко всем поступкам героев. Перенося свой роман на экран, я должен буду избирательно отнестись ко многим сценам. Причина тому — все та же высокая образная насыщенность кинематографа. Мне, режиссеру, многое предстоит показать опосредованно, помогая зрителю домысливать то, что будет прямо изображено на экране.

Очень многое в этой системе опосредований будет зависеть от актера. Вместе со мной, режиссером, актер должен сказать себе: «Я знаю, в каждом своем поступке Степан проживал все чувства целиком, до конца. В ненависти к насильникам впадал даже в исступление. Меня это не пугает. Я не боюсь, что уроню тем самым дорогой мне образ в глазах зрителя. Ведь так было, умел атаман ненавидеть до судорог».

Если мы с актером сумеем показать натуру Степана, характер его и темперамент, мы убедим зрителей в том, как смог он, Разин, принять пытку и смерть — принять почти с невероятной выносливостью, сказочно гордо: так велик был запас ненависти к врагам, что его хватило с великим мужеством встретить смерть. Тогда в «жестоком», трудном для кинематографа материале мы обнаружим выход к большой героической теме.

— Вы говорите: если мы с актером... А может, вы сами и будете играть Степана Разина?

— Не знаю. Не мог я пока играть в своих фильмах. Мне надо прикинуть все, насмотреться вдоволь, а потом уж снимать. Боюсь, не смогу — то вбегать в кадр, то выбегать из кадра. Хотя, наверное, я был бы не худшим исполнителем

написанного мною же... Вот кстати: мы говорили о кинематографической интерпретации литературы, но забыли о важнейшем интерпретаторе — актере. Труднейшая задача — найти исполнителя, в котором оживет твое авторское представление о герое.

— А как вы угадываете в актере нужного вам интерпретатора?

— Пытаюсь постичь его натуру, складывавшуюся исподволь, издавна, когда будущий артист еще «под стол пешком ходил». Мне не так уж важен тот набор средств — более или менее широкий, — которым располагает актер: мне важно понять, что он знает о людях, что повидал на своем веку, что сберег доброго, умного в сердце, прожив жизнь.

Актер должен не просто понимать своего героя, но и знать его до последних мелочей. До ногтей. Помню, как начинали мы работать когда-то с Всеволодом Васильевичем Санаевым. Он пришел ко мне побеседовать о возможном участии в фильме «Ваш сын и брат». Мы долго разговаривали — старались «вскрыть» характер старика Воеводина. Я выкладывался, мучительно соображая на ходу как убедительнее рассказать ему про этого мудрого русского старика, который доживает жизнь, но еще крепок, голова его свежа, и жизнь он прошел, знает ее вдоль и поперек. И вдруг Санаев сказал мне: «А знаешь, какие у него ногти?» — «Какие ногти?» — «На ногах. Толстые, крепкие, широкие. И загнуты, потому что он их никогда не стриг. И слегка темные...» Он знал таких стариков. И я поверил ему. Нет, не поверил — доверился.

Что значит доверился? Это значит — принял его как соавтора, позволил ему импровизировать, зная, что он не исказит текста.

Верность букве — это некая заповедь большинства кинематографических режиссеров, работающих над экранизацией. Такие режиссеры смотрят актеру в рот. Сказал не то слово — значит, ошибся! Ну а если актер нашел слово более точное, более сложное и, что самое главное, — живое! Все равно режиссер говорит: «Стоп». Дело тут подчас не в самом режиссере, а еще и в писателе, который упорно отстаивает свой текст. «Подумаешь, Лев Толстой нашелся!» — ворчит про себя режиссер, но сдается: предпочитает не иметь боль-

ше неприятных объяснений — довольно их было перед запуском. Что касается меня, то я готов позволить актеру нести «отсебятину», если только он соблюдает верность самому характеру, самому рисунку роли. Если верное чувство подсказало ему новые слова, я готов принять их как свои собственные.

Именно так — на правах соавторства — мы работали, например, с Лебедевым, с Куравлевым, с Сазоновой. Мне дорога в них та точность конкретного видения, которая позволяет работать с ними доверительно, на истинно творческих началах.

Помню, как Сазонова великолепно сымпровизировала песню в сцене «сновидений» Пашки Колокольникова — это когда он в генеральском мундире делает обход в больнице и видит на одной койке тетку Анисью: «Что у вас болит?» — «Ох, сердце...» Тут Сазонова — от полноты сердечной — и выдала «про ретивое». Ей не надо было ничего объяснять, показывать. Она спела, «как бог на душу положил», и была правдива. А если ты правдив — значит, ты прав.

Я требую от актера того, чего требую от всякого человека, которого беру «в работу», то есть избираю своим героем. Я требую искренности. Мне дорог актер, если я чувствую народную природу его таланта. Вот Лебедев — его как художника вывела к жизни Волга — главная российская улица. Санаев — в нем жив дух потомственных тульских умельцев. С огромным интересом работал бы я с Ульяновым, с Мордюковой — я чувствую в них запас человеческой памяти, переходящей из поколения в поколение. Именно в работе с такими актерами, знающими жизнь, неспособными сфальшивить, выдать одно за другое, проверяется органичность литературного образа для кинематографа. Экранизация нашей литературы просто невозможна без таких вот по-настоящему народных актеров. К счастью, у нас их немало. Но писатели перед ними в долгу.

— *Писатели или сценаристы?*

— Уточним: писатели, прозаики. Правда, на первый взгляд, винить их трудно. Есть у меня друг — великолепный писатель. Я не первый год пытаюсь заинтересовать режиссеров его рассказами, повестями. Но у них свое на уме. Ка-

ждый ходит со своим замыслом, работает со своим автором, на худой конец — пишет сам. Не знаю, попадет ли мой друг на киностудию.

Работа писателя в кино так и не стала еще традицией и кажется чем-то из ряда вон выходящим. Кто из писателей вдумчиво, серьезно из года в год работает в кинематографе? Нагибин — так он же окончил ВГИК. Володин — тоже. Тендряков учился во ВГИКе. Просто эти люди остались верны своему юношескому призванию. Они знают кинематограф, они умеют понять требования режиссера и заставить его понять себя. Есть, правда, писатели-прозаики, которые бывают на студиях. Но — от случая к случаю! Поспешают они вослед за сценаристами, пробуют писать сценарии — не очень-то получается. И не получится, потому что овладеть спецификой кино можно, только варясь в студийном котле, дыша воздухом съемочной площадки. Уединение полезно прозаику, сценаристу оно вредит. Только не подумайте, что я умаляю труд сценариста. Это не шутка — написать хороший сценарий.

— А вы пытались писать оригинальные сценарии?

— Пытался. Роман «Я пришел дать вам волю» вырос из сценария — не из того, что был опубликован когда-то в «Искусстве кино», то была уже попытка экранизации романа, а из другого, вполне самостоятельного. Замысел сценария о Разине у меня возник очень давно. Работа была желанная. А радости она доставляла мало. Пока я писал сценарий, надо мной все время топором висело законное требование — писать так, чтобы все было «видно». С точки зрения рьяных «киношников», писать надо было так: «Проход казаков к Астраханскому кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских». Я позволил себе писать более пространно и подробно, чем «проход казаков». И все равно от этой работы осталось тягостное чувство. Я видел будущую картину, видел ее между строк. И все-таки я начал писать роман — это было необходимо для художественного осмысления материала. Именно в романе нашла свое законченное выражение та идея, ради которой было задумано все произведение: трагедия Разина — это часть всенародной трагедии.

Я попросту не мог овладеть этой мыслью, пока вынужден был писать: «Казаки оживлены, народ приветствует их». Только в литературном письме я сумел, как мне кажется, до конца выразить все, что мне хотелось. Так мне кажется. Не знаю, как я заговорю через год.

Написать оригинальный сценарий для меня задача неимоверно трудная именно потому, что он должен совмещать достоинство литературного письма с предельно точным кинематографическим видением. Но вот поставил я три фильма по своим рассказам, и на этот раз потянуло меня к оригинальному сценарию. Сейчас работаю над ним. Это новый замысел, говорить о нем еще рано...

Примечания

ПОВЕСТИ ДЛЯ КИНО

ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Впервые — М., Искусство, 1964.

В основу киноповести легли рассказы В.Шукшина «Классный водитель» и «Гринька Малюгин».

ВАШ СЫН И БРАТ. **Киноповесть.**

Впервые опубликована в сборнике В.М.Шукшина «Киноповести» (М., Искусство, 1991).

Использованы мотивы рассказов «Игнаха приехал», «Степка», «Змеиный яд».

Фильм поставлен в 1965 году на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького.

СТРАННЫЕ ЛЮДИ. **Киноповесть.**

Впервые опубликована в сборнике В.М.Шукшина«Киноповести».

Использованы мотивы рассказов «Чудик», «Миль пардон, мадам!», «Думы».

Фильм поставлен в 1969 году на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М.Горького.

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

Впервые — Киноповести, М., Искусство, 1975.

Если первые киноповести создавались на основе рассказов, то «Печки-лавочки» вполне оригинальное произведение. В середине 60-х годов В.Шукшин пришел к убеждению, что для кино должна создаваться специальная кинолитература. «Отныне я перестану, — писал Шукшин, — ставить фильмы по своим рассказам, буду пробовать писать литературу только для кино...»

Сценарий «Печек-лавочек» был представлен в 1969 году в студию «Мосфильм». В 1971 году В.Шукшин написал заявку директору киностудии имени А.М.Горького, в которой изложил содержание сценария:

“Это опять тема деревни с «вызовом», так сказать, в город. Иван Расторгуев, алтайский тракторист, собрался поехать отдохнуть к Черному морю. История этой поездки и есть сюжет фильма. Историю эту надо приспособить к разговору об:

1. Истинной ценности человеческой.

2. О внутренней интеллигентности, о благородстве.

3. О достоинстве гражданском и человеческом.

Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее — кормилец, работник, труженик. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрерывно учить, одергивать, слегка подсмеиваться над ним. Учат и налаживают этакую снисходительность кому не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, продавцы... Но разговор об этом надо, очевидно, вести «от обратного»: вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорее и проще найдут взаимный интерес друг к другу, и тем отчетливее выявится постыдная, неправомочная, лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых учителей, от которых трудно Ивану.

И всем нам.

Если попытаться найти в данном сюжете жанр, то это комедия. Но, повторяю, разговор должен быть очень серьезным.

Под комедией же здесь можно разуметь то, что является явным несоответствием между истинным значением и наносной сложностью и важностью, какую люди пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось жить не по праву своего ума, достоинства, не подлежащих сомнению, — все подлежит осмеянию, т.е. еще раз напомнить людям, что все-таки сложность, умность, значимость — в простоте и ясности нашей, в неподдельности.

Иван с женой благополучно прибыли к Черному морю (первый раз в жизни), но путь их (люди, встречи, столкновения, недоумения) должен нас заставить подумать. О том, по крайней мере, что если кто и имеет право удобно чувствовать себя в своей стране, то это — работник ее, будь то Иван Расторгуев или профессор-языковед, с которым он встречается. Право же, это их страна. И если такой вот Иван не имеет возможности устроиться в столичной гостинице, и, положим, с какой лихостью, легкостью и с каким-то шиком устраиваются там всякого рода сомнительные деятели в кавычках, то недоумение Ивана должно стать и нашим недоумением. Мало сказать — недоумением, не позор же это нам? Вот коротко о чем сценарий...”

Ответ на вопрос о происхождении присловья «Печки-лавочки» можно найти в книге С.В.Максимова «Крылатые слова».

«В крестьянской избе,— пишет Максимов,— печь занимает целую треть всего помещения, а лавки наглухо приделываются к трем стенам обычно четырехстенного рубленого бревенчатого жилого сруба».

Здесь и истоки выражения «печки-лавочки», первоначальное значение — совместное дружное житье, дружба и лад. В словаре Даля можно найти: «У них и печки, и лавочки, все вместе (дружны)».

Со временем значение выражения менялось: оно стало более широким и менее определенным по значению, приобрело шутливую окраску и получило тот смысл, который сохранился до нашего времени: печки-лавочки — это домашние дела, заботы, а также вообще бытовые подробности, житейские истории и просто смешные пустяки. Выражение стало поговорочным присловьем, оно практически совсем потеряло буквальный смысл, связанный с русской печью и лавками в избе.

КАЛИНА КРАСНАЯ. Киноповесть

Впервые — «Наш современник», 1973, № 4.

Первоначально — литературный сценарий одноименного фильма. Сценарий написан осенью 1972 года в Москве, в больнице.

Киноповесть оказалась, таким образом, в тени кинофильма. Пытаясь проанализировать эту ситуацию и, в частности, понять тот факт, что публикация повести не вызвала откликов, тогда как фильм мгновенно оказался в центре внимания, журнал «Вопросы литературы» провел по обоим произведениям дискуссию, пригласив выступить в ней преимущественно писателей и литературных критиков. В дискуссии участвовали Б.Рунин, Г.Бакланов, С.Залыгин, В.Баранов, Л.Аннинский, К.Ваншенкин и В.Кисунько. У фильма, как и у повести, нашлись противники: К.Ваншенкин говорил о «просчетах», о «сентиментальности многих эпизодов», о «банальности персонажей», об «умозрительности концепции». В.Баранов упрекал автора за «театральные эффекты», за «мелодраматизм» мотивировок и за то, что «сентиментально-умилительные интонации Егора мало вяжутся с подлинно крестьянским мироощущением человека-труженника на земле».

С.Залыгин, отвечая критикам, сказал: «...нам пора уже отдать себе отчет в том, что в лице Шукшина мы встречаемся с уникальным явлением нашего искусства... Нужно об этом помнить при оценке и изучении его творчества... Без этого неизбежно возникает ошибка: произведение отнюдь не рядовое, выдающееся мы оцениваем по меркам, к которым привыкли, рассматривая вещи проходные, стандартные. Шукшин в отличие от всех нас дает нам образ, обладающий своею собственной, а не нашей логикой, своими, а не нашими понятиями,— в этом и заключается его большое художественное открытие...»

Материалы дискуссии были показаны В.М.Шукшину, и он написал по ним статью «Возражения по существу».Из тактических соображений В.М.Шукшин говорит в статье «только о фильме», а киноповесть желает «оставить в покое», однако речь идет, по существу, о жизненной концепции автора, очень важной для понимания его замысла в обоих случаях.

22 мая 1974 года в газете «Правда» появилась подготовленная Г.П.Кожуховой беседа с В.М.Шукшиным — «Самое дорогое открытие» — где, в частности, Шукшин говорит о «Калине красной». (См. беседу «Если бы знать...» в наст. издании, т. 5)

БРАТ МОЙ...

Впервые — «Искусство кино», 1974, № 7.

В киноповести были использованы сюжетные линии рассказов «Коленчатые валы», «Степкина любовь», фрагменты из других рассказов.

По киноповести на «Мосфильме» был снят режиссером В.Виноградовым фильм «Земляки» (1975). Не собираясь сам делать фильм, В.Шукшин намеревался в нем сыграть роль Ивана Громова, но ему это не удалось из-за участия в фильме «Они сражались за Родину».

Большинство рецензий на фильм носило критический характер, зрители и критики убедительно доказывали, что «без Шукшина» пропал конфликт, появилась не свойственная ему слащавость, идилличность.

ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ

Впервые — «Звезда», 1975, № 6.

В основу киноповести легли рассказы «Вянет, пропадает», «Владимир Семенович из мягкой секции», «Космос, нервная система и шмат сала», «Племянник главбуха» и характерологические штрихи из других произведений.

По воспоминаниям Л.Н.Федосеевой-Шукшиной, Василий Макарович намеревался снять по этой киноповести фильм и сыграть в нем «дядю Володю», что, по ее мнению, «свидетельствует о неоднозначности образа незадачливого жениха Груши Веселовой». В галерее кинообразов, созданных актером Шукшиным, этот оказался бы, наверное, несколько необычным. По-своему трагична судьба этого стареющего человека, не умеющего приносить счастье другим, а значит — и самому себе. «Фильм будет грустный, — говорил Василий Макарович. — А где грустно, там искусство».

В.Шукшин не успел поставить фильм. Он был поставлен на киностудии «Мосфильм» (1977) режиссерами Г.Лавровым и С.Любшиным. Был благожелательно принят зрителями и критикой, посчитавшими, что создателям фильма удалось сохранить художественный мир Шукшина, обнаружив при этом «душевное родство» с ним, передать на экране светлую печаль Груши Веселовой.

ПУБЛИЦИСТИКА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФИЛЬМУ «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

Написано в 1964 году. Впервые опубликовано в журнале «Искусство кино» в № 9 за 1964 год.

О ФИЛЬМЕ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»

Написано в 1965 году. Впервые опубликовано в книге В.Шукшина «Нравственность есть Правда».

Об отношении к М.М.Хуциеву свидетельствует также текст поздравления, написанный Шукшиным в 1964 году и опубликованный в журнале «Искусство кино» (1964, № 5).

“Мне бесконечно дорого творчество Марлена Хуциева.

Во-первых: это — художник.

Во-вторых: художник, который работает в области творчества, мне недоступной, — в области (в уклон) интеллектуальной жизни людей-героев, в области, где разум (способность мышления) руководит поступками героев. Я тут не начинаю спорить с его героями и с ним — с Марленом. Эта область вечно была спорной. Я низко кланяюсь Марлену за мужество и решимость, и готовность идти на эти, мягко говоря, муки, на какие он пошел, пытаясь разобраться в наших молодых и немолодых делах. Если это слишком громко сказано, пожалуйста: я могу сказать иначе: мне нравится его огромная гражданская совесть, способность его души «болеть» за других. Нам, живым, никто никогда не давал готовых рецептов — как хорошо жить. Да и не верим мы в это — что можно так сделать. Я, как зритель, благодарен Марлену за его последнюю картину. Он не все сказал, наверно, не все смог (сумел) сказать, я благодарен Марлену за то, что он лишний раз заставил меня задуматься о жизни нашей, о себе самом (в смысле — обо мне), о том, как жить. Разве это не самая счастливая участь художника! Здоровья Вам, Марлен Мартынович. Большого хорошего здоровья. А остальное у Вас есть. Шукшин”. (Архив В.М.Шукшина.)

* *“Есть фильмы, с которых уходишь измученным”* — полемическая оценка, данная В.М.Шукшиным фильму «Председатель».

КАК НАМ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ДЕЛО

Написано в 1966 году для журнала «Советский экран». Впоследствии доработано автором и опубликовано с сокращениями в «Советском экране» (1971, № 14). Полностью опубликовано в книге «Вопросы самому себе» (М., Молодая гвардия, 1981).

“...гордость взяла за великого русского писателя, что он забыл содержание «Воскресенья»” — В.М.Шукшин неточен: был случай, когда Л.Н.Толстой, услышав, как читают вслух книгу, не узнал «Анну Каренину».

«НЕ ДЕЛО РЕЖИССЕРУ «ТОЛМАЧИТЬ» СВОЙ ФИЛЬМ...»

Написано в 1966 году, как ответ критикам, выступившим в тот период против работ В.М.Шукшина. Статья не закончена. Тон и пафос статьи характерен для той полной дискуссионных страстей обстановки, в которых она писалась.

Замысел фильма «Ваш сын и брат», возбудившего такие страсти, очевидно, не содержал, по представлению автора, ничего столь вызывающего. Этот замысел можно проиллюстрировать следующей заявкой на литературный сценарий, относящейся к 1964 году, видимо, это первый этап обдумывания фильма; первоначальное его название — «Дуракам закон не писан»:

“Сюжет сценария прост предельно. Это даже не сюжет в привычном смысле слова, и образуется он из поступков главного героя.

Живет на селе парень. Посмотреть трезво — дурак дураком, неразумный. Подумаешь — нет, не дурак. Это и надо доказать фильмом. Надо, чтобы зритель посмеялся над нашим героем, а потом — один на один с собой — вступил бы в спор с авторами, которые будто бы (такой надо делать вид авторам) обвиняют своего героя.

В свое время Степан Воеводин не справился с охватившим его чувством, подрался и получил свои законные три года. Фильм начинается с того, что он приходит домой. Раньше на три месяца.

— Хорошо работал — отпустили пораньше, — говорит он отцу.

Разгорелось неяркое, но искренне веселье — праздник. В простой крестьянской избе. Все рады, рад и Степан. Признался:

— Соскучился без вас, черти мои хорошие.

В разгар веселья в избу, не обратив на себя ничьего почти внимания, вошел участковый милиционер и вызвал Степана на улицу. Степан вышел и больше не вернулся. Оказалось, что он не досидел три месяца и сбежал из тюрьмы. Первое слово в оценке такого поступка — «дурак». Так, собственно, и заявляет милиционер.

Пока шли к сельсовету, беседовали.

— Зачем ты это сделал-то? Ведь теперь еще два года припаяют.

— Знаю.

— Ну?..

— Что?

— Так зачем же?..

— Соскучился. Охота было хоть разок пройти по деревне. Весна пришла — совсем измучился... Сны замучили — деревня снилась.

— Так ведь три месяца осталось, дурак ты такой!

— Ну и что?

...В общем, — поехал Степан туда, откуда только что прибыл. Отсидел еще пару лет и хорошим летним днем вышел на волю. И тут, повинуясь движению неразумной своей души, опять вляпался в историю — связался с группой тунеядцев, прожигателей жизни: влюбился в девушку, которая вовлекла его в этот омут. И опять, повинуясь своему чувству, которое глубоко возмутилось, видя гадость и мерзость разложения, вступил в нешуточную и опасную борьбу с группой молодых паразитов. «Предал» их, посадил в тюрьму любимую женщину. Тут уж он сам думает о себе — «дурак». Но иначе сделать не мог.

Едет домой. Встречает в поезде трех молодых художников. Среди них — одна девушка. Опять что-то вроде любви, но уже со стороны девушки. Она пытается понять Степана, помочь ему (так, как она это понимает). Сильная натура Степана влечет ее, она искренне пытается помочь ему, но, как выясняется потом, хотела сделать из него посредственного, «средней руки» интеллигента, прилизанного и удобного. Ничего не вышло. Опять, стало быть, напрашивается мысль: может, зря отказался Степан от блестящей возможности «выйти в люди» (у девуш-

ки есть к тому же все, чтобы помочь ему проделать этот путь, и средства тоже). И пусть зритель сам решает: дурак он или не дурак.

Кончается фильм тем же, с чего начнется: Степан приходит домой. На этот раз «законно». И всем строем характера героя надо подвести зрителя к мысли, что никуда он с этой земли не тронется. И пусть опять же сам он (зритель) решает: какой человек Степан. Была возможность... Могло быть все не так, лучше: в деревне тоже не рай земной. Там надо засучивать рукава и «вкалывать». А ведь могло бы... И т. д.

Условно сценарий может быть назван — «Дуракам закон не писан».

Фильм должен вовлечь в себя разные стороны жизни, разных людей. Мир села (отец Степана, мать его, его глухонемая сестра, старик-рыбак, соседи, родня). Это мир простой, как мычание коровы, как просто каждый день встает и заходит солнце. Мир воров и тунеядцев, высланных из столичных городов, мир злых и бессовестных людей (Ольга, ее группа). Мир творческой интеллигенции (Вика, отец Вики, ее друзья, мать, знакомые).

Сценарий закончен. Может быть представлен 10 ноября. Шукшин".

(Архив В.М.Шукшина.)

НАМ БЫ ПРО ДУШУ НЕ ЗАБЫТЬ

Выступление в городском кинотеатре города Белозерска на премьере фильма «Печки-лавочки» в 1973 году. Впервые опубликовано в газете «Вологодский комсомолец» 13 декабря 1974 года. Печатается по тексту газеты. Озаглавлено Л.Н.Федосеевой-Шукшиной по одной из фраз В.М.Шукшина.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАВДОЙ

Беседу провела и записала в 1973 году киновед Валентина Иванова. Материал предназначался для сборника статей, готовившегося в издательстве «Искусство», и был завизирован В.М.Шукшиным. Выход сборника отложился, и беседа появилась в журнале «Дружба народов» (№ 3, 1973) — для этой публикации В.М.Шукшин заново ее просмотрел и в ряде мест существенно доработал первоначальный вариант. Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Дружба народов».

* " — *Каково ваше мнение о пластической культуре наших фильмов и наших актеров, в частности?"* — в первоначальном варианте ответ на этот вопрос включал следующие рассуждения В.М.Шукшина:

"...Если говорить в целом о *способе поведения наших актеров на экране, исключая очень хороших и очень плохих исполнителей, а беря, так сказать, срединное состояние, то, думается мне, наши актеры здесь определенно переигрывают. Именно поэтому, говоря о пластике наших фильмов, мне бы хотелось видеть ее более глубинной, более гибкой, чтобы движение, жест, взгляд не заслоняли движения образа, ею внутреннего состояния.*

То есть я здесь хочу сказать, что жизнь выдвигает как норму определенную манеру поведения, выражения чувств, общения, а актеры берут несколько выше. Есть критерий. Это хроника, которая год от года

набирает высоту и как документ,и как искусство. И вот здесь становится очевидно, что мы на экране явно перебираем против жизни, ведем себя наглее, что ли. Вторгаемся искусством в жизнь, разрушая ее правду.

Отчего это происходит? От многих причин, которые я и как актер, в частности, вполне могу понять. От стремления быть убедительнее, ярче на экране. А главное, от лотерейной жизни актера, от того, что вся она зависит от случая. Известно, что сроки работы режиссера с актером в кино очень сжаты, скомканы и актер здесь во многом предоставлен самому себе. А это плохой контроль.

Актер часто находится в простое и уж когда дорывается до камеры, то стремится выложиться весь, на полную катушку. От тоски по большой судьбе, по роли актер устает. А ведь, скажем, из практики футбола известно, что когда футболисты стараются играть лучше, то, как правило, играют хуже.

В актере накапливается своего рода «тихий ужас» от стремления утвердить себя. И здесь огромная задача ложится на плечи режиссера — снять этот ужас, этот страх, наладить спокойную атмосферу на съемочной площадке, призвать актера к естественности поведения, к заботе о внутреннем состоянии персонажа.

В этом отношении превосходно работает с актерами Герасимов. Он никогда не скажет актеру — «не получилось». Он скажет — «получилось, но можно сделать еще лучше». Эта естественная жизнь актеров на съемочной площадке переходит в естественную жизнь героев в кадре. Когда я размышляю об успехе у зрителя фильмов Герасимова, то прихожу к выводу, что причина его, прежде всего в налаженной жизни фильма, в пластике реальной действительности на экране, в правде движения живых людей. Это завораживает...”

(Архив В.М.Шукшина.)

** *“В фильмах наших мало нечаянного, нежданного...”* — из первоначального варианта беседы:

“Я, по крайней мере, в своих актерских опытах всегда чувствовал громадное удовлетворение, когда удавалось пожить в кадре независимо от камеры. Это убеждает, приобретает силу документа. Но если в хронике это единственно возможный способ, то здесь приходится это делать сознательно и все равно проходить через стадию искусства. Не просто так пускать актера. Он будет знать свой путь. То есть через искусство к хронике, через продуманность — к естественности, к непринужденности, к правде поведения на экране”.

(Архив В.М.Шукшина.)

* * * *“— Но вам не кажется, что как раз ленты поэтического ряда... во многом движут кинематограф?”* — в первоначальном варианте беседы это пункт был разработан подробнее:

“ — Как вы относитесь к изобразительному решению фильмов так называемого «поэтического кинематографа», типа «Неотправленного

письма», «Иванова детства», «Мольбы» и других? Близка ли вам такая манера, видите ли вы за ней будущее?

— Из всего вышеизложенного уже, по-моему, определенно следует, что такая манера кинематографа, усложненного, символического, ребусного, мне лично не близка. Это не моя манера. Хотя, опять-таки повторяю, это отнюдь не значит, что такой манеры не должно существовать вообще. Напротив, ее придерживаются и отстаивают в искусстве люди в высокой степени талантливые, мыслящие, которых я глубоко уважаю как художников.

Но вот что я думаю по этому поводу, если более конкретно.

Я всегда воспринимаю зрительный зал как одного, очень умного человека, с которым мне интересно беседовать. Да, именно так, если даже в зале и сидит с десяток людей недалеких, глупых. И все равно зал как таковой — это в высшей степени интересный собеседник.

И вот я мысленно ставлю себя на место этого человека, который пришел смотреть мой фильм. Как происходит этот процесс восприятия произведения искусства?

Когда человек входит в зал, вместе с ним туда входит его житейский опыт, его память, которая удерживает множество людей, характеров, событий. И все это входит вместе с ним и начинает активно вторгаться в другую жизнь, которая развертывается на экране.

Человек, то есть в данном случае зритель, живет включенный весь — опыт, память, вкус, — все это работает на предмет проверки на правду той экранной жизни, на протест против того, что люди выдумывают. Человек очень активно живет — всеми чувствами, памятью, чутьем. Все это и предполагает его общение с искусством, и это необходимо мне, режиссеру. Это та атмосфера, без которой немыслимо восприятие искусства, общение с художником.

И вот здесь, в момент такой наивысшей зрительской восприимчивости, кинематограф того типа, о котором мы здесь говорим, начинает задавать ряд загадок для ума. Происходит своего рода тренаж разума, даже радость по поводу догадки. Но меня, однако, такие разгадки скоро раздражают. Ибо нет высшего наслаждения в искусстве, чем наслаждение правдой жизни. Мне же предлагается другого рода разговор.

Вот, скажем, в одном из фильмов (...), где каждый кадр сам по себе произведение искусства и заключен в себе, самоцелен, так показывается смерть поэта. Он лежит на полу храма, снятый сверху, как бы распятый камерой. И вокруг него горят свечи. И на них каплет кровь с обезглавленных жертвенных петухов и гасит эти свечи.

Я понимаю суть этого символа — жизнь гасит свои свечи, свой огонь. Но, пока я разгадываю этот символ, сердце мое отключено и мимо проходит трагедия — смерть художника, просто смерть человека. Она не случилась, не произошла...

В «Ивановом детстве» Тарковского есть незабываемый для меня кадр — лошадь жует яблоки. Да, это символический кадр. Но он родился не от желания удивить, загадать загадку. А от огромного чувства сострадания к ужасу, который претерпел народ. Он, этот кадр, не выдуман, а естест-

венно вышел, родился из судьбы мальчика, лишенного детства, естественности жизни.

Я ужаснулся правде, какая она страшная, объемная. Это как у Чехова — голодная кошка ест огурцы.

Мне и в литературе не нравится изящно-самоценный образ, настораживает красивость..."

(Архив В.М.Шукшина.)

* * * *"Наше время чрезмерно насыщено информацией и перемещениями. У современного человека неделя времени нагружена до предела... Надо сокращаться"* — из первоначального варианта:

"Я как литератор очень чувствую эти скорости. Как схватить этот людской муравейник, подтащить его к рассказу? Мне так и кажется, что читатель вот-вот бросит книгу. Потому что ему некогда, потому что он спешит. Хотя, наверно, нет в мире другого такого читающего народа, как русский, — читают повсюду, в троллейбусе, в очереди, даже на эскалаторе, даже выходя из вагонов метро. Бешеные ритмы! Время тихих вечеров у камина безвозвратно прошло. Теперь не дойдешь со своими пудовыми описаниями — их некогда будет прочитать.

Отказ ли это от богатства слова, от возможностей слова? Нет, слово и его возможности остаются со мной. Разве не мастер слова Хемингуэй? Или наш Катаев, Пильняк, Бабель, литераторы 30-х годов? Мне вообще кажется, что наша литература в своей тенденции к описательности несколько сдала позиции, завоеванные в 20—30-е годы. Та литература как раз представляется мне куда более современной, отвечающей нашим нынешним потребностям.

Телевизор, транзистор, то же кино — для книги остается очень мало места. Время раскололось, поломалось. Читатель не прочтет про обыкновенный закат — бросит. В кино, конечно, не совсем то, человек заплатил за билет, да и неудобно на виду у всех выходить из зала. Но это слабое утешение. Молва о фильме распространяется мгновенно, и на неинтересную картину просто не пойдут.

Перед художником во весь рост встает проблема экономии не просто времени, но энергии, читательской и зрительской.

В свое время Михаил Ильич Ромм, у которого я учился, ориентировал нас на такую экономию, на лаконизм, на емкую, образную деталь, на точное место этой детали в строе фильма. Он читал нам Пушкина, показывал, как точно он находит место укрупнению. Учил тому, что и в литературе, и кино необходим лаконизм.

На первый взгляд, мой собственный пример — тот, который я приводил выше, из «Странных людей», монолог Броньки на 25 минут — как будто противоречит моим высказываниям. Но ведь в эти двадцать пять минут вместилась вся судьба человека, так что мне не кажется этот монолог растянутым.

Лаконизм же диктуется художнику самой жизнью, которая сегодня до отказа нафарширована сведениями, информацией, новостями.

Поэтому мне лично кажется, что тенденция искусства и кинематографа, в частности, — к простоте. Не к усложненности. Об этом же свидетельствует широчайшее распространение хроники, документа, документального кинематографа. Мне кажется, самый простой эпизод, случай, встреча могут стать предметом искусства, и чем проще этот эпизод, случай, тем лучше, тем больше простор для художника"

(Архив В.М.Шукшина.)

О КУРАВЛЕВЕ

Речь идет о популярном российском актере кино *Леониде Вячеславовиче Куравлеве.* Материал публикуется по записи, сделанной по поручению телепередачи «Кинопанорама» в 1974 году.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Написано в 1974 году для журнала «Вопросы литературы» в качестве выступления за «круглым столом», посвященного киноповести и фильму «Калина красная». Впервые опубликовано в журнале «Вопросы литературы» (№ 7,1974).

* *"Меня, конечно, встревожила оценка фильма К.Ваншенкиным и В.Барановым, но не убила".* К.Ваншенкин говорил о «просчетах» фильма, о «сентиментальности многих эпизодов», о «банальности персонажей» и об «умозрительности концепций». В.Баранов говорил о том, что в фильме ему не нравятся «театральные эффекты», «мелодраматизм» мотивировок и, в частности, что «сентиметально-умилительные интонации Егора мало вяжутся с подлинно крестьянским мироощущением человека — труженика на земле».

О замысле «Калины красной» В.М.Шукшин писал также в авторском вступлении к отрывку из киноповести для журнала «В мире книг» (№ 3,1973):

"Доброе в человеке никогда не погибает до конца — так я сказал бы про замысел киноповести. Иными словами, никогда не наступает пора, когда надо остановить борьбу за человека — всегда что-то еще можно — и, значит, нужно! — сделать.

Герой повести, Егор, в трудные послевоенные годы молодым парнишкой ушел из дома, из родной деревни, и очутился на распутье... Подобрали и «приютили» его люди недобрые, но, как это нередко бывает, внимательные и энергичные. Егор стал воровать. И пошла безотрадная череда: тюрьма — короткая передышка — тюрьма... Мир, в который попал Егор, требует собранности, воли, готовности к поступку... Все это он нашел в себе. Больше того, его эта напряженная, полная опасности ириска жизнь неким образом устраивала. Но чего он никогда не мог в себе найти — жестокости, злобы. Он был изобретателен, смел, неглуп, но никогда не был жесток. Душа его страдала от дикого несоответствия. Все поколения тружеников-крестьян, кровь которых текла в жилах Егора, восставали против жизни паразита, какую вел он, это наладило в душе постоянную тоску. И эта-то неспокойная душа вдруг познала неведомое ей до сей поры — любовь.

А поскольку душа эта все-таки цельная, то и выбор может быть только такой: или — или. Я всегда боюсь в своих рассказах книжности, литературщины, но никогда не боюсь «плохого конца». Жизнь — штука серьезная, закрывать глаза на ее теневые стороны — роскошь, какую, очевидно, не может позволить себе мужественное социалистическое искусство. И еще приходит на ум: за все в жизни надо платить. И порой — дорого. Вот я уж и сказал про конец повести. Но, как всем пишущим, мне хочется, чтоб все-таки прочитали всю".

ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ...

Первая часть беседы записана корреспондентом газеты «Правда» Галиной Кожуховой, выправлена и завизирована В.М.Шукшиным. Опубликована в «Правде» 22 мая 1974 года под заголовком «Самое дорогое открытие...». Вторая часть беседы (в форме диалога) — письменные ответы В.М.Шукшина на вопросы, которые Г.Кожухова ему оставила «для последующих размышлений». Частично опубликовано Г.Кожуховой после смерти В.М.Шукшина в еженедельнике «Неделя» (1976, № 16). Печатается по рукописи. Последние три вопроса, в архиве не сохранившиеся (есть только ответы В.М.Шукшина), реконструированы Л.Н.Федосеевой-Шукшиной. Третья часть беседы представляет собой высказывания В.М.Шукшина, записанные Г.Кожуховой в ходе беседы для газеты «Правда» и не вошедшие в газетную публикацию. Печатается по записям Г.Кожуховой. Вторая и третья часть беседы впервые опубликованы в книге В.М.Шукшина «Вопросы самому себе».

Сохранились также наброски ответов В.М.Шукшина на три (из девяти) вопроса Г.Кожуховой:

" — Как Вы относитесь к профессии литератора?

... Ничто этой профессии не мешает, все служит ей. Даже когда не хватает времени, — и то это не катастрофа, важно ведь — как написано. Гляньте — вон, на полке — сколько написал Есенин, меньше Лермонтова, кажется, оба, однако, успели сказать все. С другой стороны, нельзя и выпадать из профессии — надо писать и издавать книжки. Надо, вообще, много работать, только тогда можно на что-то надеяться. Когда работаю, я спокоен, когда почему-либо перестаю работать, испытываю страх и беспокойство. Думаю: «Ну, парень, так и жизнь просвистишь». Нередко делаю не то (потом понимаю), но боюсь остановиться. Это тоже нехорошо, потому что наберу я этих «не то», судя по всему, много. Подводит уверенность, всякий раз думаешь, что удастся это «не то» сделать хорошо, но если уж это сразу «не то», «не то» и будет. Например, много успел наиграть «левой ногой» — так и останется на совести.

— Вас упрекали за кадр с березками в «Калине красной»...

Мне пришлось однажды писать о березках, повторюсь.

— Что такое вкус художника?

Думаю, что вкус художника — это чувство правды и еще тактичность человеческая. Так или иначе, но чувство художественного вкуса свойственно многим. Но если один морщится, когда попирается чувство правды, чувство меры, то художник при этом глубоко оскорбляется и страдает. И, к ужасу своему, ничего не может сделать — это никак нельзя доказать. Все можно объяснить, но почему здесь, например, надо помолчать — это поймут только чрезвычайно тактичные, чувствующие правду человеческих отношений люди, и поймут без объяснений. Художник, когда творит, бессознательно отыскивает среди зрителей, читателей, слушателей себе подобных, потому, может быть, всякое самозабвенное кривляние и формотворчество — бесплодно и искусственно".

(Архив В.М.Шукшина.)

ПЕРЕД МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИЕЙ

Записано в 1971 году корреспондентом журнала «Искусство коно» Л.Ягунковой и опубликовано в составе ее очерка «От прозы к фильму» («Искусство кино, 1971, № 8). Печатается по тексту журнала. Озаглавлено по первой фразе В.М.Шукшина, сказанной в ходе беседы.

Комментарии к произведениям, опубликованным в настоящем собрании сочинений, подготовлены Л.Аннинским, Г.Костровой и Л.Федосеевой-Шукшиной.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Макарович Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах

Книга пятая

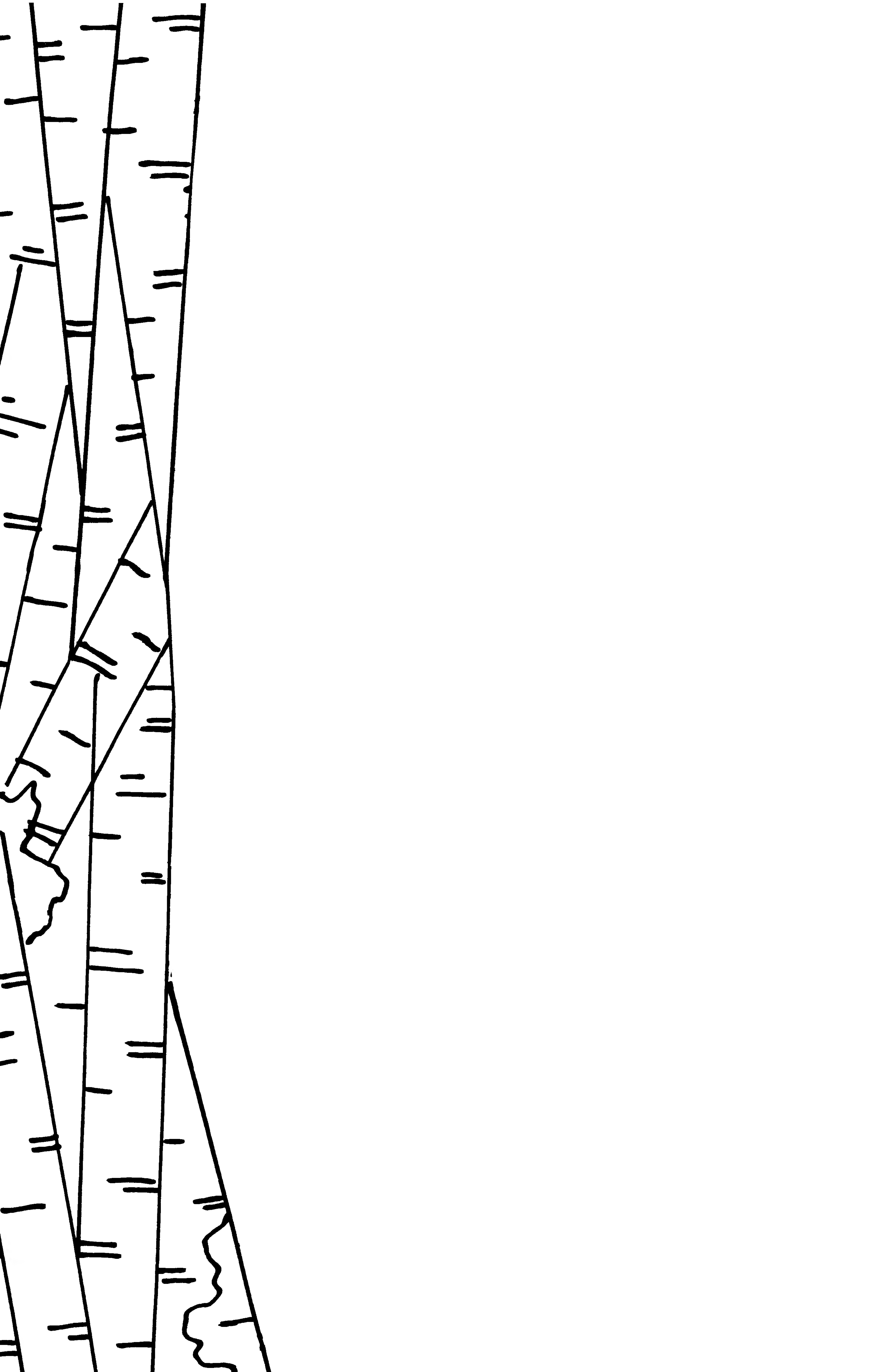
КАЛИНА КРАСНАЯ

Лицензия № 063348 от 13 мая 1994 г.

Подписано в печать 5.05.98 г. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная №1. Печать высокая. Уч.-изд. л. 31,5.
Усл. п. л. 29,4. Тираж 10 000 экз. Заказ 10.

Издательство «Надежда-1»
129366, Москва, ул. Космонавтов, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.



В искусстве уютно
быть сдобною булкой
французской,
но так не накормишь
ни вдов, ни калек, ни сирот.
Шукшин был горбушкой
с калиною красной
вприкуску,
черняшечкой той,
без которой немыслим
народ.
Шли толпами к гробу
почти от Тишинского рынка,
дыханьем колеблемый
воздух
чуть слышно дрожал.
Как будто России самой
оставленная кровинка,
весь в красной калине,
художник российский лежал.
Когда мы взошли
на тяжелой закваске
мужицкой,
нас тянет к природе,
к есенинским чистым
стихам,

Нам с ложью не сжиться,
в уюте ужей не ужиться,
и сердце как сокол,
как связанный Разин
Степан.
Искусство народно,
когда в нем не сахар
обмана,
а солью родимой земли
просолилось навек.
Мечта Шукшина
о несбывшейся роли
Степана,
как Волга, взбугрилась
на миг подо льдом
замороженных век.

Евгений Евтушенко